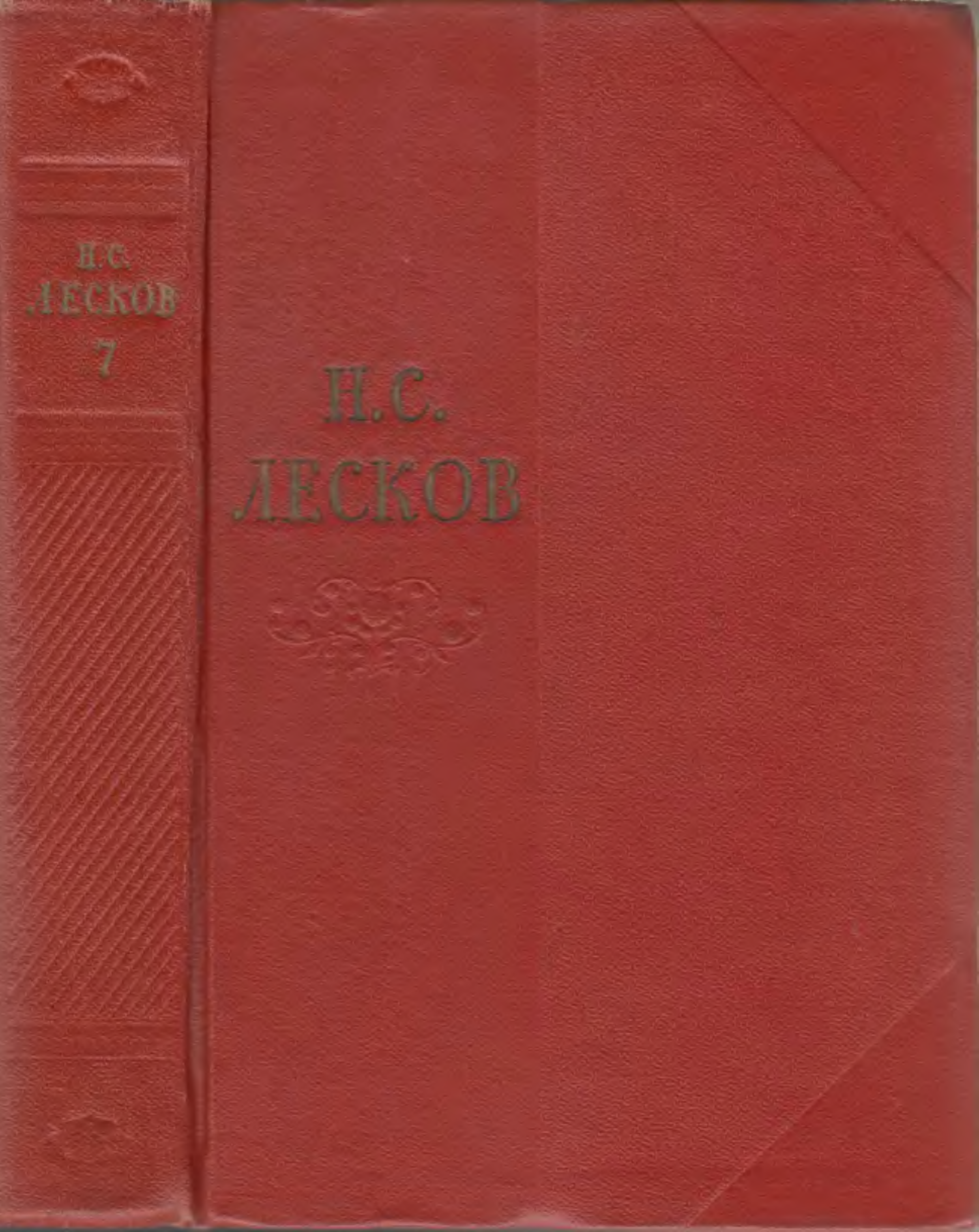

Н.С.
ЛЕСКОВ
7
Н.С.
ЛЕСКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ



Под общей редакцией:

В. Г. БАЗАНОВА, Б. Я. БУХШТАБА,
А. И. ГРУЗДЕВА, С. А. РЕЙСЕРА,
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ТОМ СЕДЬМОЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Подготовка текста и примечания
Б. Я. БУХШТАБА

БЕЛЫЙ ОРЕЛ

(ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ)

Собаке снится хлеб, а рыба — рыбаку.
Феокрит (Идиллия).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Есть вещи на свете». С этого обыкновенно у нас принято начинать подобные рассказы, чтобы прикрыться Шекспиром от стрел остроумия, которому нет ничего неизвестного. Я, впрочем, все-таки думаю, что «есть вещи» очень странные и непонятные, которые иногда называют сверхъестественными, и потому я охотно слушаю такие рассказы. По этому же самому, два-три года тому назад, когда мы, умаляясь до детства, начали играть в духовидство, я охотно присоседился к одному из таких кружков, уставом которого требовалось, чтобы в наших собраниях по вечерам не произносить ни одного слова ни о властях, ни о началах мира земного, а говорить единственно о бесплотных духах — об их появлении и участии в судьбах людей живущих. Даже «консервировать и спасать Россию» не дозволялось, потому что и в этом случае многие, «начиная за здравие, все сводили за упокой».

На этом же основании строго преследовалось всякое упоминовение всуе каких бы то ни было «больших имен», кроме единственного имени божия, которое, как известно, наичаще употребляется для красоты слога. Бывали, конечно, нарушения, но и то с большою осторожкой. Разве какие-нибудь два нетерпеливейшие из политиков отобьются к окну или к камину и что-то пошепчут, но и то один другого предостерегает: «pas si haut!» [1] А хозяин их уже назирает и шутя грозит им штрафом.

[1] Не так громко! *(франц.)*.

Каждый должен был по очереди рассказывать что-нибудь фантастическое *из своей жизни,* а как уменье рассказывать дается не всякому, то к рассказам с художественной стороны не придирались. Не требовали также и доказательств. Если рассказчик говорил, что рассказываемое им событие действительно происходило с ним, ему верили или по крайней мере притворялись, будто верят. Такой был этикет.

Меня это больше всего занимало со стороны субъективности. В том, что «есть вещи, которые не снились мудрецам», я не сомневаюсь, но как такие вещи кому представляются — это меня чрезвычайно занимало. И в самом деле, субъективность тут достойна большого внимания. Как, бывало, ни старается рассказчик, чтобы стать в высшую сферу бесплотного мира, а всё непременно заметишь, как замогильный гость приходит на землю, окрашиваясь, точно световой луч, проходящий через цветное стекло. И тут уже не разберешь, что ложь, что истина, а между тем следить за этим интересно, и я хочу рассказать такой случай.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Дежурным мучеником», то есть очередным рассказчиком, было довольно высокопоставленное и притом очень оригинальное лицо, Галактион Ильич, которого в шутку звали «худородный вельможа». В кличке этой скрывался каламбур: он действительно был немножко вельможа и притом был страшно худ, а вдобавок имел очень незнатное происхождение. Отец Галактиона Ильича был крепостным буфетчиком в именитом доме, потом откупщиком и, наконец, благотворителем и храмоздателем, за что получил в сей бренной жизни орден, а в будущей место в царстве небесном. Сына он обучал в университете и вывел в люди, но «вечная память», которую пели ему над могилой в Невской лавре, сохранилась и тяготела над его наследником. Сын «человека» достиг известных степеней и допускался в общество, но шутка все-таки волокла за ним титул «худородного».

Об уме и способностях Галактиона Ильича едва ли у кого-нибудь были ясные представления. Что он мог сде-

лать и чего не мог, — этого тоже наверно никто не знал. Кондуит его был короток и прост: он в начале службы, по заботам отца, попал к графу Виктору Никитичу Панину, который любил старика за какие-то известные ему достоинства и, приняв сына под свое крыло, довольно скоро выдвинул его за тот предел, с которого начинаются «ходы».

Во всяком случае надо думать, что он имел какие-нибудь достоинства, за которые Виктор Никитич мог его повышать. Но в свете, в обществе Галактион Ильич успеха не имел и вообще не был избалован насчет житейских радостей. Он имел самое плохое, хлипкое здоровье и фатальную наружность. Такой же долгий, как его усопший патрон, граф Виктор Никитич, — он не имел, однако, внешнего величия графа. Напротив, Галактион Ильич внушал ужас, смешанный с некоторым отвращением. Он в одно и то же время был типический деревенский лакей и типический живой мертвец. Длинный, худой его остов был едва обтянут сероватой кожей, непомерно высокий лоб был сух и желт, а на висках отливала бледная трупная зелень, нос широкий и короткий, как у черепа; бровей ни признака, всегда полуоткрытый рот с сверкающими длинными зубами, а глаза темные, мутные, совершенно бесцветные и в совершенно черных глубоких яминах.

Встретить его — значило испугаться.

Особенностью наружности Галактиона Ильича было то, что в молодости он был гораздо страшнее, а к старости становился лучше, так что его можно было переносить без ужаса.

Характера он был мягкого и имел доброе, чувствительное и даже, как сейчас увидим, — сентиментальное сердце. Он любил мечтать и, как большинство дурнорожих людей, глубоко таил свои мечтания. В душе он был поэт больше чем чиновник и очень жадно любил жизнь, которою никогда во все удовольствие не пользовался.

Несчастие свое он нес на себе и знал, что оно вечно и неотступно с ним до гроба. В самом его возвышении по службе для него была глубокая чаша горечи: он подозревал, что граф Виктор Никитич держал его при себе докладчиком больше всего в тех соображениях, что он производил на людей подавляющее впечатление. Галактион

Ильич видел, что когда люди, ожидающие у графа приема, должны были изложить ему цель своего прихода, — у них мерк взор и подгибались колена... Этим Галактион Ильич много содействовал тому, что после него личная беседа с самим графом каждому была уже легка и отрадна.

С годами Галактион Ильич из чиновника докладывающего стал сам лицом, которому докладывают, и ему дано было очень серьезное и щекотливое поручение в отдаленной местности, где с ним и случилось сверхъестественное событие, о котором ниже следует его собственный рассказ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Не с большим двадцать пять лет тому назад, — начал худородный сановник, — до Петербурга стали доходить слухи о многих злоупотреблениях власти губернатора П—ва. Злоупотребления эти были обширны и касались почти всех частей управления. Писали, будто губернатор собственноручно бил и сек людей; забирал вместе с предводителем для своих заводов всю местную поставку вина; брал произвольные ссуды из приказа; требовал к себе для пересмотра всю почтовую корреспонденцию — подходящее отправлял, а неподходящее рвал и метал в огонь, а потом мстил тем, кто писал; томил людей в неволе. А при этом он был, однако, артист; содержал большой, очень хороший оркестр, любил классическую музыку и сам превосходно играл на виолончели.

Долго о его бесчинствах доносились только слухи, но потом взялся там один маленький чиновник, который притащился сюда в Петербург, очень обстоятельно и в подробности описал всю эпопею и подал ее сам в надлежащие руки.

История выходила такая, что хоть сейчас сенаторскую ревизию назначать. По-настоящему оно так бы и следовало, но и губернатор и предводитель были на лучшем счете у покойного государя, а потому взяться за них было не совсем просто. Виктор Никитич хотел прежде обо всем удостовериться поточнее через *своего* человека, и выбор его пал на меня.

Призывает он меня и говорит:

«Так и так, доходят вот такие и такие печальные вести, и, к сожалению, кажется, в них как будто есть статочность; но прежде, чем дать делу какое-нибудь движение, я желаю в этом поближе удостовериться и решил употребить на это вас».

Я кланяюсь и говорю:

«Если могу, буду очень счастлив».

«Я уверен, — отвечает граф, — что вы можете, и я на вас полагаюсь. У вас есть такой талант, что вам вздоров говорить не станут, а всю правду выложат».

— Талант этот, — пояснил, тихо улыбнувшись, рассказчик, — это моя печальная фигура, наводящая уныние на фронт; но кому что дано, тот с тем и мыкайся.

«Бумаги все для вас уже готовы, — продолжал граф, — и деньги тоже. Но вы едете *только* по одному нашему ведомству... Понимаете, *только*!»

«Понимаю», — говорю.

«Ни до каких злоупотреблений по другим ведомствам вам как будто дела нет. Но это только так должно казаться, что *нет*, а на самом деле вы должны узнать *все*. С вами поедут два способных к делу чиновника. Приезжайте, засядьте за дело и вникайте будто всего внимательнее в канцелярский порядок и формы судопроизводства, а сами смотрите во всё... Призывайте местных чиновников для объяснений и... смотрите *построже*. А назад не торопитесь. Я вам дам знать, когда вернуться. Какая у вас последняя награда?»

Я отвечаю:

«Владимир второй степени с короной».

Граф снял своей огромной рукою его известный тяжелый бронзовый пресс-папье «убитую птичку», достал из-под него столовую памятную тетрадь, а правою рукою всеми пятью пальцами взял толстый исполин-карандаш черного дерева и, нимало от меня не скрывая, написал мою фамилию и против нее *«белый орел»*.

Таким образом я знал даже награду, которая ожидала меня за исполнение возложенного на меня поручения, и с тем совершенно спокойный уехал на другой же день из Петербурга.

Со мною был мой слуга Егор и два чиновника из сената — оба люди ловкие и светские.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Доехали мы, разумеется, благополучно; прибыв в город, наняли квартиру и расположились все: я, мои два чиновника и слуга.

Помещение было такое удобное, что я вполне мог отказаться от удобнейшего, которое мне предупредительно предлагал губернатор.

Я, разумеется, не хотел быть ему обязан ни малейшей услугой, хотя мы с ним, конечно, не только разменялись визитами, но даже я раз или два был у него на его гайденовских квартетах. Но, впрочем, я до музыки не большой охотник и не знаток, да и вообще, понятно, старался не сближаться более, чем мне нужно, а нужно мне было видеть не его галантность, а его темные деяния.

Впрочем, губернатор был человек умный и ловкий и своим вниманием мне не докучал. Он как будто оставил меня в покое возиться с входящими и исходящими регистрами и протоколами, но тем не менее я все-таки чувствовал, что вокруг меня что-то копошится, что люди выщупывают, с какой бы стороны меня уловить и потом, вероятно, запутать.

К стыду рода человеческого должен упомянуть, что не считаю в этом совсем безучастными даже и прекрасный пол. Ко мне стали являться дамы то с жалобами, то с просьбами, но при всем этом всегда еще с такими планами, которым я мог только подивиться.

Однако я вспомнил совет Виктора Никитича, — «посмотрел построже», и грациозные видения сникли с моего, неподходящего для них, горизонта. Но мои чиновники имели в этом роде успехи. Я это знал и не препятствовал им ни волочиться, ни выдавать себя за очень больших людей, за каких их охотно принимали. Мне было даже полезно, что они там кое-где вращаются и преуспевают в сердцах. Я требовал только, чтобы не случилось никакого скандала и чтобы мне было известно, на какие пункты их общительности сильнее налегает провинциальная политика.

Они были ребята добросовестные и всё мне открывали. От них всё хотели узнать мою слабость и что я особенно люблю.

Им бы поистине этого никогда не добраться, потому что, благодаря бога, особенных слабостей у меня нет, да и самые вкусы мои, с коих пор себя помню, всегда были весьма простые. Ем я всю жизнь стол простой, пью обыкновенно одну рюмку простого хересу, даже и в лакомствах, до которых смолоду был охотник, — всяким тонким желе и ананасам предпочитаю астраханский арбуз, курскую грушу или, по детской привычке, медовый пряпошник. Не завидовал я никогда ничьему богатству, ни знаменитости, ни красоте, ни счастью, а если чему завидовал, то, можно сказать, разве одному *здоровью*. Но и то слово зависть не идет к определению моего чувства. Вид цветущего здоровьем человека не возбуждал во мне досадливой мысли: зачем он таков, а я не таков. Напротив, я глядел на него только радуясь, какое море счастия и благ для него доступно, и тут, бывало, разве иногда помечтаю на разные лады о невозможном для меня счастии пользоваться здоровьем, которого мне не дано.

Приятность, которую доставлял мне вид здорового человека, развила во мне такую же странность в эстетическом моем вкусе: я не гонялся ни за Тальони, ни за Бозио и вообще был равнодушен как к опере, так и к балету, где все такое искусственное, а больше любил послушать цыган на Крестовском. Их этот огонь и пыл, эта их страстная сила движений мне лучше всего нравились. Иной даже не красив, корявый какой-нибудь, а пойдет — точно сам сатана его дергает, ногами пляшет, руками машет, головой вертит, талией крутит — весь и колотит и молотит. А тут в себе знаешь только одни немощи, и поневоле заглядишься и замечтаешься. Что с этим можно вкусить на пиру жизни?

Вот я и сказал моему чиновнику:

«Если вас, друг мой, будут еще расспрашивать: что мне более всего нравится, скажите, что здоровье, что я больше всего люблю людей бодрых, счастливых и веселых».

— Кажется, тут нет большой неосторожности? — приостановясь, вопросил рассказчик.

Слушатели подумали, и несколько голосов отвечали:

— Конечно, нет.

— Ну и прекрасно, и я тоже думал, что нет, а теперь вы извольте дальше слушать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ко мне из палаты присылали в мое распоряжение на дежурство чиновника. Так, он докладывал мне о приходящих, отмечал кое-что и, в случае надобности, сообщал адресы, за кем надо было послать или о чем-нибудь сходить справиться. Чиновник дан был под стать мне — пожилой, сухой и печальный. Впечатление производил нехорошее, но я мало обращал на него внимания, а звали его, как я помню, Орнатский. Фамилия прекрасная, точно герой из старинного романа. Но вдруг в один день говорят: Орнатский занемог, и вместо его экзекутор прислал другого чиновника.

— Какой такой? — спрашиваю. — Может быть, я лучше бы подождал, пока Орнатский выздоровеет.

— Нет-с, — отвечает экзекутор, — Орнатский теперь не скоро, — он запил-с, и запой у него продолжится, пока Ивана Петровича мать его выпользует, а о новом чиновнике не извольте беспокоиться: вам вместо Орнатского самого Ивана Петровича назначили.

Я на него смотрю и немножечко не понимаю: про какого это он мне про *самого* Ивана Петровича говорит, и в двух строках два раза его проименовал.

— Что это, — говорю, — за Иван Петрович?

— Иван Петрович!.. это который у регистратуры сидит — помощник. Я думал, что вы его изволили заметить: самый красивый, его все замечают.

— Нет, — говорю, — я не заметил, а как его зовут?

— Иван Петрович.

— А фамилия?

— Фамилия...

Экзекутор сконфузился, взялся тремя пальцами за лоб и силился припомнить, но вместо того, почтительно улыбаясь, добавил:

— Простите, ваше превосходительство, вдруг как столбняк нашел и не могу вспомнить. Фамилия его Аквиляльбов, но мы все его называем просто Иван Петрович или иногда в шутку «Белый орел» за его красоту. Человек прекрасный, на счету у начальства, жалованья по должности помощника получает четырнадцать рублей пятнадцать копеек, живет с матушкой, которая некото-

рым гадает и пользует. Позвольте представить: Иван Петрович дожидается.

— Да, уж если так нужно, то попросите, пожалуйста, сюда этого Ивана Петровича.

«Белый орел! — думаю себе, — что это за странность. Мне орден следует белый орел, а не Иван Петрович».

А экзекутор приотворил дверь и крикнул:

— Иван Петрович, пожалуйте.

Я не могу вам его описывать без того, чтобы не впадать в некоторый шарж и не делать сравнений, которые вы можете счесть за преувеличения, но я вам ручаюсь, что как бы я ни старался расписать вам Ивана Петровича — живопись моя не может передать и половины красот оригинала.

Передо мною стоял настоящий «Белый орел», форменный Aquila alba,[1] как его изображают на полных парадных приемах у Зевса. Высокий, крупный, но чрезвычайно пропорциональный мужчина, и такого здорового вида, будто он никогда не горел и не болел, и не знал ни скуки, ни усталости. От него пышило здоровьем, но не грубо, а как-то гармонично и привлекательно. Цвет лица у Ивана Петровича был весь нежно-розовый с широким румянцем, щеки обрамлены светло-русым пушком, который, однако, уже переходил в зрелую растительность. Лет ему было как раз двадцать пять; волосы светлые, слегка волнистые, blonde, и такая же бородка с нежной подпалиной и синие глаза под темными бровями и в темных ресницах. Словом, сказочный богатырь Чурило Апленкович не мог быть лучше. Но прибавьте к этому смелый, очень осмысленный и весело-открытый взгляд, и вы имеете перед собою настоящего красавца. Одет он в вицмундир, который сидел отлично, и темно-гранатного цвета шарф с пышным бантом.

Тогда носили шарфы.

Я и залюбовался Иваном Петровичем и, зная, что произвожу на людей, первый раз меня видящих, впечатление не легкое, сказал запросто:

— Здравствуйте, Иван Петрович!

— Здравия желаю, ваше превосходительство, — от-

---

[1] Белый орел (*лат.*).

вечал он очень задушевным голосом, который тоже показался мне чрезвычайно симпатичным.

Говоря ответную фразу в солдатской редакции, он, однако, мастерски умел дать своему тону оттенок простой и вполне позволительной шутливости, и в то же время один этот ответ устанавливал для всей беседы характер своего рода семейной простоты.

Мне становилось понятным, почему этого человека «все любят».

Не видя никакой причины мешать Ивану Петровичу держать его тон, я сказал ему, что я рад с ним познакомиться.

— И я с своей стороны тоже считаю это для себя за честь и за удовольствие, — отвечал он стоя, но выступив шаг вперед своего экзекутора.

Мы раскланялись, — экзекутор ушел на службу, а Иван Петрович остался у меня в приемной.

Через час я попросил его к себе и спросил:

— У вас хороший почерк?

— У меня характер письма твердый, — отвечал он и сейчас же добавил: — Вам угодно, чтобы я что-нибудь написал?

— Да, потрудитесь.

Он сел за мой рабочий стол и через минуту подал мне лист, посередине которого четкою скорописью «твердого характера» было написано: «Жизнь на радость нам дана. — Иван Петров Аквиляльбов».

Я прочел и неудержимо рассмеялся: лучше того, что он написал, не могло к нему идти никакое выражение. «Жизнь на радость»; *вся* жизнь для него сплошная радость!

Совсем в моем вкусе человек!..

Я дал ему переписать на моем же столе малозначительную бумагу, и он сделал это очень скоро и без малейшей ошибки.

Потом мы расстались. Иван Петрович ушел, а я остался один дома и предался своей болезненной хандре, и признаюсь — черт знает почему, несколько раз переносился мыслию *к нему,* то есть к Ивану Петровичу. Ведь вот он небось не охает и не хандрит. Ему жизнь на радость дана. И где это он проживает ее с такой радостью на свои четырнадцать рублей... Поди, пожалуй, в карты

счастливо играет, или тоже взяточки перепадают... А может быть, купчихи... Недаром у него этот такой свежий гранатный галстух...

Сижу за раскрытыми передо мною во множестве делами и протоколами, а думаю о таких бесцельных, вовсе до меня не относящихся пустяках, а в это самое время человек докладывает, что приехал губернатор.

Прошу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Губернатор говорит:

— У меня послезавтра квинтет, — надеюсь, будет недурно сыграно, и дамы будут, а вы, я слышал, захандрили у нас в глуши, и приехал вас навестить и просить на чашку чаю — может быть, не лишнее будет немножко развлечься.

— Покорно вас благодарю, но отчего вам кажется, что я хандрю?

— По Ивана Петровича замечанию.

— Ах, Иван Петрович! Это который у меня дежурит? И вы его знаете?

— Как же, как же. Это наш студент, артист, хорист, но только не аферист.

— Не аферист?

— Нет, он так счастлив, как Поликрат, ему не надо быть аферистом. Он всеобщий любимец в городе — и непременный член по части всяких веселостей.

— Он музыкант?

— Мастер на все руки: спеть, сыграть, протанцевать, веселые фанты устроить — все Иван Петрович. Где пир, там и Иван Петрович: затевается аллегри или спектакль с благотворительною целью — опять Иван Петрович. Он и выигрыши распределит и вещицы всех красивее расставит; сам декорации нарисует, а потом сейчас из маляра в актера на любую роль готов. Как он играет королей, дядюшек, пылких любовников — это загляденье, но особенно хорошо он старух представляет.

— Будто и старух!

— Да удивительно! вот я к послезавтрашнему вечеру, признаться, и готовлю с помощью Ивана Петро-

вича маленький сюрприз. Будут живые картины. — Иван Петрович их поставит. Разумеется, будут и такие, что ставятся для дам, желающих себя показать, но три будут иметь кое-что и для настоящего художника.

— Это сделает Иван Петрович?

— Да, Иван Петрович. Картины представляют «Саула у волшебницы андорской». Сюжет, как известно, библейский, а расположение фигур несколько дутое, что называется «академическое», но тут все дело в Иване Петровиче. На одного его все и будут смотреть — особенно когда при втором открытии картины обнаружится наш сюрприз. Вам я могу сказать этот секрет. Картина открывается, и вы увидите Саула: это царь, царь с головы до ног! Он будет одет, как все. Ни малейшего отличия, потому что по сюжету Саул приходил к волшебнице переодетым, так чтобы она его не узнала, но его *нельзя не узнать.* Он царь, и притом настоящий библейский царь-пастух. Но занавес упадет, фигура быстро изменяет свое положение: Саул лежит ниц перед явившейся тенью Самуила. — Саула теперь все равно что нет, но зато какого видите Самуила в саване!.. Это вдохновеннейший пророк, на раменах которого почиет сила в лице, величие и мудрость. *Этот* мог *«повелеть царю* явиться и в Вефиле и в Галгалах».

— И это будет опять Иван Петрович?

— Иван Петрович! но ведь это не конец. Если попросят повторения, — в чем я уверен и сам о том позабочусь, — то мы вас не станем томить задами, а вы увидите продолжение эпопеи.

Новая сцена из жизни Саула будет совсем без Саула. Тень исчезла, царь и сопровождавшие его вышли; в двери можно заметить только кусок плаща на спине последней удаляющейся фигуры, а на сцене одна волшебница...

— И это опять Иван Петрович!

— Разумеется! Но ведь вы перед собою увидите не то, как изображают ведьм в «Макбете»... Никакого столбнякового ужаса, ни ломки, ни кривляний, но вы увидите лицо, которое знает то, что не снилось мудрецам. Вы увидите, как страшно говорить с выходцем из могилы.

— Воображаю, — отвечал я, будучи всемерно далек от мысли, что не пройдет трех дней, как мне приведется не воображать, а на самом себе испытывать такую пытку.

Но это пришло после, а теперь все было полно одним Иваном Петровичем — этим веселым, живым человеком, который вдруг, как боровичок после грибного дождичка, из муравы выскочил, не велик еще, а отовсюду его видно, — все на него поглядывают и улыбаются: «Вот-де какой крепенький да хорошенький».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Я вам передавал, что́ говорил о нем его экзекутор и губернатор, а когда я полюбопытствовал, не слыхал ли чего-нибудь о нем один из моих чиновников светского направления, так они оба враз заговорили, что встречали его и что он в самом деле очень мил и хорошо поет с гитарой и с фортепиано. И им он тоже нравился. На другой день заходит протопоп. Он, как я побывал у него в церкви, всякий праздник приносил мне просфору и на всех священноябедничал. Он ни о ком хорошо не говорил и в этом отношении не делал исключения и для Ивана Петровича, но зато священноябедник знал не только природу всякой вещи, но и ее происхождение. Про Ивана Петровича он сам начал:

— Вам чинца обменили. Это все с умыслью...

— Да, — говорю, — какого-то Ивана Петровича дали.

— Ве́дом нам, как же, довольно ве́дом. Мой свояк, на которого место я сюда переведен с обязательством воспитать сирот, он его и крестил... Отец-то тоже был из колокольных дворян... в приказные вышел, а мать.. Кира Ипполитовна... Такое у нее имечко, — она по страстной любви к его родителю уходом за него ушла... Скоро, однако, вкусила и горечи любовного зелья, а потом и овдовела.

— Она сама сына воспитывала?

— Да какое его воспитание: в гимназии классов пять проучился, да и пошел в писатели в уголовную палату... со временем помощником сделали... А счастлив очень: в прошлом году коня с седлом в лотерею выиграл и с губернатором на охоту нынче за зайцами ездил... Фортепиан, полковые выходили, так разыгрывали, — опять

тоже ему достался. Я пять билетов взял и не выиграл, а он всего один, да и на тот получил. Сам музычит и Татьяну учит.

— Это кто же — Татьяна?

— Сиротку они взяли — ничего себе... черномазенькая. Он ее обучает.

Весь день проговорили об Иване Петровиче, а вечером слышу, у моего Егора в комнатке что-то жужжит. Зову его и спрашиваю, что это у тебя такое?

— Это, — отвечает, — я пропилеи делаю.

— Что еще за пропилеи?

Иван Петрович, обратив внимание, что Егор скучает от бездействия, принес ему пилок и дощечек от сигарных ящиков с наклеенными узорами и научил его подставочки выпиливать. — Заказ дал к лотерее.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Утром в тот день, когда Иван Петрович вечером должен был и играть и всех удивлять в картинах на пиру у губернатора, я не хотел его задерживать, но он оставался при мне до обеда и даже очень насмешил меня. Я пошутил, что ему надо бы жениться, а он отвечал, что предпочитает остаться «в девушках». В Петербург его звал.

— Нет, — говорит, — ваше превосходительство, меня здесь все любят, да и мать, и сиротка Таня у нас есть, я их люблю, а они для Петербурга не годятся.

Удивительно какой гармоничный молодой человек! Я его даже обнял за эту любовь к матери и сиротке, и мы расстались за три часа до картин.

На прощанье я сказал:

— Нетерпеливо жду вас видеть в разных видах.

— Надоем, — отвечал Иван Петрович.

Он ушел, а я пообедал один и прикорнул в кресле, чтобы быть бодрее, но Иван Петрович не дал мне заснуть: он меня скоро и немножко странно потревожил. Вдруг вошел очень спешной походкой, шумно оттолкнул ногою стоявшие посередине комнаты стулья и говорит:

— Вот можете меня видеть; но только покорно вас благодарю — вы меня сглазили. Я вам за это отомщу.

Я проснулся, позвонил человека и велел подавать одеваться, и сам себе подивился: как ясно привиделся мне во сне Иван Петрович!

Приезжаю к губернатору — все освещено, и гостей уже много, но сам губернатор, встречая меня, шепчет:

— Расстроилась самая лучшая часть программы: картины не могут состояться.

— А что случилось?

— Тссс... я не хочу говорить громко, чтобы не портить общего впечатления. Иван Петрович умер.

— Как!.. Иван Петрович!.. умер?!

— Да, да, да, — умер.

— Помилуйте, — он три часа тому назад был у меня, здоров-здоровешенек.

— Ну и вот, придя от вас, прилег на диван да и умер... И вы знаете... я должен вам сказать на тот случай, чтобы его мать... она в таком безумии, что может прибежать к вам... Она, несчастная, убеждена, что вы и есть виновник смерти сына.

— Каким образом? Отравили его у меня, что ли?

— Этого она не говорит.

— Что же она говорит?

— Что вы Ивана Петровича *сглазили!*

— Позвольте... — говорю, — что за пустяки!

— Да, да, да, — отвечает губернатор, — все это, разумеется, глупости, но ведь здесь провинция — здесь глупостям охотнее верят, чем умностям. Разумеется, не стоит обращать внимания.

В это время губернаторша предложила мне карту.

Я сел, но что я только выносил за этою мучительною игрою — и сказать вам не могу. Во-первых, мучит сознание, что этот милый молодой человек, которым я так любовался, лежит теперь на столе, а во-вторых, мне беспрестанно кажется, что все о нем шепчут и на меня указывают: «сглазил», даже слышу это глупое слово «сглазил, сглазил», а в-третьих, позвольте вам за истину сказать — я вижу везде самого Ивана Петровича!.. Так глаз, что ли, наметался — куда ни взгляну — все Иван Петрович... То он ходит, прогуливается по пустой зале, в которую открыты двери; то стоят двое разговаривают — и он возле

них, слушает. Потом вдруг около самого меня является и в карты смотрит... Тут я, разумеется, и понесу с рук что попало, а мой vis-à-vis обижается. Наконец даже другие стали это замечать, и губернатор шепнул мне на ухо:

— Это вам Иван Петрович портит: он вам мстит за себя.

— Да, — говорю, — я действительно расстроен, и мне очень нездоровится. Я прошу позволения расписать игру и меня уволить.

Это одолжение мне сделали, и я сейчас же поехал домой. Но я еду на санях, и Иван Петрович со мною — то рядом сидит, то на облучке с кучером явится, а лицом ко мне.

Думаю: не горячка ли у меня начинается?

Приехал домой — еще хуже. Чуть лег в постель и погасил огонь, — Иван Петрович сидит на краю кровати и даже говорит:

— Вы, — говорит, — меня ведь в самом деле сглазили, я и умер, а мне никакой надобности не было так рано умирать. В том-то и дело!.. Меня все так любили, и тоже матушка, и Танюша — она еще недоучена. Какое им от этого ужасное горе!

Я позвал человека и, как это ни было неловко, велел ему лечь у себя на ковре, но Иван Петрович не боится; куда ни оборочусь — он торчит передо мною, да и баста.

Насилу я утра дождался и первым делом послал одного из своих чиновников к матери покойного, чтобы отвез и как можно деликатнее передал ей триста рублей на похороны.

Тот возвращается и привозит деньги назад: говорит — не приняли.

— Что же, — спрашиваю, — сказали?

— Сказали, что «не надо: его *добрые* люди похоронят».

Я, значит, был на счету *злых*.

А Иван-то Петрович, как только я про него вспомню, сейчас тут и есть.

В сумерки не мог оставаться спокойно: взял извозчика и сам поехал, чтобы взглянуть на Ивана Петровича и поклониться. Это ведь в обычае, и я думал, что никого не обеспокою. А в карман взял все, что мог, — семьсот рублей, чтобы упросить их принять хоть для Тани.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Видел Ивана Петровича: лежит «Белый орел» как подстреленный.

Таня тут же ходит. Такая, действительно, черномазенькая, лет пятнадцати, в коленкоровом трауре и все покойника оправляет. По голове его поправит и поцелует.

Какое терзание это видеть!

Попросил ее: нельзя ли мне поговорить с матерью Ивана Петровича.

Девушка отвечала: «хорошо» и пошла в другую комнату, а через минуту отворяет дверь и приглашает взойти, но только что я вошел в комнату, где сидела старушка, та сейчас встала и извиняется:

— Нет, простите меня, — я напрасно на себя понадеялась, я не могу вас видеть, — и с этим ушла.

Я был не обижен и не сконфужен, а просто подавлен, и обратился к Тане:

— Ну, хоть вы, молодое существо, может быть вы можете быть ко мне добрее. Ведь я же, поверьте, не желал и не имел причины желать Ивану Петровичу какого-нибудь несчастия, а тем меньше смерти.

— Верю, — уронила она. — Ему никто не мог желать ничего дурного — его все любили.

— Поверьте, что в два-три дня, которые я его видел, и я полюбил его.

— Да, да, — сказала она. — О, эти ужасные «два-три дня» — зачем они были? Но тетя это в горе так обошлась с вами; а мне вас жалко.

И она протянула мне обе ручки.

Я взял их и сказал:

— Благодарю вас, милое дитя, за эти чувства; они делают честь и вашему сердцу и благоразумию. Нельзя же, в самом деле, верить такому вздору, будто я его сглазил!

— Знаю, — отвечала она.

— Так явите же мне ласку... сделайте мне одолжение *во имя его!*

— Какое одолжение?

— Возьмите вот этот конверт... тут немножко денег... это на домашние надобности... для тети.

— Она не примет.

— Ну, для вас... для вашего образования, о котором заботился Иван Петрович. Я глубоко уверен, что он бы это оправдал.

— Нет; благодарю вас, я не возьму. Он никогда ни у кого ничего не брал даром. Он был очень, очень благородный.

— Но вы меня этим огорчаете... вы, значит, на меня сердитесь.

— Нет, не сержусь. Я вам дам доказательство.

Она раскрыла лежавший на столе французский учебник Олендорфа, торопливо достала лежавшую там между страниц фотографическую карточку Ивана Петровича и, подавая ее мне, сказала:

— Вот это он положил. До сих пор мы вчера доучились. Возьмите это от меня на память.

Тем свидание и кончилось. На другой день Ивана Петровича хоронили, а потом я еще дней восемь оставался в городе, и все в той же мучительности. Ночью нет сна; прислушиваюсь к каждому шороху; открываю фортки в окнах, чтобы хоть с улицы долетал какой-нибудь свежий человеческий голос. Но мало пользы: идут два человека, разговаривают, — прислушиваюсь, — про Ивана Петровича и про меня.

— Вот здесь,— говорят,— живет этот черт, что Ивана Петровича сглазил.

Поет кто-то, возвращаясь в тишине ночи домой: слышу, как у него снег под ногами хрустит, разбираю слова: «Ах, бывал я удал», — жду, когда певец поравняется с моим окном, — гляжу — это сам Иван Петрович. А тут еще и отец протоиерей жалует и шепчет:

— Сглаз и приурок есть, да ведь это цыплят глазят, а Ивана Петровича отравили...

Мучительно!

— Для чего и кто мог его отравить?

— Опасались, чтобы он вам всего не рассказал... Его бы непременно надо было распотрошить. Жаль, что не распотрошили. Яд бы нашли.

Господи! избавь меня хотя от этой подозрительности!

Наконец вдруг совершенно неожиданно получаю конфиденциальное письмо от директора канцелярии, что граф предписывает мне ограничиться тем, что я успел сделать, и нимало не медля вернуться в Петербург.

Я был очень этому рад, в два дня собрался и уехал. Дорогою Иван Петрович не отставал — нет, нет, да и покажется, но теперь, от перемены ли места или от того, что человек ко всему привыкает, я осмелел и даже привык к нему. Мотается он у меня в глазах, а я уже ничего; даже иногда в дремоте как будто друг с другом шутим. Он грозится:

— Пробрал я тебя!

А я отвечаю:

— А ты все-таки по-французски не выучился!

А он отвечает:

— На что мне учиться: я теперь отлично самоучкой жарю.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В Петербурге я почувствовал, что мною не то что недовольны, а хуже, как-то сожалительно, как-то странно на меня смотрят.

Сам Виктор Никитич видел меня всего одну минуту и не сказал ни слова, но директору, который был женат на моей родственнице, он говорил, что ему кажется, будто я *нездоров*...

Разъяснений не было. Через неделю подошло рождество, а потом Новый год. Разумеется, праздничная суголока — ожидание наград. Меня это не сильно озабочивало, тем более что я знал мою награду — «Белый орел». Родственница моя, что за директором, еще накануне мне и орден с лентой в подарок прислала, и я положил в бюро и орден и конверт с ста рублями для курьеров, которые принесут приказ.

Но ночью вдруг толк меня в бок Иван Петрович и под самый под нос мне *шиш*. При жизни он был гораздо деликатнее, и это совсем не отвечало его гармонической натуре, а теперь, как сорванец, ткнул шиш и говорит:

— С тебя пока вот этого довольно. Мне надо к бедной Тане, — и сник.

Встаю утром. — Курьеров с приказом нет. Спешу к зятю узнать: что это значит?

— Ума, — говорит, — не приложу. Было, стояло, и вдруг точно в печати выпало. Граф вычеркнул и сказал,

что это он лично доложит... Тебе, знаешь, вредит какая-то история... Какой-то чиновник, выйдя от тебя, как-то подозрительно умер... Что это такое было?

— Оставь, — говорю, — сделай милость.

— Нет, в самом деле... граф даже не раз спрашивал: как ты в своем здоровье... Оттуда разные лица писали, и в том числе общий духовник, протопоп... Как ты мог позволить вмешать себя в такое странное дело!

Я слушаю, а сам, — как Иван Петрович из-за могилы стал делать, — чувствую одно желание ему язык или шиш показать.

А Иван Петрович, по награждении меня шишом вместо «Белого орла», исчез и не показывался ровно три года, когда сделал мне заключительный и притом всех более осязательный визит.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Было опять рождество и Новый год и также ожидались награды. Меня уже давно обходили, и я об этом не заботился. Не дают, и не надо. Встречали Новый год у сестры, — очень весело, — гостей много. Здоровые люди ужинали, а я перед ужином посматриваю, как бы улизнуть, и подвигаюсь к двери, но вдруг слышу в общем говоре такие слова:

— Теперь мои скитальчества кончены: мама со мною. Танюша устроена за хорошего человека; последнюю шутку сделаю и же ман вэ! — И потом вдруг протяжно запел:

> Прощай, моя родная,
> Прощай, моя земля.

«Эге, — думаю, — опять показался, да еще и французить начал... Ну, я лучше кого-нибудь подожду, один по лестнице не пойду».

А он мимо меня изволит проходить, все в том же вицмундире с пышным гранатного цвета галстухом, и только минул, вдруг парадная дверь так хлопнула, что весь дом затрясся.

Хозяин и люди бросились посмотреть, не добрался ли кто до гостиных шуб, но все было на месте, и дверь на ключе... Я молчал, чтобы опять не сказали «галюцинат» и не стали осведомляться о здоровье. Хлопнуло, и шабаш, — мало ли что может хлопать...

Я досидел случая, чтобы не одному идти, и благополучно возвращаюсь домой. Человек у меня был уже не тот, который со мною ездил и которому Иван Петрович пропилейные уроки давал, а другой; встречает он меня немножко заспан и светит. Проходим мимо конторки, и я вижу, что-то лежит белой бумагой прикрыто... Смотрю, мой орден Белого орла, который тогда, помните, сестра подарила... Он всегда заперт был. Как он мог взяться! Конечно, скажут: «сам, верно, в забывчивости вынул». Так не стану об этом спорить, но а вот это что такое: на столике у моего изголовья небольшой конвертик на мое имя, и рука как будто знакомая... Та самая рука, которою было написано «жизнь на радость нам дана».

— Кто принес? — спрашиваю.

А человек прямо показывает мне на фотографию Ивана Петровича, которую я берегу, память от Танюши, и говорит:

— Вот этот господин.

— Ты, верно, ошибся.

— Никак нет, — говорит, — я его с первого взгляда узнал.

В конверте оказался на почтовой бумажке экземпляр приказа: мне дали «Белого орла». И что еще лучше, всю остальную ночь я спал, хотя слышал, как что-то где-то пело самые глупые слова: «До свиданс, до свиданс, — же але о контраданс».

По преподанной мне Иван Петровичем опытности в жизни духов, я понимал, что это Иван Петрович «по-французски жарит самоучкою», отлетая, и что он больше меня уже никогда не побеспокоит. Так и вышло: он мне отмстил и помиловал. Это понятно. А вот почему у них в мире духов все так спутано и смешано, что жизнь человеческая, которая всего дороже стоит, отомщевается пустым пуганьем да орденом, а прилет из высших сфер сопровождается глупейшим пением «до свиданс, же але о контраданс», этого я не понимаю.

ЛЕВША

(СКАЗ О ТУЛЬСКОМ КОСОМ ЛЕВШЕ И О СТАЛЬНОЙ БЛОХЕ)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть, — и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, — Платов сказал себе:

— Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки,[1] дерябнул хороший стакан, на дорожний складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит, — только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень

[1] Кизлярки. *(Прим. автора.)*

хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.

— Вот, — говорят, — какая у нас производительность, — и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах, — говорит, — как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе

сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? — думал Платов, — совсем того не понимаю», — и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане всё государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар *молво?*

А англичане и не знают, что это такое *молво.* Пере-

шептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, славу богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот, — говорят, — изволите видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же, — государь говорит, — я его не вижу?

— Потому, — отвечают, — что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте, — говорят, — взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две вероятии в сторону, потом в другую, и так в три вероятии всю кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами, — хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что, говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр, — говорит, — всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

— Оставь, пожалуста, это не твое дело — не порть мне политики. У них свой обычай. — И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана преламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, — говорит, — принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота.[1] Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — всё могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет

---

[1] «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея *Федотова*-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то *Федотов*-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». *(Прим. автора.)*

и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты, — говорит, — к духовной беседе невоздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое, — говорит, — теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны, — а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, — но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, — никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я, — говорит, — пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это, — говорит, — так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, — и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это, — говорит, — ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке, — тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, — не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их

жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нацыя тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, — говорят, — надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые приял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать, — остановись и спосылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть, — говорит, — будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего, — я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, — тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

— Тонкой работы, — говорят, — мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе *что-нибудь* государеву великолепию достойное представить.

А *что именно,* этого так-таки и не сказали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще

потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уезд-

ному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и престрашного» — святитель Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего неизвестно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит, — не выскочут ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда, — и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялися.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили, — тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще нескоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Всё, — отвечают, — готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и форейтор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, — видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Всё здесь в вашем виду, — и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же, — отвечают. — Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил, — никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете, — мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, — мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстанусь, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга вроде пубеля, — ты мне за всех ответишь. А вы, — говорит свистовым, — теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заго-

ворит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория, — говорит, — ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, — а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки

ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите, в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

— Я тебе, — говорит, — такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят, — потому они его терпеть не могли за храбрость.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут.— И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, — словом ска-

зать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает. — Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить, — пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы, — говорит, — вот как клали. — И положил блоху под мелкоскоп. — Смотри, — говорит, — сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь вопросил:

— А как же надо?

— Надо, — говорит, — всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи, — говорит государь, — это уже очень сильно мелко!

— А что же делать, — отвечает левша, — если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет, — отвечает левша, — моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому, — говорит, — что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми под-

ковки забиты, — там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья оттодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит, — это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть, — говорит — над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: *«Ай люли — се тре жули»*.

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а ка́к чего-нибудь поаглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, — англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне,— он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

— А самого этого мастера, — говорят, — мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе — за руки. «Камрад,— говорят,— камрад —

хороший мастер, — разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает, — может быть, отравить с досады хотите.

— Нет, — говорит, — это не порядок: и в Польше нет хозяина больше, — сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это, — спрашивают, — за книга в России «Полусонник»?

— Это, — говорит, — книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой

машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом, — говорит, — спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня, — говорит, — дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы, — говорит, — к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы, — говорят, — обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого, — ответил левша, — никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому, — отвечает, — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши праотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое евангелие содержим.

— Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англи-

чанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают. — Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем,— говорит,— напрасно девушек морочить.— И отнекался. — Грандеву,— говорит, — это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

— А если, — говорят, — без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

— У нас, — говорит, — когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нацыи не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы, — говорят, — только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое

надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия, — отвечает левша, — нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же, — говорят, — ваш фасон лучше?

— Наш фасон, — отвечает, — в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

— А потом, — говорят, — мы его на своем корабле привезем и *живого в Петербург доставим.*

На это он согласился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались,— и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде

ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, — на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфирях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет, — засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это, — говорит, — против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли, — говорит, — я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как, — говорит, — они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы,— говорят,— парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр, — говорят,— смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

— Это все равно, — отвечает, — где умереть, — все единственно, воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет, — отвечает, — мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец, — говорит, — рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так, — отвечал полшкипер, — так давай держать с тобой аглицкое парей.

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, — скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо, — говорит, — идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это, — говорит, — не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин.

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть и свое пари выдержать, — а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали

их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали,

так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы, — говорит, — два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него, — говорит, — хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец, — говорит, — очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил — теперь меня больше не уважают, — а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

— Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал, — тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется», — так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя, — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих вели-

чайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».

ЛЕОН ДВОРЕЦКИЙ СЫН

(ЗАСТОЛЬНЫЙ ХИЩНИК)

Из народных легенд нового сложения

В нынешнем году мною записана для И. С. Аксакова народная легенда «о косом левше» — простолюдине, в рассказе о котором выводится лицо государя Николая Павловича и многих важных людей его времени. Теперь я предлагаю вниманию читателей еще более новую легенду того же творчества, в которой слагатели выражают свои представления о хищниках, упоминая притом о государе Александре Александровиче как об искоренителе хищничества.

По моему мнению, это интересно во многих отношениях, и главнейше вот в каких: 1) возникновение новых легендарных сказаний свидетельствует о жизненности непосредственного, народного творчества и 2) оно обнаруживает замечательную оригинальность и проницательность народного ума и чуткость чувства, которые в их счастливом соединении дают простым людям возможность верно характеризовать данное время и по-своему иллюстрировать его особенности.

Последнее приносит тем бóльшую заслугу народной смышлености, что подобные сказания касаются таких лиц, условия жизни которых слагателям легенды незнакомы и самое представление о них в народе исполнено младенческой наивности. Отсюда самая фабула легенд полна нестаточности и противоречий, а язык испещрен

прихотливыми наносами дурно употребляемых слов самой разнообразной среды.

Последнее происходит, конечно, от слишком сильного старания слагателей попасть в разговорный тон того общественного слоя, из которого они берут выводимых ими лиц. Не имея возможности усвоить настоящий склад разговорного языка этих людей, они думают достичь наибольшей живообразности в пересказе, влагая в уста этих лиц слова как можно пестрее и вычурнее, чтобы не было похоже на простую речь.

Это составляет типическую черту *устной народной литературы*, представляющей лиц отдаленного от народной среды быта, и с этим читатель неминуемо должен встретиться и помириться в предлагаемой его вниманию легенде о Леоне дворецком сыне — застольном хищнике.

Но прежде чем мы увидим баснословного Леона и узнаем, какими хищениями он прославился и на чем был пойман, — остановимся на минуту на теплом, анекдотическом повествовании, сложенном о нашем нынешнем государе, которого народ с первых дней его воцарения наименовал *«хозяйственным»*.

Здесь еще два слова в сторону о царях и о народе.

Со времени Петра Первого до Александра II простой народ, конечно, имел очень слабые представления о *личном* характере царствовавших государей. Верные русские люди верно повиновались и служили всем своим государям, но почти не имели о них личных представлений. Царь и царица составляли для простолюдина понятие более общегосударственное, чем личное. Об одном Петре говорили, что был «воитель», а потом всех «почитали за одну стать» и лишь только в одной Малороссии опять *лично* отмечали «Катерину Крипачиху», то есть *закрепостительницу*. Симпатические черты Александра I, давшие обильный материал для исторических анекдотов, интересовавших людей образованных, простому народу остались «невнятными». Добродушие и мягкая деликатность чувств этого образованного монарха пленяли «благородных», но «чернородье» осталось вне круга этих вращений, и для него признавать новым царем Константина, а потом через несколько дней Николая Павловича было

все равно. Усопший император Александр Николаевич великим актом освобождения крепостных людей вызвал к себе в народе непосредственные, *личные* чувства: простой народ стал его *лично* знать и представлять его себе с личными чертами его собственного характера. Словом: народ полюбил его *лично* за его *личное* великодушное дело.

Ошибаюсь я или нет, но, насколько мне дано чувствовать и понимать биение народной жизни, по-моему, с этого великого события начинается исторический поворот в отношениях русского «всенародства» к своим государям. С уничтожением крепостной неволи «всенародство» быстро начало свое возрастание в свободе разумения и с этой поры, вероятно, всегда уже будет обнаруживать *личное* отношение к царствующей особе. Когда такие личные отношения стали сильнее, в простом народе стало проявляться сильное желание знать все, что возможно, о государе и его наследнике, который по естественному ходу вещей должен был в свое время занять престол отца. Про нынешнего нашего государя простолюдины старались узнать все, что можно, и что им удавалось узнать бог весть с чьего пересказа — все им очень нравилось. Но как узнать все, что хочется, нелегко и даже невозможно, то народ обратился к своему старинному средству: по каким-то мимолетным и неясным отзвукам, может быть, совсем непонятных ему речей он пошел *слагать* целые истории в своем вкусе и между прочим широко разнес по лицу русской земли следующий наивный анекдот. Всякий сейчас увидит, что для этого анекдота всеконечно нет никакого подтверждения в действительности, но в общем здесь что-то угадано, и притом едва ли не самое дорогое, — это именно народолюбивое настроение императора.

Наступающая легенда слышана мною на палубе парохода, шедшего из Рыбинска в Череповец. Рассказчик, торговый крестьянин, часто бывал в Петербурге и знал здесь многих людей, которые, по его словам, «имели обширные знакомства в публике и могли знать при дворе разные абсолютные обстоятельства».

Вот его рассказ, которому еще предшествует введение, служащее конечно вымышленною, но чрезвычайно теплою характеристикою нынешнего нашего государя.

Император Александр Николаевич освободил мужиков наперекор всем — своею силою. Много ему мешали, говорили и так и этак, но он молился со слезами преподобному Сергию Радонежскому, что «как ты, — говорит, — помогал великому князю Дмитрию на татар, так и мне помоги», и бог ему помог все сделать. Так он и сыновей вел правильно, чтобы если какие слова против простых людей услышат, тем бы никогда не верили и знали бы, как делом править. Николаю Александровичу он назначил науки по законам и по иноземным делам, а Александру Александровичу — все служебные распорядки и народную часть, и из них каждый к своему прилежал, на что родителем показано. Николаю Александровичу легче доставалось, потому что вся его часть была в книгах прописана, а Александру Александровичу досталось труднее, потому что про все просто житейское, о чем ему от отца узнать велено, — в книгах от давнего времени цензур скрадывает; люди же, которые высокого воспитания, одной правды сами не знают, а про другую не сказывают. О чем он их ни спросит, «почему это у нас делается так, а не этак?» — они ему отвечают: «это так надобно», а если он опять спросит: «почему же так надобно?» — они говорят: «так лучше всего». Проезжал он, например, раз по Невскому и видит, что рабочие мужики, которые мостовую перемащивают, легли отдыхать, а головы свои на гладырь-камень положили. Александр Александрович и спрашивает: «Неужели это им этак спокойно?» А те говорят: «Это им, ваше высочество, за привычку очень прекрасно».

Видит Александр Александрович, что очень трудно ему так настоящий народный материк понять, и перестал спрашивать, а только с этого раза уразумел, как его родителю хитро было одному сделать народу освобождение, и, подойдя к государю, со слезами облобызал его руку и сказал все, что чувствует.

Государь Александр Николаевич выслушал, и у него на глазах слеза блистанула.

— Правда твоя, — отвечал, — не легко мне было, но за то благодарен богу, что сделалось; а ты за твои чувства проси у меня какое хочешь себе по летам утешение.

Александр Александрович опять у родителя другую руку поцеловал и так ответил:

— Мне теперь при моем довольстве ничего не надобно, а пусть вперед зачтется.

Государь согласился и сказал: «Когда захочешь, тогда и проси, я не позабуду».

После того прошло немало дней, а тем временем другой маленький случай вышел: едет раз Александр Александрович из Царского Села кататься с провожающим в открытной коляске, а кататься он обожал не по битым аллеям, где господа бзырят, а больше по простым путям, где вокруг поля и леса видны и замечать можно, как вокруг сельские люди труждаются.

День был холодный и сиверкий, и после большого дождя обширные лужи стояли, и видит великий князь, что по тем лужам небольшие сельские робяточки ходят босыми ножонками в мокрых свитинках, и руки у них от холоду синие, и всё они ими что-то ловят да за плечи в дырявые мешки опускают.

Он и спросил провожающего: «Что это такое те малые ребятенки делают?»

Тот отвечает: «В прогулку играют». А Александр Александрович давно такой приказ дал, чтобы ему, когда он едет, всегда в боковом кармане в коляске дальновидный венокль полагался. Он этот венокль вынул, навел стекло и видит, что крестьянские дети прутики на топливо собирают, и у него на очах слеза намутила.

Провожающий говорит ему: «Из-за чего это вы, ваше высочество? Им это проминаж в удовольствие». А Александр Александрович кротко молвил: «Я это просто от ветра», — и велел кучеру ко двору ехать. Очень он хотел расспросить: отчего это так, что вокруг таковые леса, а они с толикой нуждой прутики собирают, но не стал ничего говорить, а приехал домой и все скучный был, но решил себе, что «я, говорит, про этот проминаж сам собою доведаюсь», и как при дворе обеденный стол отошел, он и просит государя его с собою вечером кататься взять.

— Я, — говорит, — нынче дорогой вам мою просьбу скажу, которая мне зачтена.

Государь согласился, и они поехали.

Как они выехали в парк, государь спросил:

— В чем просьба?

А Александр Александрович отвечает:

— Это еще не здесь можно сказать, а велите сделать большой кривопуток, в самое отдаленное место отъехать, где бы нас ниоткуда видеть нельзя было.

Пустили кривопутком в такое самое отдаленное место, где уж никаких ни бюстров, ни фимер не стоит, а только высокие деревья, от коих в небо дыра, а на земле лужина.

Тут Александр Александрович и сказал:

— Просьба моя, — говорит, — в том, что дозвольте мне по луже босиком походить.

Государь удивился:

— Отчего это, — говорит, — такая фантазия?

А Александр Александрович отвечает:

— После я все доложу, а теперь прошу дозволения, как обещано.

Государь свое слово сдержал и позволил, а после, когда назад возвращались, Александр Александрович ему открылся.

— Я, — говорит, — детское положение в крестьянстве знать желал, потому что мне все неверно сказывают.

Государь его похвалил и, за ручку взявши, у себя ее под шинелью к сердцу прижал.

— Это, — изволил сказать, — хорошо, всеми мерами грунту доходи, только об этом разе матери не сказывай, а то она опасаться будет, чтобы не простудился, а своему дядьке вели, чтобы завтра утром мне о твоем благополучном здоровье ранний бюкжет подал.

Ушли годы и резко изменили обстоятельства. Александр Александрович сделался наследником престола и «стал своим домом хозяйствовать».

Тут и появляется в туманных грезах народной фантазии какой-то «Леон дворецкий сын» — придворное лицо, которого значение и роль в действительности ни к чему приноровить невозможно, а между тем в развитии касающейся его фабулы есть проникновенная попытка создать довольно цельный тип.

Засим наступает повествование о Леоне.

Леон во всех хозяйских делах провор и поспех делал. Старше его находился лейб-мейстер, но во всяком хозяйственном распоряжении Леон больше этого заведовал, потому что лейб-мейстер был из больших господ и никакого дела не понимал; обо всем он должен был спрашивать, а не знал, у кого о чем спросить надобно. Леон же был многоопытный, настоящего, коренного, придворного семени и как родом своим, так и проворством во всех местах славился. Отец его был большой дворецкий, и отцов отец точно то же, и так они далеко шли всё по одной линии, а к тому же Леон еще больше был через жену усилен и через нее место получил. Леонова жена родом выходила еще именитее мужа, потому что ее отец был реткнехт, а мать придворная корцысканка, но, еще того важнее, у нее была дамского совета крестная хапфрау. Когда вышла одна бролиантовая история, корцысканка с места своего сбежала, а дочь оставила крестной, и та ее воспитала в своих понятиях и потом через одну лейб-мейстерову куколку так приступила, чтобы корцысканкину дочь за Леона замуж выдать и место ему по закупной части дать... Лейб-мейстер своей куколке ни в чем отказать не мог и поставил Леона на это место.

Житье им обоим было чудесное, потому что все им принесено и подано готовое и живут они в тепле и при ярком освещении в больших покоях и никуда ни для какой надобности низачем корцысканкиной дочери не надо на ветер выходить. Тут и баня, тут и аптека, тут же по коридорам и в храм божий пройти помолиться, тут и лекарь и обер-священник, если надо исповедоваться. Родятся дети, и то им не в убыток себе, а даже к прибыли, потому что идет за каждое рождение от казны награда, а потом еще особливо дается на крестины и на определение, а крестить кумовьев искать не надо. Все без труда идут: хотишь штатского со звездой, хотишь военного с вексельбантами. Леоном никто не пренебрегал, потому что должность его по мартитантской части была самая для каждого полезная и он всегда мог которого вежливого вспомнить и хорошо принять, а если который к нему неискателен, он мигнет лакею — «обнести его блюдом»,— тот сейчас у всех на глазах и обнесет, или кивнет на другой манер, чтобы плеснуть ему вина из бутылки за последний сорт, тот и угостит подмадерным хересом или

еще хуже, а жаловаться на них не стоит, потому что они без совести заклянутся, забожатся и сам же за них виноват выйдешь. Но при всем том благополучии жизнь Леонова одним была пренесчастная: жена его была с большим буланцем, очень надменное имела о себе мнение и мужа терпеть не любила.

Леон из себя был ни хорош, ни дурен, а средственный, и то к ночи хуже становился, а с утра, как придворным лицерином по положению вытрется, то со всеми в один вид выходил. Однако корцысканкина дочь его находила не во вкусе и говорила, что он ей хуже Квазиморды, которого в театре представляют, и считала так, что через замужество с ним вся ее жизнь погублена, потому что без этого при ее образовании она надеялась кого-нибудь важного лица на бартаж принять и после всю жизнь по-французски разговаривать. «Теперь же, — говорит,— все это пропало, и вы по крайней мере должны для меня страдать и доставлять мне все благополучия». А иначе грозилась сходить к крестной хап-фрау и пожаловаться, а «тогда, — говорит, — вас для моей красоты сейчас с места сгонят».

Леон видит, что дело плохо, — начал жене потрафлять, но все равно угодить ей никак не мог. Все ей по его наружности не нравилось, и она к нему придиралась за то, в каком виде его бог сотворил: «у вас, — говорит, — нос бугровый». Он рассудительно ответит: «это от бога», а она, как змея: «нет,— говорит,— это от вина, вы много казенного вина пьете, а вы лучше его прячьте да продавайте». Он хочет ей понравиться, намажет нос губной помадой, а она говорит: «так еще хуже. Вы бы лучше не на помаду тратили, а зрительную ложу мне в театр взяли». Он ее в театр свозил, а она вместо того, чтобы мерси́ти сказать, еще более обиделась, говорит: «Я простых представлений без пения не люблю, мне надо в оперу». Леон повез ее в самую лучшую оперу «Жизнь за царя»: «Слушай,— говорит,— сколько хочешь». Здесь уже, разумеется, все вполне хорошо: актриса мальчиком переделась и поет: «Медный конь в поле пал, я пешком убежал», а после Петров делает страшное гудение, но ей и это не нравится: «Медный конь это, — говорит, — одно воображение — его не видно, а у Петрова очень рот большой».

Леон отвечает: «Что тебе в том, если у него рот велик? Нет в том ничего удивительного — потому что он пятьдесят лет поет. Попой ты столько, и у тебя рот растянется», но она ни одного умного рассуждения знать не желает, а требует уже лучше смотреть итальянских Губинотов. Леон говорит: «К чему же нам итальянское, когда мы их языка не понимаем», а она отвечает: «Совсем навпротив, — я очень чужие языки люблю и даже сама по-французски могу говорить». Но как ей у себя по-французски не с кем было разговаривать, так она начала только всем назло простые русские слова в нос пускать: простую лепешку *«лanпешкой»* назовет, конфетки по ее *«ванпасье»,* и ела бы она все не русскую морковью с свекловьей, а *«ванфли»* да супы с дьябками. Словом — ума с нею Леон не подберет, как с ней обходиться, а если Леон ей в чем-нибудь чуть сопротивится, она его сейчас вон из комнаты, а сама тюп на ключ. Он говорит: «Разве так можно против закона и религии», а она отвечает из-за двери: «Я все презираю», и сама одна в двуспальную постель уляжется, а его оставит на всю ночь в беспокойной ажидации.

Жизнь Леонова через эти неприятности столь стала отяготительная, что он даже к священнику прибегал — рассказал ему, как духовному отцу, всю подноготную и просит: «Нельзя ли, ваше обер-преподобие, дать ей от священного сана назидацию на лучшую жизнь».

Батюшка не очень охотно, но согласился.

— Я, — говорит, — могу попробовать, но прямо об этом говорить не могу, а если она придет к ковсеношне или к кабедни, — я ей дам просвиру и потихоньку самую легкую шпилечку ей пущу.

И один раз пустил, да только такую легкую, что она просвиру с чаем выпила, а шпилечку и не заметила.

Леон ее стал посылать в другой раз ко всенощной, а она говорит:

— К ковсеношне мне нельзя — я с французским кандитером поеду в итальянский театр смотреть, как будут петь «Бендзорские девушки».

— Ну так еще раз сходим завтра к кабедне.

— И к кабедне, — говорит, — я не могу; потому что мне надо одеваться в концерт дешевых студентов.

Горе взяло Леона ужасное, что батюшка один случай пропустил, а другого нельзя устроить, он и сказал жене:

— Что же хорошего в дешевых студентах?

А она отвечает: «Я очень люблю, как они поют разбойницкую песню «Бульдыгомус игитур», а главное мое в том удовольствие, что вы за мною туда не последуете!»

Так уже без всякой церемонии его отбивать стала, и Леон уж ее и перестал спрашивать: куда идет и откуда ворочается, потому что ему без нее в домашнем житье хотя малый отдых был. Но она, как настоящая корцысканская дочь, на том не перестала, а начала к себе без спросу гостей приглашать: от дешевых студентов прямо привезла к себе одного поляцкого шляхтица, который в гласном суде служит.

— Вот этот господин, — говорит, — если вы под суд попадете, вас оправить может.

Леон это как услыхал, так даже за волосы взялся и говорит: «Не хочу я его оправдания, и в нашем сословии мы закону не подвержены, а или вы с ним убирайтеся, или я уйду, и тогда вас выгонят», но она отвечает по-французски:

— Это очень глупо, нам всем антруи будет хорошо.

Леон пригрозил: «А если, — говорит, — и я таким же манером из себя выйду и себе постороннюю приязнь заведу? хорошо ли это будет?»

А корцысканкина дочь смотрит на шляхтица и уже по-польски отвечает: «Пршелесно!» Такая была переимчивая!

Леон опять к священнику, просит: «Ваше обер-преподобие, нельзя ли еще одну шпилечку!»

Тот отвечает:

— Хорошо, попробую.

И точно, когда раз Леонова жена разоделась и пришла под крещенье к ковсеношне святую воду слушать, он ее после службы за руку взял и ласково сказал:

— Нехорошо.

Она спрашивает: «Насчет чего?»

— Насчет тайны супружества.

А она глазом не моргнула, а ответила: «Я, ваше обер-

преподобие, никогда никаких слов на свой счет не беру»,— и после того мужу еще хуже объяснилась.

— Вы, — говорит, — очень глупы, что просили духовное лицо мне пропуганду сделать, у меня характер еройский, и я ничего не боюсь, и закон и религия — мне все равно что глас вопивающий.

Леон отвечает, что он не мог перед священником скрыть, потому что «я,— говорит,— пасомый, а он пасец».

— А я,— отвечает жена,— ему такую брыкаду у всех на глазах устрою, что к нему больше никогда не пойду, а буду ходить ко всем слепым и, еще лучше, там в первых рядах стану. А вам так отплачу, что завтра же ваше двуспальное кольцо у Скорбящей в нищую кружку брошу, чтоб вы совсем знали и мне больше и мужем называться не смели.

Леон ее взял за руку, а на ней двуспального кольца уже и нет.

Она говорит: «Я его еще вчера сбросила, потому что я теперь знакома с мамзель Комильфо и через одно ее слово лейб-мейстеру я тебе рад и ай сделаю. Смирись,— говорит, — и покоряйся, потому что у меня характер еройский, а между тем я тебя хорошему делу выучу, через которое мы ссориться перестанем, а будем жить в лучшем счастии». И начинает ему выкладывать, что «я, — говорит, — по моему характеру, в такой ничтожной простоте жить не могу, и ты меня законом и религией ни к чему не подведешь, на этот счет я сама и начатки и кончатки учила, и все оставила, а как у меня через все волнения и ударения к чувствам, которые через твою низость вышли, детское молоко бросается, то я должна на Кавказ ехать мангральный Дарзанс пить, и мне нужно много денег, которые ты получить можешь.

Леон спрашивает: из каких богатств?

— Явись,— говорит,— сегодня вечером к моей крестной хап-фрау — все узнаешь.

Леон хап-фрау не мог ослушаться, потому что эта если зовет, то непременно за делом и может быть человеку в пользу, а если против нее хоть одну каплю поступить, — у нее нет прощады: она сейчас через какого-нибудь интригантуса страшный вред сделает. Через это

опасение к ней все и ездили и всё по ее модели делали и удивлялись, как она мало получает, а в полной достаче живет. Даже и самым важным лицам у нее нравилось между собою встречаться и обо всех больших делах разговаривать, о которых никому знать было не нужно.

Леон дождался времени, когда ему свободно стало свой треугольный цилиндр скинуть, надел поскорей простой плоский циммерман, перед лицом дождливый зонтик растопырил, чтобы его узнать нельзя, и вышел. Порядил он извозчика прямо на острова в одностороннюю улицу, где у хап-фрау своя дача была, без всякого по другой стороне противного соседства, так что никому нельзя было видеть, кто к ней ездит и в каком часу.

Попросил Леон о себе доложить и думает: как она его примет и будет разговаривать — вкратце или по вятикету.

Хап-фрау позвала его к себе в кабинет и стала с отдаленности говорить по вятикету, сначала много пустых, лишних слов спустила, а потом показывает ему коробочку с почтовыми марками от старых писем и говорит:

— Обратите внимание, чем я занимаюсь? что это?

Леон отвечает: «Марки конвертные».

— А для чего они? Ведь они уже никуда не годятся. Это тоже не всякий может понять!

Леон говорит: «Для блезиру».

— Совсем нет, блезир — пустяки; а это для того, что кто тридцать тысяч марок соберет и в китайское посольство на Сергиевской представит, тому из Китая маленького живого невольника с шелковой косой дают. Вы этого не знали?

Леон говорит: «Не знал».

Она не похвалила.

— Нехорошо, — говорит, — надо все знать и собирать, потому что могут быть разные обстоятельства.

Леону это суждение понравилось, потому что хоша он и был против казны душой не безгрешен, но для себя был очень рачителен. А дама ему и другие большие откровенности показала и говорит:

— Моя жизнь, — говорит, — никому непонятная, потому что у меня расходов много, а доходов нет, но между тем, — говорит, — я не бесплодный ангел, мне пить, есть надо и одеваться, а также и лекарь нужен, потому что

у меня постоянный бекрень в голове, но я такую экономию соблюдаю, что даже для одной болезни никогда лекаря не зову, а жду, пока еще что-нибудь заболит, и тогда разом гораздо дешевле стоит.

Леон отвечает: «Это вы очень справедливо».

— Да, — говорит, — так только и жить нужно, а другие себе ни в чем отказать не хотят и чуть что-нибудь — сейчас на воды Дарзанс пить или в немецкие леса к баварской юнгфрау травами пользоваться, а это очень начетисто.

Леон думает: «Как превосходно она все говорит! Попрошу-ка я ее, нельзя ли моей жене такую назидацию сделать. Она, если от важного лица — принять может».

Но прежде, чем Леон это сказал, хап-фрау взяла уже в другой род.

— Я, — говорит, — вас позвала к себе не по своему делу, а чтобы вас забеспечить, как бы через одну неосторожность в государстве каких-нибудь больших пустяков не вышло. Для того объясните мне сейчас: почем вы трехрублевый чай в буфетный счет пишете?

Леон такого сильного вопроса сразу не ожидал и не мог ответить, а хап-фрау ему говорит:

— Вы знаете ли, что передо мною ни у кого никаких тайностей нет, мне надо все говорить, как попу на духу, откровенно, и потому я сейчас знать должна: почем у вас трехрублевый чай стоит?

Леон говорит: «По четыре с полтиной» — и соврал, потому что он много дороже ставил.

Хап-фрау на него посмотрела и говорит: «Я не ожидаю, чтобы это было так дешево».

Леон забожился.

— Ну, хорошо, — говорит дама, — теперь же я вам объясню, для чего мои вопросы. У меня ваш лейб-мейстер был и жаловался, что слышно, будто везде думают экономию загонять, и он тому желает подражать, и спросил меня: почем трехрублевый чай стоит? Я боялась, как бы не сказать меньше, чем у вас ставится, потому что я мою крестицу сожалею и за вами послала.

Леон смекнул, что дело к нему подбирается, и в отчаянности прямо спрашивает:

— Сколько же вы изволили за трехрублевый назначить?

Она говорит: «Я ему только вдвое назначила», значит сказала всего шесть рублей.

Леон говорит:

— Это действительно против нашего на три рубля меньше, потому что у нас с давних времен все втрое считается.

— Ну так это, — говорит, — надо спешить поправить. Поспешайте сейчас к мамзель Комильфо и попросите ее, чтобы, когда он ее спросит, то чтобы она ответила: девять рублей. Он ей больше чем мне поверит, а ей через это самой будет выгодно: она будет больше на себя получать.

Леон говорит: «Я боюсь ей такое предложение сделать, она ему очень близкая».

— Ну так я, для крестицы, сама ей скажу.

Леон поклон хап-фрау чуть не до земли, а через два дня она его опять к себе кличет и говорит: «Бог вам счастие посылает, дело сделано: только мамзель Комильфо, — говорит, — ошиблась и сказала, что трехрублевый чай стоит теперь пятнадцать рублей. Ей, — говорит, — это было нужно на другие расходы прибавить, и как она была для вас полезная, то и вы ее теперь смотрите не сконфузьте и то же самое в своих счетах пятнадцать рублей представьте, а то по затылку и вон».

Леон думает: «Послать-то мне это бог послал, только не была бы очень громка эта музыка...»

Пятнадцать рублей за три показывать Леону поначалу немножко страшновато было, однако, помянув, каких он имеет союзников и что надо друг друга поддерживать, как стал подавать счет, взял да выставил трехрублевый чай по пятнадцати рублей. А лейб-мейстер посмотрел и говорит: «Да, это правильно; я хорошо цены знаю, и сам в этом удостоверился: трехрублевый чай действительно стоит пятнадцать рублей. Зато заваривать, — говорит, — с этих пор для гостей против трех ложечек по две».

Леон пошел к хап-фрау и рассказал, что все исполнил благополучно и никого не выдал.

Та говорит: «Очень хорошо — гостям можно супротив трех и по одной сыпать, и будет им очень хорошо, а нам всем к выгоде; но только теперь представьте мне ведо-

мость, сколько всякого другого продукта через вас требуется, и я определю вам согласное назначение».

Леону это не показалось, и он спросил: «Для какой же это надобности?» Но она пояснила, что так надобно.

— Вы, — говорит, — каким способом все расчисляете?

Он отвечает: «Способ один, выкладаю на счетах и сношу себе, что в отставку».

— Нет, — говорит, — так в свете не годится, это надо двуями способами — плюсить и минусить по тройной бугометрии, и тогда ничего открыть нельзя. Принеси ко мне реестры, и я вас выучу, а без того вы можете за один чай пропасть без прощады.

Леон волей-неволей представил ей все реестры, а она взяла карандаш в руки и пошла черкать: одной рукой плюсит, а другой минусит, а потом смешала все по тройной бугометрии, так, чтобы никому понять нельзя, и в результате вывела большие тысячи.

— Вот вам, — говорит, — от меня главное положение, спишите здесь же на моем столе с него копию своею рукою и усматривайте полезное, а результе сводить приходите ко мне по бугометрии, чтобы во всех высших областях выходило одно согласие. А притом от всех этих прибавок вы должны не все себе одному брать, а делить опять по бугометрии: одну половину которую-нибудь доставлять мне, а другую остальную половину делить еще пополам: одну четверть вам, а другую куколке Комильфо, и кроме того, чтобы вы из своей части давали по сту рублей в месяц лейб-местерову комердинеру и буфетчику, и пятьдесят куфельному крестьянину. Иначе для вас от них может вред быть, а мне с ними говорить не пристало.

Леон и глаза выпучил: «Помилуйте, — говорит, — за что же так, мне это обидно: я за все в первом ответе, а часть моя по этим видам будет самая скудная».

А она ему цыц показала в том смысле, что если не нравится, то убирайся вон; он и попросил извинения и повел дело как сказано, в новом порядке. Но как ему мало стало, то он от себя поправил, начал еще накидывать и научился тоже однюю рукою плюсить, а другою минусить, чтобы и на его долю в отставке что-нибудь оставалось, и уже валяет в отчаянности не втрое или вчетверо, а в двадцать и в тридцать раз. Ужасно подумать, сколько хитить начал, так что даже и сам поначалу

робел, но потом видит, что у них кругом это колесо ровно идет, и осмелел. Пошло уже тут такое хищение, что и сказать нельзя, и много лет катило ровно волной во всю реку от одного берега до берега, и истинника уже нигде видно не стало. Но одно Леону было томительно, что не мог он знать с этой поры: кто его набольший: лейб-мейстер или хап-фрау, да и дела у него чрез бугометрию стало большая кучка. Много надо было ума, чтобы весь свой лепартамент в дележке успокоить, чтобы все сыты были и никто не сделал неаккуратности. Это так постоянно Леона скребло и мучило, что он был и невесел и говорил жене:

— Мне теперь, — говорит, — хуже прежнего, потому что я тогда в умеренной прибавке все мог на счетах прокинуть и спокойно пил и ел и детьми моими вечером на ковре мог, как медведь с медвежатами, утешаться, а теперь я чрез твою крестную постоянно должен только плюсить да минусить и ожидать в томлении, тогда как другим против меня гораздо лучше.

Но жена его, как сказано, была с буланцем и нисколько мужа не жалела, а, напротив, хвалилась, что он должен себе за честь считать быть в большом общем хищении, а «за предбудущее, — говорит, — бояться глупо, потому что я тебя в суде чрез своего знакомого поляцкого шляхтича в чем хочешь оправлю».

Леон услышит таковые ее глупости и только головой покачает и не раз ей доводил, что, дескать, «мне не закон страшен, потому что нашего звания особ по законам судить никто не смеет, а зато нам надо держать себя навприготове, как бы кого-нибудь не следующего не спросили: почем какой предмет стоит».

Но она, как необстоятельная, так расположилась, что ничего этого быть не может, потому что никогда на это еще ни у кого решения не было, — и при больших доходах она еще больше в себе такого упрямого буланцу запустила, что даже очень ей потрафлять трудно стало. Все ей не хорошо и со всеми равняться хочет. Всякий раз, как у мамзель Комильфо побывает и какие обстоятельства там увидит, — сейчас точно такие же самые обстоятельства чтобы и у нее дома были. У той ничего простого — и эта тоже требует: меняй да переменяй ей все в ежедневно и не знать для какой надобности. Комнаты,

например, которые нонеча только новой бумажкой оклеют, вдруг завтра велит обдирать и на другой манер делать, чтобы не было, например, в один какой цвет, а с разноцветом: например, туник чтобы светлее, а карнолин с потемочкой. Так в этом и настоит, а только что ей этак сделают, у Комильфо, глядишь, уже выкинуто на другую модель, например с мигальёнами, — и она сейчас себе того же самого требует и даже такая аспидская, что ту еще превзойти хочет. Это уже сдирай прочь и карнолин и туник, а делай ей семь спящих дев в мигальёнах. Комильфо себе обнову — и она тоже; та портрет в каждом платье — и эта не отстает, а опять обогнать умеет. Одних портретов своих наснимала во всех видах, что и девать некуда, и обыкновенные, и кабинетные, и как Комильфо сделала спальные безбилье — и она тоже. В том и все время свое разгуливала, что за этим следила, а дела никакого не делала. Леон ей станет сколько раз говорить: «Сколько, — говорит, — мы лет в тайне супружества, и у нас пять сыновей — все мальчики и дочь-девочка — ты бы хотя с ними малость занялась — поучила бы их хоть палочкам, как те ша и ша те выводить».

— Это, — отвечает, — одни глупости: мы в своем порядке подадим просьбу, нам на мальчиков деньги в пансион отпустят, а мы их даром в школу полпрапорцев отдадим, а девочку в училище девиц женского пола.

Мальчиков совсем смотреть не хотела, а девочку хорошо образовала, так что если кто к ним придет и скажет: «сделай никсу», та сейчас ножку под себя подвернет и сниксит. Велят ей заиграть на фортепиано — эта заиграет, или, если, для красоты, мать скажет: «подними левое ухо выше, а правое опусти, или левое опусти, а правое подними», она все это понимает и сделает, а мать утешается и после ее за послушание в гостиный двор и дарит ей дорогие игрушки, как заводную мышь, которая по столу бегает, или куклу в сто рублей, которая папакает и мамакает.

Так и уходило по пустякам все Леоново богатое хищение, и в отставке у него ничего не оставалось, кроме счастливых билетов, на которые двести тысяч можно выиграть. Все, которые от его похищений рвали, жили в свое удовольствие; особенно хап-фрау. Та, как была всех умнее, то только и знала, что по всем ведомостям за паде-

жом бумаг следила да пупоны стригла и посылала в заграничный банк, потому что не верила своим домашним обстоятельствам. А Леон, будто сердце его что-то чувствовало, ничем не утешался и даже к богу стал в томлении обращаться; ночью вставал и в Маргарите читал тот артикул, где пишется: «О, злого зла злейшее зло жена злая», но сократить свое хищение нимало не мог, потому что компании боялся, и сам себя утомлял в хищении до той усталости, что порою думал: «Господи! уж кажись лучше бы меня кто-нибудь словил; но неужели же только такого человека по всему царству нет?»

И действительно так было, что есть в нашей империи всяких разных людей: и жиды, и армяне, и немцы, а такого человека, который бы мог Леона дворецкого сына с поличьем поймать, до сей поры не было, потому что никто из высоких особ *простого средства* не знал.

Здесь рассказ снова делает прыжок в сторону: нить развития страстных хищений Леона обрывается, и наступает заключительный эпизод с «простым средством», которое одно и могло быть страшно Леону дворецкому сыну, непрестанному застольному хищнику.

Как стал наследник Александр Александрович сам своим хозяйством жить, он посмотрел раз на все и понял, а ничего не спрашивает.

Леон думает: «Как было, так и будет, и иначе быть нельзя». И по таким мыслям ведет свое хищение попрежнему, одной рукой плюсит, другой минусит, а что в отставке — делит, а «простого средства» на себя не ожидает. Тут с ним и случилось чего не думано.

Изволил Александр Александрович ехать с супругой из большого дворца к себе домой по Невскому проспекту и видит, на панели мужичок-серячок стоит с латком, а на латке у него свежий сотовый мед, и он те соты режет да с прибауткой на лопатку подхватывает: «ах, мол, медмедочек, посластить животочек»; а все чернородье у него сладкий медок в разновес покупает и спешит всяк себе рот посахарить.

Александр Александрович и изволит говорить: «В нашей земле нынче такой праздник, что плоды и мед святят», и с тем как прибыл домой, сейчас повстречал на

подъезде Леона и приказал ему подать на блюде хорошего соту и десять яблок «доброго крестьянина».

Леон, в руках провор, в ногах поспех, духом вздел свой трехугольный цилиндр, слетел, купил и подает, а Александр Александрович его вдруг к невероятной для всех неожиданности принудил — взял да и вопросил:

— Сколько этот мед стоит?

Леон хватом ответил: «Двадцать пять рублей». А Александр Александрович, как народные простые обиходы понимает, сейчас рассудил: может ли это быть, чтобы такие фруктеры, которые простой мужик продает и простой мужик у него покупает, да этакую цену стоили? И вдруг к страшной для всех неожиданности одно самое *простое средство* изволил сказать:

— Позвать, — говорит, — ко мне мужика с латком!

Как это слово из его уст вышло, все по колено в пол ушли, а Леон на лицо пал и виниться стал:

— Не велите, — молит, — звать мужика, я и так всю правду скажу: хитил я тут на этой купле целых двадцать три рубля.

Александр Александрович изволил спросить юстиц-Панина:

— Что в таковых случаях надлежит за хищение по закону и обычаю предков?

Юстиц-Панин отвечал, что законы к Леонову званию издавна не прикладны, а по обычаю предков, в давнее время, при Катерине Великой, за такие дела давали хищнику для политики похвальный лист и месячину и посылали в Царское Село при ферме на птичный двор белых павлинов стеречь.

Но Александру Александровичу этот Катеринин предлог не понравился, и он изволил сказать:

— При мне пусть будет иначе: не надо мне хищников ни здесь, ни на птичный двор и ни в какое самое последнее место; а отпустить его с семьей в город без похвального листа и без месячины на вольное пропитание.

Вперед же повелел: чтобы во всех местах, где какой хищник окажется, всех равно одним законом судить.

Слово это пронеслось на целую Русь, и было оно за большую радость, потому что хищники опротивели всей земле злее самых злых врагов.

На том сказ и кончается.

ДУХ ГОСПОЖИ ЖАНЛИС

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

> Духа иногда гораздо легче вызвать, чем от него избавиться.
>
> *А. Б. Калмет*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Странное приключение, которое я намерен рассказать, имело место несколько лет тому назад, и теперь оно может быть свободно рассказано, тем более что я выговариваю себе право не называть при этом ни одного собственного имени.

Зимою 186* года в Петербург прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее из трех лиц: матери — пожилой дамы, княгини, слывшей женщиною тонкого образования и имевшей наилучшие светские связи в России и за границею; сына ее, молодого человека, начавшего в этот год служебную карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой княжны, которой едва пошел семнадцатый год.

Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границею, где покойный муж старой княгини занимал место представителя России при одном из второстепенных европейских дворов. Молодой князь и княжна родились и выросли в чужих краях, получив там вполне иностранное, но очень тщательное образование.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Княгиня была женщина весьма строгих правил и заслуженно пользовалась в обществе самой безукоризненной репутацией. В своих мнениях и вкусах она придер-

живалась взглядов прославленных умом и талантами французских женщин времен процветания женского ума и талантов во Франции. Княгиню считали очень начитанною и говорили, что она читает с величайшим разбором. Самое любимое ее чтение составляли письма г-жи Савиньи, Лафает и Ментенон, а также Коклюс и Данго Куланж, но всех больше она уважала г-жу Жанлис, к которой она чувствовала слабость, доходившую до обожания. Маленькие томики прекрасно сделанного в Париже издания этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные в голубой сафьян, всегда помещались на красивой стенной этажерке, висевшей над большим креслом, которое было любимым местом княгини. Над перламутровой инкрустацией, завершавшей самую этажерку, свешиваясь с темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из terra-cota миниатюрная ручка, которую целовал в своем Фернее Вольтер, не ожидавший, что она уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики. Как часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней под рукою, и княгиня говорила, что они имеют для нее особенное, так сказать таинственное значение, о котором она не всякому решилась бы рассказывать, потому что этому не всякий может поверить. По ее словам выходило, что она не расстается с этими волюмами «с тех пор, как себя помнит», и что они лягут с нею в могилу.

— Мой сын, — говорила она, — имеет от меня поручение положить книжечки со мной в гроб, под мою гробовую подушку, и я уверена, что они пригодятся мне даже после смерти.

Я осторожно пожелал получить хотя бы самые отдаленные объяснения по поводу последних слов, — и получил их.

— Эти маленькие книги, — говорила княгиня, — напоены *духом* Фелиситы (так она называла m-me Genlis, вероятно в знак короткого с нею общения). Да, свято веря в бессмертие духа человеческого, я также верю и в его способность свободно сноситься из-за гроба с теми, кому такое сношение нужно и кто умеет это ценить. Я уверена, что тонкий флюид Фелиситы избрал себе приятное местечко под счастливым сафьяном, обнимающим листки,

на которых опочили ее мысли, и если вы не совсем неверующий, то я надеюсь, что вам это должно быть понятно.

Я молча поклонился. Княгине, по-видимому, понравилось, что я ей не возражал, и она в награду мне прибавила, что все, ею мне сейчас сказанное, есть не только вера, но настоящее и полное *убеждение,* которое имеет такое твердое основание, что его не могут поколебать никакие силы.

— И это именно потому, — заключила она, — что я имею множество доказательств, что дух Фелиситы живет, и живет именно здесь!

При последнем слове княгиня подняла над головою руку и указала изящным пальцем на этажерку, где стояли голубые волюмы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я от природы немножко суеверен и всегда с удовольствием слушаю рассказы, в которых есть хотя какое-нибудь место таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разным дурным категориям, одно время говорила, будто я спирит.

Притом же, к слову сказать, все, о чем мы теперь говорим, происходило как раз в такое время, когда из-за границы к нам приходили в изобилии вести о спиритических явлениях. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видал причины не интересоваться тем, во что начинают верить люди.

«Множество доказательств», о которых упоминала княгиня, можно было слышать от нее множество раз: доказательства эти заключались в том, что княгиня издавна образовала привычку в минуты самых разнообразных душевных настроений обращаться к сочинениям г-жи Жанлис как к оракулу, а голубые волюмы, в свою очередь, обнаруживали неизменную способность разумно отвечать на ее мысленные вопросы.

Это, по словам княгини, вошло в ее «абитюды», которым она никогда не изменяла, и «дух», обитающий в книгах, ни разу не сказал ей ничего неподходящего.

Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма, которая притом не обделена умом, опытностью и образованием, и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался.

Мне было уже известно кое-что из природы духов, и в том, чему мне доводилось быть свидетелем, меня всегда поражала одна общая всем духам странность, что они, являясь из-за гроба, ведут себя гораздо легкомысленнее и, откровенно сказать, глупее, чем проявляли себя в земной жизни.

Я уже знал теорию Кардека о «шаловливых духах» и теперь крайне интересовался: как удостоит себя показать при мне дух остроумной маркизы Сюльери, графини Брюсляр?

Случай к тому не замедлил, но, как и в коротком рассказе, так же как в маленьком хозяйстве, не нужно портить порядка, то я прошу еще минуту терпения, прежде чем довести дело до сверхъестественного момента, способного превзойти всяческие ожидания.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Люди, составлявшие небольшой, но очень избранный круг княгини, вероятно, знали ее причуды; но, как все это были люди воспитанные и учтивые, то они умели уважать чужие верования, даже в том случае, если эти верования резко расходились с их собственными и не выдерживали критики. А потому никто и никогда с княгиней об этом не спорил. Впрочем, может быть и то, что друзья княгини не были уверены в том, что она считает свои голубые волюмы обиталищем «духа» их автора в прямом и непосредственном смысле, а принимали эти слова как риторическую фигуру. Наконец, может быть и еще проще, то есть что они принимали все это за шутку.

Один, кто не мог смотреть на дело таким образом, к сожалению, был я; и я имел к тому свои основания, причины которых, может быть, кроются в легковерии и впечатлительности моей натуры.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Вниманию этой великосветской дамы, которая открыла мне двери своего уважаемого дома, я был обязан трем причинам: во-первых, ей почему-то нравился мой рассказ «Запечатленный ангел», незадолго перед тем напечатанный в «Русском вестнике»; во-вторых, ее заинтересовало ожесточенное гонение, которому я ряды лет, без числа и меры, подвергался от моих добрых литературных собратий, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки, и, в-третьих, княгине меня хорошо рекомендовал в Париже русский иезуит, очень добрый князь Гагарин — старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать и который составил себе обо мне не наихудшее мнение.

Последнее было особенно важно, потому что княгине было дело до моего образа мыслей и настроения; она имела, или по крайней мере ей казалось, будто она может иметь, надобность в небольших с моей стороны услугах. Как это ни странно для человека такого скромного значения, как я, это было так. Надобность эту княгине сочинила ее материнская заботливость о дочери, которая совсем почти не знала по-русски... Привозя прелестную девушку на родину, мать хотела найти человека, который мог бы сколько-нибудь ознакомить княжну с русскою литературою, — разумеется, исключительно *хорошею,* то есть настоящею, а не зараженною «злобою дня».

О последней княгиня имела представления самые смутные и притом до крайности преувеличенные. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современных титанов русской мысли, — их ли силы и отваги, или их слабости и жалкого самомнения; но, улавливая кое-как, с помощью наведения и догадок, «головки и хвостики» собственных мыслей княгини, я пришел к безошибочному, на мой взгляд, убеждению, что она всего определительнее боялась «нецеломудренных намеков», которыми, по ее понятиям, была вконец испорчена вся наша нескромная литература.

Разуверять в этом княгиню было бесполезно, так как она была в том возрасте, когда мнения уже сложились прочно и очень редко кто способен подвергать их новому

пересмотру и поверке. Она, несомненно, была не из этих, и, чтобы ее переуверить в том, во что она уверовала, недостаточно было слова обыкновенного человека, а это могло быть по силам разве духу, который счел бы нужным прийти с этою целью из ада или из рая. Но могут ли подобные мелкие заботы занимать бесплотных духов безвестного мира; не мелки ли для них все, подобные настоящему, споры и заботы о литературе, которую и несравненно бóльшая доля живых людей считает пустым занятием пустых голов?

Обстоятельства, однако, скоро показали, что, рассуждая таким образом, я очень грубо заблуждался. Привычка к литературным прегрешениям, как мы скоро увидим, не оставляет литературных духов и за гробом, а читателю будет предстоять задача решить: в какой мере эти духи действуют успешно и остаются верны своему литературному прошлому.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Благодаря тому, что княгиня имела на все строго сформированные взгляды, моя задача помочь ей в выборе литературных произведений для молодой княжны была очень определительна. Надо было, чтобы княжна могла из этого чтения узнавать русскую жизнь, и притом не встретить ничего, что могло бы смутить девственный слух. Материнскою цензурой княгини целиком не допускался ни один автор, ни даже Державин и Жуковский. Все они ей представлялись не вполне надежными. О Гоголе, разумеется, нечего было и говорить, — он целиком изгонялся. Из Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин», но последний с значительными урезками, которые собственноручно отмечала княгиня. Лермонтов не допускался, как и Гоголь. Из новейших одобрялся несомненно один Тургенев, но и то кроме тех мест, «где говорят о любви», а Гончаров был изгнан, и хотя я за него довольно смело заступался, но это не помогло, княгиня отвечала:

— Я знаю, что он большой художник, но это тем хуже, — вы должны признать, что у него есть разжигающие предметы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Я во что бы то ни стало хотел знать: что такое именно разумеет княгиня под *разжигающими предметами,* которые она нашла в сочинениях Гончарова. Чем он мог, при его мягкости отношений к людям и обуревающим их страстям, оскорбить чье бы то ни было чувство?

Это было до такой степени любопытно, что я напустил на себя смелость и прямо спросил, какие у Гончарова есть разжигающие предметы?

На этот откровенный вопрос я получил откровенный же, острым шепотом произнесенный, односложный ответ: «локти».

Мне показалось, что я не вслушался или не понял.

— Локти, локти, — повторила княгиня и, видя мое недоразумение, как будто рассердилась. — Неужто вы не помните... как его этот... герой где-то... там засматривается на голые локти своей... очень простой какой-то дамы?

Теперь я, конечно, вспомнил известный эпизод из «Обломова» и не нашел ответить ни слова. Мне, собственно, тем удобнее было молчать, что я не имел ни нужды, ни охоты спорить с недоступною для переубеждений княгинею, которую я, по правде сказать, давно гораздо усерднее наблюдал, чем старался служить ей моими указаниями и советами. И какие указания я мог ей сделать после того, как она считала возмутительным неприличием «локти», а вся новейшая литература шагнула в этих откровениях несравненно далее?

Какую надо было иметь смелость, чтобы, зная все это, назвать хотя одно новейшее произведение, в которых покровы красоты приподняты гораздо решительнее!

Я чувствовал, что, при таком раскрытии обстоятельств, моя роль советчика должна быть кончена, — и решился не советовать, а противоречить.

— Княгиня, — сказал я, — мне кажется, что вы несправедливы: в ваших требованиях к художественной литературе есть преувеличение.

Я изложил ей все, что, по моему мнению, относилось к делу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Увлекаясь, я произнес не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte»,[1] но зато, когда ей однажды неизбежно пришлось выговорить это слово при королеве, она запнулась и тем заставила всех расхохотаться. Но я никак не мог вспомнить: у кого из французских писателей мне пришлось читать об ужасном придворном скандале, которого совсем бы не произошло, если бы дама выговорила слово «culotte» так же просто, как выговаривала его своими августейшими губками сама королева.

Цель моя была показать, что излишняя щепетильность может служить во вред скромности и что поэтому чересчур строгий выбор чтения едва ли нужен.

Княгиня, к немалому моему изумлению, выслушала меня, не обнаруживая ни малейшего неудовольствия, и, не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых волюмов.

— У вас, — сказала она, — есть доводы, а у меня есть оракул.

— Я, — говорю, — интересуюсь его слышать.

— Это не замедлит: я призываю дух Genlis, и он будет отвечать вам. Откройте книгу и прочтите.

— Потрудитесь указать, где я должен читать? — спросил я, принимая волюмчик.

— Указать? Это не мое дело: дух сам вам укажет. Раскройте где попало.

Мне это становилось немножко смешно и даже как будто стыдно за мою собеседницу; однако я сделал так, как она хотела, и только что окинул глазом первый период раскрывшейся страницы, как почувствовал досадительное удивление.

— Вы смущены? — спросила княгиня.

— Да.

— Да; это бывало со многими. Я прошу вас читать.

---

[1] Штаны *(франц.)*.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Чтение — занятие слишком серьезное и слишком важное по своим последствиям, чтобы при выборе его не руководить вкусами молодых людей. Есть чтение, которое нравится юности, но оно делает их беспечными и предрасполагает к ветрености, после чего трудно исправить характер. Все это я испытала на опыте». Вот что прочел я, и остановился.

Княгиня с тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою победу, проговорила:

— По-латыни это, кажется, называется dixi? [1]

— Совершенно верно.

С тех пор мы не спорили, но княгиня не могла отказать себе в удовольствии поговорить иногда при мне о невоспитанности русских писателей, которых, по ее мнению, «никак нельзя читать вслух без предварительного пересмотра».

О «духе» Genlis я, разумеется, серьезно не думал. Мало ли что говорится в этом роде.

Но «дух» действительно жил и был в действии, и вдобавок, представьте, что он был на нашей стороне, то есть на стороне литературы. Литературная природа взяла в нем верх над сухим резонерством и, неуязвимый со стороны приличия, «дух» г-жи Жанлис, заговорив du fond du coeur, [2] отколол (да, именно отколол) в строгом салоне такую школярскую штуку, что последствия этого были исполнены глубокой трагикомедии.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

У княгини раз в неделю собирались вечером к чаю «три друга». Это были достойные люди, с отличным положением. Два из них были сенаторы, а третий — дипломат. В карты, разумеется, не играли, а беседовали.

Говорили обыкновенно старшие, то есть княгиня и «три друга», а я, молодой князь и княжна очень редко вставляли свое слово. Мы более поучались, и, к чести

---

[1] Я высказался *(лат.)*.

[2] Из глубины сердца *(франц.)*.

наших старших, надо сказать, что у них было чему поучиться, — особенно у дипломата, который удивлял нас своими тонкими замечаниями.

Я пользовался его расположением, хотя не знаю за что. В сущности, я обязан думать, что он считал меня не лучше других, а в его глазах «литераторы» были все «одного корня». Шутя он говорил: «И лучшая из змей есть все-таки змея».

Это-то самое мнение и послужило поводом к наступающему ужасному случаю.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Будучи стоически верна своим друзьям, княгиня не хотела, чтобы такое общее определение распространялось и на г-жу Жанлис и на «женскую плеяду», которую эта писательница держала под своей защитою. И вот, когда мы собрались у этой почтенной особы встречать тихо Новый год, незадолго до часа полночи у нас зашел обычный разговор, в котором опять упомянуто было имя г-жи Жанлис, а дипломат припомнил свое замечание, что «и лучшая из змей есть все-таки змея».

— Правила без исключения не бывает, — сказала княгиня.

Дипломат догадался — *кто* должен быть исключением, и промолчал.

Княгиня не вытерпела и, взглянув по направлению к портрету Жанлис, сказала:

— Какая же она змея!

Но искушенный жизнью дипломат стоял на своем: он тихо помавал пальцем и тихо же улыбался, — он не верил ни плоти, ни духу.

Для решения несогласия, очевидно, нужны были доказательства, и тут-то способ обращения к духу вышел кстати.

Маленькое общество было прекрасно настроено для подобных опытов, а хозяйка сначала напомнила о том, что мы знаем насчет ее верований, а потом и предложила опыт.

— Я отвечаю, — сказала она, — что самый придирчивый человек не найдет у Жанлис ничего такого, чего бы

не могла прочесть вслух самая невинная девушка, и мы это сейчас попробуем.

Она опять, как в первый раз, закинула руку к помещавшейся так же над ее этаблисманом этажерке, взяла без выбора волюм — и обратилась к дочери:

— Мое дитя! раскрой и прочти нам страницу.

Княжна повиновалась.

Мы все изображали собою серьезное ожидание.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Если писатель начинает обрисовывать внешность выведенных им лиц в конце своего рассказа, то он достоин порицания; но я писал эту безделку так, чтобы в ней никто не был узнан. Поэтому я не ставил никаких имен и не давал никаких портретов. Портрет же княжны и превышал бы мои силы, так как она была вполне, что называется, «ангел во плоти». Что же касается всесовершенной ее чистоты и невинности, — она была такова, что ей можно было даже доверить решить неодолимой трудности богословский вопрос, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner».[1] За эту не причастную ни к какому греху душу, конечно, должно было говорить нечто, стоящее превыше мира и страстей. И княжна, с этою именно невинностью, прелестно грассируя, прочитала интересные воспоминания Genlis о старости madame Dudeffand, когда она «слаба глазами стала». Запись говорила о толстом Джиббоне, которого французской писательнице рекомендовали как знаменитого автора. Жанлис, как известно, скоро его разгадала и едко осмеяла французов, увлеченных дутой репутацией этого иностранца.

Далее я привожу по известному переводу с французского подлинника, который читала княжна, способная решить спор между «Bernardiner und Rabiner».

«Джиббон мал ростом, чрезвычайно толст и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем

[1] Бернардинец и раввин *(нем.)*.

не видно; две жирные, толстые щеки, похожие черт знает на что, поглощают всё... Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы мало-мальски прилична для самых больших щек; каждый, увидав их, должен был бы удивляться: зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо Джиббона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозен, который был очень короток с Джиббоном, привел его однажды к Dudeffand. M-me Dudeffand тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом она усвояла себе довольно верное понятие о чертах нового знакомца. К Джиббону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошел к креслу и особенно добродушно подставил ей свое удивительное лицо. M-me Dudeffand приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев и, наконец, она, быстро отдернув с гадливостью свои руки, вскричала: «Какая гадкая шутка!»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Здесь был конец и чтению, и беседе друзей, и ожидаемой встрече наступающего года, потому что, когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила: «Что такое показалось m-me Dudeffand?», то лицо княгини было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, откуда сейчас же послышался ее плач, похожий на истерику.

Брат побежал к сестре, и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня.

Присутствие посторонних людей было теперь некстати, и потому все «три друга» и я сию же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встречи Нового года бутылка вдовы Клико осталась завернутою в салфетку, но не раскупоренною.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Чувства, с которыми мы расходились, были томительны, но не делали чести нашим сердцам, ибо, содержа на лицах усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавший нас смех и не в меру старательно наклонялись, отыскивая свои галоши, что было необходимо, так как прислуга тоже разбежалась, по случаю тревоги, поднятой внезапной болезнью барышни.

Сенаторы сели в свои экипажи, а дипломат прошелся со мною пешком. Он хотел освежиться и, кажется, интересовался узнать мое незначащее мнение о том, чтó могло представиться мысленным очам молодой княжны после прочтения известного нам места из сочинений m-me Жанлис?

Но я решительно не смел делать об этом никаких предположений.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С несчастного дня, когда случилось это происшествие, я не видал более ни княгини, ни ее дочери. Я не мог решиться идти поздравить ее с Новым годом, а только послал узнать о здоровье молодой княжны, но и то с большою нерешительностью, чтоб не приняли этого в другую сторону. Визиты же «кондолеансы» мне казались совершенно неуместными. Положение было преглупое: вдруг перестать посещать знакомый дом выходило грубостью, а явиться туда — тоже казалось некстати.

Может быть, я был и неправ в своих заключениях, но мне они казались верными; и я не ошибся: удар, который перенесла княгиня под Новый год от «духа» г-жи Жанлис, был очень тяжел и имел серьезные последствия.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Около месяца спустя я встретился на Невском с дипломатом: он был очень приветлив, и мы разговорились.

— Давно не видал вас, — сказал он.

— Негде встречаться, — отвечал я.

— Да, мы потеряли милый дом почтенной княгини: она, бедняжка, должна была уехать.

— Как, — говорю, — уехать... Куда?

— Будто вы не знаете?

— Ничего не знаю.

— Они все уехали за границу, и я очень счастлив, что мог устроить там ее сына. Этого нельзя было не сделать после того, что тогда случилось... Какой ужас! Несчастная, вы знаете, она в ту же ночь сожгла все свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, от которой, впрочем, кажется, уцелел на память один пальчик, или, лучше сказать, шиш. Вообще пренеприятное происшествие, но зато оно служит прекрасным доказательством одной великой истины.

— По-моему, даже двух и трех.

Дипломат улыбнулся и, смотря мне в упор, спросил:

— Каких-с?

— Во-первых, это доказывает, что книги, о которых мы решаемся говорить, нужно прежде прочесть.

— А во-вторых?

— А во-вторых, — что неблагоразумно держать девушку в таком детском неведении, в каком была до этого случая молодая княжна; иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббоне.

— И в-третьих?

— В-третьих, что на духов так же нельзя полагаться, как и на живых людей.

— И все не то: дух подтверждает одно *мое мнение*, что «и лучшая из змей есть все-таки змея» и притом, чем змея лучше, тем она опаснее, потому что *держит свой яд в хвосте*.

Если бы у нас была сатира, то это для нее превосходный сюжет.

К сожалению, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только в простой форме рассказа.

ШТОПАЛЬЩИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Преглупое это пожелание сулить каждому в новом году новое счастие, а ведь иногда что-то подобное приходит. Позвольте мне рассказать вам на эту тему небольшое событьице, имеющее совсем святочный характер.

В одну из очень давних моих побывок в Москве я задержался там долее, чем думал, и мне надоело жить в гостинице. Псаломщик одной из придворных церквей услышал, как я жаловался на претерпеваемые неудобства приятелю моему, той церкви священнику, и говорит:

— Вот бы им, батюшка, к куму моему, — у него нынче комната свободная на улицу.

— К какому куму? — спрашивает священник.

— К Василью Конычу.

— Ах, это «метр тальер Лепутан»!

— Так точно-с.

— Что же — это действительно очень хорошо.

И священник мне пояснил, что он и людей этих знает, и комната отличная, а псаломщик добавил еще про одну выгоду:

— Если, — говорит, — что прорвется или низки в брюках обобьются — все опять у вас будет исправно, так что глазом не заметить.

Я всякие дальнейшие осведомления почел излишними и даже комнаты не пошел смотреть, а дал псаломщику ключ от моего номера с доверительною надписью на

карточке и поручил ему рассчитаться в гостинице, взять оттуда мои вещи и перевезти всё к его куму. Потом я просил его зайти за мною сюда и проводить меня на мое новое жилище.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Псаломщик очень скоро обделал мое поручение и с небольшим через час зашел за мною к священнику.

— Пойдемте, — говорит, — всё уже ваше там разложили и расставили, и окошечки вам открыли, и дверку в сад на балкончик отворили, и даже сами с кумом там же, на балкончике, чайку выпили. Хорошо там, — рассказывает, — цветки вокруг, в крыжовнике пташки гнездятся, и в клетке под окном соловей свищет. Лучше как на даче, потому — зелено, а меж тем все домашнее в порядке, и если какая пуговица ослабела или низки обились, — сейчас исправят.

Псаломщик был парень аккуратный и большой франт, а потому он очень напирал на эту сторону выгодности моей новой квартиры.

Да и священник его поддерживал.

— Да, — говорит, — tailleur Lepoutant[1] такой артист по этой части, что другого ни в Москве, ни в Петербурге не найдете.

— Специалист, — серьезно подсказал, подавая мне пальто, псаломщик.

Кто это Lepoutant — я не разобрал, да притом это до меня и не касалось.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы пошли пешком.

Псаломщик уверял, что извозчика брать не стоит, потому что это будто бы «два шага проминажи».

На самом деле это, однако, оказалось около получасу ходьбы, но псаломщику хотелось сделать «проминажу», может быть, не без умысла, чтобы показать быв-

---

[1] Портной Лепутан *(франц.)*.

шую у него в руках тросточку с лиловой шелковой кистью.

Местность, где находился дом Лепутана, была за Москвой-рекою к Яузе, где-то на бережку. Теперь я уже не припомню, в каком это приходе и как переулок называется. Впрочем, это, собственно, не был и переулок, а скорее какой-то непроезжий закоулочек, вроде старинного погоста. Стояла церковка, а вокруг нее угольничком объезд, и вот в этом-то объезде шесть или семь домиков, все очень небольшие, серенькие, деревянные, один на каменном полуэтаже. Этот был всех показнее и всех больше, и на нем во весь фронтон была прибита большая железная вывеска, на которой по черному полю золотыми буквами крупно и четко выведено:

«Maitr tailleur Lepoutant».

Очевидно, здесь и было мое жилье, но мне странно показалось: зачем же мой хозяин, по имени Василий Коныч, называется «Maitr tailleur Lepoutant»? Когда его называл таким образом священник, я думал, что это не более как шутка, и не придал этому никакого значения, но теперь, видя вывеску, я должен был переменить свое заключение. Очевидно, что дело шло всерьез, и потому я спросил моего провожатого:

— Василий Коныч — русский или француз?

Псаломщик даже удивился и как будто не сразу понял вопрос, а потом отвечал:

— Что вы это? Как можно француз, — чистый русский! Он и платье делает на рынок только самое русское: поддевки и тому подобное, но больше он по всей Москве знаменит починкою: страсть сколько старого платья через его руки на рынке за новое идет.

— Но все-таки, — любопытствую я, — он, верно, от французов происходит?

Псаломщик опять удивился.

— Нет, — говорит, — зачем же от французов? Он самой правильной здешней природы, русской, и детей у меня воспринимает, а ведь мы, духовного звания, все числимся православные. Да и почему вы так воображаете, что он приближен к французской нации?

— У него на вывеске написана французская фамилия.

— Ах, это, — говорит, — совершенные пустяки — одна лаферма. Да и то на главной вывеске по-французски,

а вот у самых ворот, видите, есть другая, русская вывеска, эта вернее.

Смотрю, и точно, у ворот есть другая вывеска, на которой нарисованы армяк и поддевка и два черные жилета с серебряными пуговицами, сияющими, как звезды во мраке, а внизу подпись:

«Делают кустумы русского и духовного платья, со специальностью ворса, выверта и починки».

Под этою второю вывескою фамилия производителя «кустумов, выверта и починки» не обозначена, а стояли только два инициала «В. Л.».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Помещение и хозяин оказались в действительности выше всех сделанных им похвал и описаний, так что я сразу же почувствовал себя здесь как дома и скоро полюбил моего доброго хозяина Василья Коныча. Скоро мы с ним стали сходиться пить чай, начали благобеседовать о разнообразных предметах. Таким образом, раз, сидя за чаем на балкончике, мы завели речи на царственные темы Когелета о суете всего, что есть под солнцем, и о нашей неустанной склонности работать всякой суете. Тут и договорились до Лепутана.

Не помню, как именно это случилось, но только дошло до того, что Василий Коныч пожелал рассказать мне странную историю: как и по какой причине он явился «под французским заглавием».

Это имеет маленькое отношение к общественным нравам и к литературе, хотя писано на вывеске.

Коныч начал просто, но очень интересно.

— Моя фамилия, сударь, — сказал он, — вовсе не Лепутан, а иначе, — а под французское заглавие меня поместила сама *судьба.*

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Я природный, коренной москвич, из беднейшего звания. Дедушка наш у Рогожской заставы стелечки для древлестепенных староверов продавал. Отличный был старичок, как святой, — весь седенький, будто подлиня-

лый зайчик, а все до самой смерти своими трудами питался: купит, бывало, войлочек, нарежет его на кусочки по подошевке, смечет парочками на нитку и ходит «по христианам», а сам поет ласково: «Стелечки, стелечки, кому надо стелечки?» Так, бывало, по всей Москве ходит и на один грош у него всего товару, а кормится. Отец мой был портной по древнему фасону. Для самых законных староверов рабские кафташки шил с тремя сборочками и меня к своему мастерству выучил. Но у меня с детства особенное дарование было — штопать. Крою не фасонисто, но штопать у меня первая охота. Так я к этому приспособился, что, бывало, где угодно на самом видном месте подштопаю и очень трудно заметить.

Старики отцу говорили:

— Это мальцу от бога талан дан, а где талан, там и счастье будет.

Так и вышло; но до всякого счастья надо, знаете, покорное терпение, и мне тоже даны были два немалые испытания: во-первых, родители мои померли, оставив меня в очень молодых годах, а во-вторых, квартирка, где я жил, сгорела ночью на самое рождество, когда я был в божьем храме у заутрени, — и там погорело все мое заведение, — и утюг, и колодка, и чужие вещи, которые были взяты для штопки. Очутился я тогда в большом злострадании, но отсюда же и начался первый шаг к моему счастию.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Один давалец, у которого при моем разорении сгорела у меня крытая шуба, пришел и говорит:

— Потеря моя большая, и к самому празднику неприятно остаться без шубы, но я вижу, что взять с тебя нечего, а надо еще тебе помочь. Если ты путный парень, так я тебя на хороший путь выведу, с тем однако, что ты мне со временем долг отдашь.

Я отвечаю:

— Если бы только бог позволил, то с большим моим удовольствием — отдать долг почитаю за первую обязанность.

Он велел мне одеться и привел в гостиницу напротив главнокомандующего дома к подбуфетчику, и сказывает ему при мне:

— Вот, — говорит, — тот самый подмастерье, который, я вам говорил, что для вашей коммерции может быть очень способный.

Коммерция их была такая, чтобы разутюживать приезжающим всякое платье, которое приедет в чемоданах замявшись, и всякую починку делать, где какая потребуется.

Подбуфетчик дал мне на пробу одну штуку сделать, увидал, что исполняю хорошо, и приказал оставаться.

— Теперь, — говорит, — Христов праздник и господ много наехало, и все пьют-гуляют, а впереди еще Новый год и Крещенье, — безобразия будет еще больше, — оставайся.

Я отвечаю:

— Согласен.

А тот, что меня привел, говорит:

— Ну, смотри, действуй, — здесь нажить можно. А только его (то есть подбуфетчика) слушай, как пастыря. Бог пристанет и пастыря приставит.

Отвели мне в заднем коридоре маленький уголочек при окошечке, и пошел я действовать. Очень много, — пожалуй и не счесть, сколько я господ перечинил, и грех жаловаться, сам хорошо починился, потому что работы было ужасно как много и плату давали хорошую. Люди простой масти там не останавливались, а приезжали одни козыри, которые любили, чтобы постоять с главнокомандующим на одном местоположении из окон в окна.

Особенно хорошо платили за штуковки да за штопку при тех случаях, если повреждение вдруг неожиданно окажется в таком платье, которое сейчас надеть надо. Иной раз, бывало, даже совестно, — дырка вся в гривенник, а зачинить ее незаметно — дают золотой.

Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумеется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы, как воды капля с другою слита и нельзя их различить, так чтобы и штука была вштукована.

Из денег мне, из каждой платы, давали третью часть, а первую брал подбуфетчик, другую — услужающие, которые в номерах господам чемоданы с приезда разбирают и платье чистят. В них все главное дело, потому они вещи и помнут, и потрут, и дырочку клюнут, и потому им две доли, а остальное мне. Но только и этого было на мою долю так достаточно, что я из коридорного угла ушел и себе на том же дворе поспокойнее комнатку занял, а через год подбуфетчикова сестра из деревни приехала, я на ней и женился. Теперешняя моя супруга, как ее видите, — она и есть, дожила до старости с почтением, и, может быть, на ее долю все бог и дал. А женился просто таким способом, что подбуфетчик сказал: «Она сирота, и ты должен ее осчастливить, а потом через нее тебе большое счастье будет». И она тоже говорила: «Я, — говорит, — счастливая, — тебе за меня бог даст»; и вдруг словно через это в самом деле случилась удивительная неожиданность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пришло опять рождество, и опять канун на Новый год. Сижу я вечером у себя — что-то штопаю, и уже думаю работу кончить да спать ложиться, как прибегает лакей из номеров и говорит:

— Беги скорей, в первом номере страшный Козырь остановимшись, — почитай всех перебил, и кого ударит — червонцем дарит, — сейчас он тебя к себе требует.

— Что ему от меня нужно? — спрашиваю.

— На бал, — говорит, — он стал одеваться и в самую последнюю минуту во фраке на видном месте прожженную дырку осмотрел, человека, который чистил, избил и три червонца дал. Беги как можно скорее, такой сердитый, что на всех зверей сразу похож.

Я только головой покачал, потому что знал, как они проезжающих вещи нарочно портят, чтобы профит с работы иметь, но, однако, оделся и пошел смотреть Козыря, который один сразу на всех зверей похож.

Плата непременно предвиделась большая, потому что первый номер во всякой гостинице считается «козыр-

ной» и не роскошный человек там не останавливается; а в нашей гостинице цена за первый номер полагалась в сутки, по-нынешнему, пятнадцать рублей, а по-тогдашнему счету на ассигнации — пятьдесят два с полтиною, и кто тут стоял, звали его Козырем.

Этот, к которому меня теперь привели, на вид был ужасно какой страшный — ростом огромнейший и с лица смугл и дик и действительно на всех зверей похож.

— Ты, — спрашивает он меня злобным голосом, — можешь так хорошо дырку заштопать, чтобы заметить нельзя?

Отвечаю:

— Зависит от того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так можно очень хорошо сделать, а если блестящий атлас или шелковая мове-материя, с теми не берусь.

— Сам, — говорит, — ты мове, а мне какой-то подлец вчера, вероятно, сзади меня сидевши, цигаркою фрак прожег. Вот осмотри его и скажи.

Я осмотрел и говорю:

— Это хорошо можно сделать.

— А в сколько времени?

— Да через час, — отвечаю, — будет готово.

— Делай, — говорит, — и если хорошо сделаешь, получишь денег полушку, а если нехорошо, то головой об кадушку. Поди расспроси, как я здешних молодцов избил, и знай, что тебя я в сто раз больнее изобью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пошел я чинить, а сам не очень и рад, потому что не всегда можно быть уверенным, как сделаешь: попроховее сукнецо лучше слипнет, а которое жестче, — трудно его подворсить так, чтобы не было заметно.

Сделал я, однако, хорошо, но сам не понес, потому что обращение его мне очень не нравилось. Работа этакая капризная, что как хорошо ни сделай, а всё кто охоч придраться — легко можно неприятность получить.

Послал я фрак с женою к ее брату и наказал, чтобы отдала, а сама скорее домой ворочалась, и как она при-

бежала назад, так поскорее заперлись изнутри на крюк и легли спать.

Утром я встал и повел день своим порядком: сижу за работою и жду, какое мне от козырного барина придут сказывать жалование — денег полушку или головой об кадушку.

И вдруг, так часу во втором, является лакей и говорит:

— Барин из первого номера тебя к себе требует.

Я говорю:

— Ни за что не пойду.

— Через что такое?

— А так — не пойду, да и только; пусть лучше работа моя даром пропадает, но я видеть его не желаю.

А лакей стал говорить:

— Напрасно ты только страшишься: он тобою очень доволен остался и в твоем фраке на бале Новый год встречал, и никто на нем дырки не заметил. А теперь у него собрались к завтраку гости его с Новым годом поздравлять и хорошо выпили и, ставши о твоей работе разговаривать, об заклад пошли: кто дырку найдет, да никто не нашел. Теперь они на радости, к этому случаю присыпавшись, за твое русское искусство пьют и самого тебя видеть желают. Иди скорей — через это тебя в Новый год новое счастье ждет.

И жена тоже на том настаивает — иди да иди:

— Мое сердце, — говорит, — чувствует, что с этого наше новое счастье начинается.

Я их послушался и пошел.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Господ в первом номере я встретил человек десять, и все много выпивши, и как я пришел, то и мне сейчас подают покал с вином и говорят:

— Пей с нами вместе за твое русское искусство, в котором ты нашу нацию прославить можешь.

И разное такое под вином говорят, чего дело совсем и не стоит.

Я, разумеется, благодарю и кланяюсь, и два покала выпил за Россию и за их здоровье, а более, говорю, не могу сладкого вина пить через то, что я к нему не привычен, да и такой компании не заслуживаю.

А страшный барин из первого номера отвечает:

— Ты, братец, осел, и дурак, и скотина, — ты сам себе цены не знаешь, сколько ты по своим дарованиям заслуживаешь. Ты мне помог под Новый год весь предлог жизни исправить, через то, что я вчера на балу любимой невесте важного рода в любви открылся и согласие получил, в этот мясоед и свадьба моя будет.

— Желаю, — говорю, — вам и будущей супруге вашей принять закон в полном счастии.

— А ты за это выпей.

Я не мог отказаться и выпил, но дальше прошу отпустить.

— Хорошо, — говорит, — только скажи мне, где ты живешь и как тебя звать по имени, отчеству и прозванию: я хочу твоим благодетелем быть.

Я отвечаю:

— Звать меня Василий, по отцу Кононов сын, а прозванием Лапутин, и мастерство мое тут же рядом, тут и маленькая вывеска есть, обозначено: «Лапутин».

Рассказываю это и не замечаю, что все гости при моих словах чего-то порскнули и со смеху покатились; а барин, которому я фрак чинил, ни с того ни с сего хлясь меня в ухо, а потом хлясь в другое, так что я на ногах не устоял. А он подтолкнул меня выступком к двери да за порог и выбросил.

Ничего я понять не мог, и дай бог скорее ноги.

Прихожу, а жена спрашивает:

— Говори скорее, Васенька: как мое счастье тебе послужило?

Я говорю:

— Ты меня, Машенька, во всех частях подробно не расспрашивай, но только если по этому началу в таком же роде дальше пойдет, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избил меня, ангел мой, этот барин.

Жена встревожилась, — что, как и за какую провинность? — а я, разумеется, и сказать не могу, потому что сам ничего не знаю.

Но пока мы этот разговор ведем, вдруг у нас в сеничках что-то застучало, зашумело, загремело, и входит мой из первого номера благодетель.

Мы оба встали с мест и на него смотрим, а он, раскрасневшись от внутренних чувств или еще вина подбавивши, и держит в одной руке дворницкий топор на долгом топорище, а в другой поколотую в щепы дощечку, на которой была моя плохая вывесочка с обозначением моего бедного рукомесла и фамилии: «Старье чинит и выворачивает Лапутин».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вошел барин с этими поколотыми досточками и прямо кинул их в печку, а мне говорит: «Одевайся, сейчас вместе со мною в коляске поедем, — я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у вас есть, как эти доски поколю».

Я думаю: чем с таким дебоширом спорить, лучше его скорее из дома увести, чтобы жене какой обиды не сделал.

Торопливо оделся, — говорю жене: «Перекрести меня, Машенька!» — и поехали. Прикатили в Бронную, где жил известный покупной сводчик Прохор Иваныч, и барин сейчас спросил у него:

— Какие есть в продажу дома и в какой местности, на цену от двадцати пяти до тридцати тысяч или немножко более. — Разумеется, по-тогдашнему, на ассигнации. — Только мне такой дом требуется, — объясняет, — чтобы его сию минуту взять и перейти туда можно.

Сводчик вынул из комода китрадь, вздел очки, посмотрел в один лист, в другой, и говорит:

— Есть дом на все виды вам подходящий, но только прибавить немножко придется.

— Могу прибавить.

— Так надо дать до тридцати пяти тысяч.

— Я согласен.

— Тогда, — говорит, — все дело в час кончим, и завтра въехать в него можно, потому что в этом доме дьякон на крестинах куриной костью подавился и помер, и через то там теперь никто не живет.

Вот это и есть тот самый домик, где мы с вами теперь сидим. Говорили, будто здесь покойный дьякон ночами ходит и давится, но только все это совершенные пустяки, и никто его тут при нас ни разу не видывал. Мы с женою на другой же день сюда переехали, потому что барин нам этот дом по дарственной перевел; а на третий день он приходит с рабочими, которых больше как шесть или семь человек, и с ними лестница и вот эта самая вывеска, что я будто французский портной.

Пришли и приколотили и назад ушли, а барин мне наказал:

— Одно, — говорит, — тебе мое приказание: вывеску эту никогда не сметь переменять и на это название отзываться. — И вдруг вскрикнул:

— Лепутан!

Я откликаюсь:

— Чего изволите?

— Молодец, — говорит. — Вот тебе еще тысячу рублей на ложки и плошки, но смотри, Лепутан, — заповеди мои соблюди, и тогда сам соблюден будеши, а ежели что... да, спаси тебя господи, станешь в своем прежнем имени утверждаться, и я узнаю... то во первое предисловие я всего тебя изобью, а во-вторых, по закону «дар дарителю возвращается». А если в моем желании пребудешь, то объясни, что тебе еще надо, и все от меня получишь.

Я его благодарю и говорю, что никаких желаниев не имею и не придумаю, окромя одного — если его милость будет, сказать мне: что все это значит и за что я дом получил?

Но этого он не сказал.

— Это, — говорит, — тебе совсем не надо, но только помни, что с этих пор ты называешься — «Лепутан», и так в моей дарственной именован. Храни это имя: тебе это будет выгодно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Остались мы в своем доме хозяйствовать, и пошло у нас все очень благополучно, и считали мы так, что все это жениным счастием, потому что настоящего объяснения долгое время ни от кого получить не могли, но один раз пробежали тут мимо нас два господина и вдруг остановились и входят.

Жена спрашивает:

— Что прикажете?

Они отвечают:

— Нам нужно самого мусье Лепутана.

Я выхожу, а они переглянулись, оба враз засмеялись и заговорили со мною по-французски.

Я извиняюсь, что по-французски не понимаю.

— А давно ли, — спрашивают, — вы стали под этой вывеской?

Я им сказал, сколько лет.

— Ну так и есть. Мы вас, — говорят, — помним и видели: вы одному господину под Новый год удивительно фрак к балу заштопали и потом от него при нас неприятность в гостинице перенесли.

— Совершенно верно, — говорю,— был такой случай, но только я этому господину благодарен и через него жить пошел, но не знаю ни его имени, ни прозвания, потому все это от меня скрыто.

Они мне сказали его имя, а фамилия его, прибавили, — Лапутин.

— Как Лапутин?

— Да, разумеется,— говорят,— Лапутин. А вы разве не знали, через что он вам все это благодетельство оказал? Через то, чтобы его фамилии на вывеске не было.

— Представьте, — говорю, — а мы о сю пору ничего этого понять не могли; благодеянием пользовались, а словно как в потемках.

— Но, однако, — продолжают мои гости, — ему от этого ничего не помоглося, — вчера с ним новая история вышла.

И рассказали мне такую новость, что стало мне моего прежнего однофамильца очень жалко.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Жена Лапутина, которой они сделали предложение в заштопанном фраке, была еще щекотистее мужа и обожала важность. Сами они оба были не бог весть какой породы, а только отцы их по откупам разбогатели, но искали знакомства с одними знатными. А в ту пору у нас в Москве был главнокомандующим граф Закревский, который сам тоже, говорят, был из поляцких шляхтецов, и его настоящие господа, как князь Сергей Михайлович Голицын, не высоко числили; но прочие обольщались быть в его доме приняты. Моего прежнего однофамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако, бог их знает почему, им это долго не выходило, но, наконец, нашел господин Лапутин сделать графу какую-то приятность, и тот ему сказал:

— Заезжай, братец, ко мне, я велю тебя принять, скажи мне, чтобы я не забыл: как твоя фамилия?

Тот отвечал, что его фамилия — Лапутин.

— Лапутин? — заговорил граф, — Лапутин... Постой, постой, сделай милость, Лапутин... Я что-то помню, Лапутин... Это чья-то фамилия.

— Точно так,— говорит,— ваше сиятельство, это моя фамилия.

— Да, да, братец, действительно это твоя фамилия, только я что-то помню... как будто был еще кто-то Лапутин. Может быть, это твой отец был Лапутин?

Барин отвечает, что его отец был Лапутин.

— То-то я помню, помню... Лапутин. Очень может быть, что это твой отец. У меня очень хорошая память; приезжай, Лапутин, завтра же приезжай; я тебя велю принять, Лапутин.

Тот от радости себя не помнит и на другой день едет.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Но граф Закревский память свою хотя и хвалил, однако на этот раз оплошал и ничего не сказал, чтобы принять господина Лапутина.

Тот разлетелся.

— Такой-то, — говорит, — и желаю видеть графа.

А швейцар его не пущает:

— Никого, — говорит, — не велено принимать.

Барин так-сяк его убеждать, — что «я, — говорит, — не сам, а по графскому зову приехал», — швейцар ко всему пребывает нечувствителен.

— Мне, — говорит, — никого не велено принимать, а если вы по делу, то идите в канцелярию.

— Не по делу я, — обижается барин, — а по личному знакомству; граф наверно тебе сказал мою фамилию — Лапутин, а ты, верно, напутал.

— Никакой фамилии мне вчера граф не говорил.

— Этого не может быть; ты просто позабыл фамилию — Лапутин.

— Никогда я ничего не позабываю, а этой фамилии я даже и не могу позабыть, потому что я сам Лапутин.

Барин так и вскипел.

— Как, — говорит, — ты сам Лапутин! Кто тебя научил так назваться?

А швейцар ему отвечает:

— Никто меня не научал, а это наша природа, и в Москве Лапутиных обширное множество, но только остальные незначительны, а в настоящие люди один я вышел.

А в это время, пока они спорили, граф с лестницы сходит и говорит:

— Действительно, это я его и помню, он и есть Лапутин, и он у меня тоже мерзавец. А ты в другой раз приди, мне теперь некогда. До свидания.

Ну, разумеется, после этого уже какое свидание?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Рассказал мне это maître tailleur Lepoutant с сожалительною скромностью и прибавил в виде финала, что на другой же день ему довелось, идучи с работою по бульвару, встретить самого анекдотического Лапутина, которого Василий Коныч имел основание считать своим благодетелем.

— Сидит, — говорит, — на лавочке очень грустный. Я хотел проюркнуть мимо, но он лишь заметил и говорит:

— Здравствуй, monsieur Lepoutant! Как живешь-можешь?

— По божьей и по вашей милости очень хорошо. Вы как, батюшка, изволите себя чувствовать?

— Как нельзя хуже; со мною прескверная история случилась.

— Слышал, — говорю, — сударь, и порадовался, что вы его по крайней мере не тронули.

— Тронуть его, — отвечает, — невозможно, потому что он не свободного трудолюбия, а при графе в мерзавцах служит; но я хочу знать: кто его подкупил, чтобы мне эту подлость сделать?

А Коныч, по своей простоте, стал барина утешать.

— Не ищите, — говорит, — сударь, подучения. Лапутиных, точно, много есть, и есть между них люди очень честные, как, например, мой покойный дедушка, — он по всей Москве стелечки продавал...

А он меня вдруг с этого слова враз через всю спину палкою... Я и убежал, и с тех пор его не видал, а только слышал, что они с супругой за границу во Францию уехали, и он там разорился и умер, а она над ним памятник поставила, да, говорят, по случаю, с такою надписью, как у меня на вывеске: «Лепутан». Так и вышли мы опять однофамильцы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Василий Коныч закончил, а я его спросил: почему он теперь не хочет переменить вывески и выставить опять свою законную, русскую фамилию?

— Да зачем,— говорит,— сударь, ворошить то, с чего новое счастье стало,— через это можно вред всей окрестности сделать.

— Окрестности-то какой же вред?

— А как же-с, — моя французская вывеска, хотя, положим, все знают, что одна лаферма, однако через нее наша местность другой эфект получила, и дома у

всех соседей совсем другой против прежнего профит имеют.

Так Коныч и остался французом для пользы обывателей своего замоскворецкого закоулка, а его знатный однофамилец без всякой пользы сгнил под псевдонимом у Пер-Лашеза.

ПРИВИДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНОМ ЗАМКЕ

(ИЗ КАДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, *нечисто*, то есть, где замечают те или другие проявления какой-то нечистой или по крайней мере непонятной силы. Спириты старались много сделать для разъяснения этого рода явлений, но так как теории их не пользуются большим доверием, то дело с страшными домами остается в прежнем положении.

В Петербурге во мнении многих подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого, и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда. Последнее, без всяких опровержений, записано в заграничных сборниках, где нашли себе место описания внезапной кончины Павла Петровича, и в новейшей русской книге г. Кобеко. Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конец их близок. Предсказание сбылось.

Впрочем, тень Петрова была видима в стенах замка не одним императором Павлом, но и людьми к нему приближенными. Словом, дом был страшен потому, что там

жили или по крайней мере являлись тени и привидения и говорили что-то такое страшное, и вдобавок еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещательных тенях, встречавших покойного императора в замке, еще более увеличили мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил свое прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению — «пошел под кадетов».

Нынче в этом упраздненном дворце помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали его «обживать» прежние инженерные кадеты. Это был народ еще более молодой и совсем еще не освободившийся от детского суеверия, и притом резвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всем им, разумеется, более или менее были известны страхи, которые рассказывали про их страшный замок. Дети очень интересовались подробностями страшных рассказов и напитывались этими страхами, а те, которые успели с ними достаточно освоиться, очень любили пугать других. Это было в большом ходу между инженерными кадетами, и начальство никак не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошел случай, который сразу отбил у всех охоту к пуганьям и шалостям.

Об этом случае и будет наступающий рассказ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Особенно было в моде пугать новичков или так называемых «малышей», которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лег почивать здоровым, а утром его оттуда вынесли мертвым. «Старики» уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок, — а «малыши» этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта, и при-

том не одним, а несколькими замками, но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения. Да и, кроме того, говорили, будто в эту комнату можно было как-то проникать. Кажется, это так и было на самом деле. По крайней мере жило и до сих пор живет предание, будто это удавалось нескольким «старым кадетам» и продолжалось до тех пор, пока один из них не задумал отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Он открыл какой-то неизвестный лаз в страшную спальню покойного императора, успел пронести туда простыню и там ее спрятал, а по вечерам забирался сюда, покрывался с ног до головы этой простынею и становился в темном окне, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проезжая, поглядит в эту сторону.

Исполняя таким образом роль привидения, кадет действительно успел навести страх на многих суеверных людей, живших в замке, и на прохожих, которым случалось видеть его белую фигуру, всеми принимавшуюся за тень покойного императора.

Шалость эта продолжалась несколько месяцев и распространила упорный слух, что Павел Петрович по ночам ходит вокруг своей спальни и смотрит из окна на Петербург. Многим до несомненности живо и ясно представлялось, что стоявшая в окне белая тень им не раз кивала головой и кланялась; кадет действительно проделывал такие штуки. Все это вызывало в замке обширные разговоры с предвозвещательными истолкованиями и закончилось тем, что наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и, получив «примерное наказание на теле», исчез навсегда из заведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастие испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун «умер под розгами», и так как в тогдашнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть «всего иссеченного» и с гробовым венчиком на лбу, а на венчике будто можно было

читать надпись: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».

Если вспомнить библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место, то оно выходит очень трогательно.

Вскоре за погибелью кадета спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи Инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предания о привидении долго еще жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших, с тою, впрочем, разницею, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами подделыватели привидения его тоже побаивались. Так, иные «ложные сказатели чудес» сами их воспроизводят и сами им поклоняются и даже верят в их действительность.

Кадеты младшего возраста не знали «всей истории», разговор о которой, после происшествия с получившим жестокое наказание на теле, строго преследовался, но они верили, что старшим кадетам, между которыми находились еще товарищи высеченного или засеченного, была известна вся тайна призрака. Это давало старшим большой престиж, и те им пользовались до 1859 или 1860 года, когда четверо из них сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместной шутки у гроба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В том 1859 или 1860 году умер в Инженерном замке начальник этого заведения, генерал Ламновский. Он едва ли был любимым начальником у кадет и, как говорят, будто бы не пользовался лучшею репутациею у начальства. Причин к этому у них насчитывали много: находили, что генерал держал себя с детьми будто бы очень сурово и безучастливо; мало вникал в их нужды; не за-

ботился об их содержании, — а главное, был докучлив, придирчив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укрощала тихая, как ангел, генеральша, которой ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала.

Кроме такой славы по сердцу, генерал Ламновский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, к которым дети придирались, и когда хотели «представить» нелюбимого начальника, то обыкновенно выдвигали одну из его смешных привычек на вид до карикатурного преувеличения.

Самою смешною привычкою Ламновского было то, что, произнося какую-нибудь речь или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это, по кадетским определениям, выходило так, как будто он «доил слова из носа». Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто недоставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке «доение» носа усиливалось, а кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Замечая это нарушение субординации, генерал начинал еще более сердиться и наказывал их. Таким образом, отношения между генералом и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всем этом, по мнению кадет, всего более был виноват «нос».

Не любя Ламновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждения и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С этою целью они распускали в корпусе молву, что Ламновский знается с нечистою силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ламновский поставлял для какого-то здания, кажется для Исаакиевского собора. Но так как демонам эта работа надоела, то рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала, как события, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив «похороны». Устроено же это было так, что

когда у Ламновского, в его квартире, пировали гости, то в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия: покрытые простынями кадеты, со свечами в руках, несли на одре чучело с длинноносой маской и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны, но в следующие именины Ламновского непростительная шутка с похоронами опять повторилась. Так шло до 1859 года или 1860 года, когда генерал Ламновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие его похороны. По обычаям, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба, и вот тут-то и произошла страшная история, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Генерал Ламновский умер позднею осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид: холод, пронизывающая сырость и грязь; особенно мутное туманное освещение тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Молешотт для своих научных выводов о влиянии света на жизнь мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные.

Дни, когда умер Ламновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин: тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры, и здесь было учреждено кадетское дежурство, а в церкви служились, по православному установлению, панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды, — все население замка собиралось в эту церковь, а остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей

из четырех кадет, которые с ружьями и с касками на локте стояли вокруг гроба.

Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть: все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться; а потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то «встает» и опять кто-то «ходит». Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну вас к черту с такими рассказами! Вы только себе и людям нервы портите!» А потом и сами говорили то же самое, от чего унимали других, и к ночи уже становилось всем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пощунял «батя», то есть какой тогда был здесь священник.

Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть и насторожить их чувства.

— *«Ходит»,* — сказал он им, повторяя их же слова. — И разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете, а в нем и есть сила, с которою не сладишь. Это *серый человек,* — он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается, и каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек — *совесть:* советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет, — смотрите, чтобы серый человек им не скинулся да не дал бы вам тяжелого урока!

Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу и, чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются: нет ли серого человека и в каком он виде? Известно, что в сумерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность — возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете: хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Этой порою всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределенного, но усиленного выражения: настроение чувств и мыслей постоянно колеблется, и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинает свою работу фантазия: мир обращается в сон, а сон — в мир... Это

заманчиво и страшно, и чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно...

В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самых важных лиц, а потому, кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ламновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ; покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета: Г—тон, В—нов, З—ский и К—дин, все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Из четырех молодцов, составлявших караул, — один, именно К—дин, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ламновскому более всех и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил К—дина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать «по части доения носа» и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины.

Когда такая процессия была совершена в последнее тезоименитство Ламновского, К—дин сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба, с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию.

Было известно, что это происшествие привело покойного Ламновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал «поклялся наказать К—дина на всю жизнь». Кадеты этому верили и, принимая в соображение известные им черты характера своего начальника, нимало не сомневались, что он свою клятву над К—диным исполнит.

К—дин в течение всего последнего года считался «висящим на волоске», а так как, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться от резвых и рискованных шалостей, то положение его представлялось очень опасным, и в заведении того только и ожидали, что вот-вот К—дин в чем-нибудь попадется, и тогда Ламновский с ним не поцеремонится и все его дроби приведет к одному знаменателю, «даст себя помнить на всю жизнь».

Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался К—диным, что он делал над собою отчаянные усилия и, как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ, покуда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что «мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет».

Черт прорвал К—дина именно у гроба генерала, который опочил, не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в восемь часов, но так как к ней ожидались высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна кадетская смена: Г—тон, В—нов, З—ский и К—дин. Ни в одной из прилегавших огромных комнат не было ни души...

В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась, и в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение: офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет: он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул: «Кто это! кто!» — и, торопливо просунув голову в дверь, другою половинкою этой же двери придавил

самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади.

Разумеется, вслед же за этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался по здешнему безлюдию, что все ушли уже в церковь; тогда он опять притворил двери и, сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму.

Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становилось сиротливее — точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а, напротив, встанет и непременно отмстит за него. И отмстит страшно, по-мертвецки... К этому нужен только свой час — удобный час полночи,

> ..когда поет петух
> И нежить мечется в потемках...

Но они же не достоят здесь до полуночи, — их сменят, да и притом им ведь страшна не «нежить», а серый человек, которого пора — в сумерках.

Теперь и были самые густые сумерки: мертвец в гробу, и вокруг самое жуткое безмолвие... На дворе с свирепым неистовством выл ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня, и гремел листами кровельных загибов; печные трубы гудели с перерывами — точно они вздыхали или как будто в них что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнее напирало. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое молчание: все както путается; кровь, приливая к голове, ударялась им в виски, и слышалось что-то вроде однообразной мельнич-

ной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови — точно мельница мелет, но мелет не зерно, а перемалывает самоё себя. Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту к рудокопам, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плошкой... Выдерживать молчание становится невозможно, — хочется слышать хоть свой собственный голос, хочется куда-то сунуться — что-то сделать самое безрассудное.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Один из четырех стоявших у гроба генерала кадетов, именно К—дин, переживая все эти ощущения, забыл дисциплину и, стоя под ружьем, прошептал:

— Духи лезут к нам за папкиным носом.

Ламновского в шутку называли иногда «папкою», но шутка на этот раз не смешила товарищей, а, напротив, увеличила жуть, и двое из дежурных, заметив это, отвечали К—дину:

— Молчи... и без того страшно, — и все тревожно воззрились в укутанное кисеею лицо покойника.

— Я оттого и говорю, что вам страшно, — отвечал К—дин, — а мне, напротив, не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не сделает. Да: надо быть выше предрассудков и пустяков не бояться, а всякий мертвец — это уже настоящий пустяк, и я это вам сейчас докажу.

— Пожалуйста, ничего не доказывай.

— Нет, докажу. Я вам докажу, что папка теперь ничего не может мне сделать даже в том случае, если я его сейчас, сию минуту, возьму за нос.

И с этим, неожиданно для всех остальных, К—дин в ту же минуту, перехватив ружье на локоть, быстро взбежал по ступеням катафалка и, взяв мертвеца за нос, громко и весело вскрикнул:

— Ага, папка, ты умер, а я жив и трясу тебя за нос, и ты мне ничего не сделаешь!

Товарищи оторопели от этой шалости и не успели проронить слова, как вдруг всем им враз ясно и внятно послышался глубокий болезненный вздох — вздох очень похожий на то, как бы кто сел на надутую воздухом резиновую подушку с неплотно завернутым клапаном... И этот вздох, — всем показалось, — по-видимому, шел прямо из гроба...

К—дин быстро отхватил руку и, споткнувшись, с громом полетел с своим ружьем со всех ступеней катафалка, трое же остальных, не отдавая себе отчета, что они делают, в страхе взяли свои ружья наперевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца.

Но этого было мало: покойник не только вздохнул, а действительно гнался за оскорбившим его шалуном или придерживал его за руку: за К—диным ползла целая волна гробовой кисеи, от которой он не мог отбиться, — и, страшно вскрикнув, он упал на пол... Эта ползущая волна кисеи в самом деле представлялась явлением совершенно необъяснимым и, разумеется, страшным, тем более что закрытый ею мертвец теперь совсем открывался с его сложенными руками на впалой груди.

Шалун лежал, уронив свое ружье, и, закрыв от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны. Очевидно, он был в памяти и ждал, что покойник сейчас за него примется по-свойски.

Между тем вздох повторился, и, вдобавок к нему, послышался тихий шелест. Это был такой звук, который мог произойти как бы от движения одного суконного рукава по другому. Очевидно, покойник раздвигал руки,— и вдруг тихий шум; затем поток иной температуры пробежал струею по свечам, и в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах, которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось *привидение*. Серый человек! Да, испуганным глазам детей предстало вполне ясно сформированное привидение в виде человека... Явилась ли это сама душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть может, это был еще более страшный гость, — сам *дух замка,* вышедший сквозь пол соседней комнаты из подземелья!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Привидение не было мечтою воображения — оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»: как то, так и это представляло «труп, в котором заключена душа». Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом, но в тени она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо; на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения!.. Глаза виделись яркие, воспаленные и блестевшие болезненным огнем... Сверканье их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканью горящих углей. У видения были тонкие худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты.

Уста привидения были совершенно черны и открыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон-полувздох, который впервые послышался, когда К—дин взял покойника за нос.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Увидав это грозное привидение, три оставшиеся на ногах стража окаменели и замерли в своих оборонительных позициях крепче К—дина, который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом.

Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу: его глаза были устремлены на один гроб, в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец это ему удалось. Держась руками за стену, привидение медленно тронулось и прерывистыми шага-

ми стало переступать ближе ко гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге и с мучением ловя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг, и еще шаг, и, наконец, оно близко, оно подошло к гробу, но прежде, чем подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К—дина за ту руку, у которой, отвечая лихорадочной дрожи его тела, трепетал край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцепило эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна; потом посмотрело на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и... перекрестило его...

Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало...

Казалось, в гробу целовались две смерти; но скоро и это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни: панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь, на случай посещения высоких особ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из отворенной церковной двери последние отзвуки заупокойной песни.

Оживительная перемена впечатлений заставила кадет ободриться, а долг привычной дисциплины поставил их в надлежащей позиции на надлежащее место.

Тот адъютант, который был последним лицом, заглянувшим сюда перед панихидою, и теперь торопливо вбежал первый в траурную залу и воскликнул:

— Боже мой, как она сюда пришла!

Труп в белом, с распущенными седыми волосами, лежал, обнимая покойника, и, кажется, сам не дышал уже. Дело пришло к разъяснению.

Напугавшее кадет привидение была вдова покойного генерала, которая сама была при смерти и, однако, имела несчастие пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к гробу покойника. Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавов покойника, были ее прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обмороке, в котором кадеты, по распоряжению адъютанта, и вынесли ее в кресле за драпировку.

Это был последний страх в Инженерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глубокое впечатление.

— С этого случая, — говорил он, — всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее.

ПУТЕШЕСТВИЕ С НИГИЛИСТОМ

Кто скачет, кто мчится
в таинственной мглe?

Гете.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Случилось провести мне рождественскую ночь в вагоне, и не без приключений.

Дело было на одной из маленьких железнодорожных ветвей, так сказать, совсем в стороне от «большого света». Линия была еще не совсем окончена, поезда ходили неаккуратно, и публику помещали как попало. Какой класс ни возьми, все выходит одно и то же — все являются вместе.

Буфетов еще нет; многие, чувствуя холод, греются из дорожных фляжек.

Согревающие напитки развивают общение и разговоры. Больше всего толкуют о дороге и судят о ней снисходительно, что бывает у нас не часто.

— Да, плохо нас везут, — сказал какой-то военный, — а все спасибо им, — лучше, чем на конях. На конях в сутки бы не доехали, а тут завтра к утру будем и завтра назад можно. Должностным людям то удобство, что завтра с родными повидаешься, а послезавтра и опять к службе.

— Вот и я то же самое, — поддержал, встав на ноги и держась за спинку скамьи, большой сухощавый духовный. — Вот у них в городе дьякон гласом подупавши, многолетие вроде как петух выводит. Пригласили меня за десятку позднюю обедню сделать. Многолетие проворчу и опять в ночь в свое село.

Одно находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться.

— Ну, да ведь здесь компания-то не навек, а на час, — молвил купец.

— Однако иной если и на час навяжется, то можно его всю жизнь помнить, — отозвался дьякон.

— Чего же это так?

— А если, например, нигилист, да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом.

— Это сужект полицейский.

— Всякого это касается, потому, вы знаете ли, что от одного даже трясения... паф — и готово.

— Оставьте, пожалуйста... К чему вы это к ночи завели. У нас этого звания еще нет.

— Может с поля взяться.

— Лучше спать давайте.

Все послушались купца и заснули, и не могу уже вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно встряхнуло, что все мы проснулись, а в вагоне с нами уже был нигилист.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Откуда он взялся? Никто не заметил, где этот неприятный гость мог взойти, но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий, чистокровный нигилист, и потому сон у всех пропал сразу. Рассмотреть его еще было невозможно, потому что он сидел в потемочках в углу у окна, но и смотреть не надо — это так уже чувствовалось.

Впрочем, дьякон попробовал произвести обозрение личности: он прошелся к выходной двери вагона, мимо самого нигилиста, и, возвратясь, объявил потихоньку, что весьма ясно приметил «рукава с фибрами», за которыми непременно спрятан револьвер-барбос или бинамид.

Дьякон оказывался человеком очень живым и, для своего сельского звания, весьма просвещенным и любознательным, а к тому же и находчивым. Он немедленно

стал подбивать военного, чтобы тот вынул папироску и пошел к нигилисту попросить огня от его сигары.

— Вы, — говорит, — не цивильные, а вы со шпорою — вы можете на него так топнуть, что он как биллиардный шар выкатится. Военному все смелее.

К поездовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно нас заперло на ключ и само отсутствовало.

Военный согласился: он встал, постоял у одного окна, потом у другого и, наконец, подошел к нигилисту и попросил закурить от его сигары.

Мы зорко наблюдали за этим маневром и видели, как нигилист схитрил: он не дал сигары, а зажег спичку и молча подал ее офицеру.

Все это холодно, кратко, отчетисто, но безучастливо и в совершенном молчании. Ткнул в руки зажженную спичку и отворотился.

Но, однако, для нашего напряженного внимания было довольно и одного этого светового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядели, что это человек совершенно сомнительный, даже неопределенного возраста. Точно донской рыбец, которого не отличишь — нынешний он или прошлогодний. Но подозрительного много: грефовские круглые очки, неблагонамеренная фуражка, не православным блином, а с еретическим надзатыльником, и на плечах типический плед, составляющий в нигилистическом сословии своего рода «мундирную пару», но что всего более нам не понравилось, — это его лицо. Не патлатое и воеводственное, как бывало у ортодоксальных нигилистов шестидесятых годов, а нынешнее — щуковатое, так сказать фальсифицированное и представляющее как бы некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, это являет собою подобие геральдического козерога.

Я не говорю геральдического *льва*, а именно геральдического *козерога*. Помните, как их обыкновенно изображают по бокам аристократических гербов: посредине пустой шлем и забрало, а на него щерятся лев и козерог. У последнего вся фигура беспокойная и острая, как будто «счастья он не ищет и не от счастия бежит». Вдобавок и колера, в которые был окрашен наш неприятный спутник, не обещали ничего доброго: волосенки

цвета гаванна, лицо зеленоватое, а глаза серые и бегают как метроном, поставленный на скорый темп «allegro udiratto». (Такого темпа в музыке, разумеется, нет, но он есть в нигилистическом жаргоне.)

Черт его знает: не то его кто-то догоняет, или он за кем-то гонится, — никак не разберешь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Военный, возвратясь на свое место, сказал, что на его взгляд нигилист немножко чисто одет, и что у него на руках есть перчатки, а перед ним на противоположной лавочке стоит бельевая корзинка.

Дьякон, впрочем, сейчас же доказал, что все это ничего не значит, и привел к тому несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то при таможне.

— Через них, — говорил он, — раз проезжал даже не в простых перчатках, а филь-де-пом, а как стали его обыскивать — обозначился шульер. Думали, смирный — посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел.

Все заинтересовались: как шульер ушел из-под воды?

— А очень просто, — разъяснил дьякон, — он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и начал просить свечку. «Мне, говорит, в темноте очень скучно, прошу дозволить свечечку, я хочу в поверхностную комиссию графу Лорис-Мелихову объявление написать, кто я таков, и в каких упованиях прошу прощады и хорошее место». Но комендант был старый, мушкетного пороху, — знал все их хитрости и не позволил. «Кто к нам, говорит, залучен, тому нет прощады», и так все его впотьмах и томил; а как этот помер, а нового назначили, шульер видит, что этот из неопытных, — навзрыд перед ним зарыдал и начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный огарочек дали и какую-нибудь божественную книгу: «для того, говорит, что я хочу благочестивые мысли читать и в раскаяние прийти». Новый комендант и дал ему свечной огарок и духовный журнал «Православное воображение», а тот и ушел.

— Как же он ушел?

— С огарком и ушел.

Военный посмотрел на дьякона и сказал:

— Вы какой-то вздор рассказываете!

— Нимало не вздор, а следствие было.

— Да что же ему огарок значил?

— А черт его знает, что значил! Только после стали везде по каморке смотреть — ни дыры никакой, ни щелочки — ничего нет, и огарка нет, а из листов из «Православного воображения» остались одни корневильские корешки.

— Ну, вы совсем черт знает что говорите! — нетерпеливо молвил военный.

— Ничего не вздор, а я вам говорю — и следствие было, и узнали потом, кто он такой, да уже поздно.

— А кто же он такой был?

— Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он, по театрам да по балам, все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светилем ушел.

Военный только рукою махнул и отвернулся.

Но другим пассажирам словоохотливый дьякон нимало не наскучил: они любовно слушали, как он от коварного нахалкиканца с корневильскими корешками перешел к настоящему нашему собственному положению с подозрительным нигилистом. Дьякон говорил:

— Я на его чистоту не льщусь, а как вот придет сейчас первая станция — здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку продает, — я поднесу кондуктору бутершафт, и мы его встряхнем и что в бельевой корзине есть, посмотрим... какие там у него составы...

— Только надо осторожнее.

— Будьте покойны — мы с молитвою. Помилуй мя, боже...

Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало. Многие вздрогнули и перекрестились.

— Вот оно и есть, — воскликнул дьякон, — наехали на станцию!

Он вышел и побежал, а на его место пришел кондуктор.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кондуктор стал прямо перед нигилистом и ласково молвил:

— Не желаете ли, господин, корзиночку в багаж сдать?

Нигилист на него посмотрел и не ответил.

Кондуктор повторил предложение.

Тогда мы в первый раз услыхали звук голоса нашего ненавистного попутчика. Он дерзко отвечал:

— *Не желаю.*

Кондуктор ему представил резоны, что «таких больших вещей не дозволено с собой в вагоны вносить».

Он процедил сквозь зубы:

— И прекрасно, что не дозволено.

— Так желаете, я корзиночку сдам в багаж?

— *Не желаю.*

— Как же, сами правильно рассуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?

— *Не желаю.*

Взошедший на эту историю дьякон не утерпел и воскликнул: «Разве так можно!» — но, услыхав, что кондуктор пригрозил «обером» и протоколом, успокоился и согласился ждать следующей станции.

— Там город, — сказал он нам, — там его и скрутят.

И что в самом деле за упрямый человек: ничего от него не добьются, кроме одного — «не желаю».

Неужто тут и взаправду замешаны корневильские корешки?

Стало очень интересно, и мы ждали следующей станции с нетерпением.

Дьякон объявил, что тут у него жандарм даже кум и человек старого мушкетного пороху.

— Он, — говорит, — ему такую завинтушку под ребро ткнет, что из него все это рояльное воспитание выскочит.

Обер явился еще на ходу поезда и настойчиво сказал:

— Как приедем на станцию, извольте эту корзину взять.

А тот опять тем же тоном отвечает:

— Не желаю.

— Да вы прочитайте правила!

— Не желаю.

— Так пожалуйте со мною объясниться к начальнику станции. Сейчас остановка.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Приехали.

Станционное здание побольше других и поотделаннее: видны огни, самовар, на платформе и за стеклянными дверями буфет и жандармы. Словом, все, что нужно. И вообразите себе: наш нигилист, который оказывал столько грубого сопротивления во всю дорогу, вдруг обнаружил намерение сделать движение, известное у них под именем allegro udiratto. Он взял в руки свой маленький саквояжик и направился к двери, но дьякон заметил это и очень ловким манером загородил ему выход. В эту же самую минуту появился обер-кондуктор, начальник станции и жандарм.

— Это ваша корзина? — спросил начальник.

— Нет, — отвечал нигилист.

— Как нет?!

— Нет.

— Все равно, пожалуйте.

— Не уйдешь, брат, не уйдешь, — говорил дьякон.

Нигилиста и всех нас, в качестве свидетелей, попросили в комнату начальника станции и сюда же внесли корзину.

— Какие здесь вещи? — спросил строго начальник.

— Не знаю, — отвечал нигилист.

Но с ним больше не церемонились: корзинку мгновенно раскрыли и увидали новенькое голубое дамское платье, а в это же самое мгновение в контору с отчаянным воплем ворвался еврей и закричал, что это его корзинка и что платье, которое в ней, он везет одной знатной даме; а что корзину действительно поставил он, а не кто другой, в том он сослался на нигилиста.

Тот подтвердил, что они взошли вместе и еврей действительно внес корзинку и поставил ее на лавочку, а сам лег под сиденье.

— А билет? — спросили у еврея.

— Ну, что билет... — отвечал он. — Я не знал, где брать билет...

Еврея велено придержать, а от нигилиста потребовали удостоверения его личности. Он молча подал листок, взглянув на который начальник станции резко переменил тон и попросил его в кабинет, добавив при этом:

— Ваше превосходительство здесь ожидают.

А когда тот скрылся за дверью, начальник станции приложил ладони рук рупором ко рту и отчетливо объявил нам:

— Это *прокурор судебной палаты!*

Все ощутили полное удовольствие и перенесли его в молчании; только один военный вскрикнул:

— А все это наделал этот болтун дьякон! Ну-ка — где он... куда он делся?

Но все напрасно оглядывались: «куда он делся», — дьякона уже не было; он исчез, как нахалкиканец, даже и без свечки. Она, впрочем, была и не нужна, потому что на небе уже светало и в городе звонили к рождественской заутрене.

ПЕЧЕРСКИЕ АНТИКИ

(ОТРЫВКИ ИЗ ЮНОШЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Старинный характер и бибиковские преобразования. — Нечто о Карасивне и Пиднебесной и об акафисте «матери Кукурузе». — Печерский Кесарь и его импровизации. — Стремление войска уйти в поход против Вылезария. — Легенда о бибиковской теще и о всепомогающем докторе. — Способ обращать верхние зубы в нижние. — Квартальный-антикварий. — Наезд Виньёля. — Старец Малафей Пимыч и отрок Гиезий. — Порча отрока человечиной. — Открытие моста. — Аскоченский в поэтическом восторге. — Альфред фон Юнг: его опечатки и его поэзия. — Анекдоты с конным немцем и с отцом Строфокамилом. — Малафеево стояние. — Неисполнившееся откровение. — Старцева смерть — отрокова женитьба. — Мир в тропаре. — Два дворянина. — Исключительный священник. — Тайна Троицкой церкви. — Нечто о «Запечатленном ангеле».

Мне убо, возлюбленнии, желательно есть вспомянути доброе житие крепких мужей и предложити вашей любви слово нехитроречивое, но истиною украшенное. Вам же любезно да будет слышати добрые повести о мужах благостных.

Из предисловия к повести «Об отцах и страдальцах».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Расскажу́ нечто про киевских оригиналов, которых я знал в дни моей ранней юности и которые, мне кажется, стоят внимания, как личности очень характерные и любопытные. Но вначале да позволено мне будет сказать

два слова о себе. Они необходимы для того, чтобы показать, где и как я познакомился с «печерским Кесарем», с которого я должен начать мою киевскую галерею антиков.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Меня в литературе считают «орловцем», но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев.

Киев тогда сильно отличался от нынешнего, и разница эта заключалась не в одной внешности города, но и в нравах его обитателей. Внешность изменилась к лучшему, то есть город наполнился хорошими зданиями и, так сказать, *оевропеился,* но мне лично жаль многого из старого, из того, что сглажено и уничтожено, может быть, несколько торопливою и во всяком случае слишком бесцеремонною рукою Бибикова. Мне жаль, например, лишенного жизни Печерска и облегавших его урочищ, которые были застроены как попало, но очень живописно. Из них некоторые имели также замечательно своеобразное и характерное население, жившее неодобрительною и даже буйною жизнью в стародавнем запорожском духе. Таковы были, например, удалые Кресты и Ямки, где «мешкали бессоромние дівчата», составлявшие любопытное соединение городской, культурной проституции с казаческим простоплетством и хлебосольством. К этим дамам, носившим не европейские, а национальные малороссийские уборы, или так называемое «простое платье», добрые люди хаживали в гости с своею «горілкою, с ковбасами, с салом и рыбицею», и «крестовские дівчатки» из всей этой приносной провизии искусно готовили смачные снеди и проводили с своими посетителями часы удовольствий «по-фамильному».

Были из них даже по-своему благочестивые: эти открывали свои радушные хаты для пиров только до «благодатной», то есть до второго утреннего звона в лавре. А как только раздавался этот звон, казачка крестилась, громко произносила: «радуйся, благодатная, господь с тобою» и сейчас же всех гостей выгоняла, а огни гасила.

Это называлося «досидеть до благодатной».

И гости — трезвые и пьяные — этому подчинялися.

Теперь этого оригинального типа непосредственной старожилой киевской культуры с запорожской заправкой уже нет и следа. Он исчез, как в Париже исчез тип мюзаровской гризеты, с которою у киевских «крестовых дівчат» было нечто сходственное в их простосердечии.

Жаль мне тоже живописных надбережных хаток, которые лепились по обрывам над днепровской кручей: они придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный теплый характер и служили жилищем для большого числа бедняков, которые хотя и получили какое-то вознаграждение за свои «поламанные дома», но не могли за эти деньги построить себе новых домов в городе и слепили себе гнезда над кручею. А между тем эти живописные хаточки никому и ничему не мешали. Их потом опять разметала властная рука Бибикова. Жаль превосходнейшей аллеи рослых и стройных тополей, которая вырублена уже при Анненкове для устройства на ее месте нынешнего увеселительного балагана с его дрянными развлечениями. Но всего более жаль тихих куртин верхнего сада, где у нас был свой лицей. Тут мы, молодыми ребятами, бывало проводили целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, — кто обладал бóльшими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о «чувствах высокого и прекрасного» и о многом другом, о чем теперь совсем и не слыхать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там, все чаще слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги. Любопытно подумать, как это настроение отразится на нравах подрастающего поколения, когда настанет его время действовать...

Нравы, собственно говоря, изменились еще более, чем здания, и тоже, может быть, не во всех отношениях к лучшему. Перебирать и критиковать этого не будем, ибо «всякой вещи свое время под солнцем», но пожалеть о том, что было мило нам в нашей юности, надеюсь, простительно, и кто, подобно мне, уже пережил лучшие годы жизни, тот, вероятно, не осудит меня за маленькое пристрастие к тому старенькому, серому Киеву, в котором было еще очень много простоты, ныне совершенно исчезнувшей.

Я зазнал этот милый город в его дореформенном виде, с изобилием деревянных домиков, на углах которых тогда, впрочем, были уже вывешены так называвшиеся «бибиковские доски». На каждой такой доске была суровая надпись: «сломать в таком-то году».

Этих несчастных, обреченных на сломку домиков было чрезвычайно много. Когда я приехал в Киев и пошел его осматривать, то «бибиковские доски» навели на меня неожиданную грусть и уныние. Смотришь — чистенькие окошечки, на них горшочки с красным перцем и бальзаминами, по сторонам пришпилены белые «фиранки», на крышах воркуют голуби, и в глубине двориков хлопотливо кудахчут куры, и вдруг почему-то и зачем-то придут сюда какие-то сторонние люди и всё это разломают... Для чего это? И куда денутся, куда тогда пойдут эти люди, которым, по-видимому, довольно удобно и хорошо живется за их белыми «фиранками»? Может статься, что все это было необходимо, но тем не менее отдавало каким-то неприятно бесцеремонным и грубым самовластием.

Бибиков, конечно, был человек твердого характера и, может быть, государственного ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этом немножко побольше сердца, — это не помешало бы ему войти в историю с более приятным аттестатом.

Старый город и Печерск особенно щедро были изукрашены «бибиковскими досками», так как здесь должно было совершиться и в весьма значительной степени и совершилось намеченное Бибиковым капитальное «преобразование». А на Печерске жил самый непосредственнейший из киевлян, про которых я попробую здесь для начала рассказать, что удержала моя память.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я с приезда поселился на Житомирской улице, в доме бывшего секретаря комиссариатской комиссии Запорожского (тоже в своем роде антика), но, совершенно одинокий и предоставленный самому себе, я постоянно тяготел к Печерску, куда меня влекли лавра и пе-

щеры, а также и некоторое еще в Орле образовавшееся знакомство.

Печерские знакомцы мои были молодые родственники некогда чем-то знаменитого в Киеве Николая Семеновича Шиянова.

К тому времени, когда я приехал в Киев, старик Шиянов уже не жил на свете, и даже о былом его значении ничего обстоятельного не говорили; так я, собственно, и до сих пор не знаю, чем и в каком роде был знаменит Шиянов; но что он был все-таки знаменит — этому я всегда верил так же православно, как приял это в Орле от его родственников, увлекших меня обольстительными рассказами о красоте Киева и о поэтических прелестях малороссийской жизни.

Я остаюсь им за это всегда благодарным.[1]

Наследники Шиянова были тогда уже в разброде и в захудалости. Когда-то значительные капиталы старика были ими торопливо прожиты или расхищены, о чем ходили интересные сказания в духе французской истории наследства Ренюпонов. От всего богатства остались только дома.

Это были престранные дома — большие и малые, все деревянные; они были настроены тут в таком множестве, что образовали собою две улицы: Большую Шияновскую и Малую Шияновскую.

Обе Шияновские улицы находились там же, где, вероятно, находятся и теперь, то есть за печерским базаром, и по всей справедливости имели право считаться

---

[1] Со временем потомство, может статься, не в силах будет составить себе ясное понятие даже и о таких достопримечательных личностях Киева, как, например, Карасивна и Пиднебесная, за знаменитыми булками которых бегал на Подол весь город. Все это происходит от аристократизма наших хроникеров и летописцев. Впрочем, эти полезные деятельницы, помнится, названы в одном из вариантов «акафиста матери Кукурузе», который был сложен студентами Киевской духовной академии, как протест против дурного стола и ежедневного почти появления на нем кукурузы в пору ее созревания. «Акафист Кукурузе» начинался так: «Бысть послан комиссар (помощник эконома) на базар рыбы купити, узрев же тя кукурузу сущу, возопи гласом велиим и рече: «Радуйся, кукурузо, пище презельная и пресладкая, радуйся, кукурузо, пище ядомая и николи же изъядаемая, радуйся, кукурузо, отцом ректором николи же зримая, радуйся, и инспектором николи же ядомая» и т. д. Там где-то было и о Карасивне с Пиднебесною, после которых уже нет таких пекарок в Киеве. *(Прим. автора.)*

самыми скверными улицами в городе. Обе они были немощеные — каковыми, кажется, остаются и до настоящего времени, но, вероятно, теперь они немножко выровнены и поправлены. В то же время, к которому относятся мои воспоминания, они находились в привилегированном положении, которое делало их во все влажное время года непроезжими. По каким-то геологическим причинам, они были низменнее уровня базарной площади и служили просторным вместилищем для стока жидкой черноземной грязи, которая образовала здесь сплошное болото с вонючими озерами. В этих озерах плавали «шияновские» гуси и утки, которым было здесь очень привольно, хотя, впрочем, они часто сильно страдали от вползавших им в нос дрянных зеленоватых пиявок. Чтобы защитить птиц от этого бедствия, им смазывали клювы «свяченой оливой», но и это верное средство не всегда и не всем помогало. Утята и гусята от пиявок дохли.

По вечерам здесь, выставив наружу голову, пели свои антифоны очень крупные и замечательно басистые лягушки, а звонкоголосые молодячки канонархали. Иногда они все — молодые и старые, всем собором выходили на бережки и прыгали по бугорочкам. Это заменяло барометрическое указание, ибо предвещало ясную погоду.

Словом, картина была самая буколическая, а между тем в двух шагах отсюда был базар, и притом базар очень завозный и дешевый. Благодаря этому последнему обстоятельству здешняя местность представляла своего рода удобства, особенно для людей небогатых и неприхотливых.

Впрочем, она также имела свои особенные удобства для домохозяев еще в отношении полицейском, которое в Киеве тогда смешивали с политическим.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Большие и малые дома Шиянова, со множеством надворных флигельков и хаточек, приспособленных кое-как к житью из старинных служебных построек, давно уже сдавались внаймы и, несмотря на свою ветхость, все были обитаемы.

Постройки все подряд были очень ветхи и стояли, по-видимому, аридовы веки. Доски с надписями, которыми «строго воспрещалось» чинить эти дома и были указаны сроки их сломке, красовались на их углах, но дома упорно избегали определенной им злой участи, и некоторые из них едва ли не уцелели до настоящего времени.

Во мнении жителей шияновские дома охраняла от «бибиковского разорения» одна необычайная личность, создавшая себе в то время героическую репутацию, которая, казалось бы, непременно должна перейти в легенду. Быстрое забвение подобных вещей заставляет только поникнуть головою перед непрочностию всякого земного величия.

Легендарная личность был артиллерии полковник Кесарь Степанович Берлинский, на сестре которого, кажется Клавдии Степановне, был женат покойный Шиянов.

Таких людей, как Кесарь Степанович, нет уже более не только в Киеве, но, может быть, и во всей России. Пусть в ней никогда не переводятся и, вероятно, вперед не переведутся антики, но «печерский Кесарь» дважды повторен быть не может.

Сказать, что Берлинский «управлял» домами Шиянова, было бы, кажется, не точно, потому что управлял ими, по выражению Берлинского, «сам господь бог и Николай угодник», а деньги с квартирантов собирала какая-то дама, в конторскую часть которой не вмешивались ни господь бог, ни его угодник и даже ни сам Кесарь Степанович. Этот герой Печерска, как настоящий «Кесарь», только господствовал над местностью и над всеми, кто, живучи здесь, обязан был его знать. Кесарь Степанович нравственно командовал жильцами обеих Шияновских улиц и вообще всею прилегающею областию за базаром. Всех он содержал в решпекте и всем умел давать чувствовать свое авторитетное военное значение. Слово *«момент»,* впоследствии основательно истасканное нашими военными ораторами, кажется, впервые было пущено Берлинским и с его легкой руки сделалось необходимым подспорьем русского военного красноречия.

При случае Берлинский готов был оказать и иногда действительно оказывал нуждающимся свое милостивое

отеческое заступление. Если за кого нужно было идти попросить какое-либо начальство, печерский Кесарь надевал свой военный сюртук без эполет, брал в руки толстую трость, которую носил на правах раненого, и шел «хлопотать». Нередко он что-нибудь и выпрашивал для своих protégé, действуя в сих случаях на одних ласкою, а на других угрозою. Существовало убеждение, что он может всегда «писать к государю», и этого многие очень боялись. Младших же «чиновалов», говорили, будто он иногда убеждал даже при содействии своей трости, per argumentum baculinum. [1] Последнее он допускал, впрочем, не по свирепости нрава, а «по долгу верноподданничества», единственно для того, чтобы не часто беспокоить государя письмами.

На базаре Берлинского все знали и все ему повиновались, не только за страх, но и за совесть, потому что молва громко прославляла «печерского Кесаря», и притом рисовала его в весьма привлекательном народно-героическом жанре.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Берлинский смолоду был молодец и писаный красавец в тогдашнем гвардейском роде; таким же он оставался до старости, а может быть и до самой кончины, которая последовала, если не ошибаюсь, в 1864 или 1865 году. В жизнь свою он видел не одни красные дни, а перенес немало нужды, горя и несправедливостей, но, обладая удивительною упругостью души, никогда не унывал и выворачивался из положений самых трудных средствами самыми смелыми и подчас даже невероятными и отчаянными.

Сердца Кесарь Степанович был, кажется, доброго и в свою меру благородного, а также он был несомненно чувствителен к чужому горю и даже нежен к несчастным. Он не мог видеть равнодушно ничьего страдания, чтоб тотчас же не возмущаться духом и не обнаруживать самых горячих и искренних порывов помочь страдаю-

---

[1] Палочным аргументом *(лат.)*.

щему. По мере своих сил и разумения он это и делал. Характер Берлинский имел очень смелый, решительный и откровенный, но несколько с хитринкой. Знавшие его смолоду уверяли, что ранее хитрости в нем будто не было, но потом, впоследствии, несправедливость и разные суровые обстоятельства заставили его понемножечку лукавить. Впрочем, в его устах и во лбу светило некоторое природное лукавство. Берлинский был самый большой фантазер, какого мне удавалось видеть, но фантазировал он тоже не без расчета, иногда очень наивного и почти всегда безвредного для других. Соображал он быстро и сочинял такие пестрые фабулы, что если бы он захотел заняться сочинительством литературным, то из него, конечно, вышел бы любопытный сочинитель. Вдобавок к этому, все, что Кесарь раз о себе сочинил, это становилось для самого его истиною, в которую он глубоко и убежденно верил. Вероятно, оттого анекдотические импровизации «печерского Кесаря» производили на слушателей неотразимо сильное впечатление, под влиянием которого те досочиняли еще большее. Кесарь Степанович умел вдохновлять и умел поставить себя так, что во всех отношениях — и чином и значением — стоял во мнении Печерска несравненно выше настоящего.

По моему мнению, он был только храбрый и, вероятно, в свое время очень способный артиллерии полковник в отставке. По крайней мере таким я его зазнал в Орле, через который он «вез к государю» зараз восемь или десять (а может быть, и более) сыновей. Тогда он был во всей красе мужественного воина, с георгиевским крестом, и поразил меня смелостию своих намерений. Он ехал с тем, чтобы «выставить» где-то всех своих ребят государю и сказать:

— Если хочешь, чтобы из них тебе верные слуги вышли, то бери их и воспитай, а мне их кормить нечем.

Мы все, то есть я и его орловские племянники (сыновья его сестры Юлии Степановны), недоуменно спрашивали:

— Неужели вы так и скажете: *ты, государь?*

А он отвечал:

— Разумеется, так и скажу, — и потом прибавил,

будто это непременно так даже и следует говорить и будто государь Николай Павлович «так любит».

Нас это просто поражало.

Кормить детей Берлинскому действительно было нечем. Он очень нуждался, как говорили, будто бы по причине его какой-то отменной честности, за которую он, по его собственным рассказам, имел «кучу врагов около государя». Но он не унывал, ибо он очень уж смело рассчитывал на самого императора Николая Павловича. Смелость эта его и не постыдила: с небольшим через месяц Кесарь Степанович опять проследовал из Петербурга в Киев через Орел уже совсем один. Государь велел принять в учебные заведения на казенный счет «всю шеренгу» и увеличил будто бы пенсию самого Берлинского, а также велел дать ему не в зачет какое-то очень значительное пособие. Кроме принятия детей, все остальное было как-то в тумане.

В рассказе об упомянутом сейчас событии я и познакомился впервые с импровизаторством этого необыкновенного человека, которое потом мне доставляло много интересных минут в Киеве.

Многое множество из его грандиозных рассказов я позабыл, но кое-что помню, хотя теперь, к сожалению, никак не могу рассортировать, что слышал непосредственно от него самого и что от людей ему близких и им вдохновенных.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

По словам Кесаря Степановича, которым я, впрочем, не смею никого обязывать верить без критики, он встретил государя где-то на почтовой станции.

— Сейчас же, — говорит, — я упросил графа Орлова дозволить мне стоять с детьми на крылечке, и стал. Ребят построил в шеренгу мал мала меньше, а сам стал на конце в правом фланге.

Государь как вышел из коляски на крыльцо, заметил мой взвод и говорит:

— Это что за ребята?

А я ему отвечаю:

— Это мои дети, а твои будущие слуги, государь.

Тогда Николай Павлович взглянул, будто, на Берлинского и сейчас же его узнал.

— А-а! — говорит, — Берлинский! — Это ты, братец?

— Точно так, — говорю, — ваше величество, это я.

— Очень рад тебя видеть. Как поживаешь?

— Благословляю провидение, что имею счастие видеть ваше величество, а поживание мое очень плохо, если не будет ко мне твоей милости.

Государь спросил:

— Отчего тебе плохо? Ты мне хорошо служил.

— Овдовел, — отвечал Берлинский, — и вот детей у меня целая куча; прикажи, государь, их вскормить и выучить, а то мне нечем, я беден, в чужом доме живу, и из того Бибиков выгоняет.

Государь, говорит, сверкнул глазами и крикнул:

— Орлов! определить всех детей Берлинского на мой счет. Я его знаю: он храбрый офицер и честный.

А потом, будто, опять оборотился к Кесарю Степановичу и добавил:

— За что тебя Бибиков выгоняет?

— Дом, — говорю, — где я живу, под крепость разломать хочет.

Государь, будто, ответил:

— Вздор; дом, где живет такой мой слуга, как ты, должен быть сохранен в крепости, а не разломан. Я тебя хорошо знаю, и у меня, кроме тебя и Орлова, нет верных людей. А Бибикову скажи от моего имени, чтобы он тебя ничем не смел беспокоить. Если же он тебя не послушается, то напиши мне страховое письмо, — я за тебя заступлюсь, потому что я тебя с детства знаю.

Почему государь Николай Павлович мог знать Берлинского «с детства» — этого я никогда не мог дознаться; но выходило это у Кесаря Степановича как-то складно и статочно, а притом и имело любопытное продолжение.

Когда государь сам, будто, напомнил о столь давнем знакомстве «с детства», то Берлинский этим сейчас же воспользовался и сказал:

— Да, ваше величество, это справедливо: вместе с вами играли, а с тех пор какая разница: вы вот какую отменную карьеру изволили совершить, что теперь всем

миром повелеваете и все вас трепещат, а я во всем нуждаюсь.

А государь ему на это, будто, ответил:

— Всякому, братец, свое назначение: мой перелет соколиный, а ты воробей не робей — приди ко мне в Петербург во дворец, я тебя хорошим пайком устрою.

Берлинский будто бы ходил во дворец, и результатом этого был тот паек или «прибавок» к пенсии, которым «печерский Кесарь» всех соседей обрадовал и сам очень гордился. Однако и с прибавкою Берлинский часто не мог покрывать многих, самых вопиющих нужд своей крайне скромной жизни на Печерске. Но так как все знали, что он «имеет пенсию с прибавком», то «Кесарь» не только никогда не жаловался на свои недостатки, а, напротив, скрывал их с большою трогательностию.

Порою, сказывали, дело доходило до того, что у него не бывало зимою дров и он буквально стыл в своей холодной квартире, но уверял, что это он «так любит для свежести головы».

Цифры своей пенсии Берлинский как-то ни за что не объявлял, а говорил, что получает «много», но может получать и еще больше.

— Стоит мне написать страховое письмо государю, — говорил он, — и государь сейчас же прикажет давать мне, сколько я захочу, но я не прошу более того, что пожаловано, потому что у государя другие серьезные надобности есть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Если верить сказаниям, то государь Николай Павлович, будто, очень грустил по разлуке с Берлинским и даже неутешно жалел, что не может оставить его при себе в Петербурге. Но, по рассказам судя, пребывание Берлинского в столице и действительно было совершенно неудобно: этому мешала слишком большая и страстная привязанность, которую питали к печерскому Кесарю «все солдаты».

Они так его любили, что ему нигде, будто, нельзя было показаться: как солдаты его увидят, сейчас перестают слушать команду и бегут за ним и кричат:

— Пусть нас ведет отец наш полковник Берлинский, — мы с ним и Константинополь возьмем, и самого победоносного полководца Вылезария на царский смотр в цепях приведем.

Доходило это, по рассказам, до таких ужасных беспорядков, что несколько человек за это были даже, будто, расстреляны, как нарушители дисциплины, и тогда Берлинскому самому уже не захотелось в Петербурге оставаться, да и граф Чернышев прямо, будто, сказал государю:

— Как вашему величеству угодно, а это невозможно есть: или пусть Берлинский в Петербурге не живет, или надо отсюда все войска вывесть.

Государь, будто, призвал Кесаря Степановича и сказал:

— Так и так, братец, мне с тобою очень жаль расстаться, но ты сам видишь, что в таком случае можно сделать. Я тобою очень дорожу, но без войск столицу тоже оставить нельзя, а потому тебе жить здесь невозможно. Ступай в Киев и сиди там до военных обстоятельств. В то время я про тебя непременно вспомню и пошлю за тобой.

А «лысый Чернышев» так его торопил выездом, что только несколько дней дозволил ему пробыть в Петербурге, но и тут не обошлось без больших затруднений, имевших притом роковые последствия.

Это, по рассказам, было, будто, именно в тот год, когда в Петербурге, на Адмиралтейской площади, сгорел с народом известный балаган Лемана.

Балаган сгорел с народом, стало быть, во время представления, но, по вине самого импровизатора или благовестников его славы, на сей раз выходило что-то немножко нескладно: дело, будто, происходило *ночью*.

Берлинский, будто, тогда стоял на квартире в Гороховой улице, у одной немочки, и дожидался бритвенного прибора, который заказал по своему рисунку одному англичанину. У них в родстве было много лиц, отличавшихся необыкновенным умом и изобретательностью, и один племянник Берлинского, будто, такие бритвы выдумал, что они могли брить превосходно, а обрезаться ими никак нельзя.

Англичанин взялся эти бритвы исполнить, да не хорошо по рисунку сделал и опять стал переделывать. А лысый граф Чернышев, которому неприятно было, что Берлинский все еще в Петербурге живет, ничего этого в расчет взять не хотел. Он уже несколько раз присылал дежурного офицера узнать, скоро ли он выедет.

Берлинский, разумеется, дежурного не боялся и отвечал: «Пусть ваш лысый граф не беспокоится и пусть, если умеет, сам Вылезария в плен берет, а я только моего особенного прибора дожидаюсь, и как англичанин мне прибор сделает, так я сейчас же выеду и буду, где государю угодно, век доживать да печерских чудотворцев за него молить, чтобы ему ничего неприятного не было. А пока мои бритвы не готовы, я не поеду. Так лысому от меня и скажите».

Чернышев не смел его насильно выслать, но опять прислал дежурного сказать, чтобы Берлинский днем не мог на улице показываться, чтобы солдат не будоражить, а выходил бы для прогулки на свежем воздухе только после зари, когда из пушки выпалят и всех солдат в казармах запрут.

Берлинский отвечал:

— Я службу так уважаю, что и лысому повинуюсь.

После этого он, будто, жил еще в Петербурге несколько дней, выходя подышать воздухом только ночью, когда войска были в казармах, и ни один солдат не мог его увидеть и за ним бегать. Все шло прекрасно, но тут вдруг неожиданно и подвернулся роковой случай, после которого дальнейшее пребывание Кесаря в столице сделалось уже решительно невозможным.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Идет один раз Кесарь Степанович, закрыв лицо шинелью, от Красного моста к Адмиралтейству, как вдруг видит впереди себя на Адмиралтейской площади «огненное пламя». Берлинский подумал: не Зимний ли дворец это горит и не угрожает ли государю какая опасность... И тут, по весьма понятному чувству, забыв все на свете, Берлинский бросился к пожару.

Прибегает он и видит, что до дворца, слава богу, далеко, а горит Леманов балаган, и внутри его страшный вопль, а снаружи никого нет. Не было, будто, ни пожарных, ни полиции и ни одного человека. Словом, снаружи пустота, а внутри стоны и гибель, и только от дворца кто-то один, видный, рослый человек, бежит и с одышкою спотыкается.

Берлинский воззрился в бегущего и узнал, что это не кто иной, как сам государь Николай Павлович.

Скрываться было некогда, и Кесарь Степанович стал ему во фронт как следует.

Государь ему, будто, закричал:

— Ах, Берлинский! тебя-то мне и надобно. Полно вытягиваться, видишь, никого нет, беги за пожарными.

А Кесарь Степанович, будто, ответил:

— Пожарные тут, ваше императорское величество, никуда не годятся, а дозвольте скорее призвать артиллерию.

Государь изволил его спросить:

— Зачем артиллерию?

А он, будто, ответил:

— Затем, что тут *надо схватить момент*. Деревянного балагана залить трубами нельзя, а надо артиллерией *в один момент* стену развалить, и тогда сто или двести человек убьем, а зато остальной весь народ сразу высыпется (вот еще когда и при каком случае, значит, говорено военным человеком о значении *момента*).

Но государь его не послушался — ужасно ему показалось сто человек убить; а потом, когда балаган сгорел, тогда изволил, будто, с сожалением сказать:

— А Берлинский мне, однако, правду говорил: все дело было в моменте, и надо было его послушаться и артиллерию пустить. Но только все-таки лучше велеть ему сейчас же выехать, а его бритвенный прибор послать ему в Киев по почте на казенный счет.

Сделано это последнее распоряжение было в таком расчете, что если бы при Берлинском случился в Петербурге другой подобный острый момент, то все равно нельзя было бы артиллерию вывесть потому, что все солдаты и с пушками за ним бы бросились, чтобы он вел их пленять Вылезария.

Так этим и заключилась блестящая пора служебной карьеры Кесаря Степановича в столице, и он не видел государя до той поры, когда после выставил перед его величеством «свою шеренгу», а потом вернулся в Киев с пособием и усиленною пенсиею, настоящую цифру которой, как выше сказано, он постоянно скрывал от непосвященных и говорил коротко, что «берет много», а может взять еще больше.

— Стоит только государю страховое письмо написать.

Мне кажется, что он искренно верил, что имеет дозволение вести с государем переписку, и, бог его знает, может быть и в самом деле ему что-нибудь в этом роде было сказано, если не лично государем, то кем-нибудь из лиц, через которых Кесарь Степанович устроил детей и получил свою прибавку.

Во всяком случае это куражило старика и давало ему силу переносить весьма тяжелые лишения с непоколебимым мужеством и внушающим достоинством.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Так Берлинский и старелся, отменно преданный государю и верный самому себе во всем и особенно в импровизаторстве. А когда он стал очень стар и во всех отношениях так поотстал от современности, что ему нечего было сочинять о себе, то он перенес задачи своей импровизации на своего племянника (моего школьного товарища) доктора, имя которого было Николай, но так как он был очень знаменит, то этого имени ему было мало, и он назывался *«Николавра»*. Здесь значение усиливалось звуком *лавра*. Николай это было простое имя, как бывает простой монастырь, а *Николавра* — это то же самое, что лавра среди простых монастырей.

Кесарь Степанович рассказывал удивительнейшие вещи о необычайных медицинских знаниях и талантах этого очень много учившегося, но замечательно несчастливого врача и человека с отменно добрым и благородным сердцем, но большого неудачника.

Опять и тут я не помню многого и, может быть, самого замечательного, но, однако, могу записать один анекдот, который объясняет, в каком духе и роде были другие, пущенные в обращение для прославления Николавры.

Шел один раз разговор о зубных болях — об их жестокой неутолимости и о неизвестности таких медицинских средств, которые действовали бы в этих болях так же верно, как, например, хинин в лихорадках или касторовое масло в засорениях желудка и кишок.

В обществе было несколько молодых в тогдашнее время врачей, и все согласно утверждали, что таких универсальных средств действительно нет, — что на одного больного действует одно лекарство, на другого — другое, а есть такие несчастные, на которых ничто не действует, «пока само пройдет».

Вопрос очень специальный и неинтересный для беседы людей непосвященных, но чуть к нему коснулся художественный гений Берлинского, — произошло чудо, напоминающее вмале источение воды из камня в пустыне. Крылатый Пегас-импровизатор ударил звонким копытом, и из сухой скучной материи полилась сага — живая, сочная и полная преинтересных положений, над которыми люди в свое время задумывались, улыбались и даже, может быть, плакали, а во всяком случае тех, кого это сказание касается, прославили.

Кесарь Степанович опротестовал медицинское мнение и сказал будто, что универсальное средство против зубной боли есть и что оно изобретено именно его племянником, доктором Николаврою, и одному ему, Николавре, только и известно. Но средство это было такое капризное, что, несмотря на всю его полезность, оно могло быть употребляемо не всяким и не во всех случаях. Медикамент этот, утолявший, будто, всякую боль, можно было употреблять только в размере одной капли, которую нужно было очень осторожно капнуть на больной зуб. Если же эта капля хоть крошечку стечет с зуба и коснется щеки или десен, то в то же самое время человек мгновенно умирает. Словом, опасность страшная! И выходило так, что нижние зубы этим лекарством можно было лечить, потому что на нижние можно осторожно

капнуть, но если заболели верхние, на которые капнуть нельзя, то тогда уже это лекарство бесполезно.

Было ужасно слушать, что есть такое спасительное изобретение и оно в значительной доле случаев должно оставаться неприложимым. Но Кесарь Степанович, владея острым умом и решительностью, нашел, однако, средство, как преодолеть это затруднение, и усвоил для медицинской науки «перевертошный способ», которым до тех пор зубоврачебная практика не пользовалась. Этот этюд был известен между нами под названием «Берлинского анекдота о бибиковской теще».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Жила-была, будто, «бибиковская теща», дама «полнищая и преогромная», и приехала она, будто, на лето к себе в деревню, где-то неподалеку от Киева. В Киев ей Бибиков въезжать не позволял «по своему характеру», потому что он «насчет женского сословия заблуждался и с тещею не хотел об этом разговаривать, чтобы она его не стала стыдить летами, чином и убожеством» (так как у него одна рука была отнята).

Несчастная «полная дама» так и жила, будто, в деревне, и пошла, будто, она один раз с внучками в лес гулять, и нашла на кусте орешника орех-двойчатку, и обрадовалась, что счастье удвоится, и захотела раскусить. Внучки говорят ей:

— Не кусай, бабушка, двойчатку — у тебя зубки стары.

А бибиковская теща отвечает:

— Нет, раскушу, — мне счастья удвоится.

Орехи она разгрызла, но только после этого у нее сейчас же зубы заныли и до того ее доняли, что она стала кричать: «Лучше убейте меня, потому что это все удвоивается и стало совсем невозможно вытерпеть». А у нее был управитель очень лукавый, и он ей говорит: «Чем если убивать — за что отвечать придется, то лучше дозвольте я вам из Киева всепомогающего лекаря привезу: он из известной шияновской родни — и всякую зубную боль в одну минуту унять может».

Бибиковская теща про Шияновых много хорошего слыхала и отвечает: «Привези, но только как возможно скорей».

Управитель, чтобы не произошло никакой медленности, сейчас же собрался и, даже не евши, уехал.

Вечером он из имения выехал, а рано на заре стал уже в Киеве на дымящихся и вспененных конях посреди печерского базара, а дальше тут уже не знал куда ехать: по Большой или по Малой Шияновской, и закричал во все горло:

— Где тут всепомогающий лекарь Николавра, который во всякой зубной боли вылечивает?

(По причине большой известности этого доктора, фамилия его никогда не произносилась, а довольно было одного его имени «Николавра», которое было так же славно, как, например, имя Абеляр.)

Чумаки, которые стали тут с вечера и спали на своих возах с пшеном и салом и с сухою таранью, сейчас от этого крика проснулись и показали управителю:

— Годи тебе кричать, — говорят, — вот туточка сей лекарь живет, тільки що він теперь, як и усе христіянство, спочивае.

Управитель побежал по указанию и заколотил о запертые ставни.

Оттуда ему кричат:

— Кто се такій, и чого вам треба?

А он отвечает:

— Отчиняйте скорей, або я все окна побью, — мне надо всепомогающего лекаря Николавру, который всякую боль излечивает. Здесь он или нет, а то я должен дальше скакать его разыскивать.

Управителю говорят:

— Никуда вам скакать дальше не треба, потому что всепомогающий доктор Николавра здесь живет, но он теперь, як и усе христіянство, спит. А вы майте собі трохи совісти, и если в господа бога веруете, то не колотайте так крепко, бо наш дом старенький, еще не за сих времен, и шибки из окон повыскакують, а тут близко ни якого стекольщика нет, а теперь зима лютая, и с малыми детьми смерзти можно.

Рассказывалось именно так, что при этом переговоре было упоминаемо про «зиму» и про «холод», и чита-

тель не должен смущаться, что дело происходило во время летнего наезда бибиковской тещи в свое имение. Вскоре мы опять увидим, вместо скучной и лютой зимы, веселое знойное лето.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Управитель бибиковской тещи был человек горделивый, потому что, по необразованности своей, считал, как и другие многие, будто государь Бибикову Киев все равно как в подарок подарил и что потому все, кто тут живет, ему, будто, принадлежат вроде крепостных и должны всё делать.

— Велика важность, — говорит, — ваши окна! Я от бибиковской тещи приехал за лекарем, и подавай мне лекаря.

Ему отворили двери и привели его к самому Николавре.

Тот — лихой молодчина был и хотя такой ученый, что страшно все понимал, но церемониться ни с кем не любил.

Как ему сказали, что от бибиковской тещи управитель пришел, он говорит:

— Приведите его ко мне в спальню. Если он во мне надобность имеет, то может меня и без панталон во всяком виде рассматривать.

Управитель пришел и рассказывает, а лекарь Николавра на него и внимания не обращает: лежит под одеялом да коленки себе чешет. А когда тот кончил, лекарь только спросил:

— А в каком строю у нее зуб болит, в верхнем или в нижнем?

Управитель отвечает:

— Я ей в зубы не глядел, а полагаю, что, должно быть, болит в строю *в верхнем,* потому что у нее опухоль под самым глазом.

Тогда Николавра завернулся к стене и говорит:

— Прощай и ступай вон.

— Что это значит?

— То значит, что если боль в верхнем строю, то мне там делать нечего: я верхних зубов лечить не могу.

Управитель говорит:

— Да вам-то не все ли равно лечить, что верхний зуб, что нижний? Все равно, — говорит, — кость окостенелая, что тот, что этот, одно в них естество, одно повреждение и одно лекарство.

Но лекарь на него посмотрел и говорить не стал.

Тот спрашивает:

— Что же, отвечайте что-нибудь.

Тогда лекарь дал ему такой ответ:

— Я, — говорит, — могу разговаривать с равным себе по науке, а это не твоего дело ума, чтобы я с тобою стал разговаривать. Ты управитель, и довольно с тебя — имением и управляй, а не в свое дело не суйся. Людей лечить это не то что навоз запахивать. Медицине учатся. А тебе сказано, что я в нижнем строю все могу вылечить, а до верха моим спасительным лекарством дотронуться нельзя.

— Но через что же такое? — вопит управитель.

— А через то, что она в ту же минуту «окочурится» и мне за нее отвечать придется; а я моей репутацией дорожу, потому что я очень много учился.

Управитель как услыхал, что она может «окочуриться», еще больше стал просить лекаря, чтоб непременно ехал, а тот рассердился, вскочил, вытолкал его в шею и опять лег ночь досыпать.

Тут в это дело и вступился везде находчивый Кесарь Степанович.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Увидал он, что племянник, хотя, по его словам, и умен и в своем медицинском деле очень сведущ, а недостает ему еще настоящей тактики и практики, и молодой его рассудок еще не очень находчив, как себе большую славу сделать.

Кесарь Степанович, прослушав весь их разговор из своей комнаты, сейчас встал с постели, надел туфли и тулупчик и с трубкой вышел в залу, по которой проходил

изгнанный лекарем управитель. Увидал он его и остановил, — говорит:

— Остановись, прохожий, никуда не гожий, и объясни мне своей рожей, не выходивши из прихожей: на чем ты сюда приехал, и есть ли там третье сидение, чтобы еще одного человека посадить.

Управляющий очень рад, что с ним такой известный человек заговорил, и отвечает, что у него есть четвероместная коляска, и он может не одного, а даже двух людей поместить.

Кесарь Степанович дал ему щелчка в лоб и говорит:

— Ты спасен, и твое дело сделано: я сейчас к племяннику взойду и совет ему дам. Николавра меня послушается, и мы переговорим и, может быть, все вместе поедем. Я ему один способ покажу, как можно верхние зубы в нижний ряд поставить, и тогда на них черт знает чем можно накапать.

— А ты, — прибавляет, — только скажи мне: очень ли она мучится?

Управитель отвечает:

— Уж совсем замучилась и на весь дом визжит.

— То-то, — говорит Кесарь Степанович, — мне это знать надо, потому что моим способом с ней круто придется обращаться — по-военному.

Управитель отвечает:

— Она военных даже очень уважает и на все согласится, потому что у нее очень болит.

— Хорошо, — сказал Кесарь Степанович и пошел к племяннику. Там у них вышел спор, но Кесарь Степанович все кричал: «не твое дело, за всю опасность я отвечаю», и переспорил.

— Ты, — говорит, — бери только свое спасительное лекарство и употребляй его по своей науке, как следует, а остальное, чтобы верхние зубы снизу стали — это мое дело.

Лекарь говорит:

— Вы забываете, какого она звания, — она обидится.

А Кесарь Степанович отвечает:

— Ты молод, а я знаю, как с дамами по-военному обращаться. Верь мне, мы ей на верхний зуб капнем, и она нам еще книксен присядет. Едем скорее — она мучится.

Лекарь было стал еще представлять, что капнуть на верхний зуб нельзя, а она может после Бибикову жаловаться, но тут Кесарь Степанович его даже постыдил.

— Ты ведь, — говорит, — кажется, не простой доктор, а учил две науки по физике, и понять не можешь, что тут надо только *схватить момент,* и тогда все можно. Не беспокойся. Это не твое дело: ты до нее не будешь притрогиваться, а мне Бибиков ничего сделать не смеет. Ты, кажется, мне можешь верить.

Племянник поверил дяде и говорит:

— В самом деле, при вас я не боюсь, а между прочим мне это вперед для таковых же случаев может пригодиться.

Оделся, положил пузыречек со своим лекарством в жилетный карман, и без дальних рассуждений все они втроем покатили на верхний зуб капать.

Управитель все ехал и думал: непременно она у них окочурится!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Скакали путники без отдыха целый день, и зато вечером, в самое то время, когда стадо гонят, приехали на господский двор, а зубы если когда разболятся, то к вечеру еще хуже болят.

Бибиковская теща ходит по комнатам, и сама преогромная, а плачет как маленькая.

— Мне очень стыдно, — говорит, — этак плакать, но не могу удержаться, потому что очень через силу болит.

Кесарь Степанович сейчас же с ней заговорил по-военному, но ласково.

— Это, — говорит, — даже к лучшему, что вам так больно болит, потому что вы должны скорее на все решиться.

А она отвечает:

— Ах, боже мой, я уже и решилась. Что вы хотите, то и делайте, только бы мне выздороветь и в Париж для развлечения уехать.

— В таком разе, — говорит Берлинский, — мы должны кое-что сделать... По-французски это называется «повертон». После через пять минут можете в Париж ехать.

Она удивилась и вскричала:

— Неужели через пять минут?!

Берлинский говорит:

— Что мною сказано, то верно.

— В таком разе, хоть не знаю, что такое «повертон», но я на все согласна.

— Хорошо, — говорит Берлинский, — велите же мне поскорее подать два чистые носовые платка и хорошую крепкую пробку из сотерной бутылки.

Та приказала.

— И еще, — говорит Кесарь Степанович, — одно условие: прикажите сейчас, чтобы все, кто тут есть, ваши родные и слуги ваши ни во что не смели вступаться, пока мы свое дело кончим.

— Все, — говорит, — приказываю: мне лучше умереть, чем так мучиться.

Словом, больная безусловно предалась в их энергические руки, а тем временем Кесарю и Николавре подали потребованные платки и пробку из сотерной бутылки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Кесарь Степанович пробку осмотрел, погнул, подавил и сказал: «Пробка хороша, а платки надо переменить: батистовые, — говорит, — не годятся, а надо самые плотные полотняные».

Ему такие и подали. Он сложил их оба с угла на угол, как складывают, чтобы зубы подвязывать, и положил на столик; а бибиковской теще говорит:

— Нуте-ка, что-нибудь заговорите.

Она спрашивает:

— Для чего это нужно?

А Берлинский ей отвечает:

— Для того, чтобы *схватить первый момент.*

А сам ей в эту самую секунду сотерную пробку в рот и вставил. Так ловко вставил ее между зубами, что бибиковской теще ни кричать и ни одного слова выговорить нельзя при такой распорке.

Удивилась она, и испугалась, и глазами хлопает, а чем больше старается что-то спросить, тем только крепче зубами пробку напирает. А Кесарь Степанович в это же острое мгновение улыбнулся и говорит ей: «Вот только всего и нужно», — а сам ей одним платком руки назади связал, а другим внизу платье вокруг ног обвязал, как делают простонародные девушки, когда садятся на качели качаться. А потом крикнул племяннику:

— Теперь лови второй момент!

И сейчас же ловко, по-военному, перевернул даму вниз головою и поставил ее в угол на подушку теменем. От этого находчивого оборота, разумеется, вышло так, что у нее верхние зубы стали нижними, а нижние — верхними. Неприятно, конечно, было, но ненадолго — всего на одну секунду, потому что лекарь, как человек одной породы с дядею — такой же, как дядя, ловкий и понятливый, сейчас же «схватил момент» — капнул каплю даме на верхний зуб и сейчас же опять ее перевернул, и она стала на ногах такая здоровая, что сотерную пробку перекусила и говорит:

— Ах, мерси, — мне все прошло; теперь блаженство! чем я могу вас отблагодарить?

Кесарь Степанович отвечал:

— Я не врач, а военный, а военные во всех несчастиях дамам так помогают, а денег не берут.

Бибиковская теща расспросила о Кесаре Степановиче: кто он такой и на каком положении у государя, и когда узнала, что он отставной, но при военных делах будет опять призван, подарила ему необыкновенного верхового коня. Конь был что-то вроде Сампсона: необычайная сила и удаль заключались у него в необычайных волосах, и для того он был с удивительным хвостом. Такой был огромный хвост, что если конь скакал, то он сзади расстилался как облако, а если шагом пойдет, то концы его на двух маленьких колесцах укладывали, и они ехали за конем, как шлейф за дамой.

Только удивительного коня этого нельзя было ввести в Киев, а надо было его где-то скрывать, потому что он был самый лучший на всем Орловском заводе и Бибикову хотелось его иметь, но благодарная теща сказала: «На что он ему? Какой он воин!» — и подарила коня Берлин-

скому, с одним честным словом, чтобы его в «бибиковское царство» не вводить, а содержать «на чужой стороне».

Кесарь Степанович ногою шаркнул, «в ручку поцеловал», и коня принял, и честное слово свое сдержал.

Об этом коне в свое время было много протолковано на печерском базаре. Собственными глазами никто это прекрасное животное никогда не видал, но все знали, что он вороной без отметин, а ноздри огненные, и может скакать через самые широкие реки.

Теперь, когда пересказываешь это, так все кажется таким вздором, как сказка, которой ни минуты нельзя верить, а тогда как-то одни смеялись, другие верили, и все было складно.

Печерские перекупки готовы были клясться, что этот конь жил в таинственной глубокой пещере в Броварском бору, который тогда был до того густ, что в нем еще водились дикие кабаны. А стерег коня там старый москаль, «хромой на одно око». В этом не могло быть ни малейшего сомнения, потому что москаль приходил иногда на базар и продавал в горшке табак «прочухрай», от которого как понюхаешь, так и зачихаешь. Ввести же коня в Киев нельзя было «по причине Бибика».

Исцеление тещи имело, однако, и свои невыгодные последствия, если не для Кесаря Степановича, то для всепомогающего врача, и виною тому была малообразованность публики. Когда дамы узнали об этом исцелении способом «повертона», так начали притворяться, что у них верхний зуб болит, и стали осаждать доктора, чтобы и над ними был сделан «повертон». Они готовы были злоупотреблять этим до чрезвычайности. Николавра им внушал, что это дело серьезное и научное, а не шутка, но они всё не отставали от него с просьбами «перевернуть их и вылечить». Происходило это более оттого, что Николавра дам очень смешил и они в него влюблялись в это время без памяти. А он, будучи очень честен, не хотел расстраивать семейную жизнь во всем городе и предпочел совсем оставить и Киев и медицинскую практику.

Так он и сделал.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Разумеется, вся «причина Бибика», о которой выше сказано, была чистейший плод быстрой и сложной фантазии самого печерского импровизатора или его восторженных почитателей. На самом же деле Бибиков не только не гнал и ни за что не преследовал занимательного полковника, но даже едва ли не благодетельствовал ему, насколько к тому была склонна его жесткая и мало-податливая на добро натура. Кажется, Бибиков был даже чем-то полезен Берлинскому в устройстве его детей и вообще никогда на него не нападал, хотя, по весьма странной любви к сплетням и наушничеству, он знал очень многое о том, что Берлинский на его счет импровизовал. Вполне возможно, что иногда скучавший Бибиков им даже немножко интересовался, конечно, только ради смеха и потехи.

В Киеве в то время проживал академик С.-Петербургской академии художеств, акварелист Михаил Макарович Сажин. Он составлял для Дмитрия Гавриловича акварельный альбом открытых при нем киевских древностей и не раз, бывало, сказывал, что Бибиков шутил над своею зависимостью от Берлинского. Особенно его забавляло, как Берлинский уверял, что «безрукий» мимо его домов даже *ездить боится.*

Бибиков и в самом деле, говорят, никогда не проезжал по Шияновским улицам, но, разумеется, не потому, чтобы ему был страшен Берлинский, а потому, что тут невозможно было проехать, не затонув или по крайней мере не измаравшись. Кесарь Степанович или вдохновенные им почитатели давали этому свое толкование, которое им гораздо более нравилось, а для Кесаря имело притом свои выгоды. Все эти легенды и басни значительно возвышали авторитет «галицкого воина», который никого не боится, между тем как его все боятся, и «даже сам Бибик».

Так как независимые люди всегда редки и всякому интересны, то Кесарь Степанович пользовался у многих особенною любовью, и это выражалось своеобразным к нему поклонением. Думали, что он очень много может защитить; а это, в свою очередь, благоприятно отражалось на делах шияновских развалин, которые Бибиков, по словам Сажина, называл «шияновскими нужниками»,

но зато их не трогал — может, в самом деле из какого-нибудь доброго чувства к Берлинскому. Людям робким, равно как и людям оппозиционного образа мыслей было лестно жить в этих «нужниках» вместе или «в одном кольце» с таким вдохновительным героем, как Кесарь Степанович. А как притом к чистоте и благоустройству обиталищ у нас относятся еще довольно нетребовательно, то, эти дрянные развалины были постоянно обитаемы. Между невзыскательными жильцами здешних мест встречалось немало тогдашних «нелегальных», то есть таких, у которых были плохи пашпортишки. Они были уверены, что, будто, имеют в лице Кесаря Степановича могущественного защитника. Думали, чуть, храни бог, встретится какое-нибудь несчастие или притеснение от полиции, то Кесарь Степанович заступится. А главное, что полиция сюда почему-то и действительно с полицейскими целями не ходила. Вероятно, не хотела, чтобы про нее было что-нибудь написано государю. Это обыкновенно имелось в виду при найме квартир, и нетребовательный жилец переезжал в шияновские развалины с приятным убеждением, что здесь хоть и «худовато, да спокойно».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Дорожа «спокойностью», в шияновские закутки набиралась всякая нищета и мелкота, иногда очень характерная и интересная.

Аристократию составляли захудалое армейское офицерство и студенты-медики пятого курса, которым надо было ходить в клиники военного госпиталя. Эти были менее всех искательны насчет покровительства и протекции, но Кесарь Степанович, впрочем, и им иногда сулил свои услуги.

— Люблю молодежь, — говорил он и сейчас же, вздохнув, прибавлял: — но зато, спасибо им, и они меня любят. Бедные ребятки, понимают, что безрукий совсем готов бы их затеснить, да не смеет — боится...

Боялся он, разумеется, страхового письма.

Студенты, впрочем, к полковнику за содействием не обращались и даже слегка над ним подтрунивали или просто его избегали.

Иногда встречались такие, которым и сам Кесарь Степанович и его защитительная предупредительность казались очень подозрительными. Думали, будто он может служить богови и мамону... Но «серый жилец», то есть публика из простолюдинов, и особенно староверы, которым в тогдашнее сердитое время приходилось очень жутко, питали к нему безграничное доверие.

Эти отношения мне представлялись тогда очень странными, и я никак не мог понять, происходило ли это доверие к Кесарю от большого практического ума или от неразумения. Но так или иначе, а репутация дома все-таки на этом выигрывала, и теперь это воспоминается мило и живо, как веселая старая сказка, под которую сквозь какую-то теплую дрему свежо и ласково улыбается сердце...

Люди нынешнего банкового периода должны нам простить романтическую чепуху нашего молодого времени.

Явным противоречием между словом и поступками Берлинского было то, что беспредельно храбрый в своих импровизациях, он в практических делах с властями был очень предусмотрителен и, может быть, даже искателен. Так, например, считая Бибикова не только не выше себя, но даже несколько ниже, по крайней мере в том отношении, что он мог писать о нем что угодно государю, Кесарь Степанович иногда надевал мундир и являлся «в Липки» к Бибикову. Политиканы, склонные к обобщениям, придавали этому большое значение и подозрительно истолковывали такие визиты в неблагоприятном смысле; но всего вероятнее полковника заводила к генерал-губернатору просто нужда, в которой Бибиков ему, может быть, помогал из обширных средств, находившихся в его безотчетном распоряжении. Простолюдины же толковали это совсем иначе и получали выводы прекрасные; они говорили:

— Наш-то, батюшка, воин-то наш галицкий, Кесарий Степанович, опять пополоз ругать Бибика. Пущай его проберет, недоброго.

Сажин сказывал, что Бибиков даже и это знал и очень над этим смеялся, а отношений своих к Берлинскому все-таки нимало не изменял и не отказывался быть ему полезным.

Таким образом, Берлинский, позабытый или не замечаемый в высших сферах киевского общества, в котором не было и нет дворянской знати, в среднем слое слыл чу-

даком, которого потихоньку вышучивали, но зато в низших слоях был героем, с феноменальною и грандиозною репутациею, которая держалась чрезвычайно крепко и привлекла под шияновские текучие крыши два бесподобнейшие экземпляра самого заматорелого во тьме «древлего благочестия», из разряда «опасных немоляков».

Впрочем, пока до них, посмотрим еще одно вводное лицо: это квартальный — классик.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Была одна статья, которая, кажется, непременно должна бы бросить тень на независимость и отвагу Кесаря, — это операции, имевшие целию поддержание «шияновских нужников».

Все набитые сбродом домы и домишки, хлевушки и закуточки шияновских улиц давно валились, а починять их строго запрещалось суровым бибиковским эдиктом о «преобразовании». Но о Берлинском говорили так, что он этих эдиктов не признает и что Бибиков не смеет ему воспретить делать необходимые починки, ибо сам государь желал, чтобы дом, где живет Кесарь Степанович, был сохранен в крепости. Между тем, как думал об этом Бибиков, было неизвестно, а починки были крайне нужны, особенно в крышах, которые прогнили, проросли и текли по всем швам. И что же? наперекор всем бибиковским запрещениям, крыши эти чинились; но как? Этот способ достоин занесения его в киевскую хронику.

К Кесарю Степановичу был вхож и почему-то пользовался его расположением местный квартальный, которого, помнится, как будто звали Дионисий Иванович или Иван Дионисович. Он был полухохол-полуполяк, а по религии «из тунеядского исповедания». Это был человек пожилой и очень неопрятный, а подчас и зашибавшийся хмелем, но службист, законовед и разного мастерства художник. Притом, как человек, получивший воспитание в каких-то иезуитских школах, он знал отлично по-латыни и говорил на этом языке с каким-то престарелым униатским попом, который проживал где-то на Рыбальской улице за лужею. Латынь служила им для объяснений на базаре по преимуществу о дороговизне продуктов и о дру-

гих предметах, о которых они, как чистые аристократы ума, не хотели разговаривать на низком наречии плебеев.

В служебном отношении, по части самовознаграждения, классик придерживался старой доброй системы — натуральной повинности. Денежных взяток классик не вымогал, а взимал с прибывающих на печерский базар возов «что кто привез, с того и по штучке, — щоб никому не було обиды». Если на возу дрова, то дров по полену, капуста — то по кочану капусты, зерна по пригоршне и так все до мелочи, со всех поровну, «як от бога показано».

Где именно было такое показание от бога — это знал один классик, в памяти которого жила огромная, но престранная текстуализация из «божого писания» и особенно из апостола Павла.

— Ось у писании правда сказано, що «хлоп як був собі дурень, так він дурнем и подохне».

Мужик слушал и, может быть, верил, что это о нем писано. А в другой раз классик приводил уже другой текст:

— Тоже, видать, правда, що каже апостол Павел: «бій хлопа по потылице», и так как за этим следовала сама потылица, то веры тому было еще более.

Натуральную подать принимал ходивший за классиком нарочито учрежденный custos. [1] Он все брал и сносил на шияновский двор, где у квартального в каком-то закоулочке была ветхая, но поместительная амбарушка. Тут всё получаемое складывали и отходили за дальнейшим сбором, а потом в свободное время всё это сортировали и нечто пригодное для домашнего обихода брали домой, а другое приуготовляли к промену на вещи более подходящие. Словом, тут был свой маленький меновой двор или караван-сарай взяточных продуктов, полученных от хлопов, которых апостол Павел «казав бить по потылице».

Платил ли что Иван Дионисович за этот караван-сарай — не знаю, но зато он делал дому всякие льготы, значительно возвышавшие репутацию «покойности» здешних, крайне плохих на взгляд, но весьма богохранимых жилищ.

Тут не бывало никаких обысков, тут, по рассказам, жило немало людей с плохими паспортами кромского, нежинского и местного киевского приготовления. Обыкно-

---

[1] Страж (*лат.*).

венные сорта фальшивых паспортов приготовлялись тогда по всему главному пути от Орла до Киева, но самыми лучшими слыли те, которые делали в Кромах и в Дмитриеве на Свапе. В шияновских домах, впрочем, можно было обходиться и вовсе без всяких паспортов, но главное, что тут можно было делать на полной свободе, — это *молиться богу, как хочешь,* то есть каким хочешь обычаем.

Последнее обстоятельство и было причиною, что на этот двор, под команду полковника Берлинского, приснастился оригинальнейший богомолец. Сей бе именем Малахия, старец, прибывший в Киев для совершения тайных треб у староверов, которые пришли строить каменный мост с англичанином Виньёлем. Старец Малахия, в просторечии Малафей Пимыч, был привезен своими единоверцами «из неведомого ключа» и «сокрыт» в шияновских закоулках «под тайностию». Все это в надежде на Кесаря — ибо имя его громко звучало по простолюдью дальше Орла и Калуги.

При старце был отрок лет двадцати трех, которого звали Гиезий.

Было ли это его настоящее имя или только шуточная кличка — теперь не знаю, а тогда не интересовался это расследовать.

Имени Гиезий в православных месяцесловах нет, а был такой отрок при пророке Елисее. Может быть, это оттуда и взято.

Как старец Малафей, так и его отрок были чудаки первой степени, и поселены они были в шияновской слободе в расчетах на защиту «печерского Кесаря». Но прежде, чем говорить о старце и его мужественном отроке, окончу об Иване Дионисовиче и о его художествах.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

У латыниста квартального было два искусства, из коих одним он хвастался, а о другом умалчивал, хотя, собственно, второе в общественном смысле имело гораздо большее значение.

Иван Дионисович хвалился тем, что он «сам себя стриг». Это, может быть, покажется кому-нибудь пустяками, но пусть кто угодно на себе это попробует, и тогда

всяк легко убедится, что остричь самому себя очень трудно и требует большой ловкости и таланта. Второе же дело, которое еще более артистически исполнял, но о котором умалчивал квартальный, относилось к антикварному роду: он знал секрет, как «старить» новые доски для того, чтобы ими «подшивать» ночью прогнившие крыши. И делал он это так, что никакой глаз не мог отличить от старого новых заплат его мастерского приготовления.

В том самом караван-сарае, где складывались натуральные подати с базарных торговцев и производилась меновая торговля, тут же у Ивана Дионисовича была и антикварная мастерская. Здесь находились драни, лубья и деготь или колесная смола, по-малороссийски «коломазь». Все это было набрано на базаре с торговцев безданно-беспошлинно и назначалось в дело, которое, при тогдашних строгостях, заключало в себе много тайности и немало выгод. Химия производилась в огромном старом корыте с разведенным в нем коровьим пометом и другими элементами, образовывавшими новые соединения. Элементы всё были простые: навоз, песок, смола и зерна овса «для поросли». В этом корыте лежали приуготовляемые для антикварных работ лубы и драницы. Они подвергались довольно сложному процессу, за которым классик наблюдал не хуже любого техника, и новому материалу придавался вид древности изумительно хорошо и скоро. Квартальный сам дошел до того, как составлять этот античный колорит и пускать по нему эту веселую зелененькую поросль от разнеженных овсяных зерен. Стоило приготовленную таким способом доску приколотить на место, и, как «Бибик» около нее ни разъезжай, ничего он не отличит.

Дошел до этого производства Иван Дионисович, вероятно, из тех побуждений, чтобы у него не пропадали такие продукты, как лубья и коломазь, для которых нельзя было найти особенно хорошего сбыта в их простом виде.

Кажется, квартальный иногда сам и приколачивал приготовленные им заплатки, а впрочем, я достоверно этого не знаю. Знаю только, что он их приготовлял, и притом приготовлял в совершенстве.

Способ нанесения этого материала на ветхие постройки был прост: избиралась ночь потемнее, и к утру дело было готово. На следующий день Кесарь Степанович ходил, гулял, поглядывал и говорил, улыбаясь:

— Что? много взял, безрукий!

А ему отвечали:

— Что он против тебя может!

Так и это все шло в подтверждение, что Бибиков ничего, будто, против «Кесаря» сделать не может, а тем временем пришла постройка моста, и к Виньёлю притекла масса людей, из которых много было раскольников. Эти привезли с собою образа и своих «молитвенников», между которыми всех большей тайности и охране подлежал уже раз упомянутый старец Малафей. Он был «пилипон» (то есть филипповец) и «немоляк», то есть такой сектант, который ни в домашней, ни за общественной молитвой о царе не молился. Такие сектанты, при тогдашнем малом знании и понимании духа русского раскола, почитались «опасными и особенно вредными».

Большинство людей, даже очень умных, смотрели на этих наивных буквоедов как на политических злоумышленников и во всяком случае «недругов царских».

Этого не избегали наши старинные законоведы и новейшие тенденциозные фантазеры вроде Щапова, который принес своими мечтательными изъяснениями староверчества существенный вред нежно любимому им расколу.

Куда было деть в Киеве такого опасного старца, как Малахия? где его поместить так удобно, чтобы он сам был цел и чтобы можно было у него «поначалиться» и вкусить с ним сладость молитвенного общения? Христолюбцам предлежала серьезная забота, «где сохранить старичка от Бибика».

Но где же лучше можно было устроить такого особливого богослова, как не в «шияновских нужниках». Сюда его и привела под крыло печерского «Кесаря» громкая слава дел этого независимого и бесстрашного человека.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Старца Малафея с его губатым отроком в шияновских палестинах водворили два какие-то каменщика. Эти люди приходили осматривать помещение с большими предосторожностями. О цене помещения для старца они говорили с барышней, которая ведала домовые счеты, а потом бе-

седовали с Кесарем Степановичем о чем-то гораздо более важном.

Это тогда заинтересовало всех близких людей.

Каменщики были люди вида очень степенного и внушительного, притом со всеми признаками самого высокопробного русского благочестия: челочки на лобиках у них были подстрижены, а на маковках в честь господню гуменца пробриты; говор тихий, а взгляд умеренный и «поникновенный».

О деньгах за квартиру для старца и его отрока раскольники не спорили. Очевидно, это было для них последним делом, а главное было то, о чем говорено с Кесарем Степановичем.

Он их «исповедовал во всех догматах» их веры и — надо ему отдать честь — пришел к заключениям весьма правильным и для этих добрых людей благоприятным.

На наши расспросы: что это за необыкновенные люди, он нам с чисто военною краткостию отвечал:

— Люди прекрасные и дураки.

Результатом такого быстрого, но правильного определения было то, что злосчастные раскольники получили разрешение устраиваться в подлежащем отделении «шияновских нужников», а квартальный-классик в следующую же ночь произвел над крышею отданного им помещения надлежащие антикварные поправки.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Под старца была занята довольно обширная, но весьма убогая хоромина — впрочем, в самом излюбленном раскольничьем вкусе. Это была низенькая полудеревяннаяполумазанная, совершенно отдельная хибара. Она стояла где-то на задворке и была ниоткуда не видима. Точно она здесь нарочно построена в таком сокрытии, чтобы править в ней нелегальные богомольства.

Чтобы добраться до этого, буквально сказать, молитвенного хлева; надо было пройти один двор, потом другой, потом завернуть еще во дворик, потом пролезть в закоулочек и оттуда пройти через дверь с блочком в дровяную закуточку. В этой закуточке был сквозной ход еще

на особый маленький дворишко, весь закрытый пупом поднявшеюся высокою навозною кучею, за которою по сторонам ничего не видно. Куча была так высока, что закрывала торчавшую из ее средины высокую шелковицу или рябину почти по самые ветви.

Хатина имела три окна, и все они в ряд выходили на упомянутую навозную кучу, или, лучше сказать, навозный холм. При хате имелись дощатые сени, над дверями которых новые наемщики тотчас же по водворении водрузили небольшой медный литой крест из тех, что называют «корсунчиками».

С другой стороны на кучу выходило еще одно маленькое окно. Это принадлежало другому, тоже секретному помещению, в которое входили со второго двора. Тут жили две или три «старицы», к которым ходили молиться раскольники иного согласия — «тропарники», то есть певшие тропарь: «Спаси, господи, люди твоя». Я в тогдашнее время плохо понимал о расколе и не интересовался им, но как теперь соображаю, то это, должно быть, были поморцы, которые издавна уже «к тропарю склонялись».

Молитвенная хата, занятая под старца Малафея, до настоящего найма имела другие назначения: она была когда-то банею, потом птичною, «индеечной разводкою», то есть в ней сиживали на гнездах индейки-наседки, а теперь, наконец, в ней поселился святой муж и учредилась «моленна», в знак чего над притолками ее дощатых сеней и утвержден был медный «корсунчик».

В противоположность большинству всех помещений шияновского подворья, эта хата была необыкновенно теплая.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Старца Малахию каменщики привезли поздним вечером на парных деревенских санях и прямо привели его во храмину и заключили там на безысходное житье.

Убранства хате никакого не полагалось, а что было необходимо, то сами же прихожане устроили без всякой посторонней помощи.

Мы ее однажды осматривали через окно, при посредстве отрока Гиезия, в те часы, когда Малафей Пимыч, утомясь в жаркий день, «держал опочив» в сеничках. По одной стене горенки тянулись в два тябла старинные иконы, перед которыми стоял аналой с поклонною «рогозинкою», в угле простой деревянный стол и пред ним скамья, а в другом угле две скамьи, поставленные рядом. В одном конце этих скамеек был положен толстый березовый обрубок, покрытый обрывками старой крестьянской свиты.

Это была постель старца, который почивал по правилам доблего жития, «не имея возглавицы мягкия».

Для отрока Гиезия совсем не полагалось никакой ни утвари, ни омеблировки. Он вел житие не только иноческое, но прямо спартанское: пил он из берестяного серточка, а спал лето и зиму на печке.

Старец «пóпил», то есть полагал «начал» чтению и пению, исповедал и крестил у своих раскольников, а Гиезий состоял при нем частию в качестве дьячка, то есть «аминил» и читал, а частию вроде слуги и послушника. Послушание его было самое тяжкое, но он нес его безропотно и с терпением неимоверным. Старец его никуда почти не выпускал, «кроме торговой нужды», то есть хождения за покупками; томил его самым суровым постом и притом еще часто «началил». За малые прегрешения «началенье» производилось ременною лестовицею, а за более крупные грехи — концом веревки, на которой бедный Гиезий сам же таскал для старца воду из колодца. Если же вина была «особливая», тогда веревка еще нарочно смачивалась, и оттого удары, ею наносимые спине отрока, были больнее.

Старца Малахию мы никогда вблизи не видали, кроме того единственного случая, о котором наступит рассказ. Известно было только одно общее очертание его облика, схваченное при одном редком случае, когда он появился какой-то нужды ради перед окном. Он был роста огромного, сед и белоброд и даже с празеленью: очи имел понурые и почти совсем не видные за густыми, длинными и тяжело нависшими бровями. Лет старцу, по наружности судя, было близко к восьмидесяти; он был сильно сутул и даже согбен, но плотен и несомненно еще очень силен. Волосы на его голове были острижены не в русский кру-

жок, а какими-то клоками; может быть, «постризало» на них уже и «не восходило», а они сами не росли от старости. Одет он был всегда в черный мухояр, и через плечи его на грудь висела длинная связка каких-то шаров, похожих на толстые баранки. Связка эта спускалась до самого пупа, и на пупе приходился крест, вершка в три величиною. Это были четки.

Голос старца был яко кимвал бряцаяй, хотя мы сподоблены были слышать в его произношении только одно слово: «парень». Это случалось, когда старец кликал из двери Гиезия, выходившего иногда посидеть на гноище у шелковицы или рябины.

Более старец был не видим и не слышан, и судить о нем было чрезвычайно трудно; но Кесарь Степанович и его характеризовал кратким определением:

— Дурак присноблаженный.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Гиезия мы знали несравненно ближе, потому что этот, по молодости своей, сам к нам бился, и, несмотря на то, что «дедушка» содержал его в безмерной строгости и часто «началил» то лестовицей, то мокрой веревкой, отрок все-таки находил возможность убегать к нам и вел себя в нашем растленном круге не совсем одобрительно. Зато, как ниже увидит читатель, с ним однажды и воспоследовало такое бедствие, какое, наверное, ни с кем другим не случалось: он был окормлен *человечьим мясом*... Или, точнее сказать, он имел несчастие думать, будто над ним было совершено такое коварство «учеными», в которых он видел прирожденных врагов душевного спасения.

Вперед об этом ужасном случае будет рассказано обстоятельно.

Отроку, как я выше сказал, было двадцать два года. «Отрок», по применению к нему, не выражало поры его возраста, а это было его звание, или, лучше сказать, его сан духовный. Он был широкорожего великорусского обличья, мордат и губаст, с русыми волосами и голубыми глазами, имевшими странное, пытливое и в то же время совершенно глупое выражение. Румянец пробивался на

его лице где только мог, но нигде просторно не распространялся, а проступал пятнами, и оттого молодое, едва опушавшееся мягкою бородкою лицо отрока имело вид и здоровый и в то же время нездоровый. Бывают такие собаки, которые «в щенках заморены». Видно, что породиста, да от заморы во всю свою природу не достигает.

По уму и многим свойствам своего характера Гиезий был наисовершеннейшим выразителем того русского типа, который метко и сильно рисует в своей превосходнейшей книге профессор Ключевский, то есть «заматорелость в преданиях, и никакой идеи». Сделать что-нибудь иначе, как это заведено и как делается, Гиезию никогда не приходило в голову: это помогало ему и в его отроческом служении, в которое он, по его собственным словам, «вдан был родительницею до рождения по оброку».

Это разъяснялось так, что у его матери была несносная болезнь, которую она, со слов каких-то врачей, называла «азиятик»; болезнь эта происходила от каких-то происков злого духа. Бедная женщина долго мучилась и долго лечилась, но «азиятик» не проходил. Тогда она дала обет балыкинской божией матери (в Орле), что если только «азиятик» пройдет и после исцеления родится дитя мужеского пола, то «вдаст его в услужение святому мужу, в меру возраста Христова», то есть до тридцати трех лет.

После такого обета больная, заступлением балыкинской божией матери, выздоровела и имела вторую радость — родила Гиезия, который с восьми лет и начал исполнять материн обет, проходя «отроческое послушание». А до тридцати трех лет ему еще было далеко.

Старец на долю отрока Гиезия выпал, может быть, и весьма святой и благочестивый, но очень суровый и, по словам Гиезия, «столько об него мокрых веревок обначалил, что можно бы по ним уже десяти человекам до неба взойти».

Но учение правилам благочестия Гиезию давалось плохо и не памятливо. Несмотря на свое рождение по священному обету, он, по собственному сознанию, был «от природы блудлив». То он сны нехорошие видел, то кошкам хвосты щемил, то мирщил с никонианами или «со иноверными спорился». А бес, всегда неравнодушный

ко спасению людей, стремительно восходящих на небо, беспрестанно подставлял Гиезию искушения и тем опять подводил его под мокрую веревку.

На шияновском дворе, который был удален от всякого шума, Гиезий прежде всего впал в распри с теми поморами, окно которых выходило на их совместную навозную кучу, разделявшую «их согласия».

Как поморы, бывало, начнут петь и молиться, Гиезий залезает на рябину и дразнит их оттуда, крича:

— Тропари́-мытари́.

А те не выдержат и отвечают:

— Немоляки-раскоряки.

Так обе веры были взаимно порицаемы, а последствием этого выходили стычки и «камнеметание», заканчивавшиеся иногда разбитием окон с обеих сторон. В заключение же всей этой духовной распри Гиезий, как непосредственный виновник столкновений, был «началенъ» веревкою и иногда ходил дня по три согнувшись.

Затем, разумеется, и бог и старец его прощали, но он скоро впадал еще в бо́льшие искушения. Одно из таковых ему едва не стоило потери рассудка и даже самой жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

При полном типическом отсутствии идей у Гиезия была пытливость, и притом самая странная. Он любил задавать такие неожиданные вопросы, которые в общем напоминали вопросы детей.

Прибежит, бывало, под окно и спрашивает:

— Отчего у льва грива растет?

Ему отвечают:

— Пошел ты прочь — почему я знаю, отчего у льва грива растет?

— А как же, — говорит, — в чем составляется наука светская?

Его прогонят, а он при случае опять пристает с чем-нибудь подобным, и это без всякой задней мысли или иронии, — а так, какой-то рефлекс его толкнет, он и спрашивает:

— Отчего рябина супротив крыжовника горче?

Но больше всего его занимали вещи таинственные, для которых он искал разъяснения в природе. Например, ему хотелось знать: «какое бывает сердце у грешника», и вот это-то любопытство его чуть не погубило.

Так как в доме жило несколько медицинских студентов, между которыми бывали ребята веселые и шаловливые, то один из них пообещал раз Гиезию «показать сердце грешника».

Для этого требовалось прийти в анатомический театр, который тогда был во временном помещении, на нынешней Владимирской улице, в доме Беретти.

Гиезий долго не решался на такой рискованный шаг, но страстное желание посмотреть сердце грешника его преодолело, он пришел раз к студентам и говорит:

— Есть теперь у вас мертвый грешник?

— Есть, — говорят, — да еще самый залихватский.

— А что он сделал?

— Отца продал, мать заложил и в том руку приложил, а потом галку съел и зарезался.

Гиезий заинтересовался.

— Меня завтра дедушка к Батухину в лавку за оливой к лампадам пошлет, а я к вам в анатомию прибегу, покажите мне сердце грешниче.

— Приходи, — отвечают, — покажем.

Он сдержал свое слово и явился бледный и смущенный, весь дрожа в страхе несказанном.

Ему дали выпить мензулку препаровочного спирта для храбрости, под видом «осмелительных капель», сказав притом, что без этого нельзя увидать сердце.

Он выпил и ошалел, сердце он нашел совсем неудовлетворительным и вовсе не похожим на то, как его себе представлял, судя по известному лубочному листу: «сердце грешника — жилище сатаны». Чтобы увидеть сатану в сердце, его уговорили выпить еще вторую мензулку, и он выпил и потом что-то ел. А когда съел, то студенты ему сказали:

— Знаешь ли, что ты съел?

Он отвечал:

— Не знаю.

— А это ты, братец, съел котлету из человеческого мяса.

Гиезий побледнел и зашатался: с ним совершенно неожиданно сделался настоящий обморок.

Его насилу привели в себя и ободрили, уверяя, что котлета сжарена из мяса человека зарезавшегося, но от этого с Гиезием чуть не сделался второй обморок, и начались рвоты, так что его насилу привели в порядок и на этот раз уже стали разуверять, что это было сказано в шутку и что он ел мясо говяжье; но никакие слова на него уже не действовали. Он бегом побежал на Печерск к своему старцу и сам просил «сильно его поначалить», как следует от страшного прегрешения.

Старец исполнил просьбу отрока.

И дорого это обошлось здоровью бедного парня: дней десять после этого происшествия мы его вовсе не видали, а потом, когда он показался с ведром за плечами, то имел вид человека, перенесшего страшные муки. Он был худ, бледен и сам на себя не похож, а вдобавок долго ни за что ни с кем не хотел говорить и не отвечал ни на один вопрос.

После, по особому к одному из нас доверию, он открыл, что дедушка его «вдвойне началил», то есть призвал к сему деланию еще другого, случившегося тут благоверного христианина, и оба имели в руках концы веревки, «свитые во двое», и держали их «оборучь». И началили Гиезия в угле в сенях, уложив «мордою в войлок, даже до той совершенной степени, что у него от визгу рот трубкой закостенел и он всей памяти лишился».

Но на дедушку отрок все-таки нимало не роптал, ибо сознавал, что «бит был во славу божию», и надеялся через это более «с мирскими не суетить и исправиться».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Кажется, это и в самом деле произвело в нем такой сильный перелом, к какому только была способна его живая и увлекающаяся натура. Он реже показывался и вообще уже не заводил ни разговоров с нами, ни пререканий с благоневерными поморами, которые «на тропаре повисли».

К тому же обстоятельства поизменились и поразмели нашу компанию в разные стороны, и старец с отроком на время вышли из вида.

Между тем мост был окончен, и к открытию его в Киев ожидали государя Николая Павловича. Наконец и государь прибыл, и на другой день было назначено открытие моста.

Теперь ничего так не торжествуют, как тогда торжествовали. Вечер накануне был оживленный и веселый: все ходили, гуляли, толковали, но были люди, которые проводили эти часы и иначе.

На темном задворке шияновских закуток и поморы и филипоны молились, одни с тропарем, другие без тропаря. Те и другие ждали необычайной для себя радости, которая их благочестию была «возвещена во псалтыре».

Около полуночи мне довелось проводить одну девицу, которая жила далеко за шияновским домом, а на возвратном пути у калитки я увидел темную фигуру, в которой узнал антропофага Гиезия.

— Что это, — говорю, — вы в такую позднюю пору на улице?

— Так, — отвечает, — все равно нонче надо не спать.

— Отчего надо не спать?

Гиезий промолчал.

— А как это вас дедушка так поздно отпустил на улицу?

— Дедушка сам выслал. Мы ведь до самого сего часа молитвовали, — почитай сию минуту только зааминили. Дедушка говорит: «Повыдь посмотри, что деется».

— Чего же смотреть?

— Како, — говорит, — «суетят никонианы и чего для себя ожидают».

— Да что такое, — спрашиваю, — случилось, и чего особенного ожидаете?

Гиезий опять замялся, а я снова повторил мой вопрос.

— Дедушка, — говорит, — много ждут. Им, дедушке, ведь все из псалтыри открыто.

— Что ему открыто?

— С завтрашнего числа одна вера будет.

— Ну-у!

— Увидите сами, — до завтра это в тайне, а завтра всем царь объявит. И упротивные (то есть поморы) тоже ждут.

— Тоже объединения веры?

— Да-с; должно быть, того же самого. У нас с ними нынче, когда наши на седальнях на дворик вышли, меж окно опять легкая война произошла.

— Из-за чего?

— Опять о тропаре заспорили. Наши им правильно говорили: «подождать бы вам тропарь-то голосить в особину; завтра разом все вообче запоем; столпом воздымем до самого до неба». А те несогласны и отвечают: «мы давно на тропаре основались и с своего не снидем». Слово по слову, и в окно плеваться стали.

Я полюбопытствовал, как именно это было.

— Очень просто, — говорит Гиезий, — наши им в окно кукиши казать стали, а те оттуда плюнули, и наши не уступили, — им то самое, наоборот. Хотели войну сделать, да полковник увидел и закричал: «Цыть! всех изрублю». Перестали плеваться и опять запели, и всю службу до конца доправили и разошлись. А теперь дедушка один остался, и страсть как вне себя ходит. Он ведь завтра выход сделает.

— Неужели, — говорю, — дед наружу вылезет?

— Как же-с — дедушка завтра на улицу пойдет, чтоб на государя смотреть. Скоро сорок лет, говорят, будет, как он по улицам не ходил, а завтра пойдет. Ему уж наши и шляпу принесли, он в шляпе и с костылем идти будет. Я его поведу.

— Вот как! — воскликнул я и простился с Гиезием, совсем не поняв тех многозначительнейших намеков, которые заключались в его малосвязном, но таинственном рассказе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

День открытия «нового моста», который нынче в Киеве называют уже «старым», был ясный, погожий и превосходный по впечатлениям.

Все мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и счастливыми, бог весть отчего и почему. Никому

и в голову не приходило сомневаться в силе и могуществе родины, исторический горизонт которой казался чист и ясен, как покрывавшее нас безоблачное небо с ярко горящим солнцем. Все как-то смахивали тогда на воробьев последнего тургеневского рассказа: прыгали, чиликали, наскакивали, и никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где поверху ястреб, а только бойчились и чирикали:

— Мы еще повоюем, черт возьми!

Воевать тогда многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотическою гордостью повторяли фразу, что «Россия — *государство военное»,* и военные люди были в большой моде и пользовались этим не всегда великодушно. Но главное — тогда мы были очень молоды, и каждый из нас провожал кого-нибудь из существ, заставлявших скорее биться его сердце. Волокитство и ухаживанья тогда входили в «росписание часов дня» благопристойного россиянина, чему и может служить наилучшим выражением «дневник Виктора Аскоченского», напечатанный в 1882 году в «Историческом вестнике». И сам автор этого «дневника», тогда еще молодцеватый и задорный, был среди нас и даже, может быть, служил для многих образцом в тонкой науке волокитства, которую он практиковал, впрочем, преимущественно «по купечеству». У женщин настоящего светского воспитания он никакого успеха не имел и даже не получал к ним доступа. Аскоченский одевался щеголем, но без вкуса, и не имел ни мягкости, ни воспитанности: он был дерзок и груб в разговоре, очень неприятен в манерах.

По словам одного из его киевских современников, впоследствии профессора Казанского университета, А. О. Яновича, он всегда напоминал «переодевшегося архиерея». В сияющий день открытия моста Аскоченский ходил в панталонах рококо и в светлой шляпе на своей крутой голове, а на каждой из его двух рук висело по одной подольской барышне. Он вел девиц и метал встречным знакомым свои тупые семинарские остроты. В этот же день он, останавливаясь над кручею, декламировал:

...Вот он Днепр —
Тот самый Днепр, где вся Русь крестилась
И, по милости судеб, где она омылась.

За этими стихами следовало его командирское слово:

На молитву же, друзья:
Киев перед вами!

После все это вошло в какое-то большое его призывное стихотворение, по обыкновению, с тяжелою версификациею и с массою наглагольных рифм. Его муза, под пару ему самому, была своенравна и очень неуклюжа.

О нем хочется сказать еще два слова: *«дневник»* этого довольно любопытного человека напечатан, но, по-моему, он не только не выяснил, но даже точно закутал эту личность. По-моему, дневник этот, который я прочел *весь* в подлиннике, имеет характер сочиненности. Там даже есть *пятна слез,* оросившие страницы, где говорится о подольских купеческих барышнях. Или есть такие заметки: «я пьян и не могу держать пера в руках», а между тем это написано совершенно трезвою и твердою рукою...

Вообще надо жалеть, что никто из знавших Аскоченского киевлян не напишет хорошей беспристрастной заметки о треволненной жизни и трудах этого человека с замечательными способностями, из которых он сделал едва ли не самое худшее употребление, какое только мог бы ему выбрать его злейший враг. Праху его мир и покой, но его жизненные невзгоды и карьерная игра характерны и поучительны. Кроме Виктора Ипатьича, тогда в Киеве водились еще и другие поэты, в плоской части доживал свой маститый век Подолинский, а по городу ходили одна молодая девица и один молодой кавалер. Девица, подражая польской импровизаторше Деотыме, написала много маленьких и очень плохих стихотворений, которые были ею изданы в одной книжечке под заглавием: «Чувства патриотки». Склад издания находился в «аптеке для души», то есть в подольской библиотеке Павла Петровича Должикова. Стихотворения совсем не шли, и Должиков иногда очень грубо издевался над этою книгою, предлагая всем «вместо хлеба и водки — чувства патриотки». В день открытия моста стихотворения эти раздавались безденежно. На чей счет было такое угощение — не знаю. Подолинский, кажется, еще жил, но не написал ничего, да про него тогда и позабыли, а Альфред фон Юнг что-то пустил с своего Олимпа, но что именно

такое — не помню. Невозможно тоже не вспомнить об этом добрейшем парне, совершенно безграмотном и лишенном малейшей тени дарования, но имевшем неодолимую и весьма разорительную страсть к литературе. И он, мне кажется, достоин благодарного воспоминания от киевлян, если не как поэт, то как самоотверженнейший пионер — периодического издательства в Киеве. До Юнга в Киеве не было газеты, и предпринять ее тогда значило наверное разориться. Юнга это не остановило: он завел газету и вместо благодарности встречал отовсюду страшные насмешки. По правде сказать, «Телеграф» юнговского издания представлял собою немало смешного, но все-таки он есть *дедушка* киевских газет. Денег у Юнга на издание долго не было, и, чтобы начать газету, он прежде пошел (во время Крымской войны) «командовать волами», то есть погонщиком. Тут он сделал какие-то сбережения и потом все это самоотверженно поверг и сожег на алтаре литературы. Это был настоящий литературный маньяк, которого не могло остановить ничто, он все издавал, пока совсем не на что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кроме того, его и преследовала какая-то злая судьба. Так, например, с «Телеграфом» на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить: например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить «за невозможные опечатки». Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дословно следующее: «во вчерашнем №, на столбце таком-то, у нас напечатано: *пуговица,* читай: *богородица*». Юнг был в ужасе больше от того, что цензор ему выговаривал: «зачем-де поправлялся!»

— Как же не поправиться? — вопрошал Юнг, и в самом деле надо было поправиться.

Но едва это сошло с рук, как Юнг опять ходил по городу в еще большем горе: он останавливал знакомых и, вынимая из жилетного кармана маленькую бумажку, говорил:

— Посмотрите, пожалуйста, — хорош цензор! Что он со мною делает! — он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку.

Поправка гласила следующее: «Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все *онанисты,* — читай *оптимисты».*

— Каково положение! — восклицал Юнг.

Через некоторое время Алексей Алексеевич Лазов, однако, кажется разрешил эту, в самом деле необходимую поправку. Но был и такой случай цензорского произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось раз, что в статье было сказано: «не удивительно, что при таком воспитании вырастают *недоблуды».* Лазов удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотели сказать «лизоблюды»; но когда вечером принесли сводку номера, то там стояло: «по ошибке напечатано: *недоблуды,* — должно читать: *переблуды».* Цензор пришел в отчаяние и совсем вычеркнул поправку, опасаясь, чтобы не напечатали чего еще худшего.

Пора, однако, возвратиться от литераторов к старцу Малахии, который украсил этот торжественный день своим появлением в поднесенной ему необыкновенной шляпе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Густые толпы людей покрывали все огромное пространство городского берега, откуда был виден мост, соединивший Киев с черниговскою стороною Днепра. Только более страстные до зрелищ или особенно патронируемые кем-нибудь из властных нашли возможность протесниться «за войска», расположенные внизу у въезда на мост и, наконец, шпалерами вдоль самого моста. Но таких счастливцев было немного, сравнительно с огромными массами, покрывшими надбережные холмы, начиная от Выдубицкого монастыря и Аскольдовой могилы до террас, прилегающих к монастырю Михайловскому. Кажется, без ошибки можно сказать, что в этот день вышло из домов все киевское население, чем тогда и объясняли множество благоуспешно сделанных в этот день краж. И, несмотря на всю длину этой страшно растянутой береговой линии, трудно было найти удобное место. Были люди, которые пришли сюда спозаранка с провизией в карманах и крепко заняли все наилучшие позиции. Оттого зрителям, которые

пришли позже, нужно было переменять множество мест, пока удавалось стать так, что была видна «церемония».

Были люди, которые взлезли на деревья, были и такие смельчаки, которые прилепились к песчаным выступцам обрывов и иногда скатывались вниз вместе с своим утлым подножьем. Случайности в подобном роде вызывали веселый хохот и шутливые замечания. Было довольно неудовольствий по поводу обидного обращения господ военных с цивическим элементом, но все это до судов не доходило, военные люди тогда свободно угнетали «аршинников, хамов и штафирок». Духовенство тоже претерпевало от этого зауряд с мирянами и тоже не жаловалось. Это было в порядке вещей. Военные, повторяю, чувствовали себя тогда в большом авантаже и, по современному выражению, «сильно форсили». Они имели странный успех в киевском обществе и часто позволяли себе много совершенно неприличного. Особенно одно время (именно то, которого я касаюсь) среди офицеров ожесточенно свирепствовало поголовное притворство в остроумии. Они осчастливили своим знакомством и купеческие дома и здесь вели себя так развязно, что перед ними спасовал даже сам Аскоченский.

Из военных шуток при открытии моста я помню две: у самой ограды бывшего здания минеральных вод появился какой-то немец верхом на рыжей лошади, которая беспрестанно махала хвостом. Его просили отъехать, но он не соглашался и отвечал: «не понимаю». Тогда какой-то рослый офицер сдернул его за ногу на землю, а лошадь его убежала. Немец был в отчаянии и побежал за конем, а публика смеялась и кричала вслед:

— Что, брат, понял, как по-военному!

Офицер прослушал это несколько раз и потом крикнул:

— Перестать, дураки!

Они и перестали.

Должно быть, не любил лести.

Это, впрочем, была более отвага, чем остроумие; настоящее же остроумие случилось на месте более скрытом и тихом, именно за оградою монастыря Малого Николая.

На неширокой, но сорной и сильно вытоптанной площадке здесь местилось всякое печерское разночинство и несколько человек монашествующей братии.

Были маститые иноки с внушительными сединами и легкомысленные слимаки с их девственными гривами вразмет на какую угодно сторону.

Один из иноков, по-видимому из почетных, сидел в кресле, обитом просаленною черною кожею и похожем по фасону своему не на обыкновенное кресло, а на госпитальное судно.

К этому иноку подходили простолюдины: он всех их благословлял и каждого спрашивал буквально одно и то же:

— Чьи вы и из какой губернии?

Получив ответ, инок поднимал руку и говорил: «богу в прием», а потом, как бы чувствуя некую силу, из себя исшедшую, зевал, жмурил глаза и преклонял главу. Заметно было, что общее оживление его как будто совсем не захватывало, и ему, может быть, лучше было бы идти спать.

На него долго любовалися и пересмеивались два молодых офицера, а потом они оба вдруг снялись с места, подошли к иноку и довольно низко ему поклонились.

Он поднял голову и сейчас же спросил их:

— Чьи вы и какой губернии?

— Из Чревоматернего, — отвечали офицеры.

— Богу в прием, — произнес инок и, преподав благословение, снова зажмурился. Но офицеры его не хотели так скоро оставить.

— Позвольте, батюшка, побеспокоить вас одним вопросом, — заговорили они.

— А что такое? какой будет ваш вопрос?

— Нам очень хотелось бы отыскать здесь одного нашего земляка иеромонаха.

— А какой он такой и как его звать?

— Отец Строфокамил.

— Строфокамил? не знаю. У нас, кажется, такого нет. А впрочем, спросите братию.

Несколько человек подвинулись к офицерам, которые, не теряя ни малейшей тени серьезности, повторили свой вопрос братии, но никто из иноков тоже не знал «отца Строфокамила». Один только сообразил, что он, верно, грек, и посоветовал разыскивать его в греческом монастыре на Подоле.

Кадетские корпуса тогда в изобилии пекли и выпу-

скали в свет таких и сим подобных остроумцев, из которых потом, однако, выходили «севастопольские герои» и не менее знаменитые и воспрославленные «крымские воры» и «полковые морельщики».

До чего заносчиво тогда, перед Крымскою войною, было офицерство и какие они себе позволяли иногда выходки, достойно вспомнить. Вскоре этому, вероятно, уже не будут верить.

Раз приехал, например, в Киев офицер Р. (впоследствии весьма известный человек) и вдруг сделал себе блестящую репутацию тем, что «умел говорить дерзости». Это многих очень интересовало, и офицера нарасхват зазывали на все балики и вечеринки. Он ошалел от успехов и дошел до наглости невероятной. Один раз в доме некоего г. Г—ва он самым бесцеремонным образом обругал целое сборище. Г. собрал к себе на вечеринку друзей и пригласил Ра—цкого. Тот осчастливил, приехал, но поздно и, не входя в гостиную, остановился в дверях, оглянул всех в лорнет, произнес: «какая, однако, сволочь!» и уехал... никем не побитый! Последним финалом его пошлых наглостей было то, что однажды в Кинь-Грусти, стоя в паре в горелках с известною в свое время г-жою П—саревою, он не тронулся с места, когда его дама побежала; ту это смутило, и она спросила его: «Почему же вы не бежите?» Ра—цкий отвечал: «Потому, что я боюсь упасть, как вы». Тогда его выпроводили, но только по особому вниманию Бибикова, который был особенно предупредителен к этой даме. Другой бедовый воитель был артиллерист Кле—аль. Этот больше всего поражал тем, что весьма простодушно являлся в «лучшие дома» на балы совершенно пьяный, хотя, впрочем, он и трезвый стоил пьяного. До чего он мог довести свою бесцеремонность, свидетельствует следующий случай: раз, танцуя в доме Я. И. Пе—на, Кле—аль полетел вместе с своею дамою под стол. Его оттуда достали и начали оправлять. Хозяин был смущен и заметил офицеру, что он уже слишком весел, но тот не сконфузился.

— Да, — отвечал Кле—аль, — я весел. Это моя сфера. Впрочем, здесь так и следует, — и сию же минуту, не ожидая возражения, он добавил: — Скажите, пожалуйста, мне говорили, будто тут есть какой-то господин Бе—ти — все говорят, что он, будто, ужасный дурак, но отлично,

каналья, кормит. Вот я очень хотел бы сделать ему честь у него поужинать.

Хозяин смешался, потому что Бе—ти стоял тут же возле, но сам Бе—ти сейчас же пригласил этого шалуна на свои вечера, и это служило к их оживлению. — Третий припоминается мне офицер расформированного нынче жандармского полка, К—ий, которого одна, очень юная и милая, подольская барышня имела неосторожность полюбить, а полюбя, поцеловала и при каком-то случае подарила ему свой белокурый локон. Офицер сохранил эту галантерейщину и не отказывался от поцелуев, но с предложением женитьбы медлил. Родители же девушки находили это несоответственным, и девушка была помолвлена за другого. Ни барышня, ни жених ни в чем не были виноваты, но г. К—ий пришел к ним в дом на именинное собрание и с грубым ругательством бросил *невесте в лицо* ее локон, а жениха ударил. Многим и этот наделавший шуму поступок казался своего рода развеселым, но довольно позволительным фарсом, и когда покойный чиновник генерал-губернатора Друкарт, производя об этом следствие, не поблажал К—му, то Друкарта осуждали за «грубость» к интересному герою.

Впрочем, подобное ожесточенное свирепство милитеров тогда было повсеместно в России, а не в одном Киеве. В Орле бывший елисаветградский гусарский полк развешивал на окнах вместо штор похабные картины; в Пензе, в городском сквере, взрослым барышням завязывали над головами низы платьев, а в самом Петербурге рвали снизу до верха шинели несчастных «штафирок». Успокоила этих сорванцов одна изнанка Крымской войны. Но оставим их будущему историку культуры русского общества и поспешим к тем, непосредственность которых гораздо интереснее.

В ту же минуту, как из глаз моих скрылись офицеры, расспрашивавшие монахов об отце Строфокамиле, я заметил невдалеке одного моего товарища, который так же, как я, знал Берлинского, Малахию и Гиезия.

Приятель меня спрашивает:

— Видел ли ты морское чучело?

— Какое? — говорю.

— А старца Малахая. (Он имел привычку звать его Малахаем.)

— А где он?

— Да вот сейчас, — говорит, — недалеко здесь, налево, за инженерским домом на кирпичах стоит. Иди, смотри его — он восхитителен!

— Неужели, — говорю, — в самом деле хорош?

— Описать нельзя: и сам хорош, и притом обставлен удивительно! Вокруг него все столпы древнего благочестия «вообче» и наш губошлепый Гиезька, весь, подлец, деревянным маслом промаслен... А на самого Малахая, увидишь, какую шляпу наложили.

— А что в ней такого замечательного?

— Антик — другой такой нет. Говорят, из Москвы, из Грановитой палаты выписали на подержание — еще сам царь Горох носил.

Я не заставлял себя более убеждать и поспешил разыскивать старца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Надо вспомнить, что между монастырем Малого Николая и крепостною башнею, под которой ныне проходят Никольские ворота, был только один старый, но преудобный дом с двором, окруженным тополями. В этом доме с некоторых пор жили кто-то из начальствующих инженеров. За это его, кажется, и не разломали. Стоило обойти усадьбу этого очень просторно расположившегося дома, и сейчас же надо было упереться в отгороженный временным заборчиком задворочек, который приютился между башнею и садом инженерного дома. На этом задворочке были свалены разные строительные остатки — доски, бревна, несколько кулей с известкой и несколько кладок белого киевского кирпича. Тут же стояла и маленькая, тоже временная, хатка, в которой жил сторож. У ворот этого заграждения была и надпись, объявлявшая, что «посторонним лицам сюда входить строго воспрещается». В день открытия моста запрещение слабо действовало и дало сторожу возможность открыть сюда вход за деньги. Сторож, рыжий унтер с серьгою в ухе и вишневым пятном на щеке, стоял у этой двери и сам приглашал благонадежных лиц из публики вступить в запрещенное место. По его словам, оттуда было «все видно», а плату за вход

он брал умеренную, по «злотувке», то есть по пятнадцати копеек с персоны.

Взнеся входную цену и переступив за дощатую фортку, я увидал перед собою такой «пейзаж природы», который нельзя было принять иначе, как за символическое видение.

Мусор всех сортов и названий, обломки всего, что может значиться в смете материалов, нужных для возведения здания с подземного бута до кровли: доски, бревна, известковые носилки и тачки, согнутые и проржавленные листы старого кровельного железа, целый ворох обломков водосточных труб, а посреди всего этого хлама, над самым берегом, шесть или семь штабелей запасного кирпича. Сложены они были столбиками неравной высоты, одни — пониже, другие немного повыше, и, наконец, на самом высоком месте зрелося человечище прекрупное, вельми древнее и дебелое. Это стоял Малахия. Одеян он был благочестивым предковским обычаем, в синей широкой суконной чуйке, сшитой совсем как старинный охабень и отороченной по рукавам, по вороту и по правой поле каким-то дрянным подлезлым мехом. Одежде отвечала и обувь: на ногах у старца были сапоги рыжие с мягкою козловою холявою, а в руках долгий крашеный костыль; но что у него было на голове посажено, тому действительно и описания не сделаешь. Это была шляпа, но кто ее делал и откуда она могла быть в наш век добыта, того никакой многобывалый человек определить бы не мог. Историческая полнота сведений требует, однако, сказать, что штука эта была добыта почитателями старца Малахии в Киеве, а до того содержалась в тайниках магазина Козловского, где и обретена была случайно приказчиком его Скрипченком при перевозе редкостей моды с Печерска на Крещатик.

Шляпа представляла собою превысокий плюшевый цилиндр, с самым смелым перехватом на середине и с широкими, совершенно ровными полями, без малейшего загиба ни на боках, ни сзади, ни спереди. Сидела она на голове словно рожон, точно как будто она не хотела иметь ни с чем ничего общего.

Величественная фигура Малафея Пимыча утвердилась здесь, вероятно, раньше всех, потому что позиция его была всех выгоднее: занимая самую высокую кладку кирпича, старец мог видеть дальше всех, и сам был всем виден.

Рядом с Пимычем, на кладке, которая была немножко пониже, помещался Гиезий. Он был в бутылочном азямчике с тремя христианскими сборами на кострецах и в суконном шлычке без козырька. Он беспрестанно переменял ноги, и в его покосившейся на одно плечо фигуре чуялась несносная скука, лень и томительное желание шевельнуть затекшими ногами и брызнуть в ход.

Вокруг них было еще немало людей, пропущенных крепостным заказником, но эти, по своей бесцветности, не останавливали на себе особенного внимания.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Часто вращавшийся по сторонам Гиезий заметил мое желание поближе полюбоваться его дедушкой и показал глазами, что может потесниться и дать мне место возле себя.

У штабеля стоял опрокинутый известковый ящик, по которому я мог подняться на такую высоту, что Гиезий подал мне свою руку и поставил меня с собою рядом.

Малафей Пимыч не обратил на наше размещение никакого внимания: он был похож на матерого волка, который на утре вышел походить по насту; серые глаза его горели диким, фанатическим огнем, но сам он не шевелился. Он устремил взоры на мост, который отсюда виден был как на ладони, и не смаргивал оттуда ни на мгновение. Но я забыл и мост, и Днепр, «где *вся Русь* крестилась», и даже всю церемонию, которая должна сейчас начаться: всем моим чувством овладел один Пимыч. Несмотря на свой чудной убор, он был не только поразительно и вдохновительно красив, но, если только простительно немного святотатственное слово, он был в своем роде божествен, и притом характерно божествен. Это не Юпитер и не Лаокоон, не Улисс и не Вейнемейнен, вообще не герой какой бы то ни было саги, а это стоял олицетворенный *символ древлего благочестия*.

Если я должен его с кем-нибудь сравнить, что всегда имеет своего рода удобство для читателя, то я предпочел бы всему другому указать на известную картину, изображающую урок стрельбы из орудия, даваемый Петру

Лефортом. Отрок Петр, горя восторгом, наводит пушечный прицел... Вся его огневая фигура выражает страстное, уносящее стремление. Лефорт в своем огромном парике тихо любуется царственным учеником. Несколько молодых русских лиц смотрят с сочувствием, но вместе и с недоумением. На них, однако, видно, что они желают царю «попасть в цель». Но тут есть фигура, которая в своем роде не менее образна, типична и характерна. Это седой старик в старорусском охабне с высоким воротом и в высокой собольей шапке. Он один из всех не на ногах, а *сидит* — и сидит крепко; в правой руке он держит костыль, а левою оперся в ногу и смотрит на упражнения царя вкось, через свой локоть. В его глазах нет ненависти к Петру, но чем удачнее делает юноша то, за что взялся, тем решительнее символический старец не встанет с места. Зато, если Петр не попадет и отвернется от Лефорта, тогда... старичок встанет, скажет: «плюнь на них, батюшка: они все дураки», и, опираясь на свой старый костыль, уведет его, «своего прирожонного», *домой* — мыться в бане и молиться московским угодникам, «одолевшим и новгородских и владимирских».

Этот старик, по мысли художника, представляет собою на картине *старую Русь,* и Малафей Пимыч теперь на живой картине киевского торжества изображал то же самое. Момент, когда перед нами является Пимыч, в его сознании имел то же историческое значение. Старик, бог весть почему, ждал в этот день какого-то великого события, которое сделает поворот во всем.

Такие торжественные настроения без удобопонятных причин нередко являются у аскетов, подобных Пимычу, когда они, сидя в спертой задухе своих промозглых закут, начинают считать себя центром внимания творца вселенной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Могучая мысль, вызвавшая Малахию, побудила его явиться суетному миру во всеоружии всей его изуверной святости и глупости. Сообразно обстоятельствам он так приубрался, что от него даже на всем просторе открытого нагорного воздуха струился запах ладана и кипариса,

а когда ветерок раскрывал его законный охабень с звериной опушью, то внизу виден был новый мухояровый «рабский азямчик» и во всю грудь через шею висевшая нить крупных деревянных шаров. Связка, по обыкновению, кончалась у пупа большим восьмиконечным крестом из красноватого рога.

Стоял он, как сказано, точно изваяние — совершенно неподвижно, и так же неподвижен был его взгляд, устремленный на мост, только желто-белые усы его изредка шевелились; очевидно, от истомы и жажды он овлажал свои засохшие уста.

— С шестого часа тут стоим, — шепнул мне Гиезий.

— Зачем так рано?

— Дедушка еще раньше хотел, никак стерпети не могли до утра. Все говорил: опоздаем, пропустим — царь раньше выедет на мост, потому этакое дело надо на тщо сделать.

— Да какое такое дело? О чем вы это толкуете?

Гиезий промолчал и покосил в сторону дедушки глазами: дескать, нельзя говорить.

Вместо ответа он, вздохнув, молвил:

— Булычку бы надо сбегать купить.

— За чем же дело стало? сбегайте.

— Рассердится. Три дня уже так говейно живем. Сам-то даже и капли все дни не принимал. Тоже ведь и государю это нелегко будет. Зато как ноне при всех едиными устнами тропарь за царя запоем, тогда и есть будем.

— Отчего же ныне едиными «устнами» запоете?

Гиезий скосил глаза на старца и, закрыв ладонью рот, стал шептать мне на ухо:

— Государь через мост пешо́ пойдет...

— Ну!

— Только ведь до середины реки идти будет прямо.

— Ну и что же такое? Что же дальше?

— А тут, где крещебная струя от Владимира князя пошла, он тут станет.

— Так что же из этого?

— Тут он свое исповедание объявит.

— Какое исповедание? Разве неизвестно его исповедание?

— Да, то известное-то известно, а нам он покажет истинное.

Я и теперь еще ничего въявь не понял, но чувствовал уже, что в них дедушкою внушены какие-то чрезвычайные надежды, которым, очевидно, никак невозможно сбыться. И все это сейчас же или даже сию минуту придет к концу, потому что в это самое мгновение открытие началось.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

По мосту между шпалерами пехоты тронулась артиллерия. Пушки, отчищенные с неумолимою тщательностию, которою отличалось тогдашнее время, так ярко блестели на солнце, что надо было зажмуриться; потом двигалось еще что-то (теперь хорошенько не помню), и, наконец, вдруг выдался просторный интервал, и в нем на свободном просвете показалась довольно большая и блестящая группа. Здесь всё были лица, в изобилии украшенные крестами и лентами, и впереди всех их шел сам император Николай. По его специально военной походке его можно было узнать очень издали: голова прямо, грудь вперед, шаг маршевой, крупный и с наддачею, левая рука пригнута и держит пальцем за пуговицей мундира, а правая или указывает что-нибудь повелительным жестом, или тихо, мерным движением обозначает такт, соответственно шагу ноги.

И теперь государь шел этою же самою своею отчетистою военною походкою, мерно, но так скоро подаваясь вперед, что многие из следовавших за ним в свите едва поспевали за ним впритруску. Когда старенький генерал с оперением на голове бежит и оперение это прыгает, выходит забавно: точно как будто его кто встряхивает и из него что-то сыпется.

Шествие направлялось от городского гористого берега киевского к пологому черниговскому, где тогда тотчас же у окончания моста были «виньёлевские постройки»: дома, службы и прочее. Гораздо далее была слободка, а потом известный «броварской лес», который тогда еще не был вырублен и разворован, а в нем еще охотились на кабанов и на коз.

В свите государя издали можно было узнать только старика Виньёля и одного его, необыкновенно красивого, сына, и то потому, что оба они были в своих ярких английских мундирах.

Разумеется, взоры всех устремились на эту группу: все следили за государем, как он перейдет мост и куда потом направится. Думали: «не зайдет ли к англичанам *спасибо* сказать», но вышло не так, как думали и гадали все, а так, как открыто было благочестивому старцу Малахии.

Да, как раз на самой середине моста государь вдруг остановился, и это моментально отозвалось в нашем пункте разнообразными, но сильными отражениями: во-первых, Гиезий, совсем позабыв себя, громко воскликнул: «Сбывается!», а во-вторых, всех нас всколебало чем-то вроде землетрясения; так сильно встряхнуло кирпичи, на которых мы стояли, что мы поневоле схватились друг за друга. Пожелав найти этому объяснение, я оглянулся и увидал, что это пал на колени старец Малафей Пимыч...

С этой поры я уже не знал, куда глядеть, где ловить более замечательное: там ли, на обширном мосту, или тут у нас, на сорном задворке. Взор и внимание поневоле двоились и рвались то туда, то сюда.

Между тем государь, остановясь «против крещебной струи», которую старец проводил по самой середине Днепра, повернулся на минуту лицом к городу, а потом взял правое плечо вперед и пошел с средины моста к перилам верхней стороны. Тут у нас опять произошло свое действо; Малахия крикнул:

— Гляди!

А Гиезий подхватил:

— Видим, дедушка, видим!

Государь пошел с середины влево, то есть к той стороне, откуда идет Днепр и где волны его встречают упор ледорезов, то есть со стороны Подола. Вероятно, он захотел здесь взглянуть на то, как выведены эти ледорезы и в каком отношении находятся они к главному течению воды.

Государя в этом отклонении от прямого хода к перилам моста сопровождал Виньёль и еще кто-то, один или два человека из свиты. Теперь я этого в точности вспомнить не могу и о сю пору изумляюсь, как я еще мог тогда

наблюдать, что происходило и тут и там. Впрочем, с того мгновения, как государь остановился на середине моста, «против крещебной струи», — там я видел очень мало. Помню только один момент, как публика, стоявшая за войсками у перил, увидя подходившего государя, смешалась и жалась вместо того, чтобы расступиться и открыть вид на воду. Государь подошел и сам собственною рукою раздвинул двух человек, как бы приклеившихся к перилам.

Эти два человека оба были мои знакомые, очень скромные дворяне, но с этого события они вдруг получили всеобщий интерес, так как по городу пролетела весть, что государь их не только тронул рукою, но и что-то сказал им. Об этом будет ниже. С того мгновения, как государь отстранил двух оторопевших дворян и стал лицом к открытой реке, внимание мое уже не разрывалось надвое, а все было охвачено Пимычем.

Первое, что отвлекло меня от торжественной сцены на мосту, — было падение вниз какого-то черного предмета. Точно будто черный Фаустов пудель вырвался из-под кирпичей, на которых мы стояли, и быстро запрыгал огромными скачками книзу.

Если это был зверь, то он, очевидно, кого-то преследовал или от кого-то удирал. Разобрать этого я не мог, как черный предмет скатился вниз и совершенно неожиданно нырнул и исчез где-то под берегом. Но отрок Гиезий был глазастее меня и воскликнул:

— Ай, пропала дедушкина шляпа!

Я посмотрел на Пимыча и увидел, что он стоит на коленях и с непокрытою головою. Он буквально был вне себя: «огонь горел в его очах, и шерсть на нем щетиной зрилась». Правая рука его с крепко стиснутым двуперстным крестом была прямо поднята вверх над головою, и он кричал (да, не говорил, а во всю мочь, громко *кричал*):

— Так, батюшка, так! Вот этак вот, родненький, совершай! Сложи, как надо, два пальчика! Дай всей земле одно небесное исповедание.

И в это время, как он кричал, горячие слезы обильными ручьями лились по его покрытым седым мохом щекам и прятались в бороду... Волнение старца было так сильно, что он не выстоял на ногах, голос его оборвался,

он зашатался и рухнул на лицо свое и замер... Можно бы подумать, что он даже умер, но тому мешала его правая рука, которую он все-таки выправил, поднял кверху и все махал ею государю двуперстным сложением... Бедняк, очевидно, опасался, чтобы государь не ошибся, как надо показать «небесное исповедание».

Я не могу передать, как это выходило трогательно!.. Во всю мою жизнь после этого я не видал серьезного и сильного духом человека в положении более трагическом, восторженном и в то же время жалком.

Я был до глубины души потрясен душевным напряжением этого алкателя единыя веры и не мог себе представить, как он выйдет из своего затруднения. Одно спасение, думалось: государь от нас так далеко, что нет возможности увидеть, двумя или тремя перстами он перекрестится, и, стало быть, дедушку Пимыча можно будет обмануть, можно будет пустить ему «ложь во спасение». Но я мелко и недостойно понимал о высоком старце: он так окинул прозорливым оком ума своего всю вселенную, что не могло быть никого, кто бы мог обмануть его в деле веры.

И вот наступил, наконец, миг, решительный и жесточайший миг.

Шествие на мосту, вероятно, кончилось, вокруг нас почувствовалось какое-то нервное движение, люди как бы хотели переменять места и, наконец, зашумели: значит, кончено. Стали расходиться.

Гиезий позвал два раза: «Дедушка! дедушка!»

У Пимыча шевельнулась спина, и он стал приподниматься. Гиезий подхватил его под руки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Старец поднимался медленно и тяжело, как поднимается осенью коченеющий шмель, с тем чтобы переползти немножко и околеть.

Гиезий изнемогал, вспирая старика вверх за оба локтя.

Я захотел ему помочь, и мы взялись один за одну руку, а другой за другую и поставили старца на колеблющиеся ноги.

Он дрожал и имел вид человека смертельно раненного в самое сердце. Рот у него был широко открыт, глаза в остолбенении и с тусклым остеклением.

Столь недавний живой фанатический блеск их исчез без следа.

Гиезий если не понял, то почувствовал положение старца и с робким участием сказал:

— Пойдем домой, дедушка!

Малахия не отвечал. Медленно, тяжелым, сердитым взглядом повел он по небу, вздохнул, словно после сна, и остановил взор на Гиезии.

Тот еще с бóльшим участием произнес:

— Довольно, дедушка; нечего ждать, пойдем: государь уже познаменовался.

Но при этом слове старика всего словно прожгло, и он вдруг отвердел и закричал:

— Врешь, анафема! Врешь, не знаменовался государь двумя персты. Вижу я, еще не в постыжении остаются отступники никонианы. И за то, что ты солгал, господь будет бить тебя по устам.

С этим он замахнулся и наотмашь так сильно ударил Гиезия по лицу, что уста отрока в то же мгновение оросились кровью.

Кто-то вздумал было за него заступиться и заговорил: «как это можно?» — но Гиезий попросил участливого человека их оставить.

— Мы свои, — сказал он, — это мой дедушка, — и начал бережно сводить перестоявшегося старца с кирпича под руки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Малахии было видение, мечта, фантазия, назовите как хотите, что государь станет среди моста «лицом против крещебной струи» и перед всеми людьми перекрестится древлим двуперстием.

А тогда, разумеется, настанет для Малахии и иже с ним торжество, а митрополитам, и епископам, и всему чину церковному со всеми нечестивыми никонианами —

посрамление до черноты лиц их. А тех, кои не покорятся, «господь рукою верных своих будет бить по устам», и все они окровянятся, как Гиезий. «Старая вера побьет новую». Вот чего желал и о чем, может быть, всю жизнь свою молился опасный немоляк за власти.

Но не сбылося по его вере и упованию, и погибли вмиг все его радости. Старец был посрамлен.

Я помню и никогда не забуду, как он шел. Это была грустная картина: тяжело и медленно передвигал он как будто не свои остарелые ноги по мягкой пыли Никольской улицы. Руки его были опущены и растопырены; смотрел он беспомощно и даже повиновался Гиезию, который одною рукою обтирал кровь на своем лице, а другою подвигал старца ладонью в спину и, плача о нем, умолял:

— Иди же, мой дедушка, Христа ради, иди... Ты без шляпы... на тебя все смеяться будут.

Старец понял это слово и прохрипел:

— Пусть смеются.

Это было последний раз, что я видел Малахию, но зато он удостоил меня вспомнить. На другой день по отъезде государя из Киева старец присылал ко мне своего отрока с просьбою сходить «к боярам» и узнать: «что царь двум господиям на мосту молвил, коих своими руками развел».

— Дедушка, — говорил Гиезий, — сомневаются насчет того: кия словеса рек государь. Нет ли чего от нас утаенного?

Я мог послать старцу ответ самый полный, без всякого утаения. Два господина, остолбеневшие у перил на том месте, где захотел взглянуть на Днепр император Николай Павлович, как я сказал, были мне известны. Это были звенигородские помещики, братья Протопоповы. Они мне даже приходились в отдаленном свойстве по тетке Наталье Ивановне Алферьевой, которая была замужем за Михаилом Протопоповым. А потому мы в тот же день узнали, что такое сказал им государь. Он отстранил их рукою и проговорил только два слова:

— Пошли прочь!

Впрочем, и в кружке знакомых все интересовались, что было сказано, и вечером в этот день в квартире

Протопоповых на Бульваре перебывало множество знакомых, и все приступали к виновнику события с расспросами.

— Правда ли, что с вами государь разговаривал?

— Да-с, разговаривал, — отвечал Протопопов.

— А о чем разговор был?

Протопопов с удивительною терпеливостию и точностию начинал излагать все по порядку: где они стояли, и как государь к ним подошел, «раздвинул» их и сказал: «Пошли прочь».

— Ну и вы отошли?

— Как же — сию же минуту отошли.

Все находили, что братья поступили именно так, как следовало, и с этим, конечно, всякий должен согласиться, но ни к старой, ни к новой вере это нимало не относилось, и чтобы не дать повода к каким-нибудь толкованиям, я просто сказал Гиезию, что государь с «господиями» ничего не говорил.

Гиезий вздохнул и молвил:

— Плохо наше дело.

— Чем и отчего плохо? — полюбопытствовал я.

— Да, видите... дедушке и всем нам уж очень хочется тропарь петь, а невозможно!..

Среди бесчисленных и пошлых клевет, которым я долговременно подвергался в литературе за мою неспособность и нехотение рабствовать презренному и отвратительному деспотизму партий, меня сурово укоряли также за то, что я не разделял неосновательных мнений Афанасья Прокофьевича Щапова, который о ту пору прослыл в Петербурге историком и, вращаясь среди неповинных в знаниях церковной истории литераторов, вещал о *политических* задачах, которые скрытно содержит будто наш русский раскол. Щапов стоял горой за то, что раскол имеет политические задачи, и благоуспешно уверил в этом Герцена, который потом уже не умел разобрать представившихся ему Ив. Ив. Шебаева и бывшего староверского архиерея, умного и очень ловкого человека Пафнутия. Я тогда напечатал письмо о «людях древнего благочестия», где старался снять с несчастных староверов вредный и глупый поклеп на них в революционерстве. Меня за это ужасно порицали. Писали,

что я дела не знаю и умышленно его извращаю, что меня растлило в этом отношении вредное влияние Павла Ив. Мельникова (Печерского), что я даже просто «подкуплен правительством». Дошло до того, что петербургскому профессору Ив. Ф. Нильскому печатно поставили в непростительную вину: как он смел где-то ссылаться на мои наблюдения над нравами раскола и давать словам моим веру... А, — увы и ах! — вышло, что я правду говорил: раскольникам до политики дела нет, и «тропарь» они не поют не за политику, которую хотели навязать им представители «крайней левой фракции». Г-н Нильский давал писателям «левой фракции» отповедь, где говорил что-то в пользу моих наблюдений. В самом же деле, хороши они или дурны, но они есть *наблюдения* того, что существовало и было, а не выдумка, не тенденциозное фантазерство фракционистов, которым чуть не удалось оклеветать добрых и спокойных людей. Твердое и неизменное убеждение, что русский раскол не имеет противоправительственных «политических» идей, получено мною не из книг и даже не от Павла Ив. Мельникова (знания которого я, конечно, высоко ценю), а я пришел к этому убеждению прямо путем личных наблюдений, которым верю более, чем тенденциозным натяжкам Щапова и всяким иным ухищрениям теоретиков «крайней левой фракции», которые ныне «преложились в сердцах своих» и заскакали на правый фланг крайнее самого правофлангового...

Верю им нынче столько же, сколько верил тогда...

Во всяком случае то, что я рассказал здесь о старце Малахии, было для меня едва ли не первым уроком в изучении характера не сочиненного, а живого раскольника. Я не могу, да и не обязан забыть, как этому суровому «немоляку за имя царево» хотелось «попеть тропаря», и вся остановка была только за тем, чтобы император «двумя персты» перекрестился. А тогда бы они позапечатлели всех *не*-раскольников в том самом роде, как старец запечатлел Гиезьку, и горячее всех, пожалуй, приложили бы свои благочестивые руки к «крайней левой фракции».

Вот и вся раскольничья политика. А между тем было время, когда требовалось иметь немалую отвагу, чтобы решиться дать приют в доме такому опасному сектанту, как старец Малахия... И это смешное и слепое время

было не очень давно, а между тем оно уже так хорошо позабыто, что теперь «крайняя правая фракция» пружится, чтобы Волга-матушка вспять побежала, а они бы могли начать лгать сначала. Раки, которые «перешепчутся», приходят в «пустотел», а люди, которые хотят пятиться, как раки, придут к пустомыслию.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Отрока Гиезия я видел еще один раз в жизни. Это было много лет спустя в Курске, вскоре после постройки киевской железной дороги.

Я ехал в Киев повидаться с родными. Поезда ходили тогда еще не совсем аккуратно, и в Курске приходилась довольно долгая остановка. Я когда-то езжал из Орла в Курск, и теперь мне хотелось посмотреть на этот город, где сидят «мои-то-те куряне, ведомые кмети», которые до того доцивилизовались, что потеряли целую рощу.

Я прошел через вокзал, чтобы с заднего крыльца посмотреть на собор и на прочее, что можно разглядеть отсюда.

Дело было утром, погода прекрасная. Курск в таком раннем освещении очень весело смотрит с своих горок, из-за своей сонной Тускари. Он напоминает собою Киев, разумеется, в миниатюре и en laid.[1] Но только теперь, в ту минуту, когда я хотел любоваться, весь вид, или, лучше сказать, все поле зрения застилалось какими-то во множестве летающими и без толку мечущимися в воздухе безголовыми птичками... Престранное видение в иезекиилевском жанре: на одной какой-то точке бьют фонтаном и носятся какими-то незаконченными, трепетными взмахами в воздухе одни крылья; они описывают какие-то незаконченные круги и зигзаги, и вдруг падают, упадут, встрепенутся, и опять взлетят снова, и опять посередине подъема ослабеют, и снова упадут в пыль...

Это что-то как будто апокалипсическое.

В довершение сходства характера, тут были и «жены»; они подбирают обезглавленных пташек и суют их себе

[1] В ухудшенном виде *(франц.)*.

куда-то в недра, или, попросту говоря, за пазухи. Там тепло.

Заинтересовало меня: что это такое!

Вот с одной, пронесшейся над моею головою, безголовой пташки что-то капнуло... Тяжелое... точно она на меня зерно гороху уронила, и притом попало это мне прямо на руку...

Это была кровь, и притом совершенно свежая, даже теплая.

Что за странность?

Оглядываюсь — на противоположной стороне площадки, так же как и я, глазеют на безголовых летунов человек шесть городских извозчиков и несколько ребятишек...

Вот одна безголовая пташка со всего размаха шлепнулась о железную крышу какой-то надворной постройки.

Летела — казалось, птичка, а упала — словно стаяла.

Осталось только самое маленькое пятнышко, которое надо было с усилием не потерять из глаз — до того стало оно ничтожно.

Зато теперь можно было рассмотреть, что это такое.

Я опустил руку в дорожную сумку, где у меня был маленький бинокль, и только что стал наводить его на крышу, как кто-то серым рукавом закрыл мне «поле зрения».

У меня в Курске не могло быть знакомых, которые бы имели право допустить такую короткую фамильярность, но прежде чем я успел отнять от глаз бинокль, серая завеса уже снялась, и я увидал ворону, которая уносила в клюве обезглавленную пташку.

Послышался хохот, свист; в ворону с добычею, без вреда для них, полетели щепы и палки, и потом опять пошел фонтаном взлет обезглавленных пташек.

Я захотел видеть источник этого необычайного явления, и оно объяснилось: тут же за углом стояла низкая крестьянская телега, запряженная замореннюю лохматою лошаденкою. Лошадь ела сенцо, которое было привязано к запрягу ее оглобли; а на телеге стоял большой лубочный короб, по верху которого затянута нитяная сетка. Над коробом, окорячив его ногами, упертыми в тележные грядки, сидел рослый повар в белых панталонах, в белой куртке и в белом колпаке, а перед ним на земле

стоял средних лет торговый крестьянин и держал в руках большое решето, в которое повар что-то сбрасывал, точно как будто орешки.

Прежде опустит руку в короб, потом вынет ее точно чем-то обросшую, встряхнет ею, и сей же момент всюду по воздуху полетят безголовые птички; а он сбросит в решето горсточку орешков. И все так далее.

Спросил, — что́ это делают? — и получил короткое объяснение:

— Перепелок рвут.

— Как, — говорю, — странно?

— Отчего странно? — отвечает продавец, — это у нас завсегда так. Они теперь жирные; как заберешь их в руку, между пальчиками по головёшке, и встряхнешь, у них сейчас все шейки милым делом и оборвутся. Полетает без головки — из нее кровочка скапит, и скус тоньше. А по головёшкам, кои в решете сбросаны, считать очень способно. Сколько головёшек, за столько штук и плата.

«Ах, вы, — думаю, — «ведомые кмети»! С этаким ли способным народом не спрятать без следов монастырскую рощу!»

Но мне интереснее всего был сам продавец, ибо — коротко сказать — это был не кто иной, как оный давний отрок Гиезий. Он обородател и постарел, но вид имел очень болезненный.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Как только я назвал себя, Гиезий узнал меня сразу и подал свою уваленную птичьим пухом руку. А между тем и перепелиная казнь была кончена; повар соскочил на землю и пошел к бочке с водою мыть руки, а мы с старым знакомцем отправились пить чай. Сели уютненько, решето с птичьими головками под стол спрятали и разговорились.

Гиезий сообщил мне, что он давно отбыл годы обетованного отрочества и уже «живет со второю хозяйкою», то есть женат на второй жене, имеет детей, а живет промыслом — торгует то косами и серпами, то пенькою и пшеном, иногда же, между делом, и живностию.

Спрашиваю:

— Счастливо ли живете?

— Ничего бы, — отвечает, — если бы не рак.

— Какой рак?

— А как же, — говорит, — ведь у меня рак в желудке; я скоро умру.

— Да почему вы знаете, что у вас рак?

— Много докторов видели, все одно сказали: рак. Да я и сам вижу. Почти никакой пищи принять не могу, от всего извергает.

— Чем же вы лечитесь?

— Прежде лечился, а ныне бросил, один морковный сок натощак пью. Все равно пользы никакой быть не может.

— Отчего вы так печально думаете?

— Помилуйте, разве я дитя, что не понимаю. Тридцать ведь, сударь, лет и три года этакое тиранство я соблюдал при дедушке Малахии! Ведь это вспомянуть страшно становится. Он говел в летех своих заматорелых, а я одно и такое же мучение с ним претерпевал в цветущей моей младости.

— И кроме того он вас, помнится, очень бил.

— Да, разумеется, «началил», да это ничего, без того и невозможно. А вот голод — это ужасно. Бывало, в госпожин пост и оскребки из деревянной чашки все со щепой переешь и, что в земле случаем ногами втоптано, везде выковыряешь да проглотишь, а теперь вот через это староверское злое безумие и умирай без времени, а детей пусти по миру.

— Вы, — говорю, — пост называете безумием?

— Да-с. А что такое? Впрочем, не осудите, с досады иной раз, как о ребятишках вздумаешь, очень что-нибудь скажешь. Детей жалко.

— А как теперь ваши религиозные убеждения?

Он махнул рукою.

— Тропарь по-старому не поете?

Гиезий улыбнулся и отвечал:

— Что вспомнили! — пел, да уже и позабыл.

— Как позабыли?

— Ну, господи мой, ведь я же вам говорю, какая у меня страшная боль в животе. Рак! Я теперь даже не токмо что среду или пяток, а даже и великий пост не могу никакой говейности соблюдать, потому меня

от всего постного сейчас вытошнит. Сплошь теперь, как молокан, мясное и зачищаю, точно барин. При верной церкви уже это нельзя, я и примазался...

— К единоверческой?

— Нет, чего! Там тоже еще есть жизни правила, я к простой, к греко-российской.

— Значит, даже тремя перстами креститесь?

— Все равно. Да и какое уже больному человеку крещение. Почитай и о молитве забыл. Только бы пожить для ребят хочется. Для того и пристал к церковной вере, что можно жить слабже.

— А прочие ваши собратия?

— Они тогда, как в Киеве дедушку схоронили, сейчас с соседями тропарь петь замоталися, да так на тропаре и повисли. Нравится им, чтоб «победы и одоления», да и отчего не петь? — заключил он, — если у кого силы живота постоянные, то ведь можно как угодно верить; но с таким желудком, как мой, какая уж тут вера! Тут одно искушение!

С тем мы и расстались.

Обетованный отрок, не читая энциклопедистов и других проклятых писателей, своим умом дошел до теории Дидро и поставил веру в зависимость от физиологии.

Епископ Амвросий Ключарев в своих публичных лекциях, читанных в Москве, напрасно порешил, что писателям «лучше бы не родиться». Тот, кто призвал всякую тварь к жизни, конечно, лучше почтенного архипастыря знал, кому лучше родиться, а кому не родиться, но случай с Гиезием не показывает ли, что простого человека иногда удаляют от веры не писатели, которых простой народ еще не знает и не читает, а те, кто «возлагает на человеки бремена тяжкие и неудобоносимые». Но мы смиренно верим, что в большом хозяйстве владыки вселенной даже и этот ассортимент людей пока еще на что-то нужен.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Теперь еще хочется упомянуть об одном киевском событии, которое прекрасно и трогательно само по себе и в котором вырисовалась одна странная личность с очень сложным характером. Я хочу сказать о священнике

Евфимии Ботвиновском, которого все в Киеве знали просто под именем «попа Ефима», или даже «Юхвима».

Усопший епископ рижский Филарет Филаретов, в бытность его ректором духовной академии в Киеве, 28 декабря 1873 года писал мне: «спрашиваете о Евфиме, — Евфим, друг наш, умре 19 сентября. Оставил семейство из шести душ, трех женских и трех мужеских. Но, видно, Евфим при слабостях своих имел в себе много доброго. При его погребении было большое стечение народа, провожавшего его *с большим плачем*. Дети остались на чужом дворе, без гроша и без куска хлеба; но добрыми людьми они обеспечены теперь так, что едва ли бы и при отце могли иметь то, что устроила для них попечительность людская».

С тех пор, когда мне случалось быть в Киеве, я никогда и ни от кого не мог получить никаких известий о детях отца Евфима; но что всего страннее, и о нем самом память как будто совершенно исчезла, а если начнешь усиленно будить ее, то услышишь разве только что-то о его «слабостях». В письме своем преосвященный Филарет говорит: «не дивитеся сему — банковое направление все заело. В Киеве ничем не интересуются, кроме *карт* и *денег»*.

Не знаю, совершенно ли это так, но думается, что довольно близко к истине.

Чтобы не вызывать недомолвками ложных толкований, лучше сказать, что «слабости» о. Ефима составляли просто *кутежи,* которые тогда были в большой моде в Киеве. Отец Евфим оказался большим консерватором и переносил эту моду немножко дольше, чем было можно. Отец Евфим любил хорошее винцо, компанию и охоту. Он был лучший биллиардный игрок *после Курдюмова* и отлично стрелял; притом он, по слабости своего характера, не мог воздержаться от удовольствия поохотиться, когда попадал в круг друзей из дворян. Тут о. Евфим переодевался в егерский костюм, хорошо приспособленный к тому, чтобы спрятать его «гриву», и «полевал», по преимуществу с гончими. Нрава Юхвим был веселого, даже детски шаловливого и увлекающегося до крайностей, иногда непозволительных; но это был такой человек, каких родится немного и которых грешно и стыдно забывать в одно десятилетие.

Каков Юхвим был как священник — этого я разбирать не стану, да и думаю, что это известно одному богу, которому служил он, как мог и как умел. Внешним образом священнодействовать Юхвим был большой мастер, но «леноват», и потому служил редко — больше содержал у себя для служения каких-то «приблудных батюшек», которые всегда проживали у него же в доме. Отец Юхвим прекрасно читал и иногда, читая великопостные каноны, неудержимо плакал, а потом сам над собою шутил, говоря:

— Стілько я, ледачий піп, нагрішив, що бог вже змиловався надо мною и дав мені слезы, щоб плакати діл моих горько. Не можу служить, не плачучи.

Разберите и рассудите хоть по этому, что́ это был за человек *по отношению к вере?* По моему мнению, он был человек богопочтительный, но его кипучая, художественная и сообщительная натура, при уме живом, но крайне легком и несерьезном, постоянно увлекала его то туда, то сюда, так что он мог бы и совершенно извертеться, если бы не было одного магнита, который направлял его блуждания к определенной точке. Магнитом этим, действовавшим на Юхвима с страшною, всеодолевающею *органическою* силою, была его громадная, прирожденная *любовь к добру и сострадание.*

Когда я зазнал отца Евфима, он был очень юным священником маленькой деревянной церковки Иоанна Златоуста против нынешней старокиевской части. Приход у него был самый беднейщий, и отцу Евфиму совершенно нечем было бы питаться, если бы семье его господь не послал «врана».

Этот «питающий вран» был *разучившийся грамоте* дьячок Константин, или Котин, длинный, худой, с сломанным и согнутым на сторону носом, за что и прозывался «Ломоносовым».

Он сам о себе говаривал:

— Я вже часто не здужаю, бо став старый; але що маю подіяти, як робити треба.

«Треба» была именно потому, что Ломоносов имел «на своем воспитании» молодую, но быстро нараставшую семью своего молодого и совершенно беззаботного священника.

Дьячок Котин служил при его отце, Егоре Ботвиновском, знал Евфима дитятею, а потом студентом академии, и теперь, видя его крайнюю беспечность обо всех домашних нуждах, принял дом священника «на свое воспитание».

Труд Ломоносова состоял в том, что все летнее время, пока Киев посещается богомольцами, или, по произношению Котина, «богомулами», он вставал до зари, садился у церковной оградочки с деревянным ящичком с прорезкою в крышке и «стерег богомулов».

Дело это очень заботное и требовало немалой сообразительности и остроты разума, а также смелости и такта, ибо, собственно говоря, Ломоносов «воспитывал семейство» на счет других приходов, и преимущественно на счет духовенства церквей Десятинной, Андреевской и всех вкупе святынь Подола.

Константин отпирал церковь, зажигал лампадочку и садился у дверей на маленькой скамеечке; перед собою он ставил медную чашку с водою и кропило, рядом ящичек, или «карнавку», а в руки брал шерстяной пагленок. Он занимался надвязыванием чулок.

— Бо духовному лицу треба бути в трудех бденных.

Как большинство обстоятельных и сильно озабоченных людей, Котин был порядочный резонер и уважал декорум и благопристойность.

«Богомул» (в собирательном смысле) идет по Киеву определенным путем, как сельдь у берегов Шотландии, так что прежде «напоклоняется усім святым печерским, потім того до Варвары, а потім Макарию софийскому, а потім вже геть просто *мимо Ивана* до Андрея и Десятинного и на Подол».

Маршрут этот освящен веками и до такой степени традиционен, что его никто и не думал бы изменять. Церковь Иоанна Златоуста, или, в просторечии, кратко *«Иван»*, была все равно что пункт водораздела, откуда «богомул» принимает наклонное направление *«мимо Ивана»*.

К «Ивану» заходить было не принято, потому что Иван сам по себе ничем не блестел, хотя и отворял радушно свои двери с самых спозаранок. Но нужда, изощряющая таланты, сделала ум Котина столь острым, что он из этого мимоходного положения своего храма извлекал сугубую выгоду. Он сидел здесь на водоразделе течения и «пере-

лавливал богомулов», так что они не могли попадать к святыням Десятинной и Подола, пока Котин их «трохи не вытрусит». Делал он это с превеликою простотою, тактом и с такою отвагою, которою даже сам хвалился.

— Тиі богомулы, що у лавру до святых поприходили, — говорил он, — тих я до себе затягти не можу, не про те, що мій храм такій малесенькій, а про те, що лавра на такім пути, що іі скрізь видно. Од них вже нехай лаврикові торгуют. А що до подольских, або до Десятинного, то сіи вже нехай собі пальци поссуть, як я им дам що уторгувати и необібраних богомулів спущу им.

Он «обирал» богомулов вот каким образом: имея подле себя «карнавку», Котин, чуть завидит или заслышит двигающихся тяжелыми ногами «богомулов», начинал «трясти грош» в ящичке и приговаривать:

— Богомули! богомули! Куды це вы? Жертвуйте, жертвуйте до церковці Ивана Золотоустого!

И чуть мужички приостанавливались, чтобы достать и положить по грошу, Котин вдруг опутывал их ласкою. То он спрашивал: «звіткиля се вы?», то «як у вас сей год житечко зародило?», то предложит иному «ужить таба́ки», то есть понюхать из его тавлинки, а затем и прямо звал в церковь.

— Идить же, идить до храму святого... усходьте... я вам одну таку святыньку покажу, що ніде іі не побачите.

Мужички просились:

— Мы, выбачайте, на Подол йдемо, та до князя Владимира.

Но Котин уже не выпускал «богомула».

— Ну та що там таке у святого Владимира? — начинал он с неодолимою смелостию ученого критика. — Бог зна, чи що там есть, чи чого нема. Він собі був ничого, добрый князь; але, як усі чоловіки, мав жінку, да ще не единую. Заходьте до мене, я вам свячену штучку покажу, що святив той митрополит Евгений, що під софийским під полом лежить... Евгений, то, бачите, був ений (Котин почему-то не говорил *гений)*.

А во время такого убедительного разговора он уже волок мужика или бабу, которая ему казалась влиятельнее прочих в группе, за руку и вводил всех в церковь и подводил их к столу, где опять была другая чаша с водой, крест, кропило и блюдо, а сам шел в алтарь и вы-

носил оттуда старенький парчовый воздух и начинал всех обильно кропить водою и отирать этим перепачканным воздухом, приговаривая:

— Боже благослови, боже благослови!.. Умыхся еси, отерся еси... Вот так: умыхся и отерся... И сей умыхся... Як тебя звать?

«Богомул» отвечает: «Петро» или «Михал».

— Ну вот и добре — и Петро умыхся, отерся... То наш ений Евгений сей воздух святив... цілуйте его, християне, собі на здоровье... души во спасение... во очищение очес... костей укріпление...

И потом вдруг приглашал прилечь отдохнуть на травке около церкви или же идти «впрост — до батюшки, до господы», то есть на двор к отцу Евфиму, который был тут же рядом.

Котину почти ежедневно удавалось заманить нескольких «богомулов» на батюшкин двор, где им давали огурцов, квасу и хлеба и место под сараем, а они «жертвовали» кто что может.

Выходило это так, что и «богомулам» было безобидно и «дома» хозяину выгодно. Каждый день был «свежий грош», а на другое утро «богомулы шли опустошени», и Котин их сам напутствовал:

— Идіть теперички, християне, куди собі хочете, — хоть и до святого Владимира.

Перехожая пошлина с них у Ивана была уже взята.

Таков был простодушный, но усердный печальник о семье беспечального отца Евфима в первое время; но потом, когда Евфима перевели на место усопшего брата его Петра в Троицкую церковь, его начали знать более видные люди и стали доброхотствовать его семье, о которой сам Евфим всегда заботился мало.

— Наш батюшка, — говорил Котин, — завжди в росході, бо ёго люди дуже люблять.

Это была и правда. Ни семейная радость, ни горе не обходилось без «Юхвима». Ему давали «за руки» спорные деньги, его выбирали душеприказчиком, и он все *чужие дела* исполнял превосходно. Но о своих не заботился нимало и довел это до того, что «сам себя изнищил».

Вот событие, которым он одно время удивил Киев и дал многим хороший повод оклеветать его за добро самыми черными клеветами.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Был в Киеве уездный казначей Осип Семенович Ту—ский, которого привез с собою из Житомира председатель казенной палаты Ключарев. Мы этого чиновника знали мало, а отец Евфим *нисколько*. Вдруг при одной поверке казначейства новым председателем Кобылиным оказался прочет в казенных суммах, кажется, около двадцати тысяч рублей, а может быть и несколько меньше. Казначей был известен своею честностью и аккуратностию. Как образовался этот прочет — я думаю, никто наверно не знает, потому что дело было замято; но ранее того семье казначея угрожала погибель. Об этом много говорили и очень сожалели маленьких детей казначея.

Дошло это дело до Евфима и ужасно его тронуло. Он задумался, потом вдруг заплакал и воскликнул:

— Тут надо помочь!

— Как же помочь? надо заплатить деньги.

— Да, конечно, надо заплатить.

— А кто их заплатит?

— А вот попробуем.

Отец Евфим велел «запречь игумена» (так называл он своего карого коня, купленного у какого-то игумена) и поехал к Кобылину с просьбою подержать дело в секрете два-три дня, пока он «попробует».

Председателю такое предложение, разумеется, было во всех отношениях выгодно, и он согласился ожидать, а Евфим пошел гонять своего «игумена». Объездил он всех друзей и приятелей и у всех, у кого только мог, просил пособить — «спасти семейство». Собрал он немало, помнится, будто тысяч около четырех, что-то дал и Кобылин; но недоставало все-таки много. Не помню теперь, сколько именно, но много что-то недоставало, кажется тысяч двенадцать или даже более.

У нас были советы, и решено было «собранное сберечь для семьи», а казначея предоставить его участи. Но предобрейшему Евфиму это не нравилось.

— Что там за участь детям без отца! — проговорил он, и на другой же день *взнес все деньги,* сколько их следовало.

Откуда же он их взял?

Он *разорил свое собственное семейство:* он заложил дом свой и дом тещи своей, вдовы протоиерея Лободовского, надавал векселей и сколотил сумму, чтобы выручить человека, которого, опять повторяю, *он не знал,* а узнал только о постигшем его бедствии...

Рассудительным или безрассудным кому покажется этот поступок, но во всяком случае он столь великодушен, что о нем стоит вспомнить, и если слова епископа Филарета справедливы, что дети Ботвиновского призрены, то поневоле приходится повторить с псалмопевцем: «Не видех праведника оставлена, ниже семени его просяща хлеба».

Другого такого поступка, совершенного с полнейшею простотою сверх сил и по одному порыву великодушия, я не видал ни от кого, и когда при мне говорят о пресловутой «поповской жадности», я всегда вспоминаю, что самый, до безрассудности, бескорыстный человек, какого я видел, — это *был поп.*

Поступок Евфима не только не был оценен, но даже был осмеян и послужил поводом к разнообразным клеветам, имевшим дурное влияние на его расположение и положение.

С этих пор он начал снова захудевать, и все в его делах пошло в расстройство: дом его был продан, долг теще его тяготил и мучил; он переехал к своей, перенесенной на Новое Строение, Троицкой церкви и вдобавок овдовел, а во вдовстве такой человек, как Евфим, был совершенно невозможен.

Жена его была прекрасная и даже очень миленькая женщина, веселого и доброго нрава, терпеливая, прощающая и тоже беззаботная. Лучшей пары о. Евфиму и на заказ нельзя было подобрать, но когда в делах их пошел упадок и она стала прихварывать, ей стало скучно, что мужа никогда почти не было дома. Она умерла както особенно тихо и грустно, и это обстоятельство вызвало в о. Евфиме еще один необыкновенный порыв в свойственном ему малорассудительном, но весьма оригинальном роде. Мало удосуживаясь видеть жену свою при ее жизни, он *не мог* расстаться с нею с мертвою, и это побудило его решиться на один крайне рискованный поступок, еще раз говорящий о его причудливой натуре.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Троицкая церковь, к которой перешел о. Евфим после смерти своего брата, находилась в Старом Киеве, против здания присутственных мест, где ныне начинается сквер от стороны Софийского собора. Церковь эта была маленькая, деревянная и вдобавок ветхая, как и церковь Иоанна Златоуста, находившаяся по другую сторону присутственных мест, и с постройкою этих последних ее решено было перенести на Новое Строение, где, конечно, надо было строить церковь вновь, сохранивши название прежней. О. Евфим сам распоряжался постройкою церкви и осуществил при этом некоторые свои фантазии. Так, например, в бытность его в Петербурге он мне рассказывал, что устроил где-то в боковой части алтаря маленькую «комору под землею», — чтобы там летом, в жары, хорошо было от мух отдыхать.

Я не видел этой «коморы» и не знаю, как она была устроена, но знаю несомненно, что она есть и что в ней скрывается теперь ни для кого уже не проницаемая тайна.

— Где схоронена покойная Елена Семеновна? — спросил я о. Евфима, рассказывавшего мне тяжесть своего вдового положения.

— А у меня под церковью, — отвечал он.

Я удивился.

— Как, — говорю, — под церковью? Как же вы это могли выхлопотать? Кто вам разрешил?

— Ну вот, — говорит, — «разрешил»! Что я за дурак, чтобы стал об этом кого-нибудь спрашивать? Разумеется, никто бы мне этого не разрешил. А я так, чтобы она, моя голубонька, со мною не расставалась, — я *сам ее закопал под полом в коморе* и хожу туда и плачу над нею.

Это мне казалось невероятным, и я без стеснения сказал о. Евфиму, что ему не верю, но он забожился и рассказал историю погребения покойницы под церковью в подробностях и с такою обстоятельностью, что основание к недоверию исчезло.

По словам о. Евфима, как только Елена Семеновна скончалась, он и два преданные ему друга (а у него их

было много) разобрали в нижней «коморе» пол и сейчас же стали *своими руками* копать могилу. К отпеванию покойной в церкви — могила была готова. Приготовлялась ли тоже, как следовало, могила на кладбище, — я не спросил. Затем покойную отпели в большом собрании духовенства и, кажется, в предстоянии покойного Филарета Филаретова, который тогда был еще архимандритом и ректором Киевской академии. По отпевании и запечатлении гроба *вынос был отложен* до завтра, будто за неготовностью могильного склепа. Затем, когда отпевавшее духовенство удалилось, о. Евфим с преданными ему двумя друзьями (которых он называл) пришли ночью в церковь и *похоронили покойницу в могиле, выкопанной в коморе под алтарем.* (Один из друзей-гробокопателей был знаменитый в свое время в Киеве уголовный следователь, чиновник особых поручений генерал-губернатора, Андрей Иванович Друкарт, впоследствии вице-губернатор в Седлеце, где и скончался). Потом пол опять застлали, и след погребения исчез навсегда, «до радостного утра». [1]

Покойный епископ Филарет Филаретов, кажется, знал об этом. По крайней мере, когда я его спрашивал, *где* погребена Елена Семеновна, — он, улыбаясь, махал рукою и отвечал:

— Бог его знает, где он ее похоронил.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Как же относились к такому священнику люди?

Моралисты и фарисеи его порицали, но простецы и «мытари» любили «предоброго Евфима» и, как писал мне преосвященный Филарет, «провожали его с большим плачем».

---

[1] Собранные мною по поводу предложенного рассказа сведения подтвердили вполне его достоверность: никто из людей, знавших супругов Ботвиновских, не помнит факта провода на кладбище тела умершей жены о. Евфима, а помнят только факт совершенного над нею торжественного отпевания и предложенной затем изобильной поминальной трапезы. *(Прим. автора.)*

Не каждого так проводят даже и из тех, кои «посягли все книги кожаны» и соблюли все посты и «субботы».

И как было не плакать о таком простяке, который являл собою живое воплощение добра! Конечно, он не то, что пастор Оберлин; но он наш, простой русский поп, человек, может быть, и безалаберный, и грешный, но всепрощающий и бескорыстнейший. А много ли таких добрых людей на свете?

А что думало о нем начальство?

Кажется, неодинаково. О. Евфим служил при трех митрополитах. Митрополит Исидор Никольский был мало в Киеве и едва ли успел кого узнать. Преемник его Арсений Москвин *не* благоволил к Ботвиновскому, но покойный добрейший старик Филарет Амфитеатров его очень любил и жалел и на все наветы о Ботвиновском говорил:

— Все, чай, пустяки... Он добрый.

Раз, однако, и он призывал Евфима по какой-то жалобе или какому-то слуху, о существе коего, впрочем, на митрополичьем разбирательстве ничего обстоятельно не выяснилось.

О разбирательстве этом рассказывали следующее: когда Филарету наговорили что-то особенное об излишней «светскости» Ботвиновского, митрополит произвел такой суд:

— Ты Б*а*твин*е*вск*ой*? — спросил он обвиняемого.

— Б*о*твин*о*вск*ий*, — отвечал о. Евфим.

— Что-о-о?

— Я Б*о*твин*о*вск*ий*.

Владыка сердито стукнул по столу ладонью и крикнул:

— Врешь!.. Б*а*твин*е*вск*ой*!

Евфим молчал.

— Что-о-о? — спросил владыка. — Чего молчишь? повинись!

Тот подумал, — в чем ему повиниться? и благопокорно произнес:

— Я Б*а*твин*е*вск*ой*.

Митрополит успокоился, с доброго лица его радостно исчезла непривычная тень напускной строгости, и он протянул своим беззвучным баском:

— То-то и есть... Б*а*твин*е*вск*ой*!.. И хорошо, что повинился!.. Теперь иди к своему месту.

А «прогнав» таким образом «Батвиневского», он говорил наместнику лавры (тогда еще благочинному) о. Варлааму:

— Добрый мужичонко этот Батвиневской, — очень добрый... И повинился... Скверно только, зачем он трубку из длинного чубука палит?

Инок отвечал, что он этого не знает, а добрый владыка разворковался:

— Это, смотри, его протопоп Крамарев обучил... Университетский! Скажи ему, чтобы он университетского наученья не смущал, чтобы из длинного чубука не курил.

Очевидно, что в доносе было что-то о курении. Отец Евфим и в этом *исправился,* — он стал курить папиросы.

К сему разве остается добавить, что Ботвиновский был очень видный собою мужчина и, по мнению знатоков, в молодости превосходно танцевал мазурку, и... искусства этого никогда не оставлял, но после некоторых случайностей танцевал «только на именинах» у прихожан, особенно его уважавших.

Мне думается, что такой непосредственный человек непременно должен иметь место среди киевских *антиков,* и даже, может быть, воспоминание о нем окажется самым симпатичным для киевлян, между коими, вероятно, еще немало тех, что «шли, плача, за его гробом».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

О *киевских богатырях* я знаю мало. Видоизменяясь от облика Ильи и Чурилы до фигуры Остапа Бульбы, к моему времени в Киеве они являлись в лицах того же приснопамятного Аскоченского, студента Кол—ова и торгового человека (приказчика купца Козловского) Ивана Филипповича Касселя (чистого, беспримесного хохла, наказанного за какой-то родительский грех иноземною кличкою).

О силе Аскоченского говорили много, приводя примеры, что будто ее иногда поневоле принимали в соображение бывший в его время ректором «русский Златоуст» Иннокентий Борисов и инспектор Иеремия. Достоверного в этом кажется то, что когда инспектор отобрал раз

у студентов чубуки и снес их к Иннокентию, то Аскоченский, с его «непобедимою дерзостию», явился к Иннокентию «требовать *свою собственность»*. А когда Иннокентий назвал это нахальством и приказал наглецу «выйти вон», то Аскоченский взял «весь пук чубуков» и сразу все их переломил на колене.

Все остальное, что касается его легендарной силы, выражалось в таком роде: он все «ломал». Более всего он ломал, или, лучше сказать, гнул, за столами металлические ножи, ложки, вилки, а иногда подсвечники. Делал он это всегда сюрпризом для хозяев, но не всегда к их большому удовольствию.

О «непобедимых его дерзостях» рассказывалось тоже много, но над всем предоминировало сообщение о «стычке его с профессором Серафимом» на лекции церковной истории.

Дело было так, что профессор после беспристрастного изложения фактов пришел научным путем к достоверному выводу, который изложил в следующих словах:

— Итак, мы ясно видели, что мать наша, святая православная церковь в России, приняв богоучрежденные постановления от апостолов, ныне управляется *самим духом святым.*

— В генеральском мундире! — отозвался с своей парты Аскоченский.

Профессор смутился и, как бы желая затушевать неуместное вмешательство студента, повторил:

— Самим духом святым.

Но Аскоченский снова не выдержал и еще громче произнес:

— Да, в генеральском мундире!

— Что ты под сим разумеешь? — спросил его Серафим.

— Не *что*, а *нечто*, — отвечал Аскоченский и пояснил, что он разумеет военного обер-прокурора синода Н. Ал. Протасова.

Серафим пошел жаловаться к Иннокентию, но тот как-то спустил это мягко.

Последний факт «непобедимой дерзости» Аскоченского был не в его пользу. Это случилось тогда, когда в одно время сошлись на службе в Каменце Аскоченский, занимавший там место совестного судьи, и бывший его

начальник по Воронежской семинарии Елпидифор, на эту пору архиепископ подольский.

Архиепископ Елпидифор был изрядно нетерпелив и вспыльчив, но в свою очередь он знал продерзостную натуру Аскоченского, когда тот учился в Воронежской семинарии. Однажды Елпидифор служил обедню в соборе, а Аскоченский стоял в алтаре (любимое дело ханжей, позволяющих себе нарушать церковное правило и стеснять собою служащее духовенство).

Во время литургии какой-то диакон или иподиакон что-то напутал, и вспыльчивый владыка сказал ему за это «дурака».

Тем дело и кончилось бы, но после обедни у епископа был пирог, и к пирогу явился Аскоченский, а во время одной паузы он ядовито предложил такой вопрос:

— Владыка святый! что должен петь клир, когда архиерей возглашает «дурак»?

— «Совестный судья», — отвечал спокойно епископ.

— А я думал: «и духови твоему», — отвечал «непобедимый в дерзости» Аскоченский, но вскоре потерял место совестного судьи и навсегда лишился службы.

Другой *богатырь,* Кол—ов, действительно обладал силою феноменальною и ночами ходил «переворачивать камни у Владимира». Идеал его был «снять крепостные вороты и отнести их на себе на Лысую гору», которой тогда еще не угрожал переход в собственность известного в России рода бояр Анненковых. Тогда там слетались простые киевские ведьмы. Но ворот Кол—ов не снял, а погиб иным образом.

Третий, самый веселый богатырь моего времени был Иван Филиппович Кассель, имеющий даже двойную известность в русской армии. Во-первых, торгуя военными вещами, он обмундировал чуть ли не всех офицеров, переходивших в Крым через Киев, а во-вторых, он положил конец большой войне, не значащейся ни в каких хрониках, но тем не менее продолжительной и упорной.

Не знаю, с какого именно повода в Киеве установилась вражда не вражда, а традиционное предание о необходимости боевых отношений между студентами и вообще статскою молодежью с одной стороны и юнкерами — с другой. Особенно считалось необходимым «бить саперов», то есть юнкеров саперного училища. Шло это

с замечательным постоянством и заманчивостью, которая увлекала даже таких умных и прекрасных людей, как Андрей Иванович Друкарт, бывший в то время уже чиновником особых поручений при губернаторе Фундуклее.

С утра, бывало, сговариваются приходить в трактир к Кругу или к Бурхарду, где поджидались саперные юнкера, и там «их бить».

Ни за что ни про что, а так просто «бить».

Но иногда для этого выезжали на дубу или пешком отправлялись «за мост» к Рязанову или на Подол, к Каткову, и там «бились».

Порою с обеих сторон были жертвы, то есть не убитые, но довольно сильно побитые, а война все упорствовала, не уставала и грозила быть такою же хроническою, как война кавказская. Но случилось, что в одной стычке юнкеров (сделавших вылазку из урочища Кожемяки) с статскою партиею (спускавшеюся от церкви св. Андрея) находился Кассель. Будучи призван к участию в битве, Иван Филиппыч один положил на землю всех неприятелей, а потом заодно и всех своих союзников. В пылу битвы он не мог успокоиться, пока не увидал вокруг себя *всех* «полегшими». Это было так не по сердцу для обеих воюющих сторон, что с этим разом битвы прекратились.

Богатырей, прославленных силою, более уже не было. Эти, кажется, были последние.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

О *кладах* мне только известно в смысле литературном. Где-то и у кого-то в Киеве должен храниться один очень драгоценный и интересный литературный клад — это одно действительно меткое и остроумное сочинение В. И. Аскоченского, написанное в форме речи, произносимой кандидатом епископства при наречении его в архиереи. Речь новонарекаемого епископа, сочиненная Аскоченским, не только нимало не похожа на те речи, какие обыкновенно при этих важных случаях произносятся, но она им диаметрально противоположна по направлению и духу, хотя сводится к тем же результатам. В заправдашних речах кандидаты обыкновенно говорят о своих сла-

бостях и недостоинствах — вообще сильно отпрашиваются от епископства, боясь, что не пронесут обязанностей этого сана, как следует. Потом едва только к концу, и то лишь полагаясь на всемогущую благодать божию и на воспособляющую силу молитв председящих святителей, они «приемлят и ни что же вопреки глаголят». Но речь Аскоченского идет из иного настроения: его кандидат епископства, человек смелого ума и откровенной прямой натуры, напоминает «Племянника г-на Рамо». Он смотрит на жизнь весело и не видит никакой надобности возводить на себя самообвинения в тяжких недостоинствах. Напротив, нарекаемый епископ Аскоченского признается, что сан епископский ему издавна весьма нравится и очень ему приятен. Он рассказывает даже, какие меры и усилия он употребил для достижения своей цели — быть епископом. Потом говорит и о своих «недостоинствах», но опять по-своему: он не ограничивается общим поверхностным упоминанием, что у него есть «недостоинства», а откровенно припоминает их, как добрый христианин доброго времени, стоящий на открытой, всенародной исповеди. Кандидат доводит свою откровенность до того, что «недостоинства» его в самом деле как будто заставляют опасаться за его годность к епископскому служению, и за него становится и страшно и больно... Но вдруг живая душа исповедника делает быстрый взмах над миром и зрит оттуда с высот, что и другие, приявшие уже ярем епископства, были не только не достойнее его, но даже и после таковыми же остались. А он клянется, что когда ему на епископстве станет жить хорошо, то он, как умный человек, ни за что не станет искать никаких пустяков, не имеющих прямой цены для счастия, и «потому приемлет и ни что же вопреки глаголет».

Аскоченский мне сам читал эту речь, замечательную как в литературном, так и в историческом отношении, и читал он ее многим другим, пока об этом не узнал покойный митрополит московский Иннокентий Вениаминов. Он *запретил* Аскоченскому читать эту речь и давать ее списывать, а Виктор Ипатьич, часто прибегая к Иннокентию по делам своего изнемогавшего издания и другим личным нуждам, дал слово митрополиту запрет этот исполнить. В «Дневнике» Аскоченского, который я, по редакционной обязанности, *весь прочел* прежде приобре-

тения его редакциею «Исторического вестника», *нет этой речи*. Это тем более удивительно, что в «Дневнике» записано множество выходок, гораздо менее удачных, и литературных шалостей, несравненно более непристойных и дерзких по отношению к предстоятелям церкви. Может быть, Аскоченский вырвал эти листы в угоду митрополиту, который, по словам Виктора Ипатьича, «просто позволил ему *обыскивать свой бумажник*». Во всяком случае этот литературный киевский клад[1] очень интересен как для характеристики самого Аскоченского, так и в смысле определения прозорливости тех, которые чаяли видеть в Викторе Ипатьевиче защитника падающего авторитета своего сана, с дозволением иногда *«обыскивать* их бумажники».

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Затем еще «последнее сказание» — тоже касающееся киевских преданий и литературы.

Когда в «Русском вестнике» М. Н. Каткова был напечатан мой рассказ «Запечатленный ангел», то в некоторых периодических изданиях, при снисходительных похвалах моему маленькому литературному произведению, было сказано, что «в нем передано событие, случившееся при постройке киевского моста» (разумеется, *старого)*.

[1] Указывают еще другой клад, оставленный В. И. Аскоченским в Киеве и находящийся, вероятно, и теперь у кого-либо из его киевских знакомых. Это обширное его исследование о тогдашнем состоянии русских университетов, озаглавленное так: «Наши университеты». Ф. Г. Лебединцев читал эту толстую, листов в 70, рукопись, написанную в 1854 или 1855 году. В ней Аскоченский с беспощадною резкостию осуждает весь строй университетский и раскрывает недуги профессоров банковского направления. Рукопись наполнена массою самых неприглядных фактов, обличавших пустоту университетских чтений, грошовое либеральничество профессоров и поврежденность нравов студентов, и пр., и пр. Рукопись шибко ходила по рукам и произвела в ученом и административном мире бурю, кончившуюся тем, что бесшабашного автора, как неслужащего дворянина, посадили на две недели на гауптвахту при киевском ордонанс-гаузе.

Рассказывали в ту пору, что когда Аскоченский был «приличным образом» доставлен к тогдашнему киевскому генерал-губернатору кн. Васильчикову, последний дал Аскоченскому прочесть ту статью из Свода Законов, которая грозила ему чем-то вроде вы-

В рассказе идет дело об иконе, которую чиновники «запечатлели» и отобрали в монастырь, а староверы, которым та икона принадлежала, подменили ее копиею во время служения пасхальной заутрени. Для этого один из староверов *прошел с одного берега реки на другой при бурном ледоходе по цепям.*

Всем показалось, что мною в этом рассказе описана киевская местность и «событие, случившееся тоже в Киеве». Так это и остается до сей поры.

Позволю себе ныне заметить, что первое совершенно справедливо, а второе — нет. Местность в «Запечатленном ангеле», как и во многих иных моих рассказах, действительно похожа на Киев, — что объясняется моими привычками к киевским картинам, но *такого происшествия,* какое передано в рассказе, *в Киеве никогда не происходило,* то есть никакой иконы старовер не крал и по цепям через Днепр не переносил. А было действительно только следующее: однажды, когда цепи были уже натянуты, один калужский каменщик, по уполномочию от товарищей, сходил во время пасхальной заутрени с киевского берега на черниговский *по цепям,* но не за иконою, а *за водкою,* которая на той стороне Днепра продавалась тогда много дешевле. Налив бочонок водки, отважный ходок повесил его себе на шею и, имея в руках шест, который служил ему балансом, благополучно возвратился на киевский берег с своею корчемною ношею, которая и была здесь распита во славу св. пасхи.

Отважный переход по цепям действительно послужил мне *темою* для изображения отчаянной русской удали, но цель действия и вообще вся история «Запечатленного ангела», конечно, иная, и она мною просто вымышлена.

сылки «в места отдаленные». Аскоченский нимало не сробел: он прочел статью, положил книгу и улыбнулся.

— Вас, стало, это забавляет? — спросил его добродушный князь Васильчиков.

Аскоченский пожал плечами и ответил:

— Не думаю, чтобы кого-нибудь забавляла возможность прогуляться в Сибирь. Мне смешно другое.

Васильчиков не продолжал разговора и послал его под арест.

В этой записке, по словам Лебединцева, было много очень умного, дельного и справедливого, так что автору было за что посидеть под арестом.

Но где эти два едва ли не самые лучшие произведения ума и пера Аскоченского? Неужто они пропали! *(Прим. автора.)*

ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК

РАССКАЗ НА МОГИЛЕ

(Святой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.)

Души их во благих водворятся.

Погребальная песнь.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У нас многие думают, что «художники» — это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше как «серебренники». У других людей не так: Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи», а дамские платья работы Ворт и сейчас называют «художественными произведениями». Об одном из них недавно писали, будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе».

В Америке область художественная понимается еще шире: знаменитый американский писатель Брет-Гарт рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который «работал над мертвыми». Он придавал лицам почивших различные *«утешительные выражения»,* свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.

Было несколько степеней этого искусства, — я помню три: «1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с богом». Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил «выражение блаженного собесе-

дования с богом» лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни...

Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, во дни моего отрочества.

Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у Любови Онисимовны, мне минуло уже лет девять, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории.

Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но бела как лунь; черты лица ее были тонки и нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки.

Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она несомненно была в свое время красавица.

Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни трагическое и... иногда запивала.

Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала.

Тут я от нее и услыхал историю «тупейного художника».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он был собрат нашей няне по театру; разница была в том, что она «представляла на сцене и танцевала танцы», а он был «тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток

графа «рисовал и причесывал». Но это не был простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с *идеями,* — словом, *художник.*

Лучше его, по словам Любови Онисимовны, никто не мог «сделать в лице воображения».

При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михайлу Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына: Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году.

Ребенком, в сороковых годах, я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами:

— Погляди-ка, милый, туда... Видишь, какое страшное?

— Страшное, няня.

— Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней.

Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил иногда «на мужскую половину», то только в таком случае, если сам граф приказывал «отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности,

благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения.

— Призовут его, бывало, — говорила Любовь Онисимовна, — и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался, — так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.

Словом, тупейный художник был красавец и *«всем* нравился». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того *всегда* держал его при своей уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода.

Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в бога не верил, а духовных терпеть не мог, и один раз на пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил. [1]

Граф же, по словам Любови Онисимовны, был так страшно нехорош, через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее.

А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и «военного воображения».

И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, — он си-

---

[1] Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом от моей бабушки Алферьевой и от известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который *сам видел,* «как псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?», Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский помиловал. *(Прим. автора.)*

дел «весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А было ему тогда уже лет за двадцать пять, а Любови Онисимовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время гримировки.

Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы...

— Нас, актрис, — говорила Любовь Онисимовна, — берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут *кормилиц;* при нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство.

Завет целомудрия мог нарушать только «сам», — тот, кто его уставил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах подпури», танцевала «первые па в «Китайской огороднице» и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли *наглядкою»*.

В каких именно было годах — точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь (не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского.

Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не продавали), и спектакль поставили самый лучший. Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де Бурблян».

Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Онисимовна произносила ее именно так.

Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому.

— Тут, — говорила Любовь Онисимовна, — я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощенья просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал — заглядение.

Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что «Люба роли не испортит», ответил:

— За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня камариновые серьги.

«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенною на краткий миг в одалиски владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра «в невинном виде святою Цецилией», и во всем в белом, в венке и с лилией в руках символизованную innocence[1] доставляли на графскую половину.

— Это, — говорила няня, — по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

А в эти самые роковые часы другое — тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию.

Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже и давно в деревне жил и формы не надевал и не брился, потому что «все лицо у него в буграх заросло». Тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и «в военное воображение», какое требовалось по форме.

---

[1] Невинность *(франц.)*.

А требовалось много.

— Теперь этого и не понимают, как тогда было строго, — говорила няня. — Тогда во всем форменность наблюдалась и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе, — как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать, — от этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного призрения не обращали — от них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось — чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась.

Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем «заволохател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать.

Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирульников и говорит:

— Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь — бери золото и уходи, а если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь, — то сейчас убью.

А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.

В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили — рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались «преображать» Каменского. «Бог с тобою, — думают, — и с твоим золотом».

— Мы, — говорят, — этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может.

Граф велел выгнать городских цирульников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит:

— Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой: отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют.

Граф отвечает брату:

— Здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь — разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?

Тот говорит:

— А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.

А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно.

— После того, — говорит, — если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержанье всех лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется, — я его запорю и в солдаты отдам.

Брат и говорит:

— Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь, а водвою вместе это не сделаешь.

— Хорошо, — говорит граф, — пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.

— И это, — говорит, — последнее твое слово, брат?

— Да, последнее.

— И в этом только все дело?

— Да, в этом.

— Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего *пуделя остричь*. А там уже мое дело, что он сделает.

Графу неловко было от этого отказаться.

— Хорошо, — говорит, — пуделя остричь я его пришлю.

— Ну, мне только и надо.

Пожал графу руку и уехал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают.

Граф призвал Аркадия и говорит:

— Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя.

Аркадий спрашивает:

— Только ли будет всего приказания?

— Ничего больше, — говорит граф, — но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цецилией.

Аркадий Ильич пошатнулся.

Граф говорит:

— Что это с тобой?

А Аркадий отвечает:

— Виноват, на ковре оступился.

Граф намекнул:

— Смотри, к добру ли это?

А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу.

Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом, да тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.

Графов брат говорит:

— Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно: сделай мне туалет в самой отважной мине, и получай десять золотых, а если обрежешь, — убью.

Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг, — господь его знает, что с ним сделалось, — стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман ссыпал и говорит:

— Прощайте.

Тот отвечает:

— Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?

А Аркадий говорит:

— Отчего я решился — это знает только моя грудь да подоплека.

— Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?

— Пистолеты — это пустяки, — отвечает Аркадий, — об них я и не думал.

— Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил.

Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:

— Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от бога: пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал.

И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет:

— Не бойся, увезу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и незаметно.

Со сцены видели и графа и его брата — оба один на другого похожи. За кулисы пришли — даже отличить трудно. Только наш тихий-претихий, будто сдобрившись. — Это у него всегда бывало перед самою большою лютостию.

И все мы млеем и крестимся:

— Господи! помилуй и спаси. На кого его зверство обрушится!

А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно, но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала: он сказал:

— Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет.

Наш только тихо улыбнулся.

Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так — чего никогда с ним не бывало — столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:

— Тро боку, тро боку! — и щеточкой лишнее с меня счистил.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией — одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено, — терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить,

и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.

Это значит, чтобы, как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях как медведи сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:

Приползут, — говорит, — змеи и высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпионы.

Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься.

А другие даже с медведями были прикованы, так, что медведь только на полвершка его лапой задрать не может.

Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню...

Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вкруг — тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят, — один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет... Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.

И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидации, — понимаю только: «гонят, гонят, гони, гони!» и больше ничего.

Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит:

— Любушка голубушка! за нами гонятся... согласна ли умереть, если не уйдем?

Я отвечала, что даже с радостью согласна.

Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много наших людей от Каменского бежали.

И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело и собаки залаяли; а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и сани, и лошади, все из глаз пропало.

Аркадий говорит:

— Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля божья: вот село Сухая Орлица — тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая — огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись.

— Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера.

Батюшка спрашивает:

— А что вы, светы мои, со сносом или просто беглые?

Аркадий говорит:

— Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся.

Тот говорит:

— Нет, отчего же не могу? я могу. Что там еще в Хрущук везть. Давай за все вместе пять золотых, — я вас здесь окручу.

И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.

Священник взял и сказал:

— Ох, светы мои, все бы это ничего — не таких, мне случалось, кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж пускай, что бог даст, то и будет, — прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный и прячьтесь.

Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда своей попадье говорит:

— Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно, — она вся как голая.

А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию:

— Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть, а полезай-ка скорей под перину.

А мне говорит:

— А ты, свет, вот сюда.

Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошел приезжим двери открывать. А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят.

Вошло семь человек погони, всё из графских охотников, с кистенями и с арапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем.

Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропилейный, решатчатый, старой

тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.

А старичок-священник сробел, что ли, что дело плохо, — весь трясется перед дворецким и крестится и кричит скоренько:

— Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!

А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.

«Пропала я», — думаю, видя, как он это чудо делает.

Дворецкий тоже это увидал и говорит:

— Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов.

А поп опять замахал рукой:

— Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл.

А с этим все себя другою рукой по карману гладит.

Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у него из кармана достал и меня отпер.

— Вылезай, — говорит, — соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется.

А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.

— Да, — говорит, — видно нечего делать, ваша взяла, — везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна: я ее силой умчал.

А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.

Тот говорит:

— Светы мои, видите еще какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про это пресветлому графу.

Дворецкий ему отвечает:

— Ничего, не беспокойся, все это ему причтется, — и велел нас с Аркадием выводить.

Рассадились мы все на трое саней, на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под такою же охраною повезли на задних, а на середних залишние люди поехали.

Народ, где нас встретит, все расступается, — думают, может быть, свадьба.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали: сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась.

Я всем говорю:

— Ах, даже нисколечко!

Тут что́ мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым, — той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастие, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.

У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем...

Как почуяла я, что это его терзают... и бросилась... в дверь ударилась, чтоб к нему бежать... а дверь заперта... Сама не знаю, что сделать хотела... и упала, а на полу еще слышней... И ни ножа, ни гвоздя — ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться... Я взяла да своей же косой и замоталась... Обвила горло, да все крутила, крутила и слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги, и замерло... А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе... И телятки тут были... много теляточек, штук больше десяти, — такие ласковые, придет и холодными губами руку лижет, думает — мать сосет... Я оттого и проснулась, что щекотно стало... Вожу, вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.

Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе... «Это вон там было», — поясняла Любовь Онисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей? Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли «наблюдать» психозы.

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.

— Она, как убралася перед вечером, — продолжала няня, — сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит: «Я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрядь носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай бог о том вспомнить, а тебе скажу: не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала, — на ссылу лучше, но только вот этого ужасного плакона берегись...»

И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает.

Я спрашиваю:

«Что это?»

А она отвечает:

«Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения».

Я говорю:

«Дай мне забвенного яду: я все забыть хочу».

Она говорит:

«Не пей — это водка. Я с собой не совладала раз, выпила... добрые люди мне дали... Теперь и не могу — надо мне это, а ты не пей пока можно, а меня не суди, что я пососу, — очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение: *его* господь уж от тиранства избавил!..»

Я так и вскрикнула: «умер!» да за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы, — белые... Что это!

А она мне говорит:

«Не пужайся, не пужайся, твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и ото всего тиранства спасен: граф ему такую милость сделал, какой никому и не было — я тебе, как ночь придет, все расскажу, а теперь еще пососу... Отсосаться надо... жжет сердце».

И все сосала, все сосала, и заснула.

Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала, а меня тихо спрашивает:

«Спит горе или не спит?»

Я отвечаю:

«Горе не спит».

Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призывал и сказал:

«Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость: я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою, — я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали, и ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в полковых сержантах и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская».

«Ему, — говорила пестрядинная старушка, — теперь легче и бояться больше нечего: над ним одна уже власть, — что пасть в сражении, а не господское тиранство».

Я так и верила, и три года все каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается.

Так три года прошло, и во все это время мне была божия милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в телячьей избе оставалась жить, при тетушке Дросиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер, — потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила, и за тетушку Дросиду много делала и с удовольствием: скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпоишь и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь и сама о нем после три дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая,

а тут, после того как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такою же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером: солнышко садится, а я у окна тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула — никого нет.

«Наверно, — думаю, — это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам с старушкой вбросил. И думаю себе: развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано? А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записочку с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу».

Развернула и стала читать, и глазам своим не верю...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Писано:

«Верная моя Люба! Сражался я и служил государю и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и кресты надену и к графу явлюсь и принесу все свои деньги, которые мне на леченье даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед престолом всевышнего создателя».

— А дальше, — продолжала Любовь Онисимовна, всегда с подавляемым чувством, — писал так, что, «какое, говорит, вы над собою бедствие видели и чему под-

вергались, то я то за страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставляю и предоставляю то богу, а к вам одно мое уважение чувствую». И подписано: «Аркадий Ильин».

Любовь Онисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала, ни даже пестрядинной старухе, а только всю ночь богу молилась, нимало о себе слов не произнося, а всё за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер, и со крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде.

Просто сказать, боялась, что еще его бить будут.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что «на воле», за забором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.

— Что такое они говорили, того я, — сказывала она, — ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю ему:

«Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?»

А он отвечает:

«Это, — говорит, — они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, — говорит, — горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нем».

И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой...

Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича зарезал... и похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим... Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит... А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу... Мне не туда глядеть хочется, — указала она на мрачные и седые развалины, — а вот здесь возле него посидеть и... и капельку за его душу помяну...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и «помянула», или «пососала», но я ее спросил:

— А кто же здесь схоронил знаменитого тупейного художника?

— Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был. Как же! Офицер, — его и за обедней и дьякон и батюшка «боляриной» Аркадием называли и как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоялого дворника после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали, и он выдержал — жив остался и в каторжную работу клейменый пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так сто и один кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечет. Нарочно тогда палач, говорят, тульский был привезен, и ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что сто кнутов ударил всё только для одного мучения, и тот все жив был, а потом как сто первым щелканул, так всю позвонцовую кость и растрощил. Стали поднимать с доски, а он уж и кончается... Покрыли рогожечкой, да в острог и повезли, — дорогой умер. А тульский, сказывают, все еще покрикивал: «Давай еще кого бить — всех орловских убью».

— Ну, а вы же, — говорю, — на похоронах были или нет?

— Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог.

— И прощались с ним?

— Да, как же! Все подходили, прощались, и я... Переменился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный, — говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал... Сколько это он своей крови пролил...

Она умолкла и задумалась.

— А вы, — говорю, — сами после это каково перенесли?

Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.

— Поначалу не помню, — говорит, — как домой пришла... Со всеми вместе ведь — так, верно, кто-нибудь меня вел... А ввечеру Дросида Петровна говорит:

«Ну, так нельзя, — ты не спишь, а между тем лежишь как каменная. Это нехорошо — ты плачь, чтобы из сердца исток был».

Я говорю:

«Не могу, теточка, — сердце у меня как уголь горит, и истоку нет».

А она говорит:

«Ну, значит теперь плакона не миновать».

Налила мне из своей бутылочки и говорит:

«Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь — пососи».

Я говорю:

«Не хочется».

«Дурочка, — говорит, — да кому же сначала хотелось. Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь этим ядом — на минуту гаснет. Соси скорее, соси!»

Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже... выпила... и теперь без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и винца покупаю... А ты, хороший мальчик, мамаше этого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди всё ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу... Сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.

Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее «плакончике».

— Спасибо, голубчик, — не говори: мне это нужно.

И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах

к окошечку... Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальной мама; потом тихонько стукнет шейкой «плакончика» о зубы, приладится и «пососет»... Глоток, два, три... Уголек залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, — юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать — фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.

ГОЛОС ПРИРОДЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Известный военный писатель генерал Ростислав Андреевич Фаддеев, долго сопутствовавший покойному фельдмаршалу Барятинскому, рассказывал мне следующий забавный случай.

Проезжая с Кавказа в Петербург, князь однажды почувствовал себя в дороге нездоровым и позвал доктора. Было это, если я не ошибаюсь, кажется, в Темир-Хан-Шуре. Доктор осмотрел больного и нашел, что опасного в его состоянии ничего нет, а что он просто утомился и ему необходимо отдохнуть один день без дорожной качки и тряски в экипаже.

Фельдмаршал послушался доктора и согласился остановиться в городе; но станционный дом был здесь прескверный, а частного помещения, по непредвиденности такого случая, приготовлено не было. — Явились неожиданные хлопоты: куда поместить на сутки такого именитого гостя.

Пошла суета да беганье, а нездоровый фельдмаршал тем временем поместился в почтовой станции и улегся на грязном диване, который для него только чистою простынею покрыли. Между тем весть об этом событии, разумеется, скоро облетела весь город, и все военные побежали поскорее чиститься и парадиться, а штатские — сапоги наваксили, виски припомадили и столпились против

станции на другом тротуаре. Стоят и фельдмаршала высматривают — не покажется ли в окно?

Вдруг, ни для кого неожиданно и негаданно, один человек всех сзади распихал, выскочил и побежал прямо на станцию, где фельдмаршал на простыне на грязном диване лежал, и начал кричать:

— Я этого не могу, во мне голос природы воздымается!

Посмотрели на него все и подивилися: что за нахал такой! Местные обитатели все этого человека знали, и знали, что сан у него не велик — так как он был не штатский, не военный, а просто смотрителишка при каком-то местном маленьком интендантском или комиссариатском запасе, и грыз вместе с крысами казенные сухари да подошвы, и таким манером себе как раз через дорогу против станции хорошенький деревянный домик с мезонином нагрыз.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Прибежал этот смотритель на станцию и просит Фаддеева, чтобы непременно о нем доложить фельдмаршалу.

Фаддеев и все другие стали его отговаривать.

— Зачем вам, — это совсем не требуется и никакого приема чинов тут не будет, — фельдмаршал здесь только для временного отдыха от своей усталости и, как отдохнет, опять уедет.

А интендантский смотритель на своем стоит и еще больше воспламенился — просит, чтобы непременно о нем князю доложили.

— Потому что я, — говорит, — не славы ищу и не почестей, а в том самом виде именно и предстою, как вами сказано: не по службе, а по усердию моей ему благодарности, так как я всем на свете князю обязан и теперь во всем моем благоденствии, голосом природы возбуждаем, желаю ему благодарно долг отдать.

Его спросили:

— А в чем ваш долг природы заключается?

А он отвечает:

— Таков мой долг благодарной природы, что князю здесь в казенной неопрятности нехорошо отдыхать, а у меня как раз отсюда визави дом, свой дом с мезонином, и жена у меня из немок, дом наш содержится в чистоте и

опрятности, то у меня для князя и для вас есть на мезонине комнаты светлые, чистые, везде на всех окнах занавески белые с кружевами, и на чистых постелях тонкое белье полотняное. Я желаю с большим радушием принять у себя князя, как отца родного, потому что я всем в жизни ему обязан и без того отсюда не пойду, чтобы ему не было доложено.

Так он настойчиво на этом стоял и не хотел уходить, что фельдмаршал из другой комнаты услыхал и спрашивает:

— Какой это шум? Нельзя ли мне доложить: о чем такой разговор слышно?

Тогда Фаддеев все доложил, а князь пожал плечами и говорит:

— Решительно не помню, какой такой это человек и чем он мне обязан; а впрочем, посмотрите его комнаты, которые он предлагает, и если они лучше этой лачуги, то я приглашение его принимаю и за беспокойство ему заплачу. Узнать — сколько хочет?

Фаддеев пошел мезонин у интенданта осмотрел и докладывает:

— Помещение очень спокойное и чистота необыкновенная, а про плату хозяин и слышать не хочет.

— Как так, и отчего? — спросил фельдмаршал.

— Говорит, что он много вам обязан и голос природы его побуждает за счастье выразить вам долг благодарности. А иначе, — говорит, — если платить хотите, то я и дверей своих открыть не могу.

Князь Барятинский засмеялся и этого чиновника похвалил.

— Однако, я замечаю, — говорит, — он молодец и с характером — это в нашей стороне стало редко, и я таких людей люблю: вспомнить, чем он мне обязан, я не могу, но к нему перейду. Давайте вашу руку и идем отсюда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Перешли улицу и... во двор; а у калитки уже фельдмаршала встречает сам смотритель — припомажен, приглажен, на все пуговицы застегнут и с лицом самым радостным.

Князь как оглянулся вокруг — видит, все чисто, светло сияет, за палисадником зелень веселая и розы в цвету. Князь и сам развеселился.

Спросил:

— Как хозяина зовут?

Тот отвечал что-то вроде Филипп Филиппов Филиппов.

Князь продолжает с ним разговор и говорит:

— Очень у тебя хорошо, Филипп Филиппыч, — и мне нравится; только одного я никак припомнить не могу: где и когда я тебя встречал или видел, и какое я тебе мог одолжение сделать?

А смотритель отвечает:

— Ваша светлость меня очень видели, а когда — это если забыли, то после объяснится.

— Зачем же после, когда я сейчас тебя хочу вспомнить.

Но смотритель не сказал.

— Прошу, — говорит, — у вашей светлости прощения: если вы сами этого не вспомнили, то я сказать не смею, но голос природы вам скажет.

— Что за вздор! какой «голос природы», и отчего ты сам сказать не смеешь?

Смотритель отвечает: «так, не смею», и глазами потупился.

А тем временем они пришли на мезонин, и здесь еще лучше чистота и порядок: пол весь мылом вымыт и хвощом натерт, так что светится, посередине и вдоль всей чистенькой лестницы постланы белые дорожки, в гостиной диван и на круглом переддиванном столе большой поливанный кувшин с водою, и в нем букет из роз и фиалок, а дальше — спальная комната с турецким ковром над кроватью, и опять столик и графин с чистой водой и стакан, и снова другой букет цветов, а еще на особом столике перо, и чернильница, и бумага с конвертами, и сургуч с печатью.

Фельдмаршал сразу окинул все это глазом, и очень ему понравилось.

— Видно, — говорит, — что ты, Филипп Филиппыч, человек полированный, знаешь, что как следует, и я тебя действительно как будто где-то видел, но не могу вспомнить.

А смотритель только улыбается и говорит:

— Не извольте беспокоиться: через голос природы это все объяснится.

Барятинский рассмеялся:

— Ты, — говорит, — братец, после этого и сам не Филипп Филиппович, а «голос природы», — и очень этим человеком заинтересовался.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лег князь в чистую постель — ноги и руки вытянул, и так хорошо ему стало, что он сразу же задремал: проснулся через час в прекрасном расположении, а перед ним уже стоит прохладный шербет вишневый, и этот самый хозяин просит его выкушать.

— Вы, — говорит, — на лекарства медиков, ваша светлость, не полагайтесь, а у нас природа и вдыхание атмосферы пользуют.

Князь весело ему отвечает, что все это, говорит, очень хорошо, но я тебе должен признаться — я у тебя прекрасно спал, но, черт меня возьми, и во сне все думал: где же я тебя видел, или никогда не видал?

А тот отвечает:

— Нет, — говорит, — вы изволили очень хорошо меня видеть, но только совершенно в другом виде природы и потому теперь не признаете.

Князь говорит:

— Хорошо, пусть так; но теперь здесь, кроме меня и тебя, никого нет, если же там в соседней комнате кто есть — то вышли всех их вон, пусть на лестнице постоят, а ты мне откровенно скажи без всякой секретности: кто ты такой был и в чем твоя преступная тайна, — я могу тебе обещать выпросить прощение и обещание свое исполню, как есть я истинный князь Барятинский.

Но чиновник даже улыбнулся и отвечал, что за ним ровно никакой провинной тайности нет и никогда не было, а он не смеет только «сконфузить» князя за его непамятливость.

— Так и так, — говорит, — я вашу светлость за ваше добро постоянно помню и на всех молитвах поминаю; а наш государь и вся царская фамилия постоянно кого раз

видели и заметили — того уж целый век помнят. Потому дозвольте, — говорит, — мне вам словесно о себе ничего не вспоминать, а в свое время я все это вам в ясных приметах голосом природы обнаружу — и тогда вы вспомните.

— А какое же ты к этому средство имеешь голосом природы все обнаруживать?

— В голосе природы, — отвечает, — все средства есть.

Князь улыбнулся чудаку и говорит:

— Это твоя правда, — сказал князь, — забывать скверно, и наш государь и царская фамилия действительно удивительно какие памятливые; но у меня память слабая. Не снимаю с тебя воли, делай как знаешь, только я желаю знать: когда же это ты будешь мне свой голос природы обнаруживать, потому что я себя теперь в твоем доме уже очень хорошо почувствовал и после полуночи, холодком, хочу выехать. А ты мне должен сказать: чем тебя наградить за мой покой, который я у тебя имел, — потому что на это уже таков есть мой обычай.

Смотритель отвечает:

— Я до полуночи успею вашей светлости вполне весь голос природы открыть, если только вы в рассуждении моей награды не откажете мне то, что я составляю себе за драгоценнейшее.

— Хорошо, — отвечает князь, — даю тебе свое слово, что все, о чем попросишь, я тебе сделаю, но только не проси невозможного.

Смотритель отвечает:

— Я невозможного просить не стану, а у меня такое желание больше всего на свете, чтобы вы явили мне протекцию — сошли ко мне в нижние покои и сели с нами за стол и что-нибудь скушали, или даже хоть просто так посидели, потому что я нынче справляю мою серебряную свадьбу, после двадцати пяти лет, как я на Амалии Ивановне женился по вашему милосердию. А будет это к вечеру в одиннадцатом часу; в полночь же, как вам угодно, вы можете благопристойно холодком выехать.

Князь согласился и слово дал, но только все-таки опять никак не мог вспомнить: что это, и откуда этот человек, и отчего он двадцать пять лет тому назад женился на Амалии Ивановне по его милосердию?

— Я даже с удовольствием пойду на ужин к этому чудаку, — сказал князь, — потому что он меня очень занимает; да и по правде сказать: мне самому что-то помнится, не то насчет его, не то насчет Амалии Ивановны, а что именно такое — припомнить не могу. Подождем голоса природы!

ГЛАВА ПЯТАЯ

К вечеру фельдмаршал совсем поправился и даже ходил гулять с Фаддеевым — город посмотрел и закатом солнца полюбовался, а потом, как возвратился домой в десять часов, хозяин уже его ждет и к столу просит.

Князь говорит:

— Очень рад, сейчас приду.

Фаддеев пошутил, что это даже и кстати, потому что он после прогулки почувствовал аппетит и очень хотел съесть, что́ там Амалия Ивановна наготовила.

Барятинский опасался только того: не посадил бы его хозяин на первом месте и не стал бы подавать много шампанского да потчевать. Но все эти опасения были совершенно напрасны: смотритель и за столом показал столько же приятного такта, как и во все предыдущие часы, которые князь провел в его доме.

Стол был накрыт щеголевато, но просто; в зальце, очень просторном, сервировка опрятная, но скромная, и зажжены два черные чугунные канделябра прекрасной французской работы, в каждом по семи свечей. А вино стоит хороших сортов, но все местное, — но между ними толстопузенькие бутылочки с ручными надписями.

Это — наливки и водицы разных сортов и превосходного вкуса, и малиновые, и вишневые, и из крыжовника.

Стал смотритель гостей рассаживать и тоже опять показал свою ловкость: не повел князя в конец стола к хозяйскому месту, а усадил его, где тот сам хотел, — между адъютантом князя и прехорошенькой дамочкой, чтобы было фельдмаршалу с кем сказать и короткое слово и любезностями к приятному полу заняться. Князь с дамочкой сразу же очень разговорился: он интересовался, откуда она, и где воспиталась, и какое в таком далеком уездном городе находит для себя развлечение?

Она ему на все его вопросы отвечала очень смело и без всякого жеманства и открыла, что больше всего, будто, чтением книг занимается.

Князь спрашивает: какие она книги читает?

Она отвечает: Поль-де-Кока романы.

Князь засмеялся:

— Это, — говорит, — веселый писатель, — и спрашивает: — Что же вы именно читали: какие романы?

Она отвечает:

— «Кондитер», «Мусташ», «Сестра Анна» и прочие.

— А своих русских писателей не читаете?

— Нет, — говорит, — не читаю.

— А почему так?

— У них мало светского.

— А вы любите светское?

— Да.

— Почему же это так?

— Потому, что мы о своей жизни сами всё знаем, а то интереснее.

И тут говорит, что у нее есть брат, который сочиняет роман из светской жизни.

— Вот это любопытно! — сказал князь. — Нельзя ли хоть немножко видеть, что он там пишет?

— Можно, — отвечала дама, и на минуточку встала и принесла небольшую тетрадку, в которой Барятинский, взглянув только на первую страницу, и весь развеселился и подал ее Фаддееву, сказавши:

— Посмотрите, как бойко начато!

Фаддеев посмотрел на первые строки светского романа, и ему стало весело.

Роман начинался словами: «Я, как светский человек, встаю в двенадцать часов и утреннего чаю дома не пью, а езжу по ресторанам».

— Чудесно? — спросил Барятинский.

— Очень хорошо, — отвечал Фаддеев.

В это время все развеселились, а хозяин встал, поднял вверх бокал с шипучим цимлянским и говорит:

— Ваша светлость, прошу вашего позволения, ко всеобщему и моему удовольствию, в сей драгоценный для меня день дозволить мне изъяснить: кто я такой, и откуда, и кому всем, что́ имею к своему благоденствию, обязан. Но не могу я этого изложить в хладном слове человече-

ского голоса, так как я учен на самые мелкие деньги, а разрешите мне во всем законе моего естества при всех торжественно испустить глас природы!

Тут уже настало время самому фельдмаршалу сконфузиться, и он до того смешался, что нагнулся вниз, будто хотел салфетку поднять, а сам шепчет:

— Ей-богу, не знаю, что ему сказать: что это он такое спрашивает?

А дамочка, его соседка, щебечет:

— Не бойтесь, разрешайте: уж Филипп Филиппович дурного не выдумает.

Князь думает: «Э, была — не была, — пусть испущает голос!»

— Я такой же гость, — говорит, — как и все прочие, а вы хозяин — делайте, что вы хотите.

— Благодарю всех и вас, — отвечает смотритель и, махнув головой Амалии Ивановне, говорит: — Иди, жена, принеси, что ты сама знаешь, собственными твоими руками.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Амалия Ивановна вышла и идет назад с большою, ярко отполированною медною валторною, и подала ее мужу; а он взял, приложил трубу к устам и весь в одно мгновенье переменился. Только что надул щеки и издал один трескучий раскат, как фельдмаршал закричал:

— Узнаю, брат, тебя, сейчас узнаю: ты егерского полка музыкант, которого я за честность над плутом интендантом присматривать посылал.

— Точно так, ваша светлость, — отвечал хозяин. — Я вам этого напоминать и не хотел, а сама природа напомнила.

Князь обнял его и говорит:

— Выпьемте, господа, все вдруг тост за честного человека!

И изрядно таки выпили, а фельдмаршал совсем выздоровел и уехал чрезвычайно какой веселый.

МАЛЕНЬКАЯ ОШИБКА

СЕКРЕТ ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ ФАМИЛИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вечерком, на святках, сидя в одной благоразумной компании, было говорено о вере и о неверии. Речь шла, впрочем, не в смысле высших вопросов деизма или материализма, а в смысле веры в людей, одаренных особыми силами предведения и прорицания, а пожалуй, даже и своего рода чудотворства. И случился тут же некто, степенный московский человек, который сказал следующее:

— Не легко это, господа, судить о том: кто живет с верою, а который не верует, ибо разные тому в жизни бывают прилоги; случается, что разум-то наш в таковых случаях впадает в ошибки.

И после такого вступления он рассказал нам любопытную повесть, которую я постараюсь передать его же словами:

Дядюшка и тетушка мои одинаково прилежали покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка, — никакого дела не начинала, у него не спросившись. Сначала, бывало, сходит к нему в сумасшедший дом и посоветуется, а потом попросит его, чтобы за ее дело молился. Дядюшка был себе на уме и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже доверял иногда и носить ему дары и жертвы не препятствовал. Люди они были не богатые, но очень достаточные, — торговали чаем и сахаром из магазина в своем доме. Сыновей у них не было, а были три дочери: Капитолина Никитишна, Катерина

Никитишна и Ольга Никитишна. Все они были собою недурны и хорошо знали разные работы и хозяйство. Капитолина Никитишна была замужем, только не за купцом, а за живописцем, — однако очень хороший был человек и довольно зарабатывал — всё брал подряды выгодно церкви расписывать. Одно в нем всему родству неприятно было, что работал божественное, а знал какие-то вольнодумства из Курганова «Письмовника». Любил говорить про Хаос, про Овидия, про Промифея и охотник был сравнивать баснословия с бытописанием. Если бы не это, все бы было прекрасно. А второе — то, что у них детей не было, и дядюшку с теткой это очень огорчало. Они еще только первую дочь выдали замуж, и вдруг она три года была бездетна. За это других сестер женихи обегать стали.

Тетушка спрашивала Ивана Яковлевича, через что ее дочь не родит: оба, говорит, молоды и красивы, а детей нет?

Иван Яковлевич забормотал:

— Есть убо небо небесе; есть небо небесе.

Его подсказчицы перевели тетке, что батюшка велит, говорят, вашему зятю, чтобы он богу молился, а он, должно быть, у вас маловерующий.

Тетушка так и ахнула: все, говорит, ему явлено! И стала она приставать к живописцу, чтобы он поисповедался; а тому все трынь-трава! Ко всему легко относился... даже по постам скоромное ел... и притом, слышат они стороною, будто он и червей и устриц вкушает. А жили они все в одном доме и часто сокрушались, что есть в ихнем купеческом родстве такой человек без веры.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вот и пошла тетка к Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его разом помолиться о еже рабе Капитолине отверзти ложесна, а раба Лария (так живописца звали) просветити верою.

Просят об этом вместе и дядя и тетка.

Иван Яковлевич залепетал что-то такое, чего и понять нельзя, а его послушные женки, которые возле него присидели, разъясняют:

— Он, — говорят, — ныне невнятен, а вы скажите, о чем просите, — мы ему завтра на записочке подадим.

Тетушка стала сказывать, а те записывают: «Рабе Капитолине отверзть ложесна, а рабу Ларию усугубити веру».

Оставили старики эту просительную записочку и пошли домой веселыми ногами.

Дома они никому ничего не сказали, кроме одной Капочки, и то с тем, чтобы она мужу своему, неверному живописцу, этого не передавала, а только жила бы с ним как можно ласковее и согласнее и смотрела за ним: не будет ли он приближаться к вере в Ивана Яковлевича. А он был ужасный чертыханщик, и все с присловьями, точно скоморох с Пресни. Всё ему шутки да забавки. Придет в сумерки к тестю — «пойдем, — говорит, — часослов в пятьдесят два листа читать», то есть, значит, в карты играть... Или садится, говорит: «С уговором, чтобы играть до первого обморока».

Тетушка, бывало, этих слов слышать не может. Дядя ему и сказал: «Не огорчай так ее: она тебя любит и за тебя обещание сделала». А он рассмеялся и говорит теще:

— Зачем вы неведомые обещания даете? Или вы не знаете, что через такое обещание глава Ивана Предтечи была отрублена. Смотрите, может у нас в доме какое-нибудь неожиданное несчастие быть.

Тещу это еще больше испугало, и она всякий день, в тревоге, в сумасшедший дом бегала. Там ее успокоят, — говорят, что дело идет хорошо: батюшка всякий день записку читает, и что теперь о чем писано, то скоро сбудется.

Вдруг и сбылось, да такое, что и сказать неохотно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Приходит к тетушке средняя ее дочь, девица Катечка, и прямо ей в ноги, и рыдает, и горько плачет.

Тетушка говорит:

— Что тебе — кто обидел?

А та сквозь рыдания отвечает:

— Милая маменька, и сама я не знаю, что это такое и отчего... в первый и в последний раз сделалось... Только вы от тятеньки мой грех скройте.

Тетушка на нее посмотрела да прямо пальцем в живот ткнула и говорит:

— Это место?

Катечка отвечает:

— Да, маменька... как вы угадали... сама не знаю отчего...

Тетушка только ахнула да руками всплеснула.

— Дитя мое, — говорит, — и не дознавайся: это, может быть, я виновата в ошибке, я сейчас узнать съезжу, — и сейчас на извозчике полетела к Ивану Яковлевичу.

— Покажите, — говорит, — мне записку нашей просьбы, о чем батюшка для нас просит рабе божьей плод чрева: как она писана?

Приседящие поискали на окне и подали.

Тетушка взглянула и мало ума не решилась. Что вы думаете? Действительно ведь все вышло по ошибочному молению, потому что на место рабы божией Капитолины, которая замужем, там писана раба Катерина, которая еще незамужняя, девица.

Женки говорят:

— Поди же, какой грех! Имена очень сходственны... но ничего, это *можно поправить*.

А тетушка подумала: «Нет, врете, теперь вам уж не поправить: Кате уж вымолено», — и разорвала бумажку на мелкие частички.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Главное дело, боялись: как дядюшке сказать? Он был такой человек, что если расходится, то его мудрено унять. К тому же он Катю меньше всех любил, а любимая дочь у него была самая младшая, Оленька, — ей он всех больше и обещал.

Думала, думала тетушка и видит, что одним умом ей этой беды не обдумать, — зовет зятя-живописца на совет и все ему во всех подробностях открыла, а потом просит:

— Ты, — говорит, — хотя неверующий, однако могут и в тебе быть какие-нибудь чувства, — пожалуйста, пожалей ты Катю, пособи мне скрыть ее девичий грех.

А живописец вдруг лоб нахмурил и строго говорит:

— Извините, пожалуйста, вы хотя моей жене мать,

однако, во-первых, я этого терпеть не люблю, чтобы меня безверным считали, а во-вторых, я не понимаю — какой же тут причитаете Кате грех, если об ней так Иван Яковлевич столько времени просил? Я к Катечке все братские чувства имею и за нее заступлюсь, потому что она тут ни в чем не виновата.

Тетушка пальцы кусает и плачет, а сама говорит:

— Ну... уж как ни в чем?

— Разумеется, ни в чем. Это ваш чудотворец все напутал, с него и взыскивайте.

— Какое же с него взыскание! Он праведник.

— Ну, а если праведник, так и молчите. Пришлите мне с Катею три бутылки шампанского вина.

Тетушка переспрашивает:

— Что такое?

А он опять отвечает:

— Три бутылки шампанского, — одну ко мне сейчас в мои комнаты, а две после, куда прикажу, но только чтобы дома готовы были и во льду стояли заверчены.

Тетушка посмотрела на него и только головой покивала.

— Бог с тобою, — говорит, — я думала, что ты только без одной веры, а ты святые лики изображаешь, а сам без всех чувств оказываешься... Оттого я твоим иконам и не могу поклоняться.

А он отвечает:

— Нет, вы насчет веры оставьте: это вы, кажется, сомневаетесь и все по естеству думаете, будто тут собственная Катина причина есть, а я крепко верю, что во всем этом один Иван Яковлевич причинен; а чувства мои вы увидите, когда мне с Катею в мою мастерскую шампанское пришлете.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Тетушка думала-подумала, да и послала живописцу вино с самой Катечкой. Та взошла с подносом, вся в слезах, а он вскочил, схватил ее за обе ручки и сам заплакал.

— Скорблю,— говорит, — голубочка моя, что с тобою случилося, однако дремать с этим некогда — подавай мне скорее наружу все твои тайности.

Девица ему открылась, как сшалила, а он взял да ее у себя в мастерской на ключ и запер.

Тетушка встречает зятя с заплаканными глазами и молчит. А он и ее обнял, поцеловал и говорит:

— Ну, не бойтесь, не плачьте. Авось бог поможет.

— Скажи же мне, — шепчет тетушка, — кто всему виноват?

А живописец ей ласково пальцем погрозил и говорит:

— Вот это уж нехорошо: сами вы меня постоянно неверием попрекали, а теперь, когда вере вашей дано испытание, я вижу, что вы сами нимало не верите. Неужто вам не ясно, что виноватых нет, а просто чудотворец маленькую ошибку сделал.

— А где же моя бедная Катечка?

— Я ее страшным художническим заклятьем заклял — она, как клад от аминя, и рассыпалась.

А сам ключ теще показывает.

Тетушка догадалась, что он девушку от первого отцова гнева укрыл, и обняла его.

Шепчет:

— Прости меня, — в тебе нежные чувства есть.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пришел дядя, по обычаю чаю напился и говорит:

— Ну, давай читать часослов в пятьдесят два листа?

Сели. А домашние все двери вокруг них затворили и на цыпочках ходят. Тетушка же то отойдет от дверей, то опять подойдет, — все подслушивает и все крестится.

Наконец, как там что-то звякнет... Она поотбежала и спряталась.

— Объявил, — говорит, — объявил тайну! Теперь начнется адское представление.

И точно: враз дверь растворилась, и дядя кричит:

— Шубу мне и большую палку!

Живописец его назад за руку и говорит:

— Что ты? Куда это?

Дядя говорит:

— Я в сумасшедший дом поеду чудотворца бить!

Тетушка за другими дверями застонала:

— Бегите, — говорит, — скорее в сумасшедший дом, чтобы батюшку Ивана Яковлевича спрятали!

И действительно, дядя бы его непременно избил, но зять-живописец страхом веры своей и этого удержал.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Стал зять вспоминать тестю, что у него есть еще одна дочь.

— Ничего, — говорит, — той своя доля, а я Корейшу бить хочу. После пусть меня судят.

— Да я тебя, — говорит, — не судом стращаю, а ты посуди: какой вред Иван Яковлевич Ольге может сделать. Ведь это ужас, чем ты рискуешь!

Дядя остановился и задумался:

— Какой же, — говорит, — вред он может сделать?

— А как раз такой самый, какой вред он сделал Катечке.

Дядя поглядел и отвечает:

— Полно вздор городить! Разве он это может?

А живописец отвечает:

— Ну, ежели ты, как я вижу, неверующий, то делай, как знаешь, только потом не тужи и бедных девушек не виновать.

Дядя и остановился. А зять его втащил назад в комнату и начал уговаривать.

— Лучше, — говорит, — по-моему, чудотворца в сторону, а взять это дело и домашними средствами поправить.

Старик согласился, только сам не знал, как именно поправить, а зять-живописец и тут помог — говорит:

— Хорошие мысли надо искать не во гневе, а в радости.

— Какое, — отвечает, — теперь, братец, веселие при таком случае?

— А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, и пока ты их со мною не выпьешь, я тебе ни одного слова не скажу. Согласись со мною. Ты знаешь, как я характерен.

Старик на него посмотрел и говорит:

— Подводи, подводи! Что такое дальше будет?

А впрочем, согласился.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Живописец живо скомандовал и назад пришел, а за ним идет его мастер, молодой художник, с подносом, и несет две бутылки с бокалами.

Как вошли, так живописец за собою двери запер и ключ в карман положил. Дядя посмотрел и все понял, а зять художнику кивнул, — тот взял и стал в смирную просьбу.

— Виноват, — простите и благословите.

Дядюшка зятя спрашивает:

— Бить его можно?

Зять говорит:

— Можно, да не надобно.

— Ну, так пусть он передо мною по крайности на колена станет.

Зять тому шепнул:

— Ну, стань за любимую девушку на колена перед батькою.

Тот стал.

Старик и заплакал.

— Очень, — говорит, — любишь ее?

— Люблю.

— Ну, целуй меня.

Так Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. И оставалось все это в благополучной тайности, и к младшей сестре женихи пошли, потому что видят — девицы надежные.

ЗВЕРЬ

И звери внимаху святое слово.

Житие старца Серафима.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я — маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, — мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на зáмок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже

и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет божий.

Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце

палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.

За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем — он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навыкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.

Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».

Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленым и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.

Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отбирать «смышленого медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, — но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». — Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал *по бревну*) на поляну и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подрослыми щенками медвежьих собак). Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.

Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок, с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером, и, прицелясь «с сошки», посылал медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уже целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, *матерым* медведем, необыкновенной силы, кра-

соты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана.

Но пришла роковая пора — звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.

Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоученки он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги.

Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход — *на казнь*...

Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:

— Пойдем, зверь, со мною.

Медведь встал и пошел, да еще что было смешно — взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.

Они таки и были друзья.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. — Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.

Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.

Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастие, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.

Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов Сганареля, потому

что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

— Слава богу, — добавил он, — что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.

Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.

Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт — известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.

Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети.

Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.

Оба мы, то есть я и мой ровесник — двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим

представлялся медведь. А когда няня нас успокоивала, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще бóльшая тревога.

Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли мне помолиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь — тоже божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге.

Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие божьи создания, и я с детскою верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наступил день рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.

Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. — Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь легко может скрыться из вида.

Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стре-

менных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиху.

Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытое черною медвежьею шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.

У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.

Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.

Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские Штрабусы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты.

Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака на вальтрап белый платок.

Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.

Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!

Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле.

Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.

Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.

Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.

Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин.

Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал в чем дело и ни за что не шел.

Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.

Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову,

бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.

Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но... медведь опять-таки не показывался...

До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».

Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад... Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.

Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.

Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он *сам вывел* оттуда своего друга на травлю...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму...

Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.

Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.

— Обнимает и лижет Храпошку, — крикнул один из людей, стоявших над ямой.

Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.

Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность.

Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя к верху крепко завязанной концом наруже веревки. Но Ферапонт выходил *не один:* рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель... Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть любя Ферапонта, а может быть случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку...

Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.

Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенных из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок.

Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой... Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую

стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.

Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.

В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь.

Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.

Меткая пуля все могла кончить смело и верно.

Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.

В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и... как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.

Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки...

Сганарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и... медведь убежал в лес, а Храпошка... упал без чувств.

Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.

Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкою были слишком тесно скучены...

При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.

Тем не менее — *Сганарель ушел.* Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ — завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.

Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.

Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.

Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.

Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения и общий страх пред тем, что может ждать Ферапонта.

На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.

— К лучшему это, однако, или нет? — прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.

Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. — Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал:

— Молитесь рожденному Христу.

С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.

Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная Щеголиха тоже не сохранила бесстрашия — она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.

Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос

рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «ряците» и «возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о *даре,* который и нынче, как и «во время óно», всякий бедняк может поднесть к яслям «рожденного отроча», смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш — наше сердце, исправленное по *его* учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»... И думается мне, что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы...

Вдруг что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки... Но вот он уронил и ее, и... ее никто не спешил поднимать.

Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: *он плакал!*

Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.

Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:

— Спасибо.

В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.

Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.

— Стань здесь! — велел ему дядя и показал рукою на ковер.

Храпошка подошел и упал на колени.

— Встань... поднимись! — сказал дядя. — Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:

— Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.

— Благодарю и никуда не пойду, — воскликнул Храпошка.

— Что?

— Никуда не пойду, — повторил Ферапонт.

— Чего же ты хочешь?

— За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.

Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и... все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава вышнему богу и заблагоухал мир во имя Христово, на месте сурового страха.

Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:

— У нас ноне так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.

Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.

Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были — мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: *«укротитель зверя»*.

ОТБОРНОЕ ЗЕРНО

КРАТКАЯ ТРИЛОГИЯ В ПРОСОНКЕ

> Спящим человеком при-
> иде враг и всея плевелы
> посреди пшеницы.
>
> *Мф. XIII, 25.*

Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен. В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других — особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недобрые на наш счет предсказания. Его железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается «погибнуть». Как, за что «погибнуть»?! И пошло думаться и выходить: будто как и есть за что, — будто как и не за что? А кругом меня все спит. Пять-шесть пассажиров, которых случай послал мне в попутчики, все друг от друга сторонились и все храпят в каком-то озлоблении.

И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомыслия. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк, и для чего я обя-

зан верить его предсказаниям? Лучше ничего этого «внятием не тешить», а приспособиться да заснуть, яко же и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее.

Так я и сделал: отвернулся от всех, ранее оборотившихся ко мне спинами, и начал усиленно звать сон, но мне плохо спалось с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и в то же время ободрило меня против невыгодных заключений о нашей дисгармонии.

С платформы у одного маленького городка вошли два человека — один легкий на ногу, должно быть молодой, а другой — грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне были затянуты темно-синей тафтою и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не обеспокоить своим приходом, а расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободное сиденье. По случаю это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей-неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полушепотом. Это так и вышло, и я на то нимало не жалуюсь, потому что разговор, который повели тихо вполголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда же, по приезде домой, записал, а теперь решаюсь даже представить вниманию читателей.

По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции, беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились.

Говорил из двух пассажиров один, у которого был старый подержанный баритон — голос, приличный, так сказать, большому акционеру или не меньше как тайному советнику, явно разрабатывающему какие-нибудь есте-

ственные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе.

Начинал баритон, и речь его была следующая:

— Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и притом как она выразилась зараз в одном самом недавнем и на мой взгляд прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, — вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и *Рассея,* и что у нас везде разлад да разлад, но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явления беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, по-вашему, «социабельное». Бисмарк где-то сказал раз, что России будто «остается только погибнуть», а газетные звонари это подхватили, и звонят, и звонят... А вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются, так вы и увидите, что мы умеем спасаться от бед, как никто другой не умеет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы.

— Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю, — заметил фальцет.

Баритон продолжал:

— Если бы я готовил к печати те три маленькие историйки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогиею о том, как вор у вора дубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно... Именно, разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других «оторван от почвы». А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки и как у нас по родной пословице «всякая сосна своему бору шумит».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

БАРИН

Поехал я летом странствовать и приехал на выставку. Обошел и осмотрел все отделы, попробовал было чем-нибудь отечественным полюбоваться, но, как и следовало ожидать, вижу, что это не выходит: полюбоваться нечем. Одно, что мне было приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно — это чья-то пшеница в одной витрине.

В жизнь мою я никогда еще такого крупного, чистого и полного зерна не видывал. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, как, бывало, в детстве видал у себя дома, когда матушка к пасхе таким миндалем куличи украшала.

Посмотрел я на подпись и еще больше удивился: подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано с полей моей родной местности, из имения, принадлежащего соседу моих родственников, именитому барину, которого называть вам не стану. Скажу только, что он известный славянский деятель, и в Красном кресте ходил, и прочее, и прочее.

Я знал этого господина еще в гимназии, но, признаться, не питал к нему приязни. Впрочем, это еще по детским воспоминаниям — потому что он сначала в классе всё ножички крал и продавал, а потом начал себе брови сурмить и еще чем-то худшим заниматься.

Думаю себе: пожалуй, и здесь тоже обман! Небось где-нибудь купил у немецких колонистов куль хорошей пшеницы и выставил будто с своих полей.

Рассуждал я таким образом, потому что наши поля ржаные, и если родят пшеничку, то очень неавантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближнего, пойду-ка, думаю, лучше в буфет, выпью глоток нашего доброго русского вина и кусок кулебяки съем. За сытостью критика исчезает.

Но только я занял в ресторане место, как замечаю, что совсем возле меня сидит господин, с виду мне как будто когда-то известный. Я на него взглянул и отвел глаза в сторону, но чувствую, что и он в меня всматривается, и вдруг наклонился ко мне и говорит:

— Извините меня, если я не ошибаюсь — вы такой-то?

Я отвечаю:

— Вы не ошиблись, — я действительно тот, кем вы меня назвали.

— А я, — говорит, — такой-то, — и отрекомендовался.

Надеюсь, вы можете догадаться, что это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурмил, а теперь уже разводит и выставляет самую удивительную пшеницу.

Что же, и прекрасно: гора с горою не сходится, а человеку с человеком — очень возможно сойтись. Мы перекинулись несколькими вопросами: кто, откуда и зачем? Я говорю, что так, просто, как Чичиков, езжу для собственного удовольствия. А он шутливо подсказывает: «Верно, обозреваете».

— Не обозреваю, — говорю, — а просто для своего удовольствия посмотреть хочу.

А он рекомендует себя экспонентом и объявляет, что пшеницу выставил.

Я ответил, что заметил уже его пшеничку, и полюбопытствовал, из каких это семян и на какой именно местности росло? Все объясняет речисто, — так режет со всеми подробностями. Я снова подивился, когда узнал, что и семена из нашего края, и поля, зародившие такое удивительное зерно, — смежны с полями моего брата.

Дивился, повторяю вам, потому, что край наш никогда прежде не родил очень хорошей пшеницы. А он отвечает:

— Ну, да то было прежде, а теперь и у нас совсем не то. Особенно у меня в хозяйстве. С старым этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всем произошла перемена с тех пор, как вы отбыли из нашей губернии достигать чинов и знатности да легких капиталов смелыми оборотами. А мы, батюшка, как муромцы, — сидим на земле, сидели и кое-что высидели и дождались. Теперь опять наше дворянское время начинается, а ваше, чиновничье, проходит. Люди вспомнили дедовскую поговорку, что «земляной рубль тонок да долог, а торговый широк да короток». Мы, дворяне, обернулись к сохе и по сторонам не зеваем, — мы знаем, что не столица, а соха нас спасет.

— Да, — говорю, — все это прекрасно, но, однако же, там, в вашей местности, живет мой брат, и я его навещал,

но никогда не слыхал, чтобы там родилось такое удивительное зерно.

— Что же из этого? Навещаю — это еще не значит хозяйничаю. У меня в селе теперь молодой поп, так я в его отсутствие, например, жену его навещаю, а все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю, хозяин-то все-таки поп. А брат ваш, извините, — рутинер.

— Да, — говорю, — мой брат не рисклив.

— Куда ему! Нет! Таких, как я, покуда еще только несколько человек, но мы уже двинули свои хозяйства, и вот вам результаты: это моя пшеница. Вы не читали: я уже получил здесь за мое зерно золотую медаль. Мне это дорого, так же как упорядочение наших славянских княжеств, которое повредил берлинский трактат, — но в чем мы не виноваты, в том и не виноваты, а в нашем хозяйском деле нам никто не указ. Пройдемтесь еще раз к моей витринке.

Я был очень рад, чтобы только кончить про «княжества», потому что я в этом вопросе профан. Подошли к витрине. Он взял в руку серебряный совочек и начал с него у меня перед глазами зерно перепускать.

— Изумляюсь, — говорю, — вижу, но и глазам верить не могу, как этакое дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земельке!

— А вот читайте, — указывает на надпись на витрине. — Видите: мое имя. И притом, батюшка, здесь подлог невозможен: там у них в выставочном правлении все документы — все эти свидетельства и разные удостоверения. Все доказательства есть, что это действительно зерно из моих урожаев. Да вот будете у своего двоюродного братца, так жалуйте, сделайте милость, и ко мне — вам и все наши крестьяне подтвердят, что это зерно с моих полей. Способ, батюшка, способ отделки, — вот в чем дело.

Думаю себе: не смею верить, а впрочем — боже, благослови.

— Какая же, — спрашиваю, — такому редкостному зерну цена?

— Да цена хорошая: червивые французишки и англичане не отходят, всё осаждают и дают цену как раз в два раза больше самой высокой, но я им, подлецам, разумеется, не продам.

— Отчего?

— Как это — иностранцам-то?.. Э, нет, батюшка, нет, — не продам! Нет, батюшка, и так у нас уже много этого несчастного разлада слова с делом. Что в самом деле баловаться? Зачем нам иностранцы? Если мы люди истинно русские, то мы и должны поддержать своих, истинно русских торговцев, а не чужих. Пусть у меня купит наш истинно русский купец, — я ему продам, и охотно продам. Даже своему, православному человеку уступлю против того, что предлагают иностранцы, — но пусть истинно русский наживает.

А в это самое время как мы разговариваем, смотрю, к нему действительно вдруг подлетают два иностранца.

...Мне показалось, что они как будто евреи, но, впрочем, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убеждать его продать им пшеницу.

— Видите, как юлят, — сказал он мне по-русски, — а там вон, смотрите, рыжий черт смоленский лен рассматривает. Это только один отвод глаз. Ему лен ни на что не нужен, это англичанин, который тоже проходу мне не дает.

Что же, думаю, может быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у нас приболтывались, а между своих именитых людей немало встречалось таковых, что гнилой запад под пятой задавить собирались. Вот, верно, и это один из таковых.

Прошло с этой встречи два или три дня, я было уже про этого господина и позабыл, но мне довелось опять его встретить и ближе с ним ознакомиться. Дело было в одной из лучших гостиниц за обедом; сел я обедать и вижу, неподалеку сидит мой образцовый хозяин с каким-то солидным человеком, несомненно русского и даже несомненно торгового телосложения. Оба едят хорошо, а еще лучше того запивают.

Заметил и он меня и сейчас же присылает с служившим им половым карточку и стакан шампанского на серебряном подносе.

Не принять было неловко — я взял бокал и издали послал ему воздушный поклон.

На карточке было начертано карандашом: «Поздравьте! продал зерно сему благополучному россиянину и тремтете пьем. Окончив обед, приближайтесь к нам».

«Ну, — думаю, — вот этого я уже не сделаю»; а он точно проник мои мысли и сам подходит.

— Кончил, — говорит, — батюшка, расстался, продал, но своему, русскому. Вот этот купчина весь урожай закупил и сразу пять тысяч задатку дал за мою пшеничку. Дело не совсем пустое — всего вышло тысяч на сорок. Собственно говоря — и то продешевил, но по крайней мере пусть пойдет своему брату, русскому. Французы и англичанин из себя выходят — злятся, а я очень рад. Черт с ними, пусть не распускают вздоров, что у нас своего патриотизма нет. Пойдемте, я вас познакомлю с моим покупателем. Оригинальный в своем роде субъект: из настоящих простых, истинно русских людей в купцы вышел и теперь страшно богат и все на храмы жертвует, но при случае не прочь и покутить. Теперь он именно в таком ударе: не хотите ли отсюда вместе ударимся, «где оскорбленному есть чувству уголок»?

— Нет, — говорю, — куда же мне кутить?

— Отчего так? Здесь ведь чином и званием не стесняются, — мы люди простые и дурачимся все кто как может.

— То-то и горе, — говорю, — что я уже совсем не могу пить.

— Ну, нечего с вами делать, — будь по-вашему — оставайтесь. А пока вот пробежите наше условие — полюбуйтесь, как все обстоятельно. Я, батюшка, ведь иначе не иду, как нотариальным порядком. Да-а-с, с нашими русачками надо все крепко делать, и иначе нельзя, как хорошенько его «обовязать», а потом уж и тремтете с ним пить. Вот видите, у меня все обозначено: пять тысяч задатка, зерно принять у меня в имении — «весь урожай обмолоченный и хранимый в амбарах села Черитаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до погрузки кулей на барки». Как находите, нет ли недосмотра? Помоему, кажется, довольно аккуратно?

— И я, — говорю, — того же самого мнения.

— Да, — отвечает, — я его немножко знаю: он на славян жертвовал, а ему пальца в рот не клади.

Барин был неподдельно весел, и купец тоже.

Вечером я их видел в театре в ложе с слишком красивою и щегольски одетою женщиною, которая наверно не могла быть ни одному из них ни женою, ни родственни-

цею и, по-видимому, даже еще не совсем давно образовала с ними знакомство.

В антрактах купец появлялся в буфете и требовал «тремтете».

Человек тотчас же уносил за ним персики и другие фрукты и бутылку crème de thé.[1]

При выходе из театра старый товарищ уловил меня и настоятельно звал ехать с ними вместе ужинать и притом сообщил, что их дама «субъект самой высшей школы».

— Настоящей haut école![2]

— Ну, тем вам лучше, — говорю, — а мне в мои лета, — и прочее, и прочее, — словом, отклонил от себя это соблазнительное предложение, которое для меня тем более неудобно, что я намеревался на другой день рано утром выехать из этого веселого города и продолжать мое путешествие. Земляк меня освободил, но зато взял с меня слово, что когда я буду в деревне у моих родных, то непременно приеду к нему посмотреть его образцовое хозяйство и в особенности его удивительную пшеницу.

Я дал требуемое слово, хотя с неудовольствием. Не умею уж вам сказать: мешали ли мне школьные воспоминания о ножичке и о чем-то худшем из области haut école или отталкивала меня от него настоящая ноздревщина, но только мне все так и казалось, что он мне дома у себя всучит либо борзую собаку, либо шарманку.

Месяца через два, послонявшись здесь и там и немножко полечившись, я как раз попал в родные палестины и после малого отдыха спрашиваю у моего двоюродного брата:

— Скажи, пожалуйста, где у вас такой-то? и что это за человек? мне надо у него побывать.

А кузен на меня посмотрел и говорит:

— Как, ты его знаешь?

Я говорю, что мы с ним вместе в школе были, а потом на выставке опять возобновили знакомство.

— Не поздравляю с этим знакомством.

— А что такое?

— Да ведь это отсветнейший лгунище и патентованный негодяй.

---

1. Чайного ликера *(франц.)*.
2. Высшей школы *(франц.)*.

— Я, — говорю, — признаться, так и думал.

Тут я и рассказал, как мы встретились на выставке, как вспомнили однокашничество и какие вещи он мне рассказывал про свое хозяйство и про свою деятельность в пользу славянских братий.

Кузен мой расхохотался.

— Что же тут смешного?

— Все смешно, кроме кой-чего гадкого. Впрочем, ты, надеюсь, в политические откровенности с ним не пускался.

— А что?

— Да у него есть одна престранная манера: он все наклоняет разговор по известному склону, а потом вдруг вспоминает, что он «дворянин», и начинает протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанским отпаивали, пока пропьет память.

— Нет, — говорю, — я в политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы из того не вышло, потому что вся моя политика заключается в отвращении от политики.

— А это, — говорит, — ничего не значит.

— Однако же?

— Он соврет, наклеветщет, что ты как-нибудь молчаливо пренебрегаешь...

— Ну, тогда, значит, от него все равно спасенья нет.

— Да и нет, если только не иметь отваги выгнать его от себя вон.

Мне это показалось уже слишком.

— Удивляюсь, — говорю, — как же это все другие на его счет так ошибаются.

— А кто, например?

— Да ведь вот, — говорю, — он от вас же приезжал во время славянской войны, и у нас про него в газетах писали, и солидные люди его принимали.

Брат рассмеялся и говорит, что этого господина никто не посылал и в пользу славян действовать не уполномочивал, а что он сам усматривал в этом хорошее средство к поправлению своих плохих денежных обстоятельств и еще более дрянной репутации.

— А что его у вас в столице возили и принимали, так этому виновато ваше модничанье; у вас ведь все так:

как затеете возню в каком-нибудь особливом роде, то и возитесь с кем попало, без всякого разбора.

— Ну, вот видишь ли, — говорю, — мы же и виноваты. На вас взаправду не угодишь: то вам Петербург казался холоден и чопорен, а теперь вы готовы уверять, что он какой-то простофиля, которого каждый ваш нахал за усы проводить может.

— И вообрази себе, что ведь действительно может.

— Пожалуйста!

— Истинно тебя уверяю. Только всей и мудрости, что надо прислушаться, что́ у вас в данную минуту в голове бурчит и какая глупость на дежурство назначается. Открываете ли вы славянских братий, или пленяете умом заатлантических друзей, или собираетесь зазвонить вместо колокола в мужичьи лапти... Уловить это всегда нетрудно, чем вы бредите, а потом сейчас только пусти к вашей приме свою втору, и дело сделано. У вас так и заорут: «Вот она, наша провинция! вот она, наша свежая, непочатая сила! Она откликнулась не так, как мы, такие, сякие, ледащие, гадкие, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландских болотах». Вы себя черните да бьете при содействии какого-нибудь литературного лгунищи, а наши провинциалы читают да думают: «Эва мы, братцы, в гору пошли!» И вот, которые пошельмоватее, поначитавшись, как вы там сами собою тяготитесь и ждете от нас, провинциалов, обновления, — снаряжаются и едут в Петербург, чтобы уделить вам нечто от нашей деловитости, от наших «здравых и крепких национальных идей». Хорошие и смирные люди, разумеется, глядят на это да удивляются, а ловкачи меж тем дело делают. Везут вам эти лгунищи как раз то, что вам хочется получить из провинции: они и славянам братья, и заатлантичникам — друзья, и впереди они вызывались бежать и назад рады спятиться до обров и дулебов. Словом, чего хотите, — тем они вам и скинутся. А вы думаете: «*Это земля!* Это провинция». Но мы, домоседы, знаем, что это и не земля, и не провинция, а просто наши лгунищи. И тот, к которому ты теперь собираешься, именно и есть из этого сорта. У вас его величали, а по-нашему он имени человеческого не стоит, и у нас с ним бог весть с коей поры никто никакого дела иметь не хотел.

— Но, однако, по крайней мере — он хороший хозяин.

— Нимало.

— Но он при деньгах — это теперь редкость.

— Да, с того времени, как ездил в Петербург учить вас национальным идеям, у него в мошне кое-что стало позвякивать, но нам известно, чтó он там купил и кого продал.

— Ну, в этом случае, — говорю, — я сведущее вас всех: я сам видел, как он продал свою превосходную пшеницу.

— Нет у него такой пшеницы.

— Как это — «нет»?

— Нет, да и только. Так нет, как и не было.

— Ну, уж это извини — я ее сам видел.

— В витрине?

— Да, в витрине.

— Ну, это не удивительно — это ему наши бабы руками отбирали.

— Полно, — говорю, — пожалуйста: разве это можно руками отбирать?

— Как! руками-то? А разумеется можно. Так — сидят, знаешь, бабы и девки весенним деньком в тени под амбарчиком, поют, как «Антон козу ведет», а сами на ладонях зернышко к зернышку отбирают. Это очень можно.

— Какие, — говорю, — пустяки!

— Совсем не пустяки. За пустяки такой скаред, как мой сосед, денег платить не станет, а он сорока бабам целый месяц по пятиалтынному в день платил. Время только хорошо выбрал: у нас ведь весной бабы нипочем.

— А как же, — спрашиваю, — у него на выставке было свидетельство, что это зерно с его полей!

— Что же, это и правда. Выбранные зернышки тоже ведь на его поле выросли.

— Да; но, однако, это значит — голое и очень наглое мошенничество.

— И не забудь — не первое и не последнее.

— Да, но как же... этот купец, которого он «обовязал» такими безвыходными условиями... Он начал, разумеется, против этого барина судебное дело, или он разорился?

— Да, пожалуй, — он начал дело, но только совсем в особой инстанции.

— Где же это?

— У мужика. Выше этого ведь теперь, по вашему вразумлению, ничего быть не может.

— Да полно, — говорю, — тебе эти крючки загинать да шутовствовать. — Расскажи лучше просто, как следует, — что такое происходит в вашей самодеятельности?

— Изволь, — отвечает приятель, — я тебе расскажу. — Да, батюшка, и рассказал такое, что в самом деле может и даже должно превышать всякие узкие, чужеземные понятия об оживлении дел в крае... Не знаю, как вам это покажется, но по-моему — оригинально и дух истинного, самобытного человека не может не радовать.

Тут фальцет перебил рассказчика и начал его упрашивать довести начатую трилогию до конца, то есть рассказать, как купец сделался с пройдохою-барином, и как всех их помирил и выручил мужик, к которому теперь якобы идет какая-то апелляция во всех случаях жизни.

Баритон согласился продолжать и заметил:

— Это довольно любопытно. Представьте вы себе, что как ни смел и находчив был сейчас мною вам описанный дворянин, с которым никому не дай бог в делах встретиться, но купец, которого он так беспощадно надул и запутал, оказался еще его находчивее и смелее. Какой-нибудь вертопрах-чужеземец увидал бы тут всего два выхода: или обратиться к суду, или сделать из этого — черт возьми — вопрос крови. Но наш простой, ясный русский ум нашел еще одно измерение и такой выход, при котором и до суда не доходили, и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а напротив — все свою невинность соблюли, и все себе капиталы приобрели.

— Прелюбопытно!

— Да как же-с! Из такой возмутительной, предательской и вообще гадкой истории, которая какого хотите, любого западника вконец бы разорила, — наш православный пузатый купчина вышел молодцом и даже нажил этим большие деньги и, что всего важнее, — он, сударь, общественное дело сделал: он многих истинно несчастных людей поддержал, поправил и, так сказать, устроил для многих благоденствие.

— Прелюбопытно, — снова вставил фальцет.

— Ну уж одним словом — слушайте: купец, который сейчас перед вами является, уверяю вас, барина лучше.

ГЛАВА ВТОРАЯ
КУПЕЦ

Купец, которому было продано отборное зерно, разумеется, был обманут беспощадно. Все эти французы жидовского типа и англичане, равно как и дама haut école, у помещика были подставные лица, так сказать, его агенты, которые действовали, как известный Утешительный в гоголевских «Игроках». Иностранцам такое отборное зерно нельзя было продавать, потому что, во-первых, они не нашли бы способа, как с покупкою справиться, и завели бы судебный скандал, а во-вторых, у них у всех водятся консулы и посольства, которые не соблюдают правила невмешательства наших дипломатов и готовы вступать за своего во всякие мелочи. С иностранцами могла бы выйти прескверная история, и барин, стоя на почве, понимал, что русское изобретение только один русский же национальный гений и может преодолеть. Потому отборное зерно и было продано своему единоверцу.

Прислал этот купец к барину приказчика принимать пшеницу. Приказчик вошел в амбары, взглянул в закромы, ворохнул лопатою и видит, разумеется, что над его хозяином совершено страшное надувательство. А между тем купец уже запродал зерно по образцам за границу. Первая мысль у растерявшегося приказчика явилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить назад задаток, но условие так написано, что спасенья нет: и урожай, и годы, и амбары — все обозначено, и задаток ни в каком случае не возвращается. У нас известно: «что взято, то свято». Сунулся приказчик туда-сюда, к законоведам, — те говорят, — ничего не поделаешь: надо принимать зерно, какое есть, и остальные деньги выплачивать. Спор, разумеется, завести можно, да неизвестно, чем он кончится, а десять тысяч задатку гулять будут, да и с заграничными покупателями шутить нельзя. Подавай им, что запродано.

Приказчик посылает хозяину телеграмму, чтобы тот скорее сам приехал. Купец приехал, выслушал приказчика, посмотрел хлеб и говорит своему молодцу:

— Ты, братец, дурак и очень глупо дело повел. Зерно хорошее, и никакой тут ссоры и огласки не надо; коммер-

ция любит тайность: товар надо принять, а деньги заплатить.

А с барином он повел объяснение в другом роде.

Приходит, — помолился на образ и говорит:

— Здравствуй, барин!

А тот отвечает:

— И ты здравствуй!

— А ты, барин, плут, — говорит купец, — ты ведь меня надул как нельзя лучше.

— Что делать, приятель! а вы сами ведь тоже никому спуску не даете и нашего брата тоже объегориваете? — Дело обоюдное.

— Так-то оно так, — отвечает купец, — дело это действительно обоюдное; но надо ему свою развязку сделать.

Барин очень согласен, только говорит:

— Желаю знать: в каких смыслах развязаться?

— А в таких, мол, смыслах, что если ты меня в свое время надул, то ты же должен мне теперь по-христиански помогать, а я тебе все деньги отдам и еще, пожалуй, немножко накину.

Дворянин говорит, что он на этих условиях всякое добро очень рад сделать, только говори, мол, мне прямо: что вашей чести, какая новая механика требуется?

Купец вкратце отвечает:

— Мне немного от тебя нужно, только поступи ты со мною, как поступил благоразумный домоправитель, о котором в евангелии повествуется.

Барин говорит:

— Я всегда после евангелия в церковь хожу: не знаю, что там читается.

Купец ему довел на память: «Призвав коегождо от должников господина своего глаголаше: колицем должен еси? Приими писание твое и напиши другое. И похвали господь домоправителя неправедного».

Дворянин выслушал и говорит:

— Понимаю. Это ты, верно, хочешь еще у меня купить такой же редкой пшеницы.

— Да, — отвечал купец, — теперь уж надо продолжать, потому что никаким другим манером нам себя соблюсти невозможно. А к тому, нельзя все только о себе

думать, — надо тоже дать и бедному народишку что-нибудь заработать.

Барин это о народушке пустил мимо ушей и спрашивает:

— А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?

— Да я теперь много куплю... Мне так надо, чтобы целую барку одним этим добрым зерном нагрузить.

— Гм! Так, так! Ты верно хочешь ее особенно бережно везти?

— Вот это и есть.

— Ага! понимаю. Я очень рад, очень рад и могу служить.

— Документальное удостоверение нужно, что на целую барку зерна нагружаю.

— Само собою разумеется. Разве можно в нашем краю без документа?

— А какая цена? сколько возьмешь за эту добавочную покупку?

— Возьму не дороже, как за мертвые души.

Купец не понял, в чем дело, и перекрестился.

— Какие такие мертвые души? Что тебе про них вздумалось! Им гнить, а нам жить. Мы про живое говорим: сказывай, сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

— В одно слово?

— В одно слово.

— По два рубля за куль.

— Вот те и раз!

— Это недорого.

— Нет, ты по-божьему — получи по полтине за куль.

Дворянин сделал удивленное лицо.

— Как это — по полтине за куль пшеницы-то!

А тот его обрезонивает:

— Ну какая, — говорит, — это пшеница!

— Да уж об этом не будем спорить — такая она или сякая, однако ты за нее с кого-нибудь настоящие деньги слупишь.

— Это еще как бог даст.

— Да уж тебе-то бог непременно даст. К вам, к купцам, я ведь и не знаю за что, — бог ужасно милостив. Даже, ей-богу, завидно.

— А ты не завидуй, — зависть грех.

— Нет, да зачем это все деньги должны к вам плыть? Вам с деньгами-то хорошо.

— Да, мы припадаем и молимся, — и ты молись: кто молится, тому бог дает хорошо.

— Конечно, так, но вам тоже и есть чем — вы много жертвуете на храмы.

— И это.

— Ну, вот то-то и есть. А ты мне дай цену подороже, так тогда и я от себя пожертвую.

Купец рассмеялся.

— Ты, — говорит, — плут.

А тот отвечает:

— Да и ты тут.

— Нет, взаправду, вот что: так как я вижу, что ты знаешь писание и хочешь сам к вере придержаться, то я тебе дам по гривеннику на куль больше, чем располагал. Получай по шесть гривен, и о том, что мы сделали, никто знать не будет.

А барин отвечает:

— Хорошо, но еще лучше ты мне дай по рублю за куль и потом, если хочешь, всем об этом рассказывай.

Купец посмотрел на него, и оба враз рассмеялись.

— Ну, — говорит купец, — скажу я тебе, барин, что плутее тебя даже в самом нижнем звании редко подыскать.

А тот, не смутясь, отвечает:

— Нельзя, братец, в нашем веке иначе: теперь у нас благородство есть, а нет крестьян, которые наше благородство оберегали, а во-вторых, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.

Купец не стал больше торговаться.

— Нечего, видно, с тобою говорить — ты чищеный, — крестись перед образом и по рукам.

Барин согласен молиться, но только деньги вперед требует и местечко на столе ударяет, где их перед ним положить желательно.

Купец о то самое место деньги и выклал.

— Ладно, мол, вели, только скорее, чем попало новое кулье набивать, — я хочу, чтобы при мне вся погрузка была готова и караван отплыл.

Нагрузили барку кулями, в которых черт знает какой дряни набили под видом драгоценной пшеницы; застраховал все это купец в самой дорогой цене, отслужили молебен с водосвятием, покормили православный народушко пирогами с легким и с сердцем и отправили судно в ход. Барки поплыли своим путем, а купец, время не тратя, с барином подвел окончательные счеты по-божьему, взял бумаги и полетел своим путем в Питер и прямо на Аглицкую набережную к толстому англичанину, которому раньше запродажу совершил по тому дивному образцу, который на выставке был.

«Зерно, — говорит, — отправлено в ход, и вот документы и страховка; прошу теперь мне отдать, что следует, на такое-то количество, вторую часть получения».

Англичанин посмотрел документы и сдал их в контору, а из несгораемого шкафа вынул деньги и заплатил.

Купец завязал их в платок и ушел.

Тут фальцет перебил рассказчика словами:

— Вы какие-то страсти говорите.

— Я говорю вам то, что в действительности было.

— Ну так значит, этот купец, взявши у англичанина деньги, бежал, что ли, с ними за границу?

— Вовсе не бежал. Чего истинный русский человек побежит за границу? Это не в его правилах, да он и никакого другого языка, кроме русского, не знает. Никуда он не бежал.

— Так как же он ни аглицкого консула, ни посла не боялся? Почему дворянин их боялся, а купец не стал бояться?

— Вероятно потому, что купец опытнее был и лучше знал народные средства.

— Ну полноте, пожалуйста, какие могут быть народные средства против англичан!.. Эти всесветные торгаши сами кого угодно облупят.

— Да кто вам сказал, что он хотел англичан обманывать? Он знал, что с ними шутить не годится и всему дальнейшему благополучному течению дела усмотрел иной проспект, а на том проспекте предвидел уже для себя полезного деятеля, в руках которого были все средства все это дело огранить и в рамку вставить. Тот и дал всему такой оборот, что ни Ротшильд, ни Томсон Бонер и никакой другой коммерческий гений не выдумает.

— И кто же был этот великий делец: адвокат или маклер?

— Нет, мужик.

— Как мужик?

— Да все дело обделал он — наш простой, наш находчивый и умный мужик! Да я и не понимаю — отчего вас это удивляет? Ведь читали же вы небось у Щедрина, как мужик трех генералов прокормил?

— Конечно, читал.

— Ну так отчего же вам кажется странным, что мужик умел плутню распутать?

— Будь по-вашему: спрячу пока мои недоразумения.

— А я вам кончу про мужика, и притом про такого, который не трех генералов, а целую деревню один прокормил.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МУЖИК

Мужик, к помощи которого обратился купец, был, как всякий русский мужик, «с вида сер, но ум у него не черт съел». Родился он при матушке широкой реке-кормилице, а звали его, скажем так, — *Иваном Петровым.* Был этот раб божий Иван в свое время молод, а теперь достигал почтенной старости, но хлеба даром, лежа на печи, не кушал, а служил лоцманом при Толмачевских порогах, на Куриной переправе. Лоцманская должность, как вам, вероятно, известно, состоит в том, чтобы провожать суда, идущие через опасные для прохода места. За это провожатому лоцману платят известную плату, и та плата идет в артель, а потом разделяется между всеми лоцманами данной местности.

Всякий хозяин может повести свое судно и на собственную ответственность, без лоцмана, но тогда уже, если с «посудкой» случится какое-нибудь несчастие, — лоцманская артель не отвечает. А потому, если судно идет с застрахованным грузом, то условиями страховки требуется, чтобы лоцман был непременно. Взято это, конечно, с иностранных примеров, без надлежащего внимания к нашей беспримерной оригинальности и непосредственности. Заводили у нас страховые операции господа иностранцы и думали, что их Рейн или Дунай — это все

равно что наши Свирь или Волга, и что их лоцман и наш — это опять одно и то же. Ну нет, брат, — извини!

Наши речные лоцманы — люди простые, не ученые, водят они суда, сами водимые единым богом. Есть какой-то навык и сноровка. Говорят, что будто они после половодья дно реки исследуют и проверяют, но, полагать надо, все это относится более к области успокоительных всероссийских иллюзий; но в своем роде лоцманы — очень большие дельцы и наживают порою кругленькие капитальцы. И все это в простоте и в смирении — бога почитаючи и не огорчая мир, то есть своих людей не позабывая.

Мужик Иван Петров был из зажиточных; ел не только щи с мясом, а еще, пожалуй, в жирную масляную кашу ложку сметаны клал, не столько уже «для скусу», сколько для степенства — чтобы по бороде текло, а ко всему этому выпивал для сварения желудка стакан-два нашего простого, доброго русского вина, от которого никогда подагры не бывает. По субботам он ходил в баню, а по воскресениям *молился* усердно и вежливо, то есть прямо от своего лица ни о чем просить не дерзал, а искал посредства просиявших угодников; но и тем не докучал с пустыми руками, а приносил во храм дары и жертвы: пелены, ризы, свечи и курения. Словом, был христианин самого заправского московского письма.

Купцу, которого дворянин отборным зерном обидел, благочестивый мужик Иван Петров был знаем по верным слухам как раз с той стороны, с какой он ему нынче самому понадобился. Он-то и был тот, который мог все дело поправить, чтобы никому решительно убытка не было, *а всем польза.*

«Он выручал других — должен выручить и меня», — рассудил купец и позвал к себе в кабинет того приказчика, который один знал, с чем у них застрахованные кули на барки нагружены, и говорит:

— Ты веди караван, а я вас где надо встречу.

А сам поехал налегке простым, богомольным человеком прямо к Тихвинской, а заместо того попал к Толмачевым порогам на Куриный переход. «Где сокровище, там и сердце». Пристал наш купец здесь на постоялом дворе и пошел узнавать: где большой человек Иван Петров и как с ним свидеться.

Ходит купец по бережку и не знает: как за дело взяться? А просто взяться — невозможно: дело затеяно воровское.

К счастию своему, видит купец на бережке, на обернутой кверху дном лодке сидит весь белый, матерой старик, в плисовом ватном картузе, борода празелень, и корсунский медный крест из-за пазухи касандрийской рубахи наружу висит.

Понравился старец купцу своим правильным видом.

Прошел мимо этого старика купец раз и два, а тот его спрашивает:

— Чего ты здесь, хозяин, ищешь и что обрести желаешь: то ли, чего не имел, или то, что потерял?

Купец отвечает, что он так себе «прохаживается», но старик умный — улыбнулся и отвечает:

— Что это еще за прохаживание! В проходку ходить — это господское, а не христианское дело, а степенный человек за делом ходит и дела смотрит — дела пытает, а не от дела лытает. Неужели же ты в таких твоих годах даром время провождаешь?

Купец видит, что обрел человека большого ума и проницательности — сейчас перед ним и открылся, что он действительно дела пытает, а не от дела лытает.

— А к какому месту касающему?

— Касающее этого самого места.

— И в чем оно содержащее?

— Содержащее в том, что я обижен весьма несправедливым человеком.

— Так; нынче, друг, мало уже кто по правде живет, а всё по обиде. А кого ты на нашем берегу ищешь?

— Ищу себе человека помогательного.

— Так; а в какой силе?

— В самой большой силе — грех и обиду отнимающей.

— И-и, брат! Где весь грех омыть. В писании у апостолов сказано: «Весь мир во грехе положен», — всего не омоешь, а разве хоть по малости.

— Ну хоть по малости.

— То-то и есть: господь грех потопом омыл, а он вновь настал.

— Научи меня, дедушка, — где для меня здесь полезный человек?

— А как ему имя от бога дано?

— Имя ему Иоанн.

— «Бысть человек послан от бога, имя ему Иоанн», — проговорил старик. — А как по изотчеству?

— Петрович.

— Ну, сам перед тобою я — Иван Петрович. Сказывай, какая твоя нужда?

Тот ему рассказал, впрочем только одну первую половину, то есть о том, какой плут был барин, который ему отборное зерно продал, а о том, какое он сам плутовство сделал, — про то умолчал, да и надобности рассказывать не было, потому что старец все в молчании постиг и мягко сформил ответное слово:

— Товар, значит, страховой?

— Да.

— И подконтрачен?

— Да, подконтрачен.

— Иностранцам?

— Англичанам.

— Ух! Это жохи!

Старик зевнул, перекрестил рот, потом встал и добавил:

— Приходи-ко ты ко мне, кручинная голова, на двор: о таком деле надо говорить — подумавши.

Через некоторое время, как там было у них условлено, приходит купец, «кручинная голова», к Ивану Петрову, а тот его на огород, — сел с ним на банное крылечко и говорит:

— Я твое дело все обдумал. Пособить тебе от твоих обязательств — действительно надо, потому что своего русского человека грешно чужанам выдать, и как тебя избавить — это есть в наших руках, но только есть у нас одна своя мирская причина, которая здесь к тому не позволяет.

Купец стал упрашивать.

— Сделай милость, — говорит, — я тысяч не пожалею и деньги сейчас вперед хоть Николе, хоть Спасу за образник положу.

— Знаю, да взять нельзя.

— Отчего?

— Очень опасно.

— С коих же пор ты так опаслив стал?

Старик на него поглядел и с солидным достоинством заметил, что он всегда был опаслив.

— Однако другим помогал.

— Разумеется, помогал, когда в своем правиле и весь мир за тебя стоять будет.

— А ныне разве мир против тебя стоит?

— Я так думаю.

— А почему?

— Потому что у нас, на Куриной переправе, в прошлом году страховое судно затонуло и наши сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статься, то на Поросячьем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить благостыню, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда, на Поросячий брод, да вызови из третьего двора в селе человека, Петра Иванова, — вот той раб тебе все яже ко спасению твоему учредит. Да денег не пожалей — им строиться нужно.

— Не пожалею.

Купец в ту же ночь поехал, куда благословил дедушка Иоанн, нашел там без труда в третьем дворе указанного ему помогательного Петра и очень скоро с ним сделался. Дал, может быть, и дорого, но вышло так честно и аккуратно, что одно только утешение.

— То есть какое же это утешение? — спросил фальцет.

— А такое утешение, что как подоспел сюда купцов караван, где плыла и та барка с сором вместо дорогой пшеницы, то все пристали против часовенки на бережку, помолебствовали, а потом лоцман Петр Иванов стал на буксир и повел, и все вел благополучно, да вдруг самую малость рулевому оборот дал и так похибил, что все суда прошли, а эта барка зацепилась, повернулась, как лягушка, пузом вверх и потонула.

Народу стояло на обоих берегах множество, и все видели, и все восклицали: «ишь ты! поди ж ты!» Словом, «случилось несчастие» невесть отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петр на руле весь в поту, умаялся, а купец на берегу весь бледный, как смерть, стоял да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяин только покорностью взял: перекрестился, вздохнул да молвил: «Бог дал, бог и взял — буди его святая воля».

Всех искреннее и оживленнее был народ: из народа к купцу уже сейчас же начали приставать люди с прось-

бами: «теперь нас не обессудь, — это на сиротскую долю бог дал». И после этого пошли веселые дела: с одной стороны исполнялись формы и обряды законных удостоверений и выдача купцу страховой премии за погибший сор, как за драгоценную пшеницу; а с другой — закипело народное оживление и пошла поправка всей местности.

— Как это?

— Очень просто; немцы ведут всё по правилам заграничного сочинения: приехал страховой агент и стал нанимать людей, чтобы затонувший груз из воды доставать. Заботились, чтобы не все пропало. Труд немалый и долгий. Погорелые мужички сумели воспользоваться обстоятельствами: на мужчину брали в день полтора рубля, а на бабенку рубль. А работали потихонечку — все лето так с божией помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало — погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хваляще и благодаряще господа, и никто, ни один человек не остался в убытке — и никто не в огорчении. Никто не пострадал!

— Как никто?

— А кто же пострадал? Барин, купец, народ, то есть мужички, — все только нажились.

— А страховое общество?!

— Страховое общество?

— Да.

— Батюшка мой, о чем вы заговорили!

— А что же — разве оно не заплатило?

— Ну, как же можно не заплатить — разумеется, заплатило.

— Так это по-вашему — не гадость, а социабельность?!

— Да разумеется же социабельность! Столько русских людей поправилось, и целое село год прокормилось, и великолепные постройки отстроились, и это, изволите видеть, по-вашему называется «гадость».

— А страховое-то общество — это что уже, стало быть, не социабельное учреждение?

— Разумеется, нет.

— А что же это такое?

— Немецкая затея.

— Там есть акционеры и русские.

— Да, которые с немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалят.

— А вы его не хвалите.

— Боже меня сохрани! Он уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своею глупостию злоупотреблять начали», — так пусть его и знает, как мы глупы-то; а я его и знать не хочу.

— Это черт знает что такое!

— А что именно?

— Вот то, что вы мне рассказывали.

Фальцет расхохотался и добавил:

— Нет, я вас решительно не понимаю.

— Представьте, а я вас тоже не понимаю.

— Да, если бы нас слушал кто-нибудь сторонний человек, который бы нас не знал, то он бы непременно вправе был о нас подумать, что мы или плуты, или дураки.

— Очень может быть, но только он этим доказал бы свое собственное легкомыслие, потому что мы и не плуты и не дураки.

— Да, если это так, то, пожалуй, мы и сами не знаем, кто мы такие.

— Ну отчего же не знать. Что до меня касается, то я отлично знаю, что мы просто благополучные россияне, возвращающиеся с ингерманландских болот к себе *домой,* — на теплые полати, ко щам, да к бабам... А кстати, вот и наша станция.

Поезд начал убавлять ход, послышался визг тормозов, звонок, — и собеседники вышли.

Я приподнялся было, чтобы их рассмотреть, но в густом полумраке мне это не удалось. Видел только, что оба люди окладистые и рослые.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПОЛУНОЩНОЕ ВИДЕНИЕ

Я много раз слышал и не однажды читал, что он *«исчез»,* — «справедливый человек» исчез, и исчез не только совершенно без следа, но даже нет и надежды снова отыскать его в России. Это было тяжело, и в то же время не хотелось этому верить. Может быть, дело зависит много от самих тех, кто ищет и не умеет найти «справедливого человека»... Мне припоминался старый водевиль «Спокойная ночь в Щербаковом переулке». Там, я помню, был куплет, что

И в Щербаковом переулке
Нашелся добрый человек.

Значит, умел же автор этой пиесы найти «доброго человека» даже в таком маленьком и затхлом переулке, а может ли быть, чтобы не нашлось справедливого человека во всей России? Какого рода справедливость требуется от «справедливого человека»? Требуется, чтобы он «при виде общественной несправедливости нашел в себе смелость и решимость во всеуслышание сказать людям: «Вы ошибаетесь и идете по пути заблуждений: вот где справедливость».

Я цитирую это место из статьи одного публичного органа, который нет надобности называть. Я ручаюсь за одно: что приведенные мною слова напечатаны и что они очень многим казались глубоко верными; но я имел против них предубеждение. Я верил, что справедливый чело-

век еще где-то уцелел, и я его действительно вскоре встретил. Я его видел в борьбе с целым обществом, которое он стремился победить один и не сробел.

Это было минувшим летом. Я выехал из Петербурга с одним набожным приятелем, который взманил меня посмотреть одно большое религиозное торжество. Путь был не длинен и не утомителен: прохладным вечерком мы сели в вагон в Петербурге, а на следующее утро уже были на месте. Через полчаса мой набожный друг уже поссорился с соборным псаломщиком, который оказал ему какую-то непочтительность, а вечером, когда мой сопутник уселся в занятом нами номере писать в Петербург жалобу на псаломщика, я, в сопровождении одного легконравного артиста, прибывшего сюда «читать сцены», отправился подышать свежим воздухом и кстати посмотреть: чем здесь люди живы?

У нас в Петербурге в эти часы все порядочные люди живут, как известно, «при садовых буфетах», и здесь оказалось то же самое, а потому мы и попали без всяких недоразумений в общественный сад, где мой знакомый артист должен был показывать свои таланты.

Он здесь был не новичок и знал многих, и его знали многие.

Сад, куда мы пришли, был довольно большой для провинциального города, но более был похож на проходной бульвар. Впрочем, долевые входы в него по случаю происходившего в этот вечер платного концерта и представления были закрыты. Платящая публика входила только через один средний проход, сделанный в вогнутом полукруге. У ворот помещались дощатые будочки для продажи билетов, стояло несколько человек полицейских и несколько зевак, не имевших возможности пройти в сад по безденежью.

Перед этим входом в сад был маленький палисадничек, — неизвестно для чего здесь выращенный и огороженный. Он относился к саду, как передбанник к бане.

Артист прошел на «особом праве», а я взял билет, и мы вошли в ворота под звуки скобелевского марша, за которым следовало «ура» и опять новое требование того же марша.

Публики было много, и вся она жалась больше на небольшой лужайке, в одной стороне которой был деревянный ресторан, построенный в виде языческого храма. По бокам его с одной стороны возведен дощатый летний театр, где теперь шло представление, а потом должен был читать мой петербургский чтец; с другой «раковина», в которой помещался военный оркестр, исполняющий тот скобелевский марш.

Общество принадлежало, очевидно, к разнообразным слоям: были чиновники, офицеры армейского полка, купечество и «серый народ — мещанского звания». В более видных местах густел купец, а в отдалениях тучкой толокся полковой писарь с особенной дамой.

Утлые столики с грязными салфетками были наставлены очень часто один возле другого и все решительно заняты. Люди дружно производили публичное оказательство, чем они живы. В большом спросе были чай, пиво и «проствейн». Только в одном месте я заметил человека, который вел дело солиднее: перед ним стояла шампанская бутылка с коньяком и чайник с кипятком для пунша. Пустых стаканов возле него было несколько, но сидел он одиноко.

Гость этот имел замечательную наружность, которая бросалась в глаза. Он был огромного роста, с густою черною растительностью, по которой и в голове и в бороде уже струилась седина, и одет он был чрезвычайно вычурно, пестро и безвкусно. На нем была цветная, синяя холщовая рубашка с высокими, туго накрахмаленными воротничками коляской; шея небрежно повязана белым фуляром с коричневым горошком, на плечах манчестеровый пиджак, а на груди чрезвычайно массивная золотая цепь с бриллиантом и со множеством брелоков. Обут он был тоже оригинально: у него на ногах были такие открытые ботинки, что их скорее можно было принять за туфли, и между ними и панталонами сверкали яркие красные полосы пестрых шелковых носков, точно он расчесал себе до крови ноги.

Он сидел за самым большим столом, который помещался на самом лучшем месте — под большою, старою липою, и, казалось, был в возбуждении.

Сопровождавший меня артист при виде этого оригинала сжал мне потихоньку руку и заговорил:

— Ба-ба-ба! Вот неожиданность-то!

— Кто это такой?

— Это, матушка, сужект первого сорта.

— В каком смысле?

— В смысле самом любопытном. Это Мартын Иваныч — дровяник, купец, зажиточный человек и чудак. В просторечии между своих людей именуется «Мартын праведник», — любит всем правду сказывать. Его, как Ерша Ершовича, по всем русским рекам и морям знают. И он не без образования — Грибоедова и Пушкина много наизусть знает, и как выпьет, так и пойдет чертить из «Горя от ума» или из Гоголя. Да он как раз для нас и в ударе — без шляпы уже сидит.

— Жарко сделалось.

— Нет; у него под шляпою всегда другая бутылка, на тот случай, если из буфета больше подавать не станут.

Артист кликнул мимо пробегавшего лакея и спросил:

— У Мартына Ивановича под шляпой есть бутылка?

— Как же-с... прикрыта.

— Ну, значит, готов, и скоро будет представление какой-нибудь самой неожиданной и самой высокой справедливости! — Надо с ним повидаться.

Артист направился к Мартыну Ивановичу, а я побрел за ним и невдали наблюдал их встречу.

Артист остановился перед Мартыном и, сняв шляпу, с улыбкой молвил:

— Вашей справедливости почет.

Мартын Иванович в ответ на это протянул ему руку и, сразу бросив его на смежный пустой стул, отвечал:

— «Прошу, — сказал Собакевич».

— А я не хочу, — проговорил мой приятель, но в эту минуту перед ним уже стоял стакан пуншу, и Мартын опять повторил ту же присказку:

— «Прошу, — сказал Собакевич».

— Нет, право я не могу, — мне сейчас надо читать.

Мартын выплеснул пунш на землю и привел какую-то ноздревскую фразу.

Мне это не нравилось: я понял, почему все бежали от этого антика. Оригинал действительно был оригинален, но только мне казалось, что в нем сидит не один Собакевич, а и Константин Костанджогло, который рыбью ше-

луху варит. Только Костанджогло теперь подпил и с непривычки еще противнее хает весь свет. Он заговорил, что «все у нас подлецы»; и когда публика опять потребовала скобелевский марш, вдруг беспричинно встал и зашикал.

— Чего это он? — спросил я отошедшего от него приятеля.

— Переложил немножко справедливости. А впрочем, пора в театр.

Я ушел с приятелем и приютился у него в уборной. Пели, читали и опять вышли в сад.

Спектакль был кончен. Публика значительно редела и, расходясь, еще требовала скобелевский марш. Мы без затруднения нашли столик, но по счастию или по несчастию попались опять «visавидом» с нашим Мартыном Ивановичем. Он за время нашего отсутствия еще успел повысить свою чувствительность, и его справедливость, видимо, требовала у него уже гласного оказательства. Он теперь уже не сидел, а стоял и декламировал, но не стихи, а прозаический отрывок, который действительно обязывал признать в нем весьма значительную для человека его среды начитанность. Он валял на память места из похвального слова Захарова Екатерине, которое находится в «Рассуждении о старом и новом слоге».

— «Суворов, рекла Екатерина, накажи! — Как бурный вихрь взвился он от стрегомых им границ турецких; как сокол ниспал на добычу. Кого увидел — расточил; кого натек — победил; в кого бросил гром — истребил. Было и нет. Европа содрогнулась... и...»

Но в это время публика опять потребовала «Скобелева марш», и за исполнением этой пиесы оркестром стало не слышно, что вещал Мартын Иванович; только когда марш был кончен, разнеслось опять:

— «Надлежит чтити праотцев и неудобь себе точию высоко мыслити!»

— Чего этот человек добивается? — спросил я приятеля.

— А правды, правды, государь мой, он справедливости добивается.

— На что она ему теперь?

— Она ему необходима: праведен бо есть и правоты вид являет лице его. Вот он сейчас ее и явит! Глядите, глядите! — закончил рассказчик. И я увидал, что Мартын

Иванович вдруг снялся с своего места и неверными, но скорыми шагами устремился к проходившему мимо пожилому человеку в военной форме.

Мартын Иванович нагнал этого незнакомца (который оказался капельмейстером игравшего оркестра), моментально схватил его сзади за воротник и закричал:

— «Нет, ты от меня не скроешься, — сказал Ноздрев».

Капельмейстер сконфуженно улыбался, но просил его оставить.

— Нет, я тебя не оставлю, — отвечал Мартын Иванович. — Ты меня измучил! — И он подвинул его к столу и закричал: — Пей за обиду оскорбленных праотцев и помрачение потомцев!

— Кого я обидел?

— Кого? Меня, Суворова и всех справедливых людей!

— И не думал, и не располагал.

— А для чего ты целый вечер скобелевский марш зудишь?

— Публика требует.

— Ты меня измучил этой несправедливостью.

— Публика требует.

— Презирай публику, если она несправедлива.

— Да в чем тут несправедливость?

— Отчего Суворову марша не играешь?

— Публика не требует.

— А ты ее вразумляй. Раз сыграй Скобелеву, а два раза Суворову, потому он больше воевал. Да! И вот я тебя теперь с тем и отпускаю: иди и сейчас греми марш Суворову.

— Не могу.

— Почему?

— Нет суворовского марша.

— Как нет марша Суворову? «Суворов, рекла Екатерина, накажи! Он взвился, ниспал, расточил, победил, Европу содрогнул!..» И ему марша нет!

— Нет.

— Почему?

— Публика не требует.

— Ага... так я же ей покажу!

И Мартын Иванович вдруг выпустил из своих рук капельмейстера, встал на стол и закричал:

— Публика! ты несправедлива; и... за то ты *свинья!*

Все зашумело и задвигалось, а возле стола, с которого держал речь Мартын справедливый, явился пристав и начал требовать, чтобы оратор немедленно спустился на землю. Мартын не сходил. Он отбивался ногами и громко продолжал укорять всех за несправедливость к Суворову и закончил вызовом, бросив вместо перчатки один башмак с своей ноги. Подоспевшие городовые схватили его за ноги, но не остановили смятения: в воздухе пролетела вторая ботинка, стол опрокинулся, зазвенела посуда, плеснули коньяк и вода, и началась свалка... У буфета по чьему-то распоряжению мгновенно погасили фонари, все бросились к выходу, а музыканты на эстраде нестройно заиграли финальное: «Коль славен наш господь в Сионе».

Мы с приятелем примкнули к небольшой кучке любопытных, которые не спешили убегать и ожидали развязки. Все мы теснились у того места, где полиция унимала расходившегося Мартына Ивановича, который мужественно отстаивал свое дело, крича:

— «Екатерина рекла: Суворов, накажи... Он взвился, ниспал, расточил, содрогнул».

И он замолк, или от того, что устал, или ему помешало что-нибудь иное.

В теперешней темноте было трудно разглядеть, кто как кого тормошит, но голос справедливого человека раздался снова:

— Не души: я сам иду за справедливость.

— Не здесь доказывают справедливость, — отвечал ему пристав.

— Я не вам, а всему обществу говорю!

— Пожалуйте в участок.

— И пойду — только дальше руки ваши.

— Пожалуйте!

— И пойду. Руки прочь! Нечего меня обнимать. Ничего мне не может быть за Суворова-Рымникского!

— Господа, посторонитесь — осадите.

— Я не боюсь... Почему Суворову марша нет?

— Мировому судье жалуйтесь.

— И пожалуюсь! Суворов больше!

— Судья разберет.

— Дурак ваш судья! Где ему, черту, разобрать

— Ну вот!.. Это все в протокол.

— А я вашего судью не боюсь, и иду! — выкрикнул Мартын. — Он раздвинул руками полицейских и пошел широкими шагами к выходу. Ботинок на нем не было — он шел в одних своих пестрых носках...

Полицейские от него не отставали и старались его окружать.

Из рядов остававшейся публики кто-то крикнул:

— Мартын Иванович, сапожки поищи... обуйся.

Он остановился, но потом махнул рукою и опять пошел, крикнув:

— Ничего... Если я справедливый человек, я так должен быть. Справедливость завсегда без сапог ходит.

У ворот Мартына посадили на извозчика и повезли с околоточным.

Публика пошла каждый кому куда надо.

— А ведь он, однако, и в самом деле справедливо рассуждал, — говорил, обгоняя нас, один незнакомец другому.

— В каком роде?

— Как хотите — Суворов ведь больше Скобелева воевал, — зачем ему в самом деле марша не играют.

— Положенья нет.

— Вот и несправедливость.

— А ты молчи, — не наше дело. Ему мировой-то, может быть, должен, а тебе нет, так и нечего справедливничать.

Приятель дернул меня за руку и шепнул:

— И если хотите знать — это настоящая правда!

Когда я раздевался в своем номере, по коридору прошли, тихо беседуя, двое проезжающих; у соседней двери они стали прощаться и еще перебросились словом:

— А ведь как вы хотите, в его пьяном бреде была справедливость!

— Да была-то она была, только черт ли в ней.

И они пожелали друг другу покойной ночи.

СТАРЫЙ ГЕНИЙ

> Гений лет не имеет — он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы.
>
> *Ларошфуко.*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по ее словам, «вопиющее дело». Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте, чисто из одного участия, выручила из беды одного великосветского франта, — заложив для него свой домик, составлявший все достояние старушки и ее недвижимой, увечной дочери да внучки. Дом был заложен в пятнадцати тысячах, которые франт полностию взял, с обязательством уплатить в самый короткий срок.

Добрая старушка этому верила, да и не мудрено было верить, потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собою блестящую карьеру и получал хорошие доходы с имений и хорошее жалованье по службе. Денежные затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то мимолетного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, — «лишь бы только доехать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого господина и, во имя старой приязни, помогла ему; он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. Приходят сроки, старушка напоминает о себе письмами — сначала самыми мягкими, потом немножко пожестче, а наконец, и бранится — намекает, что «это нечестно»,

но должник ее был зверь травленый и все равно ни на какие ее письма не отвечал. А между тем время уходит, приближается срок закладной — и перед бедной женщиной, которая уповала дожить свой век в своем домишке, вдруг разверзается страшная перспектива холода и голода с увечной дочерью и маленькою внучкою.

Старушка в отчаянии поручила свою больную и ребенка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и полетела в Петербург «хлопотать».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Хлопоты ее вначале были очень успешны: адвокат ей встретился участливый и милостивый, и в суде ей решение вышло скорое и благоприятное, но как дошло дело до исполнения — тут и пошла закорюка, да такая, что и ума к ней приложить было невозможно. Не то, чтобы полиция или иные какие пристава должнику мирволили — говорят, что тот им самим давно надоел и что они все старушку очень жалеют и рады ей помочь, да *не смеют*... Было у него какое-то такое могущественное родство или свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого иного грешника.

О силе и значении этих связей достоверно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно — какая бабушка ему ни ворожила и все на милость преложила.

Не умею тоже вам рассказать в точности, что над ним надо было учинить, но знаю, что нужно было «вручить *должнику* с распискою» какую-то бумагу, и вот этого-то никто — никакие лица никакого уряда — не могли сделать. К кому старушка ни обратится, все ей в одном роде советуют:

— Ах, сударыня, и охота же вам! Бросьте лучше! Нам очень вас жаль, да что делать, когда он никому не платит... Утешьтесь тем, что не вы первая, не вы и последняя.

— Батюшки мои, — отвечает старушка, — да какое же мне в этом утешение, что не мне одной худо будет? Я бы, голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне и всем другим хорошо было.

— Ну, — отвечают, — чтоб всем-то хорошо — вы уж это оставьте, — это специалисты выдумали, и это невозможно.

А та, в простоте своей, пристает:

— Почему же невозможно? У него состояние во всяком случае больше, чем он всем нам должен, и пусть он должное отдаст, а ему еще много останется.

— Э, сударыня, у кого «много», тем никогда много не бывает, а им всегда недостаточно, но главное дело в том, что он платить не привык, и если очень докучать станете — может вам неприятность сделать.

— Какую неприятность?

— Ну, что вам расспрашивать: гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдруг уедете.

— Ну, извините, — говорит старушка, — я вам не поверю: он замотался, но человек хороший.

— Да, — отвечают, — конечно, он барин хороший, но только дурной платить; а если кто этим занялся, тот и все дурное сделает.

— Ну, так тогда употребите меры.

— Да вот тут-то, — отвечают, — и точка с запятою: мы не можем против всех «употреблять меры». Зачем с такими знались.

— Какая же разница?

А вопрошаемые на нее только посмотрят да отвернутся или даже предложат идти высшим жаловаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ходила она и к высшим. Там и доступ труднее и разговору меньше, да и отвлеченнее.

Говорят: «Да где он? о нем доносят, что его нет!»

— Помилуйте, — плачет старушка, — да я его всякий день на улице вижу — он в своем доме живет.

— Это вовсе и не его дом. У него нет дома: это дом его жены.

— Ведь это все равно: муж и жена — одна сатана.

— Да это вы так судите, но закон судит иначе. Жена на него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду, и он у нее не значится... Он, черт его знает, он всем нам надоел, — и зачем вы ему деньги давали! Когда он в Петербурге бывает — он прописывается где-то в меблированных комнатах, но там не живет. А если вы думаете, что мы его

защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймайте, — это ваше дело, — тогда ему *«вручат»*.

Утешительнее этого старушка ни на каких высотах ничего не добилась, и, по провинциальной подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка рот дерет».

— Что ты, — говорит, — мне ни уверяй, а я вижу, что все оно от того же самого движет, что *надо смазать*.

Пошла она «мазать» и пришла еще более огорченная. Говорит, что «прямо с целой тысячи начала», то есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трех тысяч, то ее даже попросили выйти.

— Трех тысяч не берут за то только, чтобы бумажку вручить! Ведь это что же такое?.. Нет, прежде лучше было.

— Ну, тоже, — напоминаю ей, — забыли вы, верно, как тогда хорошо шло: кто больше дал, тот и прав был.

— Это, — отвечает, — твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало, его спросишь: «Можно ли?» — а он отвечает: «В России невозможности нет», и вдруг выдумку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристает ко мне, да не знаю: верить или нет? Мы с ним вместе в Мариинском пассаже у саечника Василья обедаем, потому что я ведь теперь экономлю и над каждым грошем трясусь — горячего уже давно не ем, все на дело берегу, а он, верно, тоже по бедности или питущий... но преубедительно говорит: «дайте мне пятьсот рублей — я *вручу»*. Как ты об этом думаешь?

— Голубушка моя, — отвечаю ей, — уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Расспросили бы вы по крайней мере о нем кого-нибудь: кто он такой и кто за него поручиться может?

— Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего не знает. «Так, говорит, надо думать, или купец притишил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих благородий».

— Ну, самого его прямо спросите.

— Спрашивала — кто он такой и какой на нем чин? «Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем

лишнее и не принято; называйте меня Иван Иваныч, а чин на мне из четырнадцати овчин, — какую захочу, ту вверх шерстью и выворочу».

— Ну вот видите, — это, выходит, совсем какая-то темная личность.

— Да, темная... «Чин из четырнадцати овчин» — это я понимаю, так как я сама за чиновником была. Это значит, что он четырнадцатого класса. А насчет имени и рекомендаций прямо объявляет, что «насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю и у меня их нет, а я гениальные мысли в своем лбу имею и знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы привести за триста рублей в исполнение».

«Почему же, батюшка, непременно *триста?*»

«А так — уж это у нас такой прификс, с которого мы уступать не желаем и больше не берем».

«Ничего, сударь, не понимаю».

«Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мне двести за мысль и за руководство да триста исполнительному герою, в соразмере, что он может за исполнение три месяца в тюрьме сидеть, и конец дело венчает. Кто хочет — пусть нам верит, потому что я всегда берусь за дела только за невозможные; а кто веры не имеет, с тем делать нечего», — но что до меня касается, — прибавляет старушка, — то, представь ты себе мое искушение: я ему почему-то верю...

— Решительно, — говорю, — не знаю, отчего вы ему верите?

— Вообрази — предчувствие у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться.

— Не подождать ли еще?

— Подожду, пока возможно.

Но скоро это сделалось невозможно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести: во-первых, настает рождество; во-вторых, из дому пишут, что дом на сих же днях поступает в продажу; и в-третьих, она встретила своего долж-

ника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав, и взывала к содействию публики, крича со слезами: «Боже мой, он мне должен!» Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамою отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужаснее же этих трех обстоятельств было четвертое, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже как завтра уезжает с роскошною дамою своего сердца за границу — где наверно пробудет год или два, а может быть, и совсем не вернется, «потому что она очень богатая».

Сомнений, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных ею слуг.

Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной комедии: завтра он несомненно улизнет, и надолго, а может быть, и навсегда, потому что его компаньонка, всеконечно, не желала афишировать себя за миг иль краткое мгновенье.

Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнадцати овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника в Мариинском пассаже, отвечал ей:

«Да, дело кратко, но помочь еще можно: сейчас пятьсот рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор; а если не имеете ко мне веры — ваши пятнадцать тысяч пропали».

— Я, друг мой, — рассказывает мне старушка, — уже решилась ему довериться... Что же делать: все равно ведь никто не берется, а он берется и твердо говорит: «Я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытуючи. Я нимало не сумасшедшая, — а и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии, и сны такие снились, что я решилась и увела его с собою.

— Куда?

— Да видишь ли, мы у саечника ведь только в одну пору, всё в обед встречаемся. А тогда уже поздно будет, — так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтрего. В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я

должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать, и без всякой расписки.

— И вы решаетесь?

— Конечно, решаюсь. — Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала, и он теперь ждет меня в трактире, чай пьет, а я к тебе с просьбою: у меня еще двести пятьдесят рублей есть, а полутораста нет. Сделай милость, ссуди меня, — я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут — все-таки там полтораста рублей еще останется.

Знал я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ее такое трогательное, — думаю: отдаст или не отдаст — господь с ней, от полутораста рублей не разбогатеешь и не обеднеешь, а между тем у нее мучения на душе не останется, что она не все средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ее дело.

Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожидал ее на следующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге?

Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания: пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, — кладет мне на стол занятые у меня полтораста рублей, а потом показывает банковую, переводную расписку с лишком на пятнадцать тысяч...

— Глазам своим не верю! Что это значит?

— Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами.

— Каким образом? Неужто все это четырнадцатиовчинный Иван Иваныч устроил?

— Да, он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя триста рублей дал — потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно.

— Это что же еще за деятель? Вы уж расскажите все, как они вам помогали!

— Помогли очень честно. Я как пришла в трактир и отдала Ивану Иванычу деньги — он сосчитал, принял и говорит: «Теперь, госпожа, поедем. Я, говорит, гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом юридических действий производить не могу». Ездили по многим низким местам и по баням — всё искали какого-то «сербского сражателя», но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки, в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из газетной бумаги, и говорит: «Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить». Все мы трое в трактире сидели и торговались, и сербский сражатель требовал «по сту рублей на месяц, за три месяца». На этом решили. Я еще ничего не понимала, но видела, что Иван Иваныч ему деньги отдал, стало быть он верит, и мне полегче стало. А потом я Ивана Иваныча к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бани ночевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит: «Я готов!» А Иван Иваныч мне шепчет: «Пошлите для него за водочкой: от него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости: настает самое главное его исполнение».

Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги, с поездом которой старушкин должник и его дама должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое они замыслили и как исполнят, но сражатель ее успокоивал и говорил, что «все будет честно и благородно». Стала съезжаться к поезду публика, и должник явился тут, как лист перед травою, и с ним дама; лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась за Ивана Иваныча и указывает на должника — говорит: «Вот — он!»

Сербский воитель увидал, сказал «хорошо», и сейчас же встал и прошел мимо франта раз, потом во второй, а потом в третий раз, прямо против него остановился и говорит:

— Чего это вы на меня так смотрите?

Тот отвечает:

— Я на вас вовсе никак не смотрю, я чай пью.

— А-а! — говорит воитель, — вы не смотрите, а чай пьете? так я же вас заставлю на меня смотреть, и вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок!.. — Да с этим — хлоп, хлоп, хлоп! его три раза по лицу и ударил.

Дама бросилась в сторону, господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии; но полиция подскочила и вмешалась: «Этого, говорит, нельзя: это в публичном месте», — и сербского воителя арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении — не знает: не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит... Дама уехала, а он остался... и как только объявил свое звание, имя и фамилию, полицейский говорит: «Так вот у меня кстати для вас и бумажка в портфеле есть для вручения». Тот — делать нечего — при свидетелях поданную ему бумагу принял и, чтобы освободить себя от обязательств о невыезде, немедленно же сполна и с процентами уплатил чеком весь долг свой старушке.

Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел.

Человек, который нашелся — как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гением.

ЗАМЕТКИ НЕИЗВЕСТНОГО

В последнюю мою побывку в Москве знакомый букинист от Сухаревой башни доставил мне на просмотр несколько старых рукописей, в числе коих находилась и та, которую я нынче представляю вниманию читателей. Она была в старинном корешке, с оклеенными синею бумагою полями и не имела ни подписи, ни заглавия, также лишена была многих страниц с начала и в конце. Но, однако, и то, что в ней уцелело, на мой взгляд представляет немалый интерес как безыскусственное изображение событий, интересовавших в свое время какой-то, по-видимому весьма достопочтенный, оригинальный и серьезно настроенный общественный кружок.

Засим я предлагаю в подлиннике заметки неизвестного летописца в том порядке и под теми же самыми частными заглавиями, под какими они записаны в полууничтоженной рукописи.

ИСКУСНЫЙ ОТВЕТЧИК

Секретарь, укоряемый во многом притяжании, имел слабость к устроению новых дач и домов и за продолжительное время своей службы обзавелся ими в таком числе, что от его недругов на это было сделано указание новоприбывшему начальнику. Начальник отвечал:

— Хорошо, я его испытаю, и если он меня не убедит, откуда ему все это мимо службы взялося, то тогда поступлю с ним, как надобно.

Самому же доносчику, да и всем при особе своей состоящим и приседящим строго наказал, чтобы ничего тому секретарю даже в самых отдаленных намеках подано не было, о чем ему готовился острый вопрос. И когда секретарь, ничего не знав о преднамеренном, в обычное время предстал докладывать просьбы и доклад свой кончил, вопрошен был:

— Правда ли, что вы посулы от просителей вымогаете и даже вымогательством к приношению вам денег нудите, а без того дел не рассматриваете?

Но секретарь, оком не моргнув, отвечал, что все это чистая клевета, и страшною клятвою именем божиим поклялся.

— Хорошо, — возразил начальник, — но, во-первых, вам такие клятвы говорить непристойно, а во-вторых, я только тогда словам твоим поверю, когда вы мне объясните: откуда вам взялось на вашем месте пять домов и шесть дач?

Секретарь же, слыша сие, отвечал, что все те домы и дачи и вся яже в них не ему, но жене его принадлежит.

— Но жена ваша всего этого в приданое вам не принесла, ибо известно мне, что она дочь людей бедных.

— Точно так, — отвечал секретарь.

— В таком разе, откуда же у нее взялись такие имущества?

— Не знаю, — отвечал секретарь.

— Как так — не знаете?

Секретарь изобразил собою большую сконфузливость и, пожав плечами, опять отвечал:

— Как вам угодно, а я этого и сам себе объяснить не могу.

— Ну, то могли же бы вы ее о том прямо спрашивать!

— И даже много раз спрашивал.

— И что же она вам на то отвечала?

— Ничего не отвечала.

— Как так *ничего?!*

— Так: я ее спрошу: «откуда ты, душко мое, деньги берешь?» А она только покраснеет, но ничего не скажет.

Начальник посмотрел на сего оборотливого секретаря и добавил:

— Однако ты, вижу, искусный ответчик.

После того секретарь остался на месте, и никто не мог доказать, что он не имеет источника.

КАК НЕХОРОШО ОСУЖДАТЬ СЛАБОСТИ

Отец Иоанн, хороший священник, любимый прихожанами и опытный благочинный, с молодости своей себя соблюдал в отменной трезвости и жил в самом примерном поведении; но имея уже близу шестидесяти семи лет, лишился жены и подпал другим несчастиям, из которых каждого в раздельности довольно было, чтобы весьма мужественную душу поколебать. Зять его повредился в уме, и дочь возвратилась под отчие кровы с немалою семьею, а сын предался дурным страстям и пошел в актеры. А еще всего более отцу Иоанну принес огорчения и ущерба тягостный лаж, который был объявлен от казны на серебро, через что в состоянии отца Ивана вдруг вышло понижение, так как он содержал все свое у себя в наличных бумажках. И тогда ото всего этого отец Иван стал искать забвения своего горя в вине, которого прежде во всю жизнь свою не пил. Поначалу это новоначатие крылось только в стенах дома, но потом, как беспрестанно беречь несчастного старика было некому, то и посторонним слабость его начала делаться заметною, и, наконец, был в храме неудобный случай, что он, сделав возглас, заснул и не скоро пробудился. Прихожане, весьма его любя, хотели это покрыть, но тщанием отца Иродиона, который себе благочиннического места желал, стало ведомо владыке. Владыка же был строг и не похотел оставить сего втуне, а, призвав отца Ивана к себе, сказал, что для пользы его души, при его преклонных уже летах, от благочиннических обязанностей его освобождает и советует ему читать «Часы благоговения», а для пользы службы на место его назначил отца Иродиона.

Удар этот на отца Ивана самолюбие столь повлиял жестоко, что он, вместо того чтобы читать «Часы благоговения», еще больше стал неосторожен, а когда дочь ему

в доме вина возбраняла, то стал заходить с заднего выхода в трактиры, и особенно часто приходил к одному из своих прихожан, трактирщику и с давних пор почтительному его духовному сыну. Этот трактирщик подавал ему своего домашнего приготовления графин на горькой трефоли, и отец Иван ее потреблял со вкусом, и говорил: «Эта горечь для меня отраду приносит, ибо она горечь жизни моей прообразует». Духовный же сын трактирщик священника оберегал от взоров публики и предлагал ему все не в трактирных, а в своих жилых комнатах, не в виде трактирного угощения, а как домашнее хлебосольство. И когда отец Иван был неисправен, он тут же у него на диване отдыхал, покрыв лицо платочком, а семейные из той комнаты даже канареек выносили, чтобы они своим трескучим пением его скоро не пробуждали. Так отдохнув, священник уходил без явного в его состоянии примечания. Но однажды, когда трактирщик и домашние его были по некоторому случаю в развлечении и канареек не вынесли, отец Иван ранее потребного времени пробудился и вышел колеблясь. Но, почитая себя еще сильным чтобы дойти до дому, пошел далее, а когда пошел, то силы его ему изменили и старые ноги его по скользкой осенней грязи стали идти неверно, и он поскользнулся и упал за углом улицы и встать уже был не в состоянии.

По случаю же вышло так, что новый благочинный, отец Иродион, в это самое время с старым причетником Ильком из дома своих прихожан, совершив крещение младенца, возвращались и, увидя отца Ивана в его несчастном положении, злобно улыбнувшись, сказал:

— Какое недостойное зрелище! Смотри на это и будь готов отвечать, что ты видишь.

А причетник Илько, будучи доброго сердца и отцу Ивану по училищу еще товарищ, отвечал:

— Виноват, отец благочинный! я не знаю, что вы видите.

— Я вижу бесчинного срамника отвергшегося благодати своего сана.

— А я вижу горестного несчастливца и благодати в нем отвергать не дерзаю, ибо она неотъемлема, — отвечал Илько, и с сими словами поднял отца Ивана, поставил его к стене и сказал: — Благослови, отче!

Отец же Иван раскрыл глаза и благословил его, а потом, ослабев, лег паки; но Илько пошел к нему в дом и, позвав человека из домашних, отнесли его и прибрали.

Вскоре за сим отец Иван умер, благословив всех, а также и отца Иродиона, отвергавшего его от благодати, и добрые прихожане над могилою его долго служили панихиды, а Иродиона не любили.

ИЗЛИШНЯЯ МАТЕРИНСКАЯ НЕЖНОСТЬ

Асессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский растлевается и узнает о пороках. С той целию к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания духовник ее, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутлив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал и, оставаясь у нее после молебнов на чае и закуске, скромность и бережливость асессорши постоянно похвалял, но не одобрял, что она так Игнашу взаперти, при себе и одних домашних прислужницах, держит, до того, что он ничего мужескому полу сродного в характере не имел, а стал подобен как бы девчонке, или, лучше сказать, — ни к тем, ни к сем не относится.

А Игнаше тогда шел уже шестнадцатый год, и он еще нигде не учился.

Асессорша же, во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состоя в браке с асессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел и играл и под органную музыку разные танцевальные па представлял.

Это танцевание асессорше столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал.

Отец же Павел, имея здравое суждение, говорил: «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать может. Но недоумевшая асессорша стояла на своем и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до двадцати лет и приучала его к хозяйству, водя его с собою всегда по саду и по амбарам, дабы минуты один не оставался. А между тем случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился.

У асессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась потому, что он жил за двести верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холста и материй, по выбору проживавших у него посторонних вольнодомок. Но, как всему на свете бывает конец, то и бригадиру на семьдесят третьем году его жизни пришел черед умирать, и он в преддверии смерти вспомнил о сестре асессорше и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает и желает с нею и с племянником проститься.

Случай же, о возможности которого асессорше не раз намекал отец Павел, был настороже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы и столь сильно повихнула себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться, а потому ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между же тем она была домовита и вещелюбива и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповала быть в своей доле наследницею, были еще многие драгоценности — часы и табакерки с портретами, камнями осыпанные и дареные ему за его храбрость из Кабинета. И асессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружающих его женских угодниц его свободной жизни, которые к нему приласкались, или же они,

в случае если брат умрет до ее приезда, то сами по алчности своей могут все это расхитить и после сказать: «Ничего не было», или: «Он нам подарил».

В таком размышлении она провела всю ночь без сна, с стесненным сердцем, и к утру решилась послать к умирающему без себя Игнашу, с проживавшею у нее верною вдовою капральшею, чтобы он ехал и жил у дяди до самой его кончины и как можно прилежней к нему ласкался.

Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаше с капральшею сбираться и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить «в путь шествующему» молебен и благословить Игнатия на дорогу.

Отец Павел прибыл на приглашение асессорши и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться; а когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материной просьбе внушение, как ему себя весть у дяди.

— Не будь, — говорил, — как дитя: на всякий шаг материного научения не ожидай, ибо ее с тобою не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй: дядю ласкай, и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарство по часам лей и в ложке подноси; а вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, и их хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь скажет: «Это тебе», — ты сейчас ему руку целуй, а вещь к себе уноси и запирай от слуг и вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет: «Бери себе и это». И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань, будто подушки поправить, и прошепчи. Так можешь все получить, даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь.

И, преподав ему нравоучение, Игнашу благословил, и тот с капральшею поехал; но капральшу, выехав за градскую заставу, из брички ссадил и прислал назад, а сам

понадеялся на себя и один поехал. После же кончины дяди он возвратился назад совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения, но на две причины жаловался: первая, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал и лекарства из его рук не пил, а вторая — мать заметила, что он теперь слабо спит, в постели мечется и во сне губами смокчет. И второй этой причины он матери не открывал, отчего это ему сделалось.

Асессорша, с которою сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть: отчего ему стал такой беспокойный сон и смоктанье; но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему что от покойника, или не сталось ли со страха, что смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить, — и тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, асессорша и в этом случае призвала его к молебну и потом за закускою открыла, что «вот-де с Игнашею так и так, после езды его в одиночестве к дяде большая перемена: день невесел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит, и в постели вертится, и губами смокчет»...

— Знаю, — говорила асессорша, — что ныне даже и духовные волшебствам уже стали не верить. Однако же волшебница самого Самуила из гроба вызвала и Саулу тень пророка показывала, да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнания, а потому, так или так, — говорит, — вас прошу и даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрясник сюрпризом сшила, но возьмите вы Игнашу в свои руки и выведайте от него всю истину и помогите.

Отец Павел сказал: «Хорошо!» и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрясник, другою рукою взял за руку барчука Игнашу и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи ягод портят, и от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче — как нравы повреждаются.

— Налетит сверху, не знать откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так, может быть, что-нибудь и с тобою сделано?

Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился.

— Точно, — говорит, — отец Павел, было со мною плохое дело, и... может быть... и теперь что-нибудь осталось, и я за грех мой страдаю.

А отец Павел покачал головою и говорит:

— Сделаем-ка вот что: нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые позрелее, и особенно воробьиных оклевушков — они всего слаще, и подай.

Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонею сел и рясу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит:

— Ну вот, друг мой Игнатий Иваныч, хорошо, а теперь, как мы здесь только двое — ты да я, — и больше никого нет, а над нами бог всемогущий, от него же несть ничто неявленно или утаенно, то будем же мы с тобою как в раю откровенно разговаривать, и ты открой мне как на духу: что такое с тобою встретилось и о чем ты столь сокрушаешься, что даже и мать твою сокрушаешь: ибо она видит, как ты во дни невесел, а ночами беспокойно спишь и губами смокчешь. Я буду в траве сидеть и твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет.

Игнаша отвечает:

— Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала.

— Она никогда и не узнает. Я тебе в том мое слово даю, а иерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства.

— Ну, если так, что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою.

— Открывай.

— Ездил я к дяденьке, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство...

— Ну, что же такое? Это долг родственности твой был, и в том нет никакого греха.

— Да-с... Вещей я не много получил, а наследства сто душ с усадьбою...

— Ну! Что же ты останавливаешься? Получил сто душ с усадьбою — и это не худо. И тут я никакого греха не вижу: если бы мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был.

— Вам нельзя, — говорит Игнаша, — духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне.

— Ну, это ничего не значит: я бы крестьян в шесть месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а в усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нет: но вот я уже скоро все вишни поем, а ты мне еще одни, давно мне известные пустяки говоришь, а про грех утаиваешь.

Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей, но бригадир их к себе приближал более, чем своих родственников, и из их рук лекарства принимал и их одних к себе сидеть близко у постели заставлял, а его отдалял и даже шутил над ним. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница, или бабка-галандка, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове — совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка-галандка при больном скучать не любила, а все отбегала в сад и Игнашу с собою туда звала и там заставляла его себя на качелях качать и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. — Когда же бригадир умер и Игнаша домой поехал, то на второй станции ему не дали лошадей потому, что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он спал и кроме которой другой не было, вошла та же самая бабка-галандка, которая тоже домой ехала и за недачею ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантон и верхнее платье, легла спать на другом диване, в одном белом

лифе, и закурила трубку. Игнатий же от нее оборотился к стене и усильно сдремал во второй сон очень недолго и опять к ней тихо оборотился, чтобы видеть — спит ли. Но она не спала и, глядев на него, рассмеялась и поцелуй ему губами сделала. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усильно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон, но не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокала до самого утра. А когда утром он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он этак же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался.

Прослушав такой сказ, отец Павел спросил: не было ли ему все это во сне? Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то с ним было наяву. Тогда отец Павел, докушав последние вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал:

— Молодчина ты — похваляю! И в этот раз ты вышел чист и безгрешен. А теперь держи ты этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй по аллейке, пока из тебя выйдут последние помышления, а я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от сего избавить, чтобы ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий.

И, пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел к асессорше и говорит:

— Ничтоже вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел.

Асессорша перекрестилась и хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал.

— Я, — говорит, — это Игнатию обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности навсегда ото всех в тайне должно и оставаться, разве как перед одним политическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу и полезный совет вам дам.

Асессорша говорит:

— Сделайте, батюшка, милость. Я вам к Покрову богородицы гарусный пояс цветами вышью.

— Хорошо, — говорит, — только вы слушайте и все точно исполните.

— Слушаю, батюшка, слушаю и непременно исполню.

— Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла...

— Встану, — говорит, — отец Павел, даже до зари встану.

— Да; и возьмите вы с собою новый серп, такой, которым еще никто не жал.

— Есть у меня в кладовой два серпа новые.

— И выйдите вы с ним одна в сад, и оглядите такую яблоньку, которая кудрявее и чтобы на ней были плоды румяные.

— Есть у меня такая, есть.

— И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы, и высушите из нее на солнце пуд сена.

— Все так сделаю.

— И пусть он этот пуд сена съест.

— Кто это?

— Разумеется, он, сын ваш Игнатий.

Асессорша изумилась.

— Как же это так: разве, — говорит, — он у меня конь?

А отец Павел отвечал:

— Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел преизрядный.

ЧУЖЕЗЕМНЫЕ ОБЫЧАИ ТОЛЬКО С РАЗУМЕНИЕМ ПРИМЕНЯТЬ МОЖНО

Князь Г., возвратясь после продолжительного пребывания в чужих краях, привез с собою духовного студента, который там пять лет находился для русских наук при его детях, и, желая его вознаградить за старания, просил владыку поставить того студента во священники, с назначением на хорошее место в городской приход. Место же это назначалось достойнейшему, но владыка, уважая род князя и его могущественные связи в Петербурге, весьма мало просьбе его за того учителя возражал и согласился.

И потому, призвав одного из соборных иереев, имевших в возрасте дочь, велел ему, ничего не рассуждая, дочь за того студента выдать и место передать зятю. Иначе же угрожал ему своею строгостию. Священник покорился своей судьбе и воле владычней: дочь выдал, и от места отказался, и пошел в заштат на кладбище, а в его место в соборе стал упомянутый выше зять его из княжеских учителей и нарекся «отец Григорий». Он был в служенье хорош и весьма способен, но католиковат, и то было в нем заимственное, так как это и во всей набожной семье самого князя обличалося, да и удивляться нечему, потому что отец Григорий встречался за границею с католическими патерами, и о вере их с ними много рассуждал, и многое что находил у них то нехудо, то посредственно, и некоторое даже почитал за превосходное и достойное восприятия. Так, например, рассуждал он об исповеди, внушая, что испытание совести должно будто производить не одним посредством расспроса о том: каким грехом человек согрешил, но дополнять и обнимать: почему именно и как согрешил, при каких обстоятельствах, и сколько меры в себе самом и во всех условиях находил для того, чтобы твердо устоять в добродетели и не поддаться пороку. А для убеждения указывал на все — на философию, на рассуждения и на несовершенные человеческие суды, и сравнивал — как они повелись в чужих странах, где не секретарь с судьею на мере и посулах судят, а где партикулярные люди из разного вольного звания слушают и свободной совестью судят по чувству неподкупной справедливости: виновата вина виновного, или она хотя и соделана, но стечением причин по совести и по разуму должна быть извинена.

Отсюда отец Григорий так право или неправо мыслил, что «если, говорит, люди, зли суще, могут так правильно рассуждать о вине, не по одному ее названию, а и по характеру всех окружных обстоятельств, то бог ли, всесовершенный в мудрости и во всех понятиях, может одобрять одинакое осуждение вины, при каких бы она условиях соблюдена ни была? — Не одно и то же, если человек себе хлеба кус скрадет и съест его, мучимый голодом и видом терзания любимых детей, и не то же самое, если похитил кто-либо какое-либо тщетное пустошество для

многих нужд и часто вредных удовольствий, с намерением обнаружить превосходство своих достатков и колоть ими еще более упадшие глаза неимущего.

— Если так слишком просто и неискусно судить, — говорил отец Григорий, — и всякий одного наименования грех одинаковою епитимейкою облачать, то это будто выйдет как бы нечто безжизненное, неопытное и ставящее церковного служителя как бы несмыслем, который жизни язв врачевать не в состоянии, ибо даже понять их происхождение не силен. И тогда (рассуждал оный Григорий) едва ли не лучше, чем это до такого детства низводить, то уже совсем предоставить покаяние непосредственно душе человека пред богом, который все видит, все разумеет и может дать кающемуся чувство скорби и раскаяния, которые могут больший плод сотворить, чем поклоны.

Владыке об этом вольнодумстве было перенесено, но он, вероятно, для петербургского влияния князя выговора отцу Григорью не сделал, а только призвал его и сказал:

— Слышу, вы колеблетесь в суждении о таинстве святого покаяния между римско-католическим взглядом и протестантским. Они весьма противуположны, но я их не осуждаю, а даже скажу: обои не худы. Но мы, как православные, должны своего не порицать и держаться — тем более что у нас исповедь на всякий случай и особое применение в гражданском управлении имеет, которого нам лучше не касаться. А потому — не разрушайте, да тихое житие поживем во всяком благочестии.

Но самому лично отцу Григорию преосвященный практику по его иностранному понятию не запретил, а, напротив, благословил его и сказал:

— Никому из духовных отцов не воспрещается вникать в состояние немощной совести кающегося грешника. Напротив, — препохвально поступать с рассуждением, а для того и расспрос и беседование на духу не осудительны. Только жаль, что не у каждого есть к тому способности, время и усердие; но усердного и искусного да благословит бог.

Отец Григорий возвратился без малейшего конфуза и как умел подражать чужестранным манерам, а притом еще легко и плавно по-французски разговаривал, то всех

лучших дам в городе к себе от других священников перебил, так что, несмотря на его недавность и не старые лета, многие даже от протопопов отстали и обратились в его духовные дочери, и, как заграничному, платили ему не то, что прочим, а часто по золотому, чего даже и ключарю раньше не давали. Если же он которой-нибудь на духу для большей понятности на французском языке наставление делал, то это иных в такие трогательные чувства приводило, что они гистерически навзрыд плакали и всё отцу Григорию готовы были отдать, а ничего ему не жалели.

Пример его одних огорчал, но других увлек к соревнованию. Так, смелее других ему поревновал отец Андрей, который в давней поре своей молодости в семинарии по-французски преподавал и еще малость помнил, только произносил французские слова на латынский штиль, и *ле, ля* в разговоре не знал ставить. Однако он знатных дам к себе от отца Григория не отобщил, а в расспросных подробностях, какие умел делать отец Григорий, сильно спутался. Случай был с одною экономкою, которая, оставив одно место, решилась унести у своих хозяев дорогие часы, а дабы у нее оных при обыске не нашли, она их проглотила.

После же трех лет неговенья она открыла об этом отцу Андрею и сказала, стыдяся:

— Я три года недостойно причащалась, скрывая грех: я скрала господские часы и оные в рот проглотила.

Отец Андрей хотел сделать на католицкий манер соображение и спросил:

— Какие это были часы: или стенные, или карманные?

Но грешница, услыхав такой вопрос, отвечала:

— Ах, батюшка, где же вы такой рот видели, чтобы через него стенные часы проглотить можно?! Они бы могли зазвонить у меня в середке, и я бы тогда жива не осталась.

Отец Андрей покачал головою и сказал: «Это правда, стенные бы зазвонили», — и с тех пор он впоследствии рассуждения не любил и всегда то правильное отечественное мнение разделял, что для русских никакие иностранные правила не пригодны.

ОСОБЫ ДУХОВНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И В СВЕТСКОМ БЫТУ ИНАЧЕ УВАЖАЮТСЯ

Губернатор, предполагая сделать у себя званый для всех лиц обед, передал своему правителю писаный список — кому надлежит послать приглашения. И как губернатор был очень занят делами, то он писал скоро и обозначал лица очень кратко, как-то например: «непремен. члену», «директору», «архирею». А правитель, тоже не менее занятый, и считая, может быть, что надписание приглашений по реестрику есть дело очень простое, поручил это сделать двум канцелярским — одному старшему и уже в чине, а другому младшему, который всего один год служил и чина еще не имел. Молодцы эти были: один из воспитанных светских школ, кузин институтской дамы, которой от губернатора особое почтение оказывано, а другой простой — из семинарии в приказные вышедший. Первый из сих, то есть кузин, обладал значительною легкомысленностию, а второй общепринятою в духовных училищах грубостию. И когда они два оставлены были при своих занятиях, чтобы печатные приглашения надписывать по кратко начертанному губернатором списку, то начали делать это кое-как — так что кузин, имевший плохой почерк руки, только произносил — кому адресовать, а тот простой, что из семинаров, под его диктант четким характером пера надписывал. — И оба они спокойно располагали, что умудрились прекрасно; и, скоро все листки надписав, отдали их верховому жандарму, который склал пакеты в кожаную суму и, надев на руки белые рукавицы, повез их возить по надписанию. Но надписание сделали как раз так, как губернатор со скоростию черканул в чернетке — то есть, например: «непременному члену», «директору» и «архирею». Так же было надписано и всем прочим, без всякого внимания к их заслугам и полному титулу должности. Так светский кузин диктовал, а грубый семинар, нимало сумняся, надписывал. Светские чины приняли это с тонкой политикой, как бы не заметив, но архиерей по внимательности своей заметил, и хотя, уважая зов губернаторский, в дом к нему приехал, но при возвратной отдаче ему губернатором визита, на прощании с ним, вынул из своего кармана разо-

рванный пакет с краткою надписью «архирею» и обратил его внимание на эту неуважительность.

Губернатор очень сконфузился и извинялся, и говорил:

— Владыко, простите и позвольте мне этот пакет, я все дело исследую и виновника строго накажу.

Владыка отвечал:

— Нет, к чему это? Я таких наказаний не требую, — но пакет отдал.

Губернатор же, приехав к себе в дом, тотчас призвал своего правителя и много кричал: «как это можно сделать, что надписать просто *архирею*? Разве вам нестерпимое монашеское самолюбие неизвестно? Сейчас мне узнать, кто в этом виновен, и того по надлежащему пункту со службы выгнать!»

Но, услыхав от управителя, что виноват в этом не один, а двое, и именно один кузин его знакомой институтской дамы, — губернатор тот же час первое пылкое решение отменил, а велел обоих виновников самолично представить архиерею, чтобы они просили у его преосвященства в своей ошибке прощения.

Правитель поступил, как ему насчет молодцов велено было; он призвал обоих тех скорохватов и велел им хорошо одуматься и изготовиться, как отвечать, а завтра явиться к архиерею для испрошения себе прощения. — Сам же правитель, явясь ко владыке, тоже в недосмотре своем извинялся и сказал, что оба виновника умаления сана присланы будут для нижайшего прощения. Причем просил, что, может быть, его преосвященство сделает им свою нотацию, чтобы знали, что только для его просьбы их не исключают.

Владыка сказал: «хорошо» и благословил прислать к нему виновников умаления в десятом часу на другой день.

Те и предстали — оба в форменных фраках на все пуговицы, в черных штанцах и причесаны гладко, а не по моде.

Владыка скоро к ним вышел без задержки, благословил обоих и заговорил ласково. Кузину, который только в том виноват был, что диктовал писать коротко «архирею», владыка сказал, что в быстром разговоре это для краткости еще простительно, но с надписывателем, который был из простых, беседовал обстоятельнее, и притом постепенно изменяясь и возвышая.

Поначалу владыка спросил:

— Как вам фамилия?

Тот отвечал: «Крыжановский, ваше преосвященство», ибо ему действительно такая была фамилия.

Владыка заметил, что это фамилия очень обширная:

— Крыжановские есть малороссийцы, есть и евреи, и также из польской шляхты, а также купцы, и дворяне, и низкого звания. — Вы, верно, из поляков? Поляки вежливостью отличны.

— Никак нет, — отвечал Крыжановский, — я не из поляков.

— Из евреев? Есть с образованием.

— Тоже нет, ваше преосвященство: я из малороссиян.

— Эти простодушны. Вы в кадетах обучались?

— Никак нет, — я учился в духовной семинарии

— Как! — воскликнул владыка, — в семинарии!!

— Точно так, ваше преосвященство.

— Так ты из духовных?!

— Священнический сын.

— Ах ты, бестия в новоместии! Кузин! удалитесь тотчас за дверь.

И когда кузин удалился в другой предпокой, то в ту же минуту услыхал нечто особенное, после чего Крыжановский тотчас же вышел, поправляя прическу, и объявил, что он владыкою прощен совершенно.

ЖЕНСКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИНЯЕТ НАПРАСНЫЕ БЕСПОКОЙСТВА

Жандармская полковница, еще не старых лет, но очень набожная, любила пространно исповедаться и столь была заботлива о своей душе, что всегда в каждый из четырех постов в году говела и каялась на духу отцу Иоанну, о котором писано, как он подвергся слабости и пострадал от случая с разбудившим его канареечным пением. Этот добрый священник все мог переносить, но от полковницы бывал столь утомлен, что, головою крутя, говорил:

— Ну уж бог с ней — такая она паче ума и естества многословная.

Когда же отец Иоанн отошел в лучшую жизнь, полковница целый год была в нерешении: кого из духовенства почесть избранием себе в отцы, и для того у многих испытывала по разу говеть и так дошла до отца Павла, о котором тоже преподано в истории с асессорским сыном. — Отец Павел всегда был нетерпелив, но в пост от картофельной пищи и свеклы с огурцами часто был еще хуже и тогда исповедовал с раздражением и колко, а та любила все говорить мелко и по институтской привычке все часто восклицала: *«ах»*. Что ее ни вопросить или о чем сама рассказывать захочет, все с того своего любимого слова начинает: *«ах»*. Например: «*Ах,* я ужасная грешница», или «*ах,* как я несчастна», и тому подобное — что весьма надокучало.

Отец же Павел, видя, что она к нему подошла и подклонилась, прежде всего спросил: зачем она себе одного духовника не изберет и всех переменяет? А она отвечает:

— *Ах,* я такая несчастная... у меня ужасные нервы, и я не могу привыкнуть...

Отец Павел говорит:

— Это и понятно, если постоянно переменять будете, то никогда не привыкнете.

А она опять:

— *Ах,* я не могу!

— Почему?

— *Ах,* это так трудно.

— Трудно потому, что вы все ахаете, а вы не ахайте, а сделайте просто без «аха».

— *Ах,* не могу, я очень чувствительна. *Ах!*

— Ну вот опять *«ах»!*

— *Ах,* — да я не могу.

— Попробуйте.

— *Ах,* я уже один раз попробовала и мне было так... *ах, ах!*

Отец Павел и перебил.

— Один раз, — говорит, — ничего. Один раз ахнуть можно, но постоянно это повторять не для чего.

Полковница гневно его покинула и, явясь ко владыке, принесла на отца Павла жалобу с плачем за ее оскорбление.

Владыка против слез сам подал ей воды, а в чем со стороны отца Павла сделана обида, «того, — говорит, — я не понимаю».

А полковница говорит:

— *Ах,* боже мой, но я понимаю.

— Так вы скажите.

— *Ах,* я не могу об этом говорить.

— То как же быть?

— *Ах,* мне пришла мысль.

— Если ваша мысль хорошая — то исполните ее, а если дурная — оставьте.

— *Ах,* совсем не дурная! Я вам напишу на листке, чтó я из слов его заключаю, а вы в другой комнате прочитайте.

И получив на то дозволение, написала свое понимание по-французски, а он возвратил ей листок с надписью: «Не понимаю».

Когда все это стало публике известно, то все тоже не понимали, чего не понял владыка: французского ли диалекта или того, что на нем выражено. И из-за этого много произошло, о чем полковница обижалась мужу, но для отца Павла это прошло без больших последствий.

СКОРОСТЬ ПОТРЕБНА БЛОХ ЛОВИТЬ, А В ДЕЛАХ НУЖНО ОСМОТРЕНИЕ

Туляк один, постригшись на Афоне в монахи, прослыл в делах прошения великим искусником и, быв отпущен в Россию за сбором со святынею, вдруг захотел прежних своих предшественников сразу пространить и превзойти в добыче. Для этого он, входя в дома благочестивых людей со вверенною ему святынею, с маслом и с бальзамом, с травками и с сухими цветками, всегда смотрел полезного и, замечая благосклонных людей, в благосклонность их вникал и просил о жертвах и записях. Усмотрев же так одного купца, страждущего в водяной болезни при смерти, он стал ему помогать святынями и склонил его, чтобы он, тайно от домашних, до полу своего состояния особым завещанием отписал на Афон, и тогда там вечно за него будут молиться. Тот, быв в немощи, согласился,

но и сам просил, чтобы дети его до кончины не знали. Тогда инок послал своего подручного взять из черного трактира трех штатских особ, которые без занятий в нужде и поглупее; одел их в черные халаты и колпаки, дал по два рубля и повел с собою в виде новоприбывших с Афона с пополнительною святынею. Придя же к болящему, вынял из рясы приуготовленное завещание с отписанием пожертвования на Афон и дал его подписать больному, а сам в это время стоял и смотрел в двери, дабы не взошли невзначай жадные к наследству родственники сего миллионера. И когда купец подписался, туляк, не оставляя смотреть в двери, сказал одному штатскому: «выставь скорее теперь ты свою подпись свидетелем». Тот написал: «Вечного цеха Иван Болванов». Тогда другой спросил: «Мне что писать?» — «Пиши, — говорит, — скорее и ты *то же самое»,* — и тот взял перо и написал *то же самое:* «Вечного цеха Иван Болванов», а потом и третий спросил: «А мне что писать?» а инок и этому еще торопливее: «Пиши *то же самое».* И когда этот тоже написал «Вечного цеха Иван Болванов», то завещание скорее спешно запечатали купцовым перстнем в пакет и, заперев в его стол, отдали больному ключ и ушли с миром. Но когда купец вскоре умер и завещание с отписанием на Афон было найдено, то оно никуда через ту опрометчивость не годилось, потому что все три свидетеля разными характерами прописали однако Ивана Болванова, которого и разыскать было невозможно, ибо имя тому штатскому было *Богданов,* а Болванов он написал по описке пера, а другие два ему в том последовали.

О ВРЕДЕ ОТ ЧТЕНИЯ СВЕТСКИХ КНИГ, БЫВАЕМОМ ДЛЯ МНОГИХ

Ректор содержал в семинарии племянника своего, его же любяше, и не имея иных живых отраслей родства своей фамилии, изрядно его от всех отличал: водил в тонком белье и в чистом платье и предполагал оставить его всего своего имения и имени наследником и поддержателем — в чем и духовную написал и положил ее за руко-

прикладством свидетелей лежать до умертвия. Племянник же тот был видом хорош и умом быстр, а сердцем приятен, и прошел уже все риторические и философские науки, и достиг богословского класса, и так как любовь ректора к нему все знали, то учредили его по общему предложению библиотекарем. А по той должности положили ему давать в месяц семь рублей жалованья. Это родственнолюбящему сердцу ректора было в благоприятие, а племяннику его открывало многие для его лет и приличные удобства и удовольствия, как-то: цветной галстучек для воскресного дня против положения других, или духов и помады на выход для прогулки. Но он стал располагать теми жалованными деньгами совсем не так, как от его юности ожидали, — ни перчаток, ни манишек, ни галстуков, равно как ни духов или помады, или еще чего-либо подобно невинного и летам его свойственного он для себя не покупал, а предался чтению книг чужеземных писателей, почаще всего аглицкого писателя Диккенца, через что в уме его, дотоле никаким фантазиям неприступном, начались слабости, предуготовлявшие его влиянию соблазна, от коего он и погиб, не наследовав ни славы, ни богатства, ни доброт своего дяди и не оставив другим после себя ничего, кроме страшного примера поучения.

Неподалеку от семинарии в малом домике над речкою при великой нужде и горести жила некая вдова рисовального учителя и, наконец, дождалась дочери, которая, достигши шестнадцатой весны, стала ей помогать в шитье рубах на семинаристов. Тогда обе они от этого скудный заработок свой получать начали и тем терпеливо и честно себя содержали через целые два года, но, не менее того, врагу рода человеческого, всюду успевающему посевать бедствия, обе эти женщины, столь казавшиеся честными, соделались виновницами превеликого несчастия для достойного и предуставленного к счастию юноши, который имел все права быть под покровительством особ самых именитых.

Обычаем было так, что мать с дочерью своею работу на семинаристов шили, а когда время наставало, эконом посылал двух служителей с корзиною, и мать с дочерью в ту корзину все свое пошитье укладывали, а служители, продев в нарочитые кольца корзины длинную палку

и взяв ее концы к себе на плечи, оба ее несли, а вдова за ними сзади тихо следовала, а дочь оставляя одну в домке. По принесении же белья эконом оное весьма смотрел и в достоинстве проверял и только тогда принимал; но всегда сие было без спора, потому что все от них принесенное всегда было в большом порядке. Потом же эконом им производил работный расчет, и вдова получала деньги под расписку, и дешевле их ни одна шитвица не соглашалась, ибо они одни могли так дешево брать, потому что жили в своем домке. Домик был хотя худ и мал, но за квартиру они все-таки не платили, и отец эконом, который постригся в монахи из тульского купеческого сословия, это принял и на том цену им сбавил. Но не радостно было то, что от этого последовало, в самом, так сказать, романическом роде.

Случилось раз такое обстоятельство, что сама вдова заболела некоторою опасною болезнию ног от простуды и прийти к расчету в субботу за получением денег сама не могла, а послала ту свою дочь, сказав ей: «Видишь, что я нездорова, а ты уже не маленькая: пойди перемени меня и получи деньги на наше употребление».

Дочь пришла к отцу эконому, и как она видом была очень худенькая, то отец эконом ее не оставил перед собою долго на ногах стоять, а сказал «сядь» и, видя ее пред собою неопытную, стал учитывать строже для экономии и нечто из платы им сэкономил, но зато, видя ее невозражение, при отпуске ее обратно домой подал ей для лакомства на дорогу отрезанного рахат-лукума, приготовленного с розовым маслом, от коего сладкий и приятный дух, будто от рук архиерейских, ошибает и обоняние приятно нежит.

Та же девица, приняв сладость, поблагодарила, и как в другой раз в следующую субботу за счетом пришла, то уже принесла эконому в отдарение за его рахат-лукум простой белый носовой платочек, но с преискусно на уголке вышитою шелком пташкою журавель и, подавая это, сказала, что просит принять подарок за внимание к больной маменьке, которой она данное ей экономом лакомство отнесла, а это шитье своего рукоделья приносит.

Эконом этот злополучный дар принял и по случаю показал затейный платок ректору, а тот сказал: «К чему тебе это? И я хочу иметь и себе такой, и мне нужнее,

когда случится на купеческом обеде вынуть. Скажи ей только, чтобы мне птица была другая, более соответственная, а не журавль». И учтивая сиротинка скоро сделала два платка и принесла до выбору на вкус ректора, а у обоих платков на углах шелком метаны разные птицы: одна цапля на вершине древа гнездо свивает, а лунь в темном воздухе плывет и во тьму красными глазами смотрит. — Все шитье было весьма искусно, но ректору не понравилось, потому что он себя скоро в архиереи ожидал и мечтал уже, чтобы ему стоять на парящих орлах и дух воздымать в превыспренные, но сказать о том через эконома не хотел, да не молва будет в людех и да не повредит. А девица же, всего этого понимания чуждая, ему двух птиц наметила: ночную да болотную — что совсем как бы в насмешку. Ректор призвал ее пред себя персонально и говорит:

— Шитво твое искусно, но фантазия выбора несообразная. Для чего ты мне, духовному лицу, напрасно такую птицу вышила, как цапля, которая на болоте сидит или только по грязным берегам шагает? Это неуместно.

А она ему отвечает, что цаплю вывела в том рассуждении, что цапля птица древняя, из Египта, и она змей и гадов поглощает и тем содействует очищению земли от темных пресмыкающихся. И привела от неожиданной в ней начитанности, что большие болотные птицы составляют отдаленное потомство тех, кои своею работою освободили землю от гадов, кишмя кишевших при ее начальном виде, и тем сделали лучшим жителям жить можно. А потому-то она и нашла, что цапля духовному лицу будто очень прилична.

— Напрасно ты много рассуждаешь, — отвечал ректор. — Да и если бы так, то тогда к чему же другая — эта сова, или лунь, красными очами во тьму смотрящий?

— А это, — отвечает девица, — к тому, что он во тьме его окружающей сам свет в себе имеет и вредителей жизни видит.

— Да ну, ты, вижу, немалая вольнодумка и очень вольно рассуждаешь... Но тогда скажи: для чего эконому в его малом чине журавля в небе дала?

— Журавли порядок любят и справедливый суд судят.

— Ага! вот какая ты Шехерозада! Ну, однако же я не султан и долго тебя слушать не намерен; но ты очень вольно рассуждаешь. Сделай же ты мне теперь до выбору еще два платка, только так, чтобы могла мне угодить. Назначь такую птицу, которой дано в самых высях парение и оттоле широкое созерцание.

Говорит он ей это, ясно знаменуя птицу орла, на котором желал опереть свои нози, но прямо то выразить и ей не желал, чтобы не было пересказу, а ее вкусу и благоразумной догадке доверялся; но она хотя тонкий вкус в изучении своего мастерства имела, но почтительную догадку ко угождению особам через многочтение светских книг совершенно утратила и ум свой и доброту чувств испортила. Так она, своими затеями водяся, принесла ректору два новых заказа, где на одном была преизящно расшита малая телом птица, имеющая предлинные, как распущенные парусы, долгие крылья, а другая — ласточка. Понятно, что они обе ректору не понравились, и он спросил о первой: «Это что за помело и что оно выражает?»

Девица же отвечала:

— Это океанская птица, по названию *Фрегат*. Она над беспредельностью вод летает на такое далекое пространство, куда ни один орел не смеет отважиться.

А ректор сказал:

— Не твое дело говорить так об орле: на орла изображении высший сан духовный в церкви становится.

Девица покраснела и стала приносить извинения, что об орлецах, в служении употребляемых, не знала, а судит об орле так потому, что птицы эти хищничеством живут, других терзают и живую кровь проливают. Для того ей и казалось, что орлы на языческих знаменах изображены, а в христианском вкусе ей лучше орлов кажется тихая ласточка, милосизая птичка, у окна мирных домов обитающая, отлетающая и опять к нам отовсюду возвращающаяся.

Ректор ее слушал и на нее смотрел и молвил:

— От кого ты, однако, таким неистовым духом напоена? Повинись и принеси откровенное покаяние.

И она, повинясь, извинения просила и отвечала, что другого научения не имела, как с покойным отцом своим,

учителем, говорила и от него же приобыкла читать много книжек, отнимая для того часы от своего сна и отдыха.

— А какого писателя ты больше книжки читала?

— Диккенца.

А на вопрос: через что ей Диккенц очень нравится? — отвечала, что чувствует утешение в соревновании благородству характеров и правил тех скромных лиц, которые у этого сочинителя представляются в самых простых житейских оборотах и силу себе почерпают в кроткой высоте христианского духа. — На вопрос же: имеет ли она себе образец женской добродетели, коей имеет симпатию следовать, она назвала «Малютку Дорит», которая при отце в дурном сообществе, в котором жила, между самыми порочными людьми и всех жалела, но сама чистотою и кротостию отличалась. Ректор велел ей лучше иметь примером моавитянку Руфь; но та, скромно на него глядя, ответила, что Руфь ей не во всех поступках равно нравится и она во всем следовать ей как христианка не может.

Столь строптивый ответ побудил ректора приказать ей немедленно удалиться, а после того тотчас же и платки ее изделия ей отосланы обратно с племянником, без покупки, и пошитво белья у них отобрано и передано другим шитвицам. А чрез такое справедливое наказание, наглостию той девицы заслуженное, она с больною матерью стала терпеть большую нужду и от одного порока незаметно перешла к другому. А именно, когда племянник послан был к ней для того, чтобы видеть беспорядок ее мыслей, пришедших от чтения, которое и сам он избрал, то вышло, что он, принесши ей обратно платки и мало с ней поговорив, а также увидав их бедность, поддался юношескому пылкому обольщению, и начал находить в душе ее нечто для него трогательное, и вдруг начал благородство ее выхвалять, а дядю, в котором имел такого благодетеля и такого наставника, стал осуждать. Потом же скоро от преданного ректору человека узнано было, что племянник принес и отдал матери той девицы все свое жалованье, семь рублей, которое получил за месяц, и когда ректор его в том обличал, то он отвечал с грубостию: если они и враги, то и врагов напитать должно, а что он не может сносить их бедного благородства и в принесении помощи усматривает лучшее удовольствие, чем в покупании для самого себя перчаток, галстуков

и помады. А еще через малое время объявил искреннему своему товарищу мысль совсем в духовное звание не идти, а поступить в светские и на той Дикенцовой барышне жениться. Товарищ же тот, правильно поставленный разум имея и ректоровым мнением дорожа, как должно, — тайну эту ему тайно же, для спасения друга, предал, и тогда иные меры приняли, а именно: тогда ректор попросил полицию испытать наследницу учителева учения: коего она духа? а племяннику объявил, что он теперь только надвое избирать должен: или жениться на кафедрального дочери и хорошее место получить, или же всего лишиться, и три лишь дня ему дал на рассуждение.

Полиция испытала девицу: коего она духа, — отпустила ее домой с отзывом, что за ней ничего не открыто, а молодой человек, после многих слез и глупых воплей и стенаний от мечтаний своих, был на третий день согласен отказаться от своего пристрастия с тем лишь, чтобы той девице дано было сколько-нибудь денег и она бы сама их любовный уговор отвергла и отказалась, ибо он легковерной клятве своей хотел быть верен, но и места в хорошем приходе упустить не желал.

Видя такое колебание, ректор, движимый родственною снисходительностию к племяннику, и это его настойчивое желание исполнил: он послал девице с письмоводителем двести рублей, чтобы она деньги взяла и немедленно написала отказ малодушному, но она и тут обнаружила гордость: денег нимало не взяла и даже в руки не приняла, но требуемый отказ гордо и скоро написала. А как тут одновременно и окончание курса приспело, то освобожденный племянник сейчас же на дочери кафедрального женился и рукоположен во священники с назначением на завидное место. Но судьбою сему непослушному за его непослушание, которого и потом не оставил, не суждено было прочного счастия. Были ему даны и достатки, и жена домовитая, простая и не мечтательница, которая ему в три года брака их даже четырех прекрасных младенцев подарила, так что он вполне вкусил счастия семейного; но он, однако, не притупил жала скорби и среди всех радостей тайной тоскою томился, и когда на четвертом году его брака та бывшая его самовольная невеста от злой чахотки скончалась, в нем то долго сокрытое жало греховной любви столь обнажилось, что он за-

был все касающее своего сана, пришел в храм, где ее отпевали, и, стоя при гробе, горько плакал. А потом, как бы ничему не внимая, стал ходить на прогулку к городским ветряным мельницам, которые за домком осиротевшей вдовы на городском выгоне стояли, и видали его, что неоднократно ко вдове заходил, и ее словами утешал, и денег ей подавал, и сам с нею недостойными мужества слезами плакал. Так он дошел до той меланхолии, что, приходя к тем мельницам, где покойная часто сидеть любила, сам тут долгие часы проводил в тоске и даже не боялся, что иногда ночь его здесь застигала и облегала тьма, а только дыханье ветра да шум от резко машущих крыльев, да разве мельник на миг поглядит из дверей с фонарем, да пес с проезжим помольщиком под телегою тявкнет, и снова все стихнет. Но он никакого из сих впечатлений не тяготился и после одной бурной ночи найден убитым мельничным крылом, под которое, вероятно, в углубленном раздумье ринулся и был сначала высоко взброшен вверх и потом, перекинутый силою, ударен о землю, отчего от разу лишился и сей, ему несносной, жизни, а быть может, и будущей, ибо пресек дни свои сам своевольно.

Ректор же, быв тогда уже архиереем, сам сего несчастного безумца отпевал и, стоя на орле, действительно всем показал свою твердость и неволнение, ибо, достойный своего сана, он уже не свояси и не южики в сердце своем привитал, но обнимал в ней же поставлен пасти.

Так это чтение книг романических столько душ погубило, которые могли бы иметь свои законные радости, и — что дражае того — мужа достойного все родные заботы о кровном и искреннем ни во что обратило. Таков Диккенц.

НАДЛЕЖИТ НЕ ОСУЖДАТЬ ПРОСТУПКОВ, НЕ ЗНАЯ РУКОВОДИВШИХ ИМ СООБРАЖЕНИЙ

Иеродиакон немолодых лет, но могутной плоти, первейший бас и в служении искусный, имел страсть к биллиардной игре и однажды в день пятничий на страстной неделе, отслуживши и почитая себя от обязанностей сво-

бодным, рассудил за безопасное удовлетворить свое влечение к биллиардной игре. Для того он пришел в заведение, где названному влечению своему мог угодить, и уже позвал трактирного служителя, но служители, как один, так и другой, от игры отказались, сказав, что в такой день не могут. Но в эту пору пришел тут квартальный, и они с квартальным стали играть не на подлаз под биллиард, а на деньги. Квартальный же, верный полицейскому нраву, брать любил, а платить не изволил.

Так и тут пришлось: обнаружил он свою полицейскую низкость и платить не хотел, а стал уверять, что уговор был на «подлаз», а не на деньги, и что он сейчас тот уговор готов исполнить — шпагу снять и под биллиардом лазить. Но дьякон этого не хотел и говорил: «Что мне за удовольствие?.. Деньги лучше».

Тогда квартальный потребовал, чтобы в таком разе продолжать игру до его отыграния и за всякою партиею выпивать мазу по большой рюмке рому или вина. Диакон, желая свой выигрыш получить, на то согласился, и как он лучше квартального играл, то опять все-таки выиграл, и то, что надлежало ему выпивать, пил честно. Когда же он от выпитых им рюмок мазу охмелел, то, будучи в своем праве, стал круче с квартальным поступать и требовать от него уплаты девяти рублей проигранных денег. При этом завели спор, во время которого неизвестно кто и каким образом весьма старое биллиардное сукно кием подпорол и испортил.

Тогда к спору их присоединился трактирщик, и его трактирные слуги, не смея рук своих на квартального тронуть, весьма смело подняли оные на иеродиакона. Они с наглостью стали уверять, что это, конечно, по их рассуждению, от игры в такой великопостный день, и что вред тот доподлинно сделал не квартальный, а диакон, и он за то сейчас сорок рублей заплатить должен, или если таких денег с ним нет, то они пошлют дать знать монастырскому начальству. А когда иеродиакон сообразил, что это есть подвох и что сукно, давно обновления требующее, вероятно, вспороно некоторым из служителей, от игры за страстным днем отказавшихся, то платить не захотел и, несколько излишне на могутность свою полагаяся, стал их плещами пожимать и отталкивать и сам к двери выхода подвигаться; но тогда все вдруг с азартом на него кину-

лись, и, после буйственного на него нападения, один, наибольшею военною хитростью одаренный, вскочил на биллиард и с высоты биллиарда набросил на фигуру диакона с головой пестрядинное покрывало, так что он очутился как подсвинок, которого мужик заключил в мешок и, завязав, везет на базар, и тот только может визжать, но ничего не видит. Так и его, покрыв, приступили бить со всеусердным ожесточением во все части и, нащупывая, где его глава, за власы его притягали, и платье на нем порвали, и, руки под пестрядину подсунув, часы с бисерною цепочкою и деньги с кошельком до девятнадцати рублей совсем с карманом из вшивного отверстия изъяли. Словом, так его отдушили и обидели, как оного евангельского, шедшего по пути и впавшего в разбойники. И все это душегубительство они произвели так, что оный несчастный, быв повергнут и придавлен, с покровенной головою, ничего сам не мог видеть: кто именно в какое место бил и что с него совлек, и одно что для своей защиты мог, то сквозь пестрядину зубами кусался. Но бессердечным обидчикам этого страстотерпца и всего того, что сделали, еще мало показалось, а они или, лучше сказать, квартальный (ибо его это была погибельная мысль) такой захотел дать оборот, чтобы еще битый у небитых сам отпущенья просил и умолял о покрытии его их ненадежною тайностию, и из этого места откупился.

Так, когда штатские всем совершенным ими над диаконом удовольнились и помышляли уже приступити к метанию между собою жребий о похищенном, квартальный был несыт причиненным и сказал: «Еще не прииде тому час, а призовите мне моих охраняющих солдат, пусть свяжут ему руки и поведут сего буяна, чтобы все видели, и довлеет ему, а там, в монастыре, его сдать на руки, и там ему его священнодиаконство помянется и аксиос ему пропет будет за то, что в такой постный день на бильярде играл и вино пил».

Услыхав же это, диакон стал ротитися и клятися, что он у себя в келье в клобуке имеет еще сто рублей секретно заделаны, и все их отдаст, только чтобы по улице его яко связня не вели, а с свободою рук отпустили. И штатские хотели его с одним человеком отпустить, которому бы диакон, придя домой, деньги за двери вынес,

но квартальный, исполнясь недоверия к пострадавшему духовному, сказал: «Нет, он как уйдет в обитель, то денег уже не вынесет и нас обманет, а лучше держите его, и представим приставу, чтобы и тот от сего случая не скуден остался». И, шед вон скоро, привел сюда с собою частного. Частный же, рассмотрев дело и видя диакона присмиренного и весьма потыканного и одертого, понял и погрозил квартальному перстом, а солдатов и штатских выслал, а диакону сказал:

— Восстав, идем отсюду, — и был ему за истинного самарянина: всадил его вовнутрь своих крытых дрожек и повез на своем скоте, а дорогою полезный совет дал: «Ты, — говорит, — сознайся и факта трактирного не отвергай, но что у тебя будто сто рублей в келье в клобуке заделаны, не обнаружь, потому что они тебе самому годятся на другой случай, а отвечай смело, и за тебя тот, кому надо, больше заплатит. Я эту необходимость понимаю».

И привезя впавшего в разбойники с собою в обитель, доложился игумену, которому все рассказал и, быв с ним наедине, предложил тому на выбор: оглашению дело предать или дать ему триста рублей на потушение. Игумен же был весьма в правлении опытный и, видя в чем дело и какой может быть стыд, много не говоря, просимые деньги приставу вынес и подал; после чего тот сейчас и уехал, а потом игумен стал диакона укорять и выговаривал:

— Зачем ты в такое место попал?

— Ни для чего другого, как для биллиардной игры, — отвечал диакон.

— Но почему именно в такой великоскорбный день, когда никто не ходит?

А тогда диакон, сам на себя негодуя и видя уже, что все опасное для него за данными приставу поминками миновало, а голос его к служению нужен, робкость оставил и, осмелев, с досадою ответил:

— А вы когда же мне ходить прикажете? В простые дни всякая сволочь мирских людей в те места вхожи, а в такой день, как ныне, мирянин идти не отважится.

Так поступок его хотя непохвален, но рассудливость не почтена быть не может.

СЧАСТЛИВОМУ ОСТРОУМИЮ И НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ ВОЛЬНОСТЬ ПРОЩАЕТСЯ

Регент архиерейского хора, быв большим красиком, так в переплете любовных историй от приезжавших ко всенощной дам запутался, что часто по пропетии «Слава в вышних богу» с хор утекал или с направлявшимися к выходу женскими особами глазами перемигивался, но владыка, любя его хорошее регентство и приятный тенор-бас, а о соблазнах женских знать не желал, то и том регенте, что ему много докладывали, ничему не верил, и чрез то довел его до такой уже слабости, что регент на масленице перед самым началом поста, допустив одной богатой и роскошной вдове увлечь себя без спроса в неизвестное место, которое потом оказалось ее отдаленным имением, где они двое без детей ее и пост встретили, и регент там чрез многие дни на попечении ее оставался. Тогда уже и сам владыка в благоповедении своего регента, которого оправдывал, усумнился, но управлению же хором никого более достойного не было, и тогда один иеромонах Феодосий, быв отцу Павлу по семинарии товарищ и даже нарицаяся друг, но не верный, и втайне зложелатель, ибо много осмеяния от острого отца Павла ума перенес, ухищренно помянул владыке, что отец Павел превосходно ноту знает и в давнее время при прежних архиереях хором управлял. Владыка обрадовался и, скоро послав за отцом Павлом, стал ему излагать:

— У меня, — сказал, — большое и неожиданное затруднение, и ты мне помоги.

— В чем такое? — вопросил, как бы ничего не ведая, отец Павел, а между тем отлично все ведал и от пришедшего за ним посла за малый дар все расспросил и ответ обдумал, так чтобы все кругло было и отцу Феодосу со шпорою.

Архиерей же просто говорит:

— Я тебя очень прошу: стань, пожалуй, вместо регента до его отыскания. Ныне поют «Покаяния двери» и без руки путают.

Отец же Павел рассудливо соображал себе: добре! стану я его певчим рукою кивать за одно его ласковое внимание, а если откажусь прямо, то за долг подчинения приневолить может, а вещественного ничего не даст:

на первой же неделе поста после всех чувств от масленичных излишеств ко всем духовным отцам притекает самый усердный исповедник, который грех безумия своего помнит и священнику не очень скупится. Отец Павел этой пастырской практики решиться не захотел и, пойдя на отыгрыш остроумием, отвечал:

— Нет, владыко, не примите за грубость, — я этого не могу.

— А для чего так?

— Стар стал и не сдействую.

— Неправда, — сказал архиерей, — мне отец Феодосий сказывал, что ты в сем году на Петра и Павла у себя на именинах в саду всем весело распевавшим хором управлял.

— С той поры, владыко, ухо у меня болело и слуху не стало.

— А неправда твоя: отец Феодос говорит, что ты всегда слух к пению имеешь склоня и чуть ошибку поющих услышишь, на то головою киваешь.

— Все это, владыко, уже прошло, и слух мой отупел, и я его к пению не склоняю.

— А для чего же отец Феодосий говорил, что еще склоняешь?

Но тогда отец Павел, много раз именем своего тайного ненавистника уколотый, сам ему отплатил и с обычною остротою и смелостию своего ума так ответил:

— Что и недавно, владыко, было, но ежели ныне уже не есть, то и не пишется в реестр, а если вы не сочтете, владыко, за грубительство, то я вам против моих слов живое и неопровержимое доказательство могу представить на самом том превелебном отце Феодосии. Слышал я и несомненно тому верю, да и вы поверить изволите, что он свою чистую и святую главу к женским персям склонял и устами припадал, но ныне, мню, ни за что того не сделает.

Владыка, распалясь в негодовании, вскричал:

— Я этому не верю и тебе повелеваю не верить.

А отец Павел отвечал, что он не верить не может, ибо читал и учил, что даже явленные миру святые, чудесами просиявшие, в детской поре к грудям своих матерей припадали и млеко из оных сосали, кроме токмо сред и пятков и других постных дней. А для того неосужденно ду-

мает, что и отец Феодосий, кроме сред и пятков и других постов, церковью установленных, сосать грудь матери своей был обязан.

Владыка смягчился и заметил:

— Если так, то все быть может!

О БЕЗУМИИ ОДНОГО КНЯЗЯ

В первые века христианства и в некоторые позднейшие годы до нынешнего полного порядка токмо лишь епископы были «мужьями единыя жены», прочие же клирики, как и священники, при случае вдовства не остерегались второбрачия и даже третицею посягали. Тем они избавлялись от соблазнов и подозрения, но притом уже были, как и все прочие, без особого уважения. Впоследствии же, когда христианство в нынешнее совершенное устроение пришло, которое уже никогда не пременится, то упомянутая поблажка в повторении брака замешалась только у лютеранских народов, как немцы, шведы и англичане, имеющие духовенство неполное и безблагодатное. В нашем же восточном исповедании, которое славно между всеми полнотою благодатных даров и имеет все чины духовные, то дабы его еще большею полностию исполнить, то изобильные правила и установления последующих времен для него еще поощрены возвышениями. Так великий епископский чин у нас совершенно обезбрачен, а священники и диаконы токмо единожды до посвящения их в брак вступать могут, и то не иначе как с девою, а не со вдовою. Вдова же, хоть бы как ни была честна, и добротолюбива, и непорочна, но она уже недостойна иметь мужа, готовящегося к получению благодати священства от рукоположения епископа. А посему хотя таковое правило ко благочинию церкви есть весьма необходимое и полезное, но вдовы попов если молодые остаются, то они уже во второй раз за соответственного человека, готовящегося ко священству, никак выйти не могут, а если скукою одиночества или стесненностию жизненных обстоятельств побуждаются вторично искать опоры в браке, то могут токмо в своем духовном звании за дьячка или за пономаря, а в штатских за кого при-

дется. Но это в таких только разах бывает, если за духовной вдовою есть имение и если она сколько-нибудь для светской жизни образована в отношении разговора, танцев и прочего, что в светской жизни не так, как среди духовенства: иначе же всегдашнее вдовство становится для молодой попадьи ее неминуемою участию, которой ей и должно покориться. Но бывают и в этом безответном и добром сословии непонимающие, строптивые и непокорные, из коих об одной здесь предлагается случай.

Были два священника, оба учености академической и столь страстные любители играть в карты, что в городе даже имена их забыли, а звали одного «отец Вист», а другого — «отец Преферанц», что пусть так в этой записи и останется. Случилось же одному из них, именно отцу Висту, совсем неожиданно умереть, и оставил он шестнадцатилетнюю дочь преприятнейшей наружности и с воспитаньицем. А у отца Преферанца был сын богослов, которого лучше любили звать «бог ослов». Он учился в последних и окончил курс с превеликим горем, за старание родителей: ибо был он безо всякой памяти и страшлив до той глупости, что сам не знал, чего боялся, и до возраста самого просил, чтобы его всюду кто-нибудь провожал, а без того не решался. По ходатайству же того самого отца, сему преудивительному трусу было предоставлено место умершего Виста, с обязательством взять в жены ту преприятную красавицу, Вистову дочку. Так это все было и сделано, как начальство усмотрело и признало за благо. Преферанцов сын был обвенчан и рукоположен во священники и священствовал целый год, но по пороку беспамятства никак не мог научиться служению, и всегда его постоянно по церкви водил за руку и учил старый дьячок, хорошо службу понимавший, а в доме им руководствовала жена или ее мать, но обе они не радовались своей власти, а напротив, мать часто жаловалась и плакала, что муж у ее дочери совершенно как несмысленное дитя, всего боится, особливо же в ночное время или когда вспомнит о покойниках, к коим он совсем не мог ни подходить, ни прикасаться, а если отпевал издали, то после долго трясся. И вообще он от страха никогда не засыпал иначе, как чтобы горел огонь и все спали в одной с ним комнате, и жена, и ее мать, и еще кто был в доме, и сам всегда прятался к стенке. Но хотя он во всех разах по-

стоянно был осторожен и с провожатыми, но однако, выйдя по одному случаю вечером на крыльцо, заторопился впотьмах и, вообразив что-то страшное, жалобно вскрикнул и упал от ужаса, попав головою на оскребальную скобку, и повредил темя. От этого он сразу всех последних способностей и ума лишился, и целых два года всюду прятался, и только, голодом побуждаемый, мычал как теленочек, когда для того час его пойла настанет. На третий же год он умер и погребен с честью, как по сану его подобало, в ризах, и со святым евангелием, и с крестом, а место его тотчас дано другому. Молодой же вдове сего несчастливца, которой было в ту пору всего только девятнадцать лет, осталось делать что хочет, без всякой помощи. Но у нее был крестный отец советник, и он так этого оставить не хотел, а приехал к архиерею и очень смело стал ему излагать некоторую известную ему тайну, что оставшаяся вдова робкого покойника должна иметь все права как девица и, выйдя вновь замуж, составить свое и мужнино благополучие: ибо долгое ее терпение с тем покойником одно превосходство ее сердца и характера показывает. Для этого он просил владыку возбудить ходатайство о дозволении ей удержать место за нею как за девицею; но владыка сказал: «Как подобное ранее не предусмотрено, то и не стоит, да не молва будет в людех». Этот любопытный случай, быть может и еще когда-либо возможный к повторению, однако не остался в совершенной сокровенности, и именно — прокрался в молву. Овдовевшая же, оставшись в горестной нужде и еще к тому же мать при себе имея, ни за дьячка, или мещанина, или однодворца чтобы выйти замуж ожидать не захотела, а пристала к хору поющих цыган, проезжавших тогда в Курск к перенесению иконы пресвятыя владычицы Коренския, честного ее знамения. Цыгане же, за приятный и чистый голос той женщины, приняли ее в свой табор и хорошо ее и ее мать содержали, но как молва о ней была известна, то она прозвалася от всех в хоре *«мадемуазель попадья»,* и жила в Москве на Грузинах, и была очень славна своим пением, и потом вышла замуж за богатого князя, который ни за что бы на ней не женился, если бы она была вдовая попадья, а не свободная цыганка.

Так-то светского звания люди, в нелепом своем пренебрежении к роду духовных, сами себя наказуют и унижают свой собственный род, присоединяя его даже лучше к цыганству.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ВСЕОБЩЕГО НЕДОУМЕНИЯ

Священник смирного, но втайне самолюбивого нрава, овдовел на седьмом году своего супружества и, высшее в судьбе себе назначая, воздержался мелких забот о жизни и воспитании оставленных ему женою малолетков, а избрал иной путь, его достойный, и для того оставил детей на попечение тещи, а сам благословился у владыки и пришел в обитель искать иноческого чина. Но игумен обители, старец благочестивый, приходящих из духовного звания не любил, ибо находил скромности и послушания гораздо больше в простых и неученых людях, и сказал новоначальному: «Поживи сначала так и посмотри еще, можешь ли все понести». Новоначальный же брат выслушал это смирно и остался в отведенной ему келии, а для надзора за ним и полезного руководства унрежден нарочито опытный инок, высокой жизни, и тот, через три дня по поступлении упомянутого новоначального, стал замечать за ним странность в непомерной томности его лица и в упадке впалых глаз и всем осунувшемся выражении. Но тот благочестивый старец, как многоопытный в жизни, примечал, что у вдовцов часто в обители такое мрачное расположение духа приходит от воспоминаний пищи и домашних радостей прошедшей обеспеченной жизни, но однако, сколь сие ни сильно, но при желании духовных достигнуть в каждом разе высшего себе сана скоро препобеждается и проходит. Только в этом случае все несколько иначе продолжалось и с бо́льшим ожесточением. Так, брат, которому поручен был новоначальный, надзирая за ним в свою противную дверь, усмотрел, что тот ночною порою, коль скоро все в обители улягутся, как бы ужаленный страстью, из кельи своей выбегает и, содрогаясь, тихо стонет, а потом целые ночи не спит и в келью не возвращается, а, побе-

гав по галерейке, становится у стекол и, прислонясь к оным лбом, глядит вдаль на кресты и памятники окружающего кладбища. Опытный брат еще более утвердился, что новоначальный скучает об усопшей своей жене и вопиет к земле о возвращении. Когда же заметил, что это, не прекращаясь, все продолжается, то, приотворив свою дверь, сказал ему:

— Это нехорошо, брат! Для чего ты стоишь в галерее? Иди, помолись и усни в твоей постели.

А тот отвечал:

— Не могу.

И открылся, что, с тех пор как перешел из своего дома в обитель, уже одиннадцатые сутки уснуть не может. А опытный брат ему отвечал:

— Послушай меня в том, чем я тебя могу пользовать моим советом: походи ты на ночь подольше по воздуху и, возвратясь в келью, съешь как можно больше черного хлеба или крутых ржаных блинов с вареным маслом до сытости и тогда ляжь, ни о чем не думай, кроме проносимых над головою твоею облаков. Пища черного хлеба на ночь и представление облаков весьма сильно на отдых позывает и дает сон, и ты непременно уснешь, как скоро так сделаешь.

А как брат этот был добр, то сам принес новоначальному целую половину мягкого ржаного хлеба, и тот все съел; но как ни старался лежать, представляя себе проносящиеся облака, однако, внезапно сорвавшись с постели, опять выбежал на галерею и провел на ногах двенадцатую ночь, глядя на кладбище.

Тогда опытный брат, видя, что в новоначальном даже ржаное зерно не спит, сказал игумену, и к неспящему брату был прислан монастырский врач, инок из старых морских лекарей, который знал лечение, как следует по монастырской жизни, и всякому из братии помогал при употреблении постной пищи и не обнаруживая нескромной пытливости насчет причин, ибо все бывает от воли божией.

Сейчас же он дал неспящему росные кропли и сказал: «Прими и будешь спать крепко», и тот принял, но опять не заснул нимало. Тогда врач-инок на другую ночь пустил ему в рюмку воды усыпительного опиому и велел проглотить; но сна даже и от этого опять не было, напротив же,

новоначальный от того будто стал бредить и водить глазами, с остолбенением, в потолочную точку.

Видя это, врачующий брат посадил его на скамью и, дав ему в левую руку длинную палку от подметальной щетки, велел держать оную и перебирать по ней перстами как можно дробнее и почаще; а сам обнажил ему руку по самое плечо, стянул оную столь крепко ремнем, что все жилы натянулись как дратвы и, ухватив самую сильно напрягшуюся жилу, просекнул ее острием ланцета, отчего кровь в ту же минуту бросилась вверх ручьем, и ударила, и полилась в медный тазик. Когда же крови было спущено столько, что острота вида в глазах пользуемого утишилась и он с потолка опустил глаза к полу и стал как бы засыпать и со скамьи клониться, то братия его взяли под силу, и положили в постель, и вышли, заперев дверь до утра. Но поутру застали его опять стоящего на ногах и говорящего уже совсем невнятным языком.

В таком случае, почитая его поврежденным в рассудке, отправили его в городскую больницу, где светский лекарь, расспросив что и как было и чем пользовали, стал врача-инока порицать и над кроплями из росного ладана смеялся, а раскрыл перстами веки больного и, по рассмотрении измененных его зрачков, сказал, что по нынешней науке, которая от старого времени вперед большие шаги сделала, причину всякой болезни можно открыть не иначе, как чтобы всего человека разложить вдоль и пристукать и подслушать. Тогда все верно окажется.

И, положив болящего, начал его пристукивать руками и подслушивать ухом, и сказал, что понял все, что в нем происходит, и сейчас же велел старшему фельдшеру, какую над ним надписать латынскую болезнь. Потом же приказал посадить болящего брата в теплую ванну, и после, выняв оттуда, дать ему выпить лекарство, какое следует по новой науке, и положить в постель. Но как только новоначального брата раздели и он в теплой ванне согреваться начал, то там же, несмотря на все удержания, сейчас заснул, так что лекарства ему уже дать не могли, а, надев на него на сонного белье, положили в постель, и он все спал, как младенец, и проспал таким манером целые трое суток, и как возбудить его было невозможно, то уже думали, что он умер и не проснется. А на четвертый

день он сам проснулся в третий звон о заутрени и был здоров так, что даже румянец в нем заиграл на щеках, и он попросил себе пить чего-либо кислого, но ему дали чаю с белой булкой, а в тот же час фельдшера побежали за всеми старшими и младшими докторами, которые приказали их немедленно известить, коль скоро столь удивительный больной проснется, ибо о сне его и о прежде бывшей бессоннице они все хотели сочинения писать и в медицинской ученой газете печатать.

Все доктора, как старшие, так и младшие, пришли скоро и опять больного пристукали и подслушали, а потом стали любопытно расспрашивать: сколько ему от роду лет и какого он звания?

Тот отвечал правдиво и явственно.

— Не было ли у вас когда-либо прежде до сего случая продолжительной бессонницы и потом очень долгого сна?

Он отвечал, что бессонницы у него до прихода в обитель никогда прежде не было, а напротив, всегда имел сон, как должно.

Тогда спросили опять: какие он имел перед сим беспокойные страсти или сожаления? Но он отвечал, что никаких страстей и сожалений не имел, ибо смерть жены его есть воля божия.

— Чему же вы приписываете, что вы в вашей келье целые четырнадцать ночей уснуть не могли?

— Ничему иному, — отвечал брат, — как несметному изобилию неисчислимых в той келье клопов.

Тогда старшие и младшие доктора, переглянувшись друг с другом, велели снять с кровати латынское надписание обозначенной ему болезни, и сочинения о бессоннице его не писали, а брат вернулся в обитель и за свое терпение и послушливость заслужил большое расположение, которое немало содействовало ему достойную ступень достигнуть.

СТОЙКОСТЬ, ДО КОНЦА ВЫДЕРЖАННАЯ, ОБЕЗОРУЖИВАЕТ И СПАСАЕТ

Отец Павел, имев двух дочерей, дабы не быть вынуждену передавать за ними зятьям места, рано преднамерил этих девиц просветить к светскому званию; и он, быв законоучителем в благородном институте, то и ту

и другую из них там бесплатно воспитывал, а когда их срок учения там вышел, то он их взял в дом, купил фортепьяно и пошил к лицу им шедшие уборы, и через их образование и свою предусмотрительную ловкость и заманчивые, но неясные в загадочных словах обещания, обеих их без приданого замуж выдал — одну за столоначальника в дворянском собрании, а другую за помещика, который имел много волнистых и тучных овец и этим в губернии славился. Отец же Павел зятя столоначальника считал ни во что, но тем овцеводом был горд и любил превозноситься. Случилося же однажды ему сойтись в институте у инспектора и играть в карты с приезжим из чужой губернии помещиком, так же, как и зять отца Павла, большим овцеводом, но еще более превеликим хвастуном, и во время сдачи карт пошли между них перемолвки о том: где какой наилучший вывод овец более славится. Помещик-хвастун стал похваляться, что будто во всей России ныне только у него самые лучшие овцы.

— А почему так? — вопросил отец Павел.

— Потому, — отвечал помещик, — что мои овцы носят у себя в хвостах *до пуда* сала.

— Это хорошо, — сказал отец Павел; но добавил, что у его зятя овцы, однако, знаменитее, ибо те имеют в своих хвостах каждая *более чем по пуду.*

— Да, — отвечал помещик, — и я к вам склоняюсь: можно иметь овец и более чем по пуду содержащих, но я говорил только разумея у себя одних молодых овец, а старшие же у меня имеют *по два пуда.*

— И это вполне статочно, — сказал отец Павел, — но ведь и я говорил только о средних овцах моего зятя, а которые у него самые старшие, те имеют в курдюках *по три пуда.*

— А мои самые старшие *по четыре.*

— Ну вот еще чего скажи! — негодуя, заметил отец Павел.

А тот в азарте своем, не постигнув ясно отца Павлова возражения, вскричал:

— Как это *чего?* Разумеется, сала!

— Ага! То-то и есть, — отвечал отец Павел, — а у овец моего зятя не сала, но *воску!*

Тогда у всех игравших сделалось на минуту недоумение, а помещик воскликнул:

— Это почему воск?

А отец Павел, выходя против него с затруднительной масти, ответил:

— А потому, что он женат на девице духовного звания, а духовенство более с воском, чем с салом обращается.

И бросил ему такую карту, которую тот и покрыть не мог, — и совершенно проигрался.

ОБ ИНОСТРАННОМ ПРЕДИКАНТЕ

Помещик нашей губернии, служа с юных лет своих в досточтимом гвардейском полку, провождал там жизнь свою столь прилично, как и прочие военные гвардейского общества. Он всегда исправно говел и однажды в год сподоблялся святых таин в полковой своей церкви — и жил во всем как и прочие дружные и верные товарищи, ни в чем не отклоняясь ни от умеренного употребления вина, ни от общеупотребительной игры в клубах, ни от прочих удовольствий, полковому званию свойственных. Женясь же на девице некоторого русского же именитого рода, но с пристрастием к иностранным обычаям, вдруг престранно изменился. В одно лето поехал он с женою к ее родным, пребывавшим на близком к аглицким берегам острове Уайт, и, повстречав там много людей не духовного звания, но о религии рассуждающих и весьма начитанных в св. писании, сам их примером стал увлекаться и толковать себе иное не столь послушливо, как учит мать наша, святая вселенская церковь, а каждый по-своему, и все воедино твердословя, якобы всему благому на земле можно быть токмо от веры в господа Иисуса и от любви к грешным, за коих проливалась святая кровь его на Голгофе. — После же принятия такого духа все усвояли будто какую-то неопределенную радость и многие неизвестно о чем плакали и в жизни своей делали над своими привычками перевороты: не пили вина, не курили, не гневались и больше всего любили благоговение и чистоту.

Учением сим помещик, как бы Савл, озаренный, возмнил себя уже видящим небо отверсто и стал проповедо-

вать другим; а на следующее лето вызвал к себе познакомленного на том острове нарочитого предиканта, который тоже не курил и не пил ни вина, ни сикера, но детей имел область и возил их всех при себе вместе с женою, а с духовенством насчет их главных дел практики ни о чем решительно спора иметь не хотел, ибо боялся верно, что нозе его в тесные колоды забьют или на скользком пути поставят. Он стал оспособлять хозяев, как наилучше говорить с простыми людьми о вере и как обращать их к вере во Иисуса, а о всем прочем в церквах важнейшем умалчивал и о жизненных доходах православного духовенства от треб для спасения душ верующих даже вовсе пропускал.

Духовные, скоро это заметив, доложили владыке, что́ это такое и к чему клонит в неотдаленном времени.

Услышав, что все это в наших палестинах совершается, владыка пришел в превеликую гневность, которая не была отнюдь подобна пылкому и суетливому гневу светских правителей, а, возгреваема духом благочестивой ревности, твердо и непреложно к поревнованию пламенела. Дерзость же тех ожесточенных дошла до того, что они своего предиканта из деревенского дома даже в городской дом привезли и здесь всем дамским синклитом его слушали у предводительши, званной за свое изящное лице Еленою Прекрасною. И что еще более, при тех предикациях был в послухах отец Георгий, то есть тот дамский духовник, который посвящен из княжеских заграничных учителей и иностранными диалекты объяснялся.

Как скоро все сие стало владыке известно, то он в величии гнева своего не захотел нимало этого дольше терпеть и, велев заложить карету, сам поехал к губернатору; но на езде раздумал прежде проверить все расспросом бывшего на предикации отца Георгия. Тогда он повелел ехать к его дому, чего тот священник не ожидал и даже до того не допускал, что, увидя в окно остановившуюся карету и особу в ней помещающуюся в голубом атласном одеянии, полагал, что это не к нему, а к соседям купчиха в салопе, и не трогался и оставался покоен. Когда же, наконец, известился о настоящем значении гостя, то выбежал к нему на всходы, встречу ему сделал и кланялся и вел его под руки, направляя к скоро заказанному в гостиной чаю. Но владыка, будучи не в гостином на-

строении, не чаю ожидал, а, ревнуя высшему, высшего и усматривал; и потому обнаружил нарочитую сухость, так что даже в гостиные покои вовсе не взошел, а сел не обинуясь со входа в предпокое, где ожидающие простые просители в ожидании просимого ими у священника снемлются. И тут с удивлением в голосе и в устах спросил без предисловия:

— Вы ли Алену исповедуете?

Но поп, будучи светск, показал хитрость и сделал выражение, как бы не понимая о ком следует, и довел до того, что владыка по настоящему имени предводительшу назвал.

Тогда он отвечал:

— Да, владыка, Елена Ивановна есть моя духовная дочь.

— Запрети же ей принимать у себя этого иностранного развратителя.

Но поп снова представил, как бы не понимает, и побудил владыку точно так же по имени назвать предиканта.

Тогда отец Георгий отвечал, что он такого запрещения сделать не отважится.

— А для какой причины?

— Для нескольких причин, ваше преосвященство.

— Поясните оные.

Отец Георгий стал пояснять.

— Первая моя причина, — говорит, — та, что моего запрещения могут не послушаться, и я тогда буду через то только в напрасно постыждающем конфузе.

— Неубедительно, — отвечал владыка. — Это не что иное как гордость ума. Излагайте другое.

— Другое то, что предиканта того «развратителем» назвать будет несправедливо, ибо он хотя и иностранец, но человек весьма хороших правил христианской жизни и в предикациях своих располагает сердца ко Христу, а никаких церковных сторон не касается.

— Гм, гм! Вон вы как!.. А третье что?

— А третье, осмелюсь буду представить вам, владыко, то, что духу веры православной не свойственно страшиться робко всякого мнения в чем-либо несогласного, а, напротив, ей вполне свойственно похвальное веротерпимство и свободное изъяснение и суждение, как

и у апостола на то совет находим: «Все слушать, а *хорошего* держаться».

Но сей третий довод владыка дослушал с кипящим нетерпением и, скрытно в душе на говорящего негодуя, отвечал:

— Да... То весьма хорошо, что вы мне привели нечто и от апостола... А не приведете ли вы еще чего-либо во изъяснение, по скольким причинам у вас власы главы вашей постоянно кратки и а-ла-мужиком кружат, а назарейской долготы не досягают?

— Не знаю, — отвечал Георгий.

— Не подстригаете ли вы их о молодом месяце?

— Подстригаю.

— Напрасно.

— Я делаю это потому, что многие говорят, будто, если концы волос о молодом месяце подстригать, то от того ращение гораздо шибче бывает.

— Оставьте — это неверно... А я вот сейчас прямо от вас поеду к губернатору, да скажу, чтобы он этого предиканта за хвост да за заставу.

Но отец Георгий, как робости подчинения не приученный, отвечал:

— Опасаюсь, что вы сделаете это напрасно.

— Это почему?

— Потому, что губернатор его за хвост и за заставу выбросить не отважится.

— Это почему?

— Во-первых, потому, что он ничего достойного выгнания не сделал.

— Это ничего не значит.

— Во-вторых, что он хорошего рода и уважения, и чрез то в европейских государствах нам вредные слухи распространены будут.

— И сие мне нимало не важно.

— А в третьих... губернатор сам вчера у Елены Ивановны вечером предиканта, за ширмою сидя, слушал...

Услыхав это последнее, владыка остановился и сказал:

— Так для чего же вы мне об этом последнем с самого начала не сказали?

И с сими словами, вместо того чтобы идти, как прежде намеревал, к выходной двери, перешел с веселым видом в гостиную и на ходу ласково молвил:

— Если так, то и мне наплевать! (Разумеется, презрение сие касалося предиканта.)

Засим владыка кушал чай и мадеру и в доброте своей шутил о деде своем, бывшем дьяконе, который, при введении в моду нового ксересного вина, этой новизне противлялся и ему внушал: «Имей веру — пей мадеру».

О НОВОМ ЗОЛОТЕ

По награждении другого священника золотым крестом равного значения, которым ранее кичился один отец Павел, сей непобедимец не стерпел и стал утверждать в компаниях, что дарованный священнику крест сделан *«из нового золота»*. И как это повторялось многократно и многообразно, в олтаре при облачении, в домах при крещении и других требах, и при закусках, и на вечеринках, то это дошло до новонагражденного и очень его стало оскорблять, то он, встретив отца Павла, когда сам был при кресте, сказал ему:

— Отец Павел! если вы не для унижения моего, а в действительности сомневаетесь, что крест мне дан будто из нового золота, то остановитесь на мгновение и, посмотрев, сами удостоверьтесь в девяносто шестой пробе.

Но отец Павел со всегдашнею своею гордынею и острой юморыстыкой отвернул сего ласкавшегося к нему простодушного коллегу ладонью в сторону и сказал:

— Не желаю.

Но тот стал его убеждать и просить, чтобы поглядел, ибо на кресте уже сам нарочно пробу просил выбить.

А отец Павел, оставаясь непреклонен, проговорил:

— Хотя бы там и сто девяносто шестая проба была выбита, но я при своем остаюсь, что этот крест из нового золота сделан. — И еще добавил, что: вам-де так иначе и не следует.

А как все это происходило на улице почти в собрании публики, то новый крестоносец на сей раз уже столь сильно оскорбился, что занес жалобу благочинному и просил доложить владыке об унижении и об оказании от отца Павла защиты. Владыка соизволил и приказал благочинному дознать у отца Павла: на чем он рассеваемые

им для сотоварища оскорбительные слухи утверждает? Благочинный, избегая объяснений с отцом Павлом в своем доме, пришел к нему сам будто для шашечной игры и в забавную минуту сказал о претензии оскорбленного крестоносца, крест которого будто из нового золота сделан.

Но отец Павел нимало не подался, а рассмеялся и сказал:

— Неужели же и твое богомудрие сим тоже смущается?

— Да... признаюсь, — отвечал благочинный, — и я смущаюсь, потому что оскорбляющие слухи о новом золоте со временем о всяком пустить можно.

А отец Павел встал, шашки смешал и, задув свечи, с гордостию произнес:

— То, что я говорю, всегда есть верно и справедливо и приятия достойно, и ничего в себе ни для кого оскорбительного не заключает; но оскорбительно есть для меня и иных умных лиц, к духовному сословию принадлежащих, слышать и знать, что в ряду нас могут быть таковые невежды, коим неизвестно, что орденские знаки и кресты никогда из старого, перетопленного и во всяком употреблении бывшего золота не делаются, а из новых, чистых слитков рубятся и опробуются. И я бы сие всем вам, любителям крестов, посоветовал это ведать и в дурачестве своем на более знающих обычаи и законы не обижаться.

Об этом ответе благочинный в умягченном сокращении донес владыке втайне, так как прежнее мнение имел и владыка. И его преосвященство нашел сказанное отцом Павлом за весьма внимания достойное и велел новому крестоносцу не обижаться, что он носит крест из нового золота.

СТЕСНЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ АГЛИЦКОГО ИСКУССТВА

Секретарь консистории, достигая себе орден, коего хотел, сообразил, что по отъезде иностранного предиканта у многих простого звания людей, кои в прежде прошедшей жизни никогда евангелия не читали, появи-

лися в руках книжки Нового завета, и книжек тех было весьма изобильно, и хотя под каждою из оных было подпечатано обозначение выхода их из духовной типографии, но секретарь возымел беспокойное сомнение, что те книги произведены в типографии в Лондоне, а выход российский им обозначен обманно, собственно для подрыва доходов православного ведомства в России.

По даче же такому извету хода для дознания его справедливости к губернатору, сей последний призвал к себе из губернской типографии главного справщика, происхождением немца, и, сказав ему о возбужденном подозрении, предложил: не можете ли дать на сей предмет сведущего разъяснительного заключения.

Тогда тот типографский мастер попросил, чтобы ему показали книжку Нового завета, на русском языке отпечатанную в аглицкой типографии в городе Лондоне. Когда же требуемая книжка была разыскана и ему подана, то он положил оную рядом с одною из тех, которые раздавал отбывший предикатор и сослужащие его мироносицы, и долго с немецкою аккуратною неспешностию обе книжки в разных отношениях тиснения, справки и бумаги между собою сравнивал и, наконец, объявил все подозрение секретарево неосновательно.

— И можете ли же вы в том мне под ответственностию своею заручиться? — спросил губернатор.

А немец ответил:

— Могу.

— Но по какому основанию?

— По сравнению всего общего непохожего вида и отдельных частностей, из коих мне и всякому понимающему типографское дело в несомненности ясным является, что английское общество сколь бы ни стремилось всеми силами к тому обману, чтобы подделаться к законному русскому изданию, с установленного благословения изданному, никак того достичь не в состоянии.

— А почему?

— Потому, что там с такими грубыми несовершенствами верстки и тиснения и на столь дурной бумаге уже более двухсот лет не печатают.

Такое заключение, показавшись губернатору вполне убедительным, склонило его дать владыке успокоитель-

ный ответ, что оподозренные секретарем книжечки должны вне всякого подозрения почитаться, и секретарь себе к получению ордена других предлогов был должен отыскивать.

О СЛАБОСТИ ЧУВСТВ И О НАПРЯЖЕННОСТИ ОНЫХ

(Двоякий приклад от познаний и наблюдения)

Благочинный градских церквей не от себя предлагал, что замечено некое охлаждение религиозных чувств, а для того, чтобы священники к трогательному покаянию как можно чувствительнее кающихся убеждениями располагали и через то как их спасение, так и свое уважение в обществе делали вероятнее. Но когда о сем все судить начали и речь дошла до уст отца Павла, то он, предлагая загвоздку, сказал:

— Как это «располагать»? И еще же мне неизвестно: какие результаты весьма сильная напряженность чувств дать может. Она может потребовать повсеместного всем выражения правды и обличения без всякого на лица зрения; но кто же снесть это может, особливо средь тех, иже рекутся «столпы»?.: Ныне не тот уже свет, как было при пророках, что и самого Ахава за колеса останавливали и даже в коляску к нему босиком поскакивали. Век наш во всем любит, чтобы были умеренны, и следует в нем живущим умеренность предпочитать прочему. Да и нам самим, худым иереям бога вышнего, не хуже ли было бы, если свет преисполнился бы непомерною страстностию. Я о себе скажу, что смотрю на это как опытный кухарь, знающий трапезующих по пословице: «*недосол* на столе, а *пересол* на спине», и сие одобряю.

А когда отцу Павлу все иные стали возражать и настаивать, что горячность более духовенству принести может, то он не согласился и предложил два предлога, которые всех раздумать заставили.

— Были у меня, — сказал отец Павел, — двое чад духовных: один открытый недоверок из столичных высланцев, непозволительного характера и мыслей, который мне о вере своей и настоящих упованиях в другой жизни

никогда не говорил иначе, как по символу: «чаю воскресения» и «аминь». А была же другая, женщина сердовых лет, всегда благочестию учащаяся, но николи же в разуме истины приидти могущая. Та всегда мне весьма пространно веру свою излагала и грехи в мельчайших подробностях высказывала, и то не по единожды в год, а по трижды мне подносила. — Как же вы думаете: с которым из сих двух чад моих у нас наиближайшие и приятнейшие духовные отношения стали?

Все отвечали:

— Разумеется, с дамою, которая сильнее верила и говенье любила.

А отец Павел опроверг и сказал:

— Вот то-то и есть, что наоборот! Тот петербургский недоверок, когда он ко мне подходил, ибо обязанность чувствовал, то я его всегда поначалу спрашивал: «Ну, как ваше дело?» Он участие к нему принимал сухо и, бывало, кратко ответит: «Не знаю». — «Надеетесь ли?» — «Как же, говорит, все тем только и живут, что надежда им лжет детским лепетом своим». А я на него, бывало, не сержусь, а похвалю: «Надейтесь, говорю, это хорошо: вера, надежда и любовь — это три христианские добродетели, но любовь больше всех. А потому следуйте, не смущаясь, заповеди спасителя нашего: и любите и врагов ваших, и ненавидящим вас творите благая». И с тем его, бывало, отпущу; а когда, по возвращении домой, сняв рясу, начну отрясать из ее кармана принятое, то знаю, что находящаяся в числе прочем краснуха всегда от сего непокорного пришла, и более я с ним во весь год ровно никаких хлопот не имею. — Дочь же моя, по трижды в год себя облегчавшая, когда приходила, то такое множество грехов за свободою своею открывала, что я даже ни одного совета ей дать не мог, ибо постигнуть не был в состоянии: коим она духом злее беснуется? А за все то находил в кармане одну мелкую серебряную монетку от нее, увернутую в розовой бумажке с надписью: «Помяните в своих молитвах дочь вашу такую-то». — И, кроме того, еще те досаждения причиняла, что когда каким-либо грехом была попрекаема, то всегда подозревала, что то отец Павел открыл ее исповедь, и прибегала справляться и расспрашивать. А когда же однажды, выведенный ее стремлением говорить о своих грехах, отец Павел

ей нетерпеливо заметил: «Вы блудливы, как кошка, а торопливы, как заяц», — то она вскрикнула:

— Ах вы преступник! Вы самый секретный грех моей исповеди выдали!

Тогда, несмотря на свое бесстрашие, отец Павел дал ей собственных своих десять рублей под честное слово, чтобы она избрала себе другого для ее тайных грехов сохранителя, а в противность пригрозил ей, что по рассеянности своей может ошибочно присвоить ей один из тех грехов, которые Макар отмаливает, стоя на коленях среди стада пасомых им в отдалении телят.

И тем лишь от горячности ее избавился...

ОСТРЫХ ВЕЩЕЙ В ДАР ПРЕДЛАГАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ

Помещик, граф и князь Талагай Боруханов, быв большими с собою друзьями, часто вместе с егарем на охоту в ржавые, рамедные болота ездили и далеко в глубь разных полных дичиною мест увлекались. Случилось же им однажды приплутать к весьма протяженному болоту в сильном утомлении и поместиться для принятия пищи и ночлега у бедного сельского священника, который был тут в находившемся поблизости храме. Тот, узнав, каковых лиц в числе сих своих внезапных гостей принимает, засуетился и забегал и матушку попадью свою начал в боки поталкивать, чтобы о всяческих для них удобствах заботилась, и, толкая, повторял: «Да ну ты, мати, поворачивайся! Да ну ты, скорей самоваришку дуй! Да ну, топёжку топи да лепешку три». Но как пришедшие охотники сами имели при себе все лучшие закусочные предметы и ни в каких снедях простого грубого, сельского, домашнего приготовления не нуждались, то они, видя суету попа и попадьино бедствие, чтобы утишить их хлопоты, стали их успокоивать и говорить:

— Пусть мы вам ничем никакого беспокойства не приносим, ибо решительно все нам нужное при себе и при егаре нашем в сумках имеем, и не желаем ничего, окромя одного самовара, да еще острого ножа, ибо свой аглицкий нож сломали при желании нарезать ломтиков для за-

куски от сильно спрессованной охотничьей конигсбергской колбасы. А еще, — сказали, — просим и вас самих, батюшка, сюда к нам войти и присоединиться и вместе с нами, пока самовар взогреется, выпить рюмку полезного и здорового голандского джину, который здесь в нашей фляге.

Священник поначалу благородно отнекивался, но потом, ободренный, принял и, по усердию угощавших, остался с ними сидеть при чае и на приглашение не церемониться стал вести себя откровенно, как с равными, и в разговоре голандский джин, отбивавший во вкусе своем мозжухой, даже критиковал, не находя его превосходнее высочайше утвержденного доброго русского пенного вина. И беседа шла превосходно, но когда егарь достал и подал к закуске твердого свойства конигсбергскую охотницкую колбасу, на которой собственный их аглицкий нож изломался, то священник изнес им из-за перегородки свой особливый ножик и сказал:

— Этот хотя не аглицкий, а простой русский, но он все отрежет и не сломается.

И действительно, поданный бедный, много уже, почти до самой спинки, сточенный ножишко так и чекрыжил ту плоскую и крепкую конигсбергскую колбасу, отрезая ее самотончайшими стружечками.

И когда при этом содействии все закусили, то граф стал шутливо этот нож хвалить и сказал, что этот русский инструмент их бывшего английского гораздо превосходнее и что, если бы он знал, где такие продаются, то и себе бы непременно такой купил и, в Петербург возвратясь, в мануфактур-совет, для испрошения медали, представил.

А священник хотя и знал, что острых вещей дарить нельзя, но, желая быть вежлив и почитая то за предрассудок суеверия, сказал:

— Пожалуйте, ваше сиятельство, не погнушайтесь — этот ножичек от меня примите, ибо он мне теперь уже за окончанием пашни и жнитва более не нужен, а вам он в дальнейшем вашем полевании еще пригодиться может.

Граф же поначалу не хотел взять, но потом, вероятно намеревая в уме чем священнику отплатить, этот его преострый нож принял и, рассматривая оный, любопытствовал:

— Что вы им, батюшка, при полевых работах делали?

А священник отвечал:

— При полевых работах мы им, ваше сиятельство, ничего не делали, ибо затуплять его не хотели; а давно его бережем для того особливого дела, что когда, совсем отработавшись, я этим ножиком себе и своей попадье в теплой бане отмягшие мозоли обчищал.

После чего граф нож бросил и не принял и всю жизнь свою о быте сельского духовенства с пренебрежением думал.

ОСТАНОВЛЕНИЕ РАСТУЩЕГО ЯЗЫКА

Благо и преполезно будет всякому, как верующему, так же и неверующему, услышать, что в настоящей поре, когда мы живем, рука чудодейственная не токмо не сократилась и силы ее не устали, но наипаче безумие умных и гордость непокорных преданиям плющит и сотирает.

В смежной с нами епархии был один архимандрит, имея уже себе от роду более сорока лет, и славился начитанностию во всех науках и все свое время провождал за книгами. Но хотя при совершенно неохужденном его поведении ему то долго не вредило, но потом он вдруг объявил, что снимает с себя сан ангельский, и священство, и архимандритство и желает в мир простым человеком. Быв же через немалое время увещеваем такие свои намерения оставить, оных не оставлял и даже не хотел иметь в виду того, что свет его может просветиться пред человеки: ибо его впереди может ожидать викариатство и вскоре потом полная епархия, когда благодать духа святого опочиет на нем в преизбытке и чрез возложение рук станет изливаться на многих. Но ко всему этому несчастный оставался непреклонным и даже вопрошавшим его о цели замысла не давал полных объяснений — почему такое ужасное вздумал? Напротив, все ответы его были с обидною краткостию и обличали только как бы его скрытность и лукавство, ибо говорил: «Не могу: ярем, чрез омофор изображенный, весьма свят, но для меня тяжек, — не могу его понести». При напоминании же о том, что совлекает с себя чистоту чина ангельского и опять берет мрачную кожу ефиопа, отвечал:

— Нет, я познал себя, что нет во мне ничего ангельского, а есмь токмо простой человек со всеми слабостями и к таковым же равным мне простым людям жалость сердца чувствую и обратно стремлюся, да улучу с теми равные части как в сей жизни, так и в другой, о коей не знаем.

Тогда пронеслись некие обидные для него клеветы, что будто затем расстригается, что идет в мужья к престарелой вдове купчихе, которой муж его весьма почитал; но он ни на что сие не посмотрел — расстригся и вышел из монастыря весьма тихо и братолюбиво, но только клобук бросил под лавку. Однако и то еще не достоверно и тоже к намерению оклеветать отнести можно. Затем он уехал и стал жить в другой губернии, где никого не имел ни ближних, ни искренних, и тут действительно скоро начал получать многие убедительные письма от дам, которые, странною к нему фантазиею уносясь, предлагали ему сами себя в супружество, не искавши никаких обольстительных удовольствий света, а, напротив, чтобы делить с сим расстригою все, что встретят на пути его дальней смятенной жизни. Враг рода человеческого, диавол, чрез женщин обыкший строить злое, привлекал их к сему приманчивою кротостию его духа, которую тот являл, вероятно, не столь искренно, сколько притворно, но с постоянною неизменностию. И дошло это душевное влечение к его мнимой доброте со стороны особ другого пола до того безумия, что в числе писем, оставшихся после смерти расстриги, было одно от женщины настоящего высокого звания русских фамилий, которая даже называть его прежнего сана не умела и заместо того, чтобы писать «архимандрит», выражалась: «парфемандрит», что ей было более склонно к французскому штилю. Он же так скрепился опровергнуть о нем предположенное, что все эти предложения отклонил и с терпением всякой его искавшей с ласковою мягкостию изъяснял, что будто вовсе не для того монастырь оставил, чтобы ринуться в жажду удовольствий, а хочет простой, здравой жизни по благословению божию, в поте своего лица и не в разлад с своею верою и понятиями.

И так и в действительности себя наружно соблюдал, живя в мире, точно как бы даже не снял с себя ни одного монашеского обета, — содержал себя на самое скудное

жалованье и жил приватным учителем при фабричной школе. Но как он был расстрига, то большого хода ему все-таки не было и почтением и доверием от православных простолюдцев он все-таки не пользовался, особенно в рассуждении преподавания божественного закона и молитв. Да и утверждения он на месте учительском не получал, и впоследствии, для избежания чего-нибудь, вовсе был отказан и придержался границ двух смежных губерний, и перебегал так, что когда его в нашей за учительство ловили, то он спасался бегством в соседнюю, а когда там о нем духовенство светские власти извещало и становой его искать и связать приказывал, то он, спасаясь, опять в нашу границу снова возвращался и здесь опять учил детей не только за всякую плату, но столь своим пристрастием был одержим, что и без всякой платы учил чтению святого письма и наводил мысли на нравственность и добротолюбие.

Так, неизвестно что в целях своих содержав и с ними в беспрерывных бегах с одного места на другое постоянно крыясь, расстрига сей многих грамоте научил и наставил, по видимости, не в худших началах жизни; но, проживая весною в водопольную росталь в каменной сырой амбарушке при оставленной мельнице, заболел, наконец, тою отвратительною и гибельною болезнию, которая называется цынгота, и умер один в нощи, закусив зубами язык, который до того стал изо рта вон на поверхность выпячиваться, что смотреть было весьма неприятно и страшно. И пока ему гроб сделали и его в оный положили, престрашный язык его все рос более вон, и мнилось уже всем, что и крыши гроба на него иначе наложить нельзя будет, как разве оную просверлив и язык сквозь оную выпустив. Но, по счастию для перепуганных сим посельчан, случился к той поре на селе некий опытный брат, приезжий из недальней обители за нуждою монастырскою. Тот, увидев сие, покивал головою и сказал: «Брате, брате! Чего доспел еси!» И, обратясь, молвил: «Видите, яко есть бог и он поруган не бывает».

Крестьяне отвечали: «Видим», — и просили: «Аще ли твоему благочестию возможно есть, то помоги, отче!..»

Он же спросил:

— А что ми хощете дати?

Они же отвечали:

— Что сам потребуешь, — все пожертвуем: только много не спроси, ибо худы есьмы и многого не имеем.

Брат же спросил только постного угощенья по силам и денег, сколько надобно на устроение новой камилаухи с воскрылиями. Крестьяне сказали: «Это — согласны».

Тогда брат, сняв с своей камилаухи ветхие, порыжелые воскрылия, вверг их в гроб и покрыл совершенно лице мертвого, сказав: «Приими то, от чего сам неразумно отпал». И ращение обличавшего расстригу языка его в ту же пору стало невидимо и прекратилось, и гроб, по благословению брата, был предан земле без необходимости сверления крыши, и поучительный случай сей везде старанием брата распространился, и темные крестьяне получили полезный урок — сколь доверие детей своих таким доброхотам, как сей расстрига, не безопасно.[1]

ПРЕУСИЛЕННОЕ СТЕСНЕНИЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ ПРОТИВНОЕ ПРОИЗВОДИТ

В двуштате церковного причта, с ним же предстоял, работая господеви, отец Павел, не было ни одного из наималейших к нему расположенного за его всегдашнее перед всеми превозношение. Всех он задевал разумом, который не скупо даровало ему всещедрое провидение и которым он распоряжал стойко и самовито, но, думается, как бы не всегда ко единой славе Создавшего, а нередко и к утешению своей неодоленной надменности. Ни со вторствующим коллегою у олтаря, ни со диаконом, на оба штата упадавшим, отец Павел, вопреки инструкции благочинницкой, никогда не хлебосольствовал и сам к ним в дома не входил, ни к себе их не звал; а из всех чтецов

---

[1] В рукописи против приведенного рассказа другою рукою и позднейшими чернилами сделана на поле следующая приписка: «Хоча ж папера и атрамент все терплять и на світ выносять, одначе в сей чудасии, сдаетьця, ни бы-то щось таке соплетено то що, мало бути, але и в правде було, з тім, що николы нигде буты не могло, да и не буде, ни при здешнем грїшном, ни у том будущем святом віце, его же от господа не достойнии раби собі чаемо».

Под этими строками подпись: «Просфорнык Геронтый». *(Прим. автора.)*

и певцов на свою долю отобрал одного, долгого роста и самого смирного нрава, причетника Порфирия, коего в глаза и за глаза называл «глупорожденным». Но, несмотря, что сей читал трудно и козелковато, а пел не благочинно лешевой дудкой, — отец Павел только его одного, сего комоватого Порфирия, и брал с собою, когда надобилось в приходе, но, по обычаю своему, и с ним обращался начальственно и пренадменно, так что, например, никогда не сажал его с собою рядом ни на сани, ни на присланные дрожки, а не иначе как на облучок впереди или стоять на запятки сзади, отчего при сильном на ухабах сотрясении легко можно оторваться и упасть или обронить содержимые в связке служебные ризы и книги. А буде и так поставить или посадить Порфирия было невозможно, то отец Павел, мня ся быти яко первым по фараоне, тщился сесть широко один вместо двух, а сего своего сладкопевца вперед себя посылал пешком упреждать, что грядет иже первый по фараоне. А если случалось когда им обоим пешим следовать, то шли так, что отец Павел подвигался шествуя передом, а Порфирий не отступал сзади, и притом непременно в самоближайшем за его спиною расстоянии — ни за что не далее как на один шаг, дабы никто не мог подумать, что сей «глупорожденный» сам собою по своей воле прохаживается, а не следует в строгом подчинении за первым по фараоне, проходящим по служебной надобности. Тогда все, видя сей преусиленно дисциплинный маршрут, не раз удивлялись ему, и одни говорили: «Вот подобрал себе человека, какого ему надобно»; а другие отвечали: «Да, сей не возопиет, ниже́ возглаголет». Но вместо того именно не кто иной, как сей-то удобшественный Порфирий, и воздал ему такое даяние, которое при неожиданной мимолетности своей не устраняло весьма поучительного значения, имевшего, быть может, первое остепеняющее впечатление на самовластный характер отца Павла.

Быв позван осенью в постный день недели в дом усердного прихожанина, но не весьма богатого торговца, окрестить новорожденное дитя, отец Павел прибыл и исполнил святое таинство при услужении Порфирия и сейчас же хотел отправить его отсюда одного в оборот назад с купелью. Но торговец, быв хлебосол и гостелюбец, вызвался отослать купель в церковь с лавочным мо-

лодцом, а Порфирия просил оставить и дозволить ему напиться чаю и выпить приготовленных вин и закусить.

Отец Павел был в добром расположении и позволил себя на это уговорить и, усмотрев в этом даже для него самого нечто полезное, сказал:

— И вправду, пускай сей мудрец здесь останется и что-нибудь полокчет — ныне ночи осенние стали весьма темны — и мне с ним будет повадлее идти, нежели одному.

Говоря же так, разумел не воров и разбойников, ибо все его знали и никто бы не дерзнул сдирать с него лисью шубу и шапку, но собственно для важности иметь при себе провожатого.

Угощение же им было предложено хотя и усердное, но неискусное, — особливо ломти не весьма свежей привозной осетрины поданы поджаренными по-купечески с картофелью на маковом довольно пригорьковатом масле — от чего почти у всех неминуемо делается душеисторгающая изгага и бьет горькая, проглощенную снедь напоминающая, слюна.

То же случилось и непостерегшемуся отцу Павлу, который очень этим угощением остался недоволен и даже не утерпел — по своему пылкому обычаю хозяевам строго выговорил:

— Дитя, — сказал, — вы крестите и, призвав священника на дом, дворянским обычаем, — удерживаете его к закуске, а не могли позаботиться о свежем маковом масле... Вот я поел, и у меня будет горькая слюна и изгага.

Хозяева его очень просили их простить и приводили для себя то оправдание, что они везде искали самого лучшего масла, но не нашли, а на ином, кроме макового, для духовной особы в постный день готовить не смели.

Но как они хотели воспрепятствовать изгаге, то просили отца Павла принять известное старинное доброе средство: рюмку цельного пуншевого рому с аптечными каплями аглицкой мяты-холодянки. Отец Павел и сам знал, что это преполезное в несварении желудка смешение всегда помогает и, в знак того, что часто заставляет отупевать боли, прозвано у духовных «есмирмисменно вино».

А потому, дабы избавить себя от неприятного, сказал: «хорошо — дайте», и рюмку этого полезного есмирмисмен-

ного смешения выпил, и поскорее вздел на себя свою большую рясу на лисьем меху и шапку, и, высоко подняв превеликий воротник, пошел в первой позиции, а Порфирий шел за ним, как ему всегда по субординации назначено было, в другой степени, то есть один шаг сзади за его спиною.

Но когда они таким образом проходили улицею в темноте по дощатому тротуару, под коим сокрыта канава, то отец Павел вскоре стал чувствовать, что пригорьковатое масло, возбуждаясь, даже мяту-холодянку преосиливает и беспрестанно против воли нагоняет слюну. Тогда отец Павел, естественно пожелав узнать, не происходит ли это у него от одной фантазии его воспоминаний, желал себя удостоверить: он ли один себя так ощущает, или же быть может, что и Порфирий, у которого нет дара фантазии, и тот тоже не лучшее терпит.

Подумав так, отец Павел крикнул, не оборачиваясь:

— Порфирий!

А тот, усугубясь, чтобы в такту попадать за его шагом, скоро отвечал:

— Се аз здесь, отче!

— Скажи мне, терпишь ты что-либо на желудке?

— Нет, ничего не терплю.

— Отчего ж ты не терпишь?

— Я имею желудок твердого характера.

— О, сколь же ты блажен, что твое глупорожденье тебя столь нечувствительным учиняет!

А Порфирий этого намека не разобрал и говорит:

— Не могу понять этих слов, отче.

— Ты ел осетрину?

— Как же, отче, благодарю вас, — хозяйка мне с вашего блюда отделила и вынесла. Рыба вкусная.

— Ну вот, а я в ней масляную горесть ощущал.

— Горесть на душе и я ощущал.

— Да, но я ее и теперь еще ощущаю.

— И я тоже ощущаю.

— Она мне мутит.

— А как же: и меня на душе мутит.

— Да, но отчего же я сплеваю, а ты не сплеваешь?

— Нет, и я тоже сплеваю.

— Но через что же это, как я сплеваю, я это слышу, а как ты сплеваешь, это не слышно?

— А это верно оттого, что вы передом идете.

— Ну так что в том за разность?

— А вы просторно на тротуар плюваете, где люди ходят, и там на твердом плювание слышно.

— Да. А ты?

— А я, как за вами иду, то, простора не видя, вам в спину плюваю — где не слышно.

— Как!

Порфирий снова возобновил то, что сейчас сказал, и добавил, что его плювания потому не слышно, что у предъидущего отца Павла в меховой его шубе спина мягкая.

— Каналья же ты! — воскликнул отец Павел. — Для чего же ты смеешь плевать мне в спину?

— А когда я так следую за вами, то иначе никуда плевать не могу, — отвечал препокорный Порфирий.

— Глупец непроходимый! — произнес тогда отец Павел и, взяв его впотьмах нетерпеливо за шивороток, приказал идти впереди себя и наказал никому об этом неприятном приключении не сказывать.

Но Порфирий, боясь грядущего на него гнева, стал от всех выспрашивать мнения насчет своей невинности и для того всем рассказал, как было, и все, кому отец Павел много в жизни характером своим допекал, не сожалели о том, что учредил над ним в темное время Порфирий, а наипаче радовались. Так сей бесхитрый малый без всякой умышленной фантазии показал, что, поелику всяк в жизнь свою легко может хватить у людей масла с горестию, то всяк и в таком нестеснении нуждается, дабы мог мутящую горесть с души своей в сторонку сплюнуть.

О ПЕТУХЕ И О ЕГО ДЕТЯХ

Геральдический казус

Бригадир Александр Петрович был не великой природы корпуса, но пузаст, всегда заботился, чтобы иметь хороших для изготовления столов кухарей, и для того каждые три года отдавал в Москву в клуб двух парней для обучения поварскому мастерству и разным кондитерским приемам разных украшений. Через такое хозяй-

ское предусмотрение у бригадира никогда в поварах недостатка не было, а, напротив, было изобилие, и все знатные господа к его столам охотились. Но он, без перестачи своему правилу следуя, в одно время отослал в Москву еще двух хлопцев, из коих один, будучи на вид самого свежего и здорового лица, не перенес у плиты огненного пыла и истек течением через нос крови, а другой, Петруша, собою хотя видом слабый и паклеватый, все трудное учение отменно вынес и вышел повар столь искусный, что в клубе лучшие гости и сам граф Гурьев ни за что его отпустить не позволяли и велели давать за него бригадиру на их счет очень большой выкуп. Бригадир же, сам тех радостей ожидая, и слушать не хотел о выкупе Петра, но, не дождав ни раза покушать его приготовления кушаньев, неожиданно помер, а вдова его бригадирша, Марья Моревна, любила держать посты и, соблюдая все субботы и новомесячия, ела просто и, оставшись опекуншею детей своих — сына Луки Александровича и дочерей Анны и Клеопатры, тонких вкусов не имела, а по-прежнему в посты ела тюрьку, а в мясоедные дни что-нибудь в национальном роде, чтобы жирно, слащаво и побольше с пеночками утоплено. А потому она даже и всех бывших поваров пустила по оброку и Петрушу в клубе оставила, побирая с него в год по семисот рублей на ассигнации. Петруша же сам получал на ассигнации больше, как две тысячи, и уже давно назывался не Петруша, а Петр Михайлович, и столь сделался в независимости своей уверен, что женился на племяннице старшего повара-француза, которая в него по женскому своему легкомыслию влюбилась, а в законах империи Российской была несведуща и не постигала, что через такой брак с человеком русского невольного положения она сама лишалась свободы, и дети ее делались крепостными.

Бригадирша же Марья Моревна, прослыша о том, что Петруша без ведома ее обвенчался на французской подданной, поначалу хотела поступить с ним грубо, но, имея обычай о всем советовать с своим духовным отцом, рассудила иначе — что от этого ей и детям никакого убытку нет, и наложила только на Петра оброк против прежнего вдвое, так как, по рассуждению священника, Петр, породнясь с первым французом-поваром, мог сам

теперь просить о прибавке жалованья и статьи доходов. Требование это Петр Терентьев через многие годы исполнял, и оно его не изнуряло, а, напротив того, он еще себе немало добра нажил, и когда у него родилась дочь от француженки, то водил ее как барышню, в коротких платьицах, в полсапожках и штанцах с кружевами, и учил ее грамоте и манерам у иностранной мадамы в пансионе. Так он был уверен, что получит выкупом вольность, и от всех жениных родных и знакомых тщатливо крыл свое крепостное сословие, оброк аккуратно высылал и паспорты получал сам с почты. Но поелику несть ничто тайно, еже не объявится, то пришла к нему в Москву сестра его, смазливая девка, бежавшая от взысканий управителя, который будто бы доискивался ее и для того ее притеснял. Родственный голос крови возопил в Петре и побудил его на иное безрассудство: ту сестру у себя скрыть, хотя с сильным наказом, чтобы она о беде своей, от которой бежала, никому бы не открывала и через то их крепостного звания не обнаружила. Однако, по возникшему о ней подозрению, что ей некуда иначе бежать, как в Москву к брату, она там была открыта и взята по пересылке к наказанию при вратах полиции и к водворению в имение. А как это сталось в то время, когда дочери бригадира Анна и Клеопатра уже кончили учение и пришли в возраст, то в наказание Петру и сам он был потребован в деревню к наказанию за укрывательство сестры, а потом оставаться там и готовить для стола помещиков.

Тогда весь секрет Петра, столь долго им от жены скрываемый, во всем виде перед всеми обнаружился и столь сильное имел на заносчивую французскую гордость жены поражение, что она, забыв закон брака и все обязанности супружества, решила мужа оставить и бежать с дочерью в свою природную страну. Другие же доносили так, что будто даже и сам Петр на это ей помогал и сам был согласен навсегда их не видеть, только чтобы не быть им в господской крепости. Но управитель прибыл в Москву для их препровождения, все это вовремя открыл и сдал их этапу для доставки, и тут жена Петра по пути следования в малом городке, в больнице, на этапе умерла, а Петр с дочерью доставлены в имение, и Петр за свое непослушание и за сестру наказан при конторе розгами,

а дочь его, Поленька, по четырнадцатому году, оставлена без всякого наказания, а даже прощена и приставлена к барышням, из коих младшая, Клеопатра Александровна, ее весьма жалела и спать у себя клала. А Петр стал готовить на кухне и начал сильно болеть грудью и кашлять, да потом скоро и умер.

Бригадирша о смерти сего искусника печь и варить истинно скорбела; ибо смерть его постигла как бы нарочито как раз при помолвке старшей барышни Анны за именитого жениха, причем в дом бригадирши съезжалися веселиться многие гости, и надо было для своей славы блеснуть образованным хлебосольством и показать достатки и деликатность. При этом же приехал и брат невесты, бригадиров сын Лука Александрович, и привез с собою двух товарищей-офицеров для танцев.

Из этих один, тоже именитого рода, скоро влюбился во вторую барышню, Клеопатру; узнав о ее хорошем приданом, похотел жениться. Так вслед за первою свадьбою старшей сестры ожидалась и вторая, а в приданое за нею, кроме всего, что она по разделу получила, она брала еще себе Петрову дочь Поленьку, которой тогда было уже шестнадцать лет, но Лука Александрович этому начал сильно противиться и, придя к матери, повинился, что мимо воли своей чувствует к этой крепостной неодолимую пассию.

Бригадирша приняла это за обыкновенное в молодом возрасте бываемое и, быв рассудительна на это, не только сына не обидела, но, напротив, желание его исполнила и девку ей не отдала. Лука же Александрович после свадьбы второй сестры целый год в деревне в отпуске проводил дома и веселился, часто посещаемый двумя своими полковыми товарищами, которые также вблизи их села оставались, наслаждаясь домашним воздухом и удовольствиями. А Поленька через это время явилась непраздною и, имея, как видно, от матери врожденную французскую кокетерию, столь Луку Александровича чрез свою ласковость и милоту пленила, что он дошел до неожиданного безумства и, находя в ней будто все прелести ума и кроткого сердца, опять признался матери, что пассия его через годовое преступное соотношение с тою полуфранцуженкою не только не угасла и не устыдилась, но что он, напротив, того не может перенести, чтобы оставить

ее в таком положении, а просит у матери дозволения на неравный брак с нею. Мать ему стала представлять опытные резоны, чтобы его воздержать от пагубы, ибо и начальство военное ему на брак с крепостной никогда бы не соизволило; но он обнаружил самую упрямую непокорность и, имея тогда от роду двадцать пятый год, стал говорить, что уже не малолетний и готов для своей любви чтобы и службу бросить, а на Поленьке обвенчаться тихо, без дворянского общества, как простые крестьяне, среди дня, после обедни. Так он почитал загладить грех своей совести браком и жить в деревне, занимаясь хозяйством.

Бригадирша, видя такую непреклонность и любя сына и сожалея о его безрассудстве, все испытав, что могла, в тоне строгости, обратилась по давнему своему обычаю за последним советом к своему духовному отцу и просила его идти с просфорой от обедни офицера увещевать и угрожать ему страхом религии за непослушание воле родительской. Тот их церкви священник послушался ее приказания и, придя к офицеру, говорит ему указанное, но напрасно, и после того еще и раз, и два, и, наконец, втретие пришел, но получил от него такой отказ, чтобы в четвертый раз и приходить не отваживался, ибо мнилось сему заблужденному, якобы он сам слово божие знает и почитает, и грех свой пред беззащитною сиротою имеет выну пред собою, и за долг совести своей почитает его исправить. «А вы, — говорит, — меня от честного намерения отклоняете и на бесчестное наводите. Хочу быть более богу покорнее, нежели прочему».

Священник, видев, яко ничтоже успевает, но наипаче молва бывает, оставил сварливца и, придя к его матери, сказал, что по упорству обнаруженному он ничего от мер резкости не ожидает, а, напротив, быв в жизни опытен, опасается предвидеть нечто непоправимое в том роде, что непокорный сын может снестись с близко проживающими полковыми офицерами и умчит как-нибудь темною ночью возлюбленную им девицу на тройке борзых лошадей в какое-нибудь отдаленное село и там с нею обвенчается, и будет тогда последняя вещь горше первыя.

Этими неожиданными словами благоразумный священник так бригадиршу запугнул, что она замоталася перед ним, как ясырь, и, изрыгая на сына хулы света, хотела исключить материнскую любовь из сердца, — снять

отцовскую икону всемилостивого спаса и изречь сыну проклятие; но священник ее от такого противного безумия воздержал, а подал ей совет такой политики. Нравоучение его было, дабы испробовать совсем иное — как бы изменить будто свое недозволение и мнимо на тот неравный брак согласиться, но с тем, чтобы упредить это — написав для девицы отпускную и занести ее в первой гильдии купчихи, а тогда на ней, как на купчихе, обвенчаться.

Между же тем, как бригадирша не могла этого скоро понять, она еще больше даже на самого священника рассердилась, а священник сказал ей:

— Пожалуйста, повремените на меня с гневом вашим, а более того, вникните, — ибо видели вы уже немало, что гнев ваш ничего к облегчению не соделает, а лучше прослушайте далее мою пропозицию и обсудите; ибо сказанное неспроста мною предложено. Вы пошлите сына вашего в город самого хлопотать о ее вольности и купеческом звании, — и он на все то охотно согласится и в радости своей поспешит, а мы в тот самый час, как он из деревни за околицу отлучится, нимало не медля, сию девку по вашему приказанию с каким укажете с крепостным невежею обвенчаем, и тогда будет всем этим беспокойствам естественное окончание. — Но только одно у нее оговорил, чтобы ему самому была за то от бригадирши всякая защита от его мщения.

Бригадирша, поняв этот план, ликовала и его приняла и сказала:

— Только обстроить бы мне это дело, как это тобою умно рассуждено, а потом я тебя скрою; я тебя в свой комнатный погреб посажу и к себе ключ спрячу, пока он уедет, буду сама есть приносить, а после я тебе к новой пашне на упадлое место лошадь подарю.

Поп пришел домой радостный и, не умея скрыть себя, говорит попадье:

— Ну, мать, радуйся — полно мне по старой сивухе вздыхать, которая пала, да и ранее того в сохе останавливалась. Будет у нас с тобою к новой пашне добрая лошадь с господского ворка, — тогда ты, когда похочешь, и к детям в семинарию навестить съездишь посмотреть, с кем Мишка водится и отчего Гриша харчем недоволен.

А попадья была нетерпячая и стала спрашивать:

— Чем угодил барыне и за что лошадь получаешь?

Поп говорит:

— Не приставай и лучше не спрашивай — не скажу: тайна сия велика есть и большой секрет между нас.

А попадья была еще ловчее попа, да вместо того чтобы прямо добиваться, стала лебезить:

— Ляжь-ка, ну ты устал, ляжь на коверчик на полу, отдохни, а я у тебя в головах сяду да в волосах поищу.

А поп был охоч поискаться и лег на пол, под ее обаяние, а она села да положила его голову себе в колени и стала его нежно, слегка, пряльною гребенкою в косах поковыривать да под бородкой ему тихо и ласково венчальным кольцом катать, а как на него от копошенья сонный стих к очам прильет, она и говорит:

— Аль еще и теперь мне не скажешь, за что нам лошадь дадут?

Поп говорит:

— То и есть, что не скажу.

А она пождет, опять в голове поковыряет да опять под бородкой ему кольцом поводит и говорит:

— Аль еще и теперь опять не скажешь?

Да так много раз к нему докучно приставаючи, привела его к тому, что сказал:

— Ах, оставь меня, пожалуйста, спать, — и все дело ей высказал.

Она же, оставив его спать, прикрыла ему лицо платком, а над носом кибиточку вздернула, а сама вышла, дверь за собою заперла и, взяв ключ с собою, пошла к бригадирше и, быв умнее мужа, испросила себе ту обещанную лошадь теперь же, сказав, что «мой поп вам все отслужит, а мне к детям съездить надо посмотреть, чем харчами недовольны». — И сама привела коня с ворка за повод к себе на задворок и поставила к резке.

Поп, как встал да увидел коня, и удивился, говорит:

— Зачем не за свое дело бралася и не в поре докучала?

А она отвечала:

— Молчи, поп, не ворчи: что взято, то свято, а ты хоть в семинарии учен и лозой толчен — да малосмыслен.

— Чем так?

— А тем, что или ты не видишь, что бригадирша стареет и со света сходит, а ее сын к самой сильной поре

приходит? Что же ты, как если против него неугодное сделаешь, то ведь ты в погребу весь свой век не отсидишься, а как вылезешь, то тогда и тебе и нам всем за тебя худо будет. Неужли ты не знаешь, что день встречать надо, становясь лицом к восходящему солнцу, а не к уходящему западу.

Поп, ее загадки прослушав, и начал стужаться и спрашивать:

— Вижу, — говорит, — свою промашку, да что ж теперь сделаю?

А она отвечает:

— Ты не сделаешь, а я сделаю.

Поп еще больше испугался.

— Ты, — говорит, — гляди, что еще не задумала ли?

А она отвечает:

— Не твое дело — ты свое, за что взялся, то и совершай, а я сделаю, что надо полезное сделать.

Поп было серьезно занялся, как узнать, что его жена думает, да никаких средств не умел и ничего не узнал.

— Вот нет, — говорит, — во мне твоей Евиной хитрости, чтобы узнать у тебя таким манером, как ты у меня все выпытала, под бородкой шевеливши, но, однако, сделай милость, помни, что Евиным безумием Адам погубленный.

Но попадья ничего не внимала, а сказала такой сказ, что если поп ее заранее осведомит, когда бригадиршин сын съедет в город, а Поленьку с мужиком свенчают, то она никакого мешанья не сделает, но если он от нее это скроет, то ее любопытство мучить станет, и тогда она за себя не поручится, что от нетерпения вред сделает.

Поп уступил.

— Ну, ладно, — говорит, — я тебе лучше все скажу, только уж ты знай, да никому здесь не сказывай. Лука Александрович себя от радости не помнит: с матерью помирился и послал за товарищами-офицерами. Они завтра все вместе в город поедут, а как они выедут, так сейчас честолюбию Поленьки будет положен предел, и не успеет тот до города доехать, а мы ее здесь окрутим с Петухом.

Был же Петух бестягольный мужик на господском птичном дворе — нечистый и полоумный, с красным носом, и говор имел дроботливый с выкриком по-петушьему, а лет уже сорока и поболее.

Это услыхав, попадья руками всплеснула и говорит:

— Ах вы, помору на вас нет на обоих с бригадирщею! Старые вы злодеи и греховодники — какое вы зло совершить задумали! Нет, я этого ни за что видеть не могу и ни за что здесь не останусь, а как теперь есть у меня свой собственный конь, мною выпрошенный, то делай ты, что ты взялся, а мне пусть батрак завтра рано на заре сани заложит, — я возьму лукошко яиц да кадочку творожку и поеду одна в город в семинарию, там посмотреть, хорошо ли их хозяйка на харчах держит, и только через три дня назад приеду.

Поп и очень рад.

— Ступай, — говорит, — мати, только мне шкоды не делай. Навести Гришу и Мишу и скажи им мое родительское благословение, и чтобы со всякими безразборно не водились, а помнили, что они дети иерейские, а не дьячковские.

Мать взяла у попа ключи, сбегала на колокольню за лукошком, поставила в сани лукошко и кадочку и поехала. Да как выехала за околицу, так и пошла коня по бедрам хлестать хворостиною. Шибко она доехала до первой станции и остановилась.

— Мне, — говорит, — надо из другого села попутчиков дождаться, чтобы парой коней спрячь.

И как по некоем часе ее ожидания к станции подкатили сани под светлым ковром, где сидели Лука Александрович и его два товарища, — она взяла Луку в сторону и говорит:

— Никуда дальше не поезжайте и ни одной минуты не медлите, а скорее назад возвращайтесь. Так и так — вот вам тайна, которая против вас умышлена, и покуда вы сюда ехали и здесь остаетесь, там всё делают.

Лука Александрович схватил себя за виски руками и завопил:

— Горе мое, лютое горе! Если это верно, то теперь все поздно — они уже успели ее обвенчать!

Но попадья его скорбь утишила.

— То, что я вам открыла, — говорит, — это все истинная правда, но опоздания еще нет.

— Как нет? — воскликнул Лука. — Мы ехали сюда час времени и более, да назад должны скакать, а долго ли время надо венец надеть!

А попадья усмехается.

— Не робейте, — говорит, — не наденут! Садитесь скорее в свои сани, и скачите назад, и стучитесь прямо в церковь, а в ноги возьмите с собою мое лукошечко да дорогой посмотрите. Оно вам хорошо сделает.

Те и поскакали. Порют, хлещут коней, как будто задушить их хотят на одной упряжке, а между тем и в лукошко глянули, а там вместо яиц пересыпаны мякиной венцы венчальные...

Офицеры видят, что их дело хорошо справлено, потому что венцы здесь, а других в церкви нет, и венчать нечем.

Подскакали к церкви; выскочили из саней — лукошко с собою, и прямо толкнули в двери, но обрели их не позабытыми, а плотно затворенными и изнутри запертыми, а там за дверью слышны беготня и смятение, и слабый плач, и стон, и священниковы крики...

Услыхав все это, Лука Александрович и его два товарища дали порыв гнева и, сильно заколотив в двери, закричали:

— Сейчас нам отпереть! Ибо знаем, что в храме насильный брак совершается, и мы не допустим и сейчас двери вон выбьем...

А как в храме ничего не отвечали, то они стали бить с денщиком в двери, и двери высадили, и вскочили в церковь все — и попадьино лукошко с собою.

Вина же смятения в храме была та, что венцов, которые попадья с умыслом выкрала, не могли найти, и в пре о том делали шумные крики. Поп корил дьячков, что, может быть, унесли и заложили, а дьячки на него спирались, говоря: «Мы венцов из ставца не брали». Но дьякон никого не поносил, а молча писал в книгу по женихе и невесте обыск: «Повенчаны первым браком крепостные Пелагея Петрова да Афонасий Петух, писанные по ревизии за их господами», — а обыскных по них свидетелей всего два человека стоят без грамоты и Поленьку за локти держат, а Петух в завсегдашнем своем скаредстве, только волосы маслом сглажены, поставлен, как сам не рад, но безответен.

А тут в двери заколотили Лука Александрович с сотоварищи — всё войственники отважного нрава, да при них бомбардир из черкесов, превеликий усилок, в таком

возбуждении, как бы опившись схирского напитка, яко непотребные, от рассуждения правоты отчужденные безумцы.

Тогда все, кто на каком месте стоял, заметалися, особенно как Луки Александровича голос услыхали, и, забыв о венцах, кинулись совершать, что скорее к исполнению: обыск подписали и стали к аналою, имя божие призвали и петь уже зачали, сами не зная, чем по пропаже венцов кончится, а дьякон по неудовольствию на попа думает, что не тому бы одному надлежало взять от бригадирши лошадь, а и его священнодиаконству тоже не мешало бы привести хотя неезжалого стригуночка, да в таких-то мыслях понес он мимо дверей книгу со вписанным обыском, а сам, проходя, размахнул пятою да нижний крюк у дверей и сбил. Тогда дверь не удержалась и распахнулась, и вошли все те осаждавшие, имея пылкий вид и самовольные обороты. Два офицера, у коих в руках венцы, начали всех толкать и похватывать, а Лука Александрович взял предстоявшего жениха Петуха за подзагривок и оттолкнул его и стал на его место, а бомбардир их, превеликий усилок, по их слову стал давить попа перстами под жабренные кости, от чего тоя боль коснулась во все части, что поп завизжал не своим голосом, и офицеры, обозлив тем же дьячков по косицам, кричали: «пойте и читайте», и те все от страха загугнеша, еже и не различити самим им, каковая действуют. Но дьякон, уцелев от сего трепания и судя, что обыск брака Пелагеи им уже с Петухом записан, а сии набеглые непорядочники, как военного звания, объявляются в духе законов непостижимые невежды и только своего бесстудного хотения домогаются, а меж тем все сами смелого характера, а при них бомбардир, превеликий усилок, — порешил: «Э, да что нам до того! Во свете надо всем угодно жить, — тогда и хорошо». И, надев стихарь, возгласил: «Положив еси на главах их венцы», — а за ним и все, ободрясь, как овцы за козлом, пошли скорохватом и кончили.

И как только венцы сняли, так офицеры уворотили Пелагею в запасную шубу и покатили опять в тех же санях к городу, и скоро на чистой дорожке мать попадью обогнали и ее даже не поблагодарили и не узнали, а, зацепив ее ненароком под отводину, сани ее с нею вместе избочили и в снег опрокинули, и творог, который она вез-

ла недовольным семинаристам, притоптали и в одно с снегом сделали.

Мать же попадья, прозорлив и здрав ум имея, и за то даже не осердилась, а только вослед им с усмешкой сказала:

— Ничего, ты мне со временем за всё воздаси отразу.

А оные безумцы, проскакав город, взяли новых незаморенных коней и опять поскакали, и так неизвестно куда совсем умчалися. Попадья же, удостоверив для себя, через что у семинаристов на харчи неудовольствие, возвратилась назад, то застала всеобщее перелыганство: все прелыгались кийжде на коегожде, кто всех виноватее, и от бригадирши всё таили, ибо страха гнева ее опасались, и сказали ей: «свадьба повенчана», а что подробнее было, той неожиданности не открыли.

Бригадирша весь причет одарила: дьякона синею, а дьячков по рублю и успокоилась, и как она на Пелагею гневалась, то и на глаза ее к себе не требовала, а только на другое утро спросила, как она теперь с своим мужем после прежнего обхождения. Но покоевые девки ей тоже правды открыть не смели и отвечали, что Пелагея очень плачет.

Бригадирша была тем довольна и говорит:

— Она и повинна теперь всегда плакать за свою нескромность, ибо Хамова кровь к Иафетовой не простирается.

И никто не знал — как и когда все такое столь великое лганье прекратить, потому что все правые и виноватые злого и недоброго на себя опасались во время гнева. Но дьякон, быв во всем этом немало причинен, но от природы механик хитрейший от попа и попадьи, взялся помочь и сказал:

— Если мне принесут из господского погреба фалернского вина и горшок моченых в поспе сладких больших яблоков, то я возьмусь и помогу.

Тогда попадья побежала к ключнику и к ларешнику и, добыв у них того вина и моченых в поспе сладких яблоков, подала их дьякону, ибо знала, что он был преискусный выдумщик и часто позываем в дом для завода и исправления не идущих по воле своей аглицких футлярных часов, коих ход умел умерять чрез облегчение гирь, или отпускание маятника, или очистку пыли и смазку ко-

лес. Он и пошел в дом и положил всему такое краеграненние, что, развертывая гирную струну на барабашке, вдруг самоотважно составил небывалую повесть, будто Петухова жена Пелагея еще в первой ночи после их обвенчания сбежала от него босая и тяжелая из холодной пуни и побрела в лес, и там ей встретился медведь и ее съел совсем с утробою и с плодом чрева ее.

Бригадирша тому ужаснулась и спросила:

— Неужели это правда?

А дьякон отвечает:

— Я священнослужитель и присяги принимать не могу, но мне так просто должно верить, и вот тебе крест святой, что говорю истину. — И перекрестился.

— Так что же мне совсем не то говорили?

А дьякон отвечает:

— Это, матушка, все со страху перед твоей милостью.

— Для чего же, — говорит, — так? Мне этого не нужно, чтоб лгали. Я наказать велю.

А дьякон ей стал доводить:

— Эх, матушка! Не спеши опаляться гневом твоим, ибо и ложь лжи рознь есть, зане есть ложь оголтелая во обман и есть ложь во спасение. Того бо вси повинни есьми, и так было и по вся дни.

И поча ей заговаривать истории от Писания, как было, что перед цари лгали все царедворцы в земле фараонской, и лгаша фараону вси и о всякой вещи, во еже отвратити его очеса от бывшего в людех бедствия. И то есть лютость, и в том кийждо поревноваша коемужде, даже аще мнилось быть и благочестивии и боголюбивии, и невозглагола правды даже и той же бе первый по фараоне, а один токмо связень Пентифаров, оклеветанник из темницы, не зная дворецких порядков, открыто сказал правду фараону, что скоро голод будет. — И потом перешел дьякон к ее делу и сказал:

— Ты же, о госпоже, сама властвуеши душами живых под державой твоей, иже есть отблеск высшего права, и вольна ты во всем счастье и в животе верных твоих, а того ради все, тебя боясь, многия правды тебе не сказывают, но я худой человечишка и маломерный, что часишки твои разбираю да смазываю, столь сея нощи думал о часах быстротечныя жизни нашея, скоропереходящих и минающих, и дерзнул поговорить истину. И ты не

опали за то ни меня, ни других яростию гнева твоего, но, обычным твоим милосердием всех нас покрыв, рассуди тихо и благосердно, сколь душевредное из всего того может выйти последствие, ибо от угнетенных нас тобою может быть доношенье властям в губернскую канцелярию, что свадьба та по твоему приказу пета бяху насилом над Пелагеею, и тогда все мы, смиренные и покорные, пострадаем за тебя, а тебе, — как ты думаешь, — каково будет отвечать богу за весь причет церковный?

Бригадирша стала ужасаться, а дьякон ей еще подбавлял, говоря:

— Да еще и в сем веце тебе самой прейдет некоторый меч в душу, и избудешь ты немало добра на судейских и приказных людей, да еще они в полноте священной власти твоей над рабами твоими могут сделать тебе умаление. Всего сего ради смилуйся, ни с кого не взыскивай, чтобы и тебе самой худа не было, а лучше подумай, а я изойду на вольное поветрие твои часы по приметочкам на солнце поверять.

И бригадирша, подумав, увидала, что дьякон действительно говорил ей с хорошим и добрым для нее рассуждением, и когда он с солнца вернулся, подала ему вместо ответа целковый рубль, чтобы всем причтом за упокой Пелагеи обедню отслужили и потом же за ту плату и панихиду, и на панихиду сама обещала прийти с кутьею. Но дьякон, видя ее умягчившуюся, рубль у себя спрятал и ей сказал так:

— Нет, заупокойному пению и рыданию быть не должно, ибо я теперь расскажу уже всю настоящую правду, которая есть гораздо того веселее и счастливее, ибо Пелагея жива и обвенчана, но с такою хитрою механикою, что не скоро и понять можно.

И в ту пору изложенные превратности бригадирше открыл, но тоже не совсем без умолчания. Сказал он ей, что непокорный сын ее Лука Александрович под венцом с Пелагеею ходил, а черкес держал Петуха в стороне за локти, и когда бригадирша стала со страха обмирать, он ее успокоил заблаговремя, что все это венчание сыну ее не впрок, ибо писан брак в книге, как надобно, — на Петуха с Пелагеею. Бригадирша вздохнула и перекрестилася, а того, что за превеликим смятением вместо венчания невесть что пето бяху, дьякон не сказал, а принес

ей из церкви книгу, где брак писан на Пелагею с Петухом, и говорит: «Вот крепко, что написано пером, того не вырубишь топором. А сын твой, хотя и смелый удалец, но блазень, и закона не понимает. Пусть куда он ее умчал, там с нею и блазнует, и ему то и в мысль не придет, что она ему не жена».

Бригадирше даже весело стало, и она даже жалела, для чего не с ним, а с попом первый совет советовала, и зато, чтобы ему не быть перед попом в обиде, самого на ворок посылала, чтобы сам взял себе там любого коня, на которого только глаз его взглянет.

Но дьякон умнее себя показал и похвалами не обольстился и коня выбирать борзяся не кинулся, да не будет у старшего зависти.

— А желаю, — говорит, — я себе что скромнейшее — получить с твоего скотного двора молочную коровку сновотелу, и с теленочком, да пусть будет промеж нас двоих такое в секрете условие, что получать мне от тебя из рук в руки к успенью и к рождеству по двадцати рублей на сына в училище, чтобы ему лучше жить было, и он бы, подобно всем, на харчи не жаловался. А я это стану брать и весь наш секрет соблюду во всей тайности.

То слыша, бригадирша отвечала:

— Однако же ты, вижу я, себе не враг, и хитрости твоей даже опасаться можно.

Но дьякон ей:

— Себе никто не враг, но моей хитрости тебе бояться нечего: я тебе уготовился яко же конь добр в день брани и сам через тебя от господа помощь приемлю.

Она же хотения его совершила, но чрез все остальные дни свои имела к нему большую престрашку, а о сочетавшихся Луке и Пелагее — ниже сего предлагается.

ПРОСТОЕ СРЕДСТВО

Как от совокупления сливающихся ручьев плывут далее реки и в конце стает великое море, брегов коего оком не окинуть, так и в хитростях человеческих, когда накопятся, образуется нечто неуяснимое. Так было и с сим браком.

Меж тем как бригадирша прикрыла хитростями удальство своего сына, тот удалец с мнимою своею женою, о коей нельзя и сказать, кому она определена, прибыл в столицу и открылся в происшедшей тайне сестре своей и нашел у нее для Поленьки довольное внимание, так что и родившееся вскоре дитя их было воспринято от купели благородными их знакомцами и записано законным сыном Луки Александровича и Поленьки и в том дана выпись.[1] Потом же рождались у них и другие дети и тоже так писаны, а потом на третьем году после того бригадирша отошла от сея жизни в вечную, и Лука с сестрами стали наследниками всего имения, и Лука Александрович с Поленькою приехали в имение и духовенству построили новые дома и жили бластишно, доколе пришел час отдавать их сына в корпус и дочь в императорский институт. Тогда стали нужны метрики, и в консистории их дать не могли, потому что брак писан по книгам не на помещика Луку Александровича, а на крепостного Петуха. И тогда, в безмерном огорчении от такой через многие годы непредвиденной неожиданности, Лука Александрович поехал хлопотать в столицу и был у важных лиц и всем объяснял свое происшествие, но между всех особ не обрелося ни одной, кто бы ему помог, ибо что писано в обыскной книге о браке Поленьки с крепостным Петухом, то было по законным правилам несомненно. И он, по многих тратах и хлопотах, возвратился в свой город и стал размышлять, что учинить, — ибо, если он отпустит Петуха на волю, то Петух может чрез чье-либо научение требовать жену и детей, а иначе крепостных детей в благородное звание вывесть нельзя. И был он опять в смущении, потому что никто ему в его горе совета не подал.

Но когда совсем исчезает одна надежда, часто восходит другая: ввечеру, когда Лука сидел один в грустной безнадежности, пришел к нему один консисторский при-

---

[1] Маловероятный случай этот представляется совершенно возможным. По крайней мере на эту мысль наводит 42-й параграф «Инструкции благочинному» изд. 1857 г., где говорится об «осторожности в показывании супругами таких лиц, кои не здесь венчаны», и в доказательство супружества своего никаких доказательств не представляют. Очевидно, что предостережение это было чем-нибудь вызвано. *(Прим. автора.)*

казный, весьма гнусного и скаредного вида и пахнущий водкою, и сказал ему:

— Слушай, боярин: я знаю твою скорбь и старание и вижу, что из всех, кого ты просил, никто тебе помочь не искусен, а я помогу.

Лука Александрович говорит:

— Мое дело такое, что помочь нельзя.

А приказный отвечает:

— Пустое, боярин. Зачем отчаяваться, — отчаяние есть смертный грех, а на святой Руси нет невозможности.

Но Лука Александрович, как уже много от настоящих лиц просил советов и от тех ничего полезного не получал, то уже и не хотел того гнуснеца слушать и сказал ему:

— Уйди в свое место! Где ты можешь мне помочь, когда большого чина люди средств не находили.

А приказный отвечает:

— Нет, ты, боярин, моим советом не пренебрегай, большие доктора простых средств не знают, а простые люди знают, и я знаю простое средство помочь твоему горю.

Тот рассмеялся, но думает: «Попробую, что такое есть?» — и спросил:

— Сколько твое средство стоит?

Приказный отвечает:

— Всего два червонца.

Лука Александрович подумал:

«Много уже мною потрачено, а это уже не великая вещь», — и дал ему два червонца.

А на другой день приходит к нему тот подьячий и говорит:

— Ну, боярин, я все справил: подавай теперь просьбу, чтобы не письменную справку читали, а самую бы подлинную книгу потребовали.

Лука Александрович говорит:

— Неужели ты, бесстрашный этакий, подлогом меня там записал! Что ты это сделал? И я через тебя в подозренье пойду!

А подьячий отвечает:

— И, боярин, боярин! Как тебе это могло в голову прийти! Ум-то не в одних больших головах, а и в малых. Не пытай, что я сделал, а проси книгу и прав будешь.

Лука Александрович подумал, что много уже он средств пробовал — отчего еще одно не попробовать, и подал, чтобы вытребовали из архива подлинную книгу и посмотрели: как писано? А как была она вытребована, то объявилось, что писано имя «крестьянин Петух», но другим чернилом по выскобленному месту... А когда и кто это написал, и что на этом месте прежде было, — неизвестно.

Тогда сделали следствие и стали всех, кто живые остались, спрашивать: с кем Пелагея венчана, и все показали, что с Лукою Александровичем, а Петух стоял в стороне, и браку было утверждение, и доселе мнимые Петуховы дети получили дворянские права своего рода, а приказный никакой фальши не сделал, а только подписал в книге то самое, что в ней и вычистил. То было его «простое средство».

СОВМЕСТИТЕЛИ

БУКОЛИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ КАНВЕ

Род сей ничем же изимается.

Совместительство у нас есть очень старое и очень важное зло. Даже когда по существу как будто ничему не мешает, оно все-таки составляет зло, — говорил некоторый знатный и правдивый человек и при этом рассказал следующий, по моему мнению, небезынтересный анекдотический случай из старого времени. — Дело идет о бывшем министре финансов, известном графе Канкрине. Я записал этот рассказ под свежим впечатлением, прямо со слов рассказчика, и так его здесь и передам, почти теми же словами, как слышал.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Граф Канкрин был деловит и умен, но любил поволочиться. Тогда было, впрочем, такое время, что все волочились. Даже впоследствии это перешло как бы в предание по финансовому ведомству, и покойный Вронченко тоже был превеликий ухаживатель: только в этом игры и любезности той не было, как в Канкрине.[1] Такое господствовало настроение: жизнь играла у гробового входа.

[1] Граф Егор Францович Канкрин род. 1774 г., состоял генерал-интендантом в 1812 г., а с 1823 года министром финансов. Умер в 1846 г. Был отличный финансист и известен также как писатель; писал на немецком языке. *(Прим. автора.)*

И те, кому волокитство уже ни на что не нужно было, и они все-таки старались не отставать от сверстников.

Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или приличия, все имели дам на попечении. В самой большой моде были танцорки или цыганки, но иногда и другие особы соответственного значения. И притом никто почти не скрывал свои грешки, а нередко даже желали их огласки. Это давало случай в обществе подшучивать над «старыми грешниками». О них рассказывали разные смешные анекдоты, а это делало грешникам известность и рекомендовало их как добрых и забавных вье-гарсонов.

Случалось, что имя грешника вспоминалось с какою-нибудь веселою шуткою при таких лицах, что это воспомянутому было полезно, и этим дорожили и умели обращать себе в выгоду.

Были даже такие старички, которые сами про себя нарочно сочиняли смешные любовные историйки и доходили в этом до замечательной виртуозности. Позднейшие критики, не знавшие хорошо действительности прошлой жизни, приписали нигилистической поре стремление «пить втроем утренний чай»; но это несправедливо. Все это было известно гораздо раньше появления нигилистов и производилось гораздо крупнее, но только тогда на это был другой взгляд, и «чай втроем» не получал тенденциозных истолкований.

А что старички в то время очень, очень шалили и что грешки их забавляли общество — это вы можете видеть по театральному репертуару. Тогда нередко так с кого-нибудь прямиком и писали пьесы. Например, «Новички в любви», или «Его превосходительство, или Средство нравиться» — это все с натуры. Теперь всех этих пьес уже и названий не припомнишь, а тогда, бывало, выведенных лиц по именам в театре называли и смеялись. Многие актеры, особенно Мартынов, бывало, нарочно гримировались и копировали на сцене того, в кого метили. Был даже один такой случай, что некто, имевший желание о себе напомнить, сам избрал для этого театр и сам приезжал к Мартынову с просьбою: «нельзя ли так представить, чтобы его лицо узнали». Мартынов над этим просителем подсмеялся: он ему не отказал, но что-то такое как-то прикрасил по-своему и чуть-чуть не повредил

почтенному человеку. Впрочем, дело обошлось, и тот возобновил себя у кого желал в памяти и получил солидную должность.

В министерстве финансов тогда собралась компания очень больших волокит, и сам министр считался в этой компании не последним. Любовных грешков у графа Канкрина, как у очень умного человека, с очень живою фантазией, было много, но к той поре, когда подошел комический случай, о котором теперь наступает рассказ, граф уже был в упадке телесных сил и не совсем охотно, а более для одного приличия вел знакомство с некоторой барынькой полуинтендантского происхождения.

Среди интендантов граф Канкрин был очень известен по его прежней службе, а может быть и по его прежней старательности в ухаживаниях за смазливыми дамочками, или, как он их называл, «жоли-мордочками». Это совсем не то, что Тургенев называет в своих письмах *мордемондии*. «Мордемондии» — это начитанная противность, а «жоли-мордочки» — это была прелесть.

Притом, я не знаю, как это кажется вам, а я в этом названии слышу что-то веселое, молодое и беззаботное, и в слове «жоли-мордочка» не вижу ничего ни грубого, ни обидного для прекрасного пола.

В оное былое время, когда граф интендантствовал, «жоли-мордочки» его сильно занимали и немало ему стоили; но в ту пору, до которой доходит мой рассказ, он уже только «соблюдал приличия круга» и потому стал и расчетлив и ленив в оказательствах своего внимания даме.

А состоявшая в это время при нем «жоли-мордочка» была, как на грех, особа с некоторым образованием и очень живого характера: она требовала внимания, сердилась, капризничала, делала ему сцены и вообще хотела, чтобы он ею занимался и как-нибудь ее развлекал. Граф же был и стар и очень занят, да и по положению своему он не мог удовлетворять эти требования. А потому, поступая в духе времени, он очень желал, чтобы часть забот о развлечении молоденькой особы понес кто-нибудь другой. Это тогда не только допускалось, но даже и патронировалось. Одно лишь было в условиях этикета, чтобы совместитель был человек с тактом и не ронял значения главенствующего лица или патрона.

Таким дамам позволяли появляться с их адъютантами, где можно, в общественных местах, и это никому не вредило, потому что от этого шел хороший говор: «Вот де князь NN надувает графа ZZ». А совсем никакого надувательства ни с чьей стороны и не было — все было с общего согласия, но только через хорошего «атташе» больше прославлялось имя патрона. Старичок, бывало, заедет утром, чашку кофе или шоколада выпьет и уедет и денег пачку оставит, а после визита приезжает совместитель, и идет счастливое препровождение времени.

Но нынешняя «жоли-мордочка» графа была капризница и дикарка: она ни с кем не знакомилась и тем ужасно обременяла графа беспрерывными претензиями.

Он хотел отношений более удобных, а она скучала и совсем другое пела.

— Я, — говорит, — так, без участия сердца, жить не могу — я понимаю только одни серьезные отношения.

Граф ей несколько раз представлял, что ему невозможно сидеть у нее и оказывать «участие сердца», а она говорила:

— Нет, вы должны. Пойдем погуляем; я вам что-нибудь почитаю или поиграю.

Ни за что не хотела понять, что ему, как министру, это неудобно. Он и озаботился помирить ее требования как-нибудь иначе и сделал в этом направлении очень находчивый и смелый шаг; но только с хлопотами его вышел пресмешной казус.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Граф жил летом в Лесном, который тогда считался очень хорошим дачным местом. Канкрин сам ведь и положил начало здешнему заселению и всегда Лесному покровительствовал.

Оттого, может быть, здесь и после долго жили директоры из министерства финансов, но только это уж не то. Славы Лесного они не поддержали — она пала невозвратно. Даму свою Канкрин поместил от себя в сторонке, именно в Новой Деревне, где тогда тоже было еще довольно чистенько и прилично. На здешних дачах поме-

щалось большинство нежных особ, имевших именитых попечителей. Дачи этих дам, бывало, заметны, и опытный глаз сейчас их узнавал по хорошим, густым занавескам и по тому, что из них чаще всего слышалось пение куплетов:

«В вас, конечно, нет дурного,
Только, — право не в упрек, —
Нет ли где-нибудь седого?» —
«Что-с?»

а хор отвечает:

Водится грешок!
Водится грешок!

Весело, очень весело жилося! И куда только все это ушло и куда миновалося с усилением разночинца!..

Как пошли петь под бряцание: «Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда ль моя ненаглядная», — так игривый куплет из комнатного пения и вывелся.

«Всякой вещи свое время под солнцем» — даже и куплету.

Так пройдет и оперетка, с которою нынче напрасно борются.

Все пройдет когда-нибудь в свое время.

Канкрин посещал свою пустынницу всегда верхом и всегда без провожатого; но серьезный служебный недосуг мешал ему делать эти посещения так часто, как желала его неудобная, по серьезности своих требований, «жолимордочка». И выходило у них худо: та скучала и капризничала, а он, будучи обременен государственными вопросами и литературой, никак не мог угодить ей. Сцены она умела делать такие, что граф даже стал бояться один к ней ездить.

Рядом же с дачей графа Канкрина в Лесном в это лето поселился молодой, умный, прекрасно образованный и очень в свое время красивый гвардейский кавалерист П. Н. К—шин. Он был из дворян нашей Орловской губернии, и я знал его отца и весь род этих К—шиных: все были преумны и прекрасивы, этакие бравые, рослые, черноглазые, — просто молодцы.

Этот интересный сосед графа, несмотря на свои молодые годы и на военное звание, с представлением о котором у нас соединяется понятие о склонности к развесе-

лому житью, вел жизнь самую уединенную — он все домоседничал и читал книги или играл на скрипке.

Игра на скрипке и обратила на него внимание графа, который тоже был музыкант, и притом очень неплохой музыкант. Граф играл на скрипке в темной комнате, примыкавшей к его кабинету, который был тоже полутемен, потому что окна его были заслонены деревьями и кроме того заставлены рамками, на которых была натянута темнозеленая марли.

Офицер заиграет, а граф положит перо и слушает и, заинтересовавшись им, спрашивает один раз у своего латыша-камердинера:

— Кто это, братец, возле нас так хорошо играет?

Тот отвечает:

— Офицер какой-то, ваше сиятельство.

— Да кто же он такой — он какого полка?

Камердинер говорит:

— Я не знаю.

— Ну так я тебе приказываю: разузнай и доложи мне.

Камердинер все разузнал и вечером, когда стал раздевать графа, докладывает ему, что сосед их — молодой одинокий офицер самого щегольского кавалерийского полка, человек очень достаточный, а живет скромно. Графу это понравилось. Молодой человек и военный, если он все сидит дома да читает, то непременно, должно быть, он человек интересный и нравственный. Ветреник или гуляка не выдержал бы, он бы все бегал да на глазах мотался. У графа что-то на сон грядущий и замелькало в мечтах, а утром, только что граф просыпается, — офицер уже на самой тонкой струне выводит какую-то самую забористую паганиниевскую нотку.

«Ишь, однако, какой он досужий, этот офицерик!» — подумал граф, и ему захотелось посмотреть на соседа. А тот как раз подошел и стал со скрипкою у окна.

Камердинер говорит:

— Извольте, ваше сиятельство, смотреть: господин офицерик весь теперь в виду вашем.

Граф взглянул и отвечает камердинеру:

— Ты, братец, дурак. Разве это «офицерик»? Это целый офицер, да еще, пожалуй, даже офицерище!

И графу захотелось с этим соседом познакомиться.

На следующий же день, когда молодой офицер возвращался с купанья и проходил мимо ограды сада графа Канкрина, тот стоял у своей решетки и заговорил с ним.

— Извините меня, поручик, — это вы так хорошо играете на скрипке?

— Да, я играю, ваше сиятельство. Не смею думать, чтобы я играл хорошо, но прошу у вас извинения, если беспокою вас моею игрою. Я, впрочем, старался узнать время, когда я могу не нарушать вашего покоя.

— О нет, нет, нисколько. Сделайте милость, играйте! Я сам играю и прошу вас покорно — познакомимтесь. И у жены моей тоже собираются Klimperei.[1] Приходите ко мне запросто, по-соседски, и мы с вами вместе поиграем.

Молодой человек поклонился, а граф указал часы, когда его удобно посещать запросто, «по-соседски», и они расстались.

Кавалерист поблагодарил графа и очень умно воспользовался его приглашением. Он пришел к графу не очень скоро и не чересчур долго, а как того требовали вежливость и уважение к лицу Канкрина, человека действительно замечательного — и по уму, и по деятельности, и по таланту.

В два визита молодой, умный поручик чрезвычайно расположил к себе министра. Граф с удовольствием любовался прекрасным молодым человеком и втайне возымел на него свой план. Офицер ему казался как раз таким человеком, с которым он мог завоевать себе — если не область мира, то некоторую долю весьма желательного покоя. Короче и проще говоря, граф был уверен, что его беспокойная дама с серьезными взглядами и требованиями непременно этим молодым человеком заинтересуется. Стоит лишь их познакомить — и они станут вместе читать и разыгрывать дуэты, а ему, старичку, будет отдых. И вот, когда офицер еще раз навестил Канкрина, министр и сказал ему:

— Ах, поручик, какой сегодня хороший день. Мне совсем не хочется сидеть дома и читать мои скучные бумаги. Я бы с большим удовольствием проехался верхом, а от вас зависит сделать мне эту прогулку еще приятнее.

Тот говорит:

---

[1] Здесь: побренчать *(нем.)*.

— Я к вашим услугам, — но только спрашивает, каким образом он может увеличить это удовольствие.

— А вот, — отвечает граф, — прикажите-ка, чтобы вам оседлали вашу лошадь да привели ее сюда, и поедемте вместе.

Офицер с удовольствием согласился. Приказание было немедленно отдано и исполнено: верховые лошади подведены к крыльцу, и граф с молодым человеком сели и поехали.

День был действительно прекрасный, располагающий человека хорошо себя чувствовать и весело болтать.

Канкрин был в своем обыкновенном, длиннополом военном сюртуке с красным воротником, в больших темных очках с боковыми зелеными стеклами и в галошах, которые он носил во всякую погоду и часто не снимал их даже в комнате. На голове граф имел военную фуражку с большим козырьком, который отенял все его лицо. Он вообще одевался чудаком и, несмотря на тогдашнюю строгость в отношении военной формы, позволял себе очень большие отступления и льготы. Государь этого как бы не замечал, а прочие и не смели замечать.

Всадники ехали довольно долго молча, но, несмотря на это молчание, видно было, что граф чувствует себя очень в духе. Он не раз улыбался и весело поглядывал на своего спутника, а потом, у одного поворота вправо к тогдашней опушке леса, остановил лошадь и сказал:

— А знаете ли что, поручик: не заедем ли мы с вами к одной прехорошенькой дамочке.

Молодой человек немного сконфузился от этой неожиданности и проговорил, что он не знает — ловко ли это будет с его стороны приехать незваным в незнакомый дом.

— О, не беспокойтесь, — отвечал граф. — Вы уже во всем в этом положитесь на меня. Я, конечно, знаю, куда вас приглашаю. Это, я вам скажу, премилая молодая особа, и держит себя совсем без глупых церемоний. Мы с нею давно друзья, и вы, я уверен, непременно захотите с нею подружиться. Она довольно умна и прехорошенькая. По своим семейным обстоятельствам она живет совершенно одна — монастыркой и очень часто скучает. Это ее единственный, можно сказать, недостаток. Мы приедем

очень кстати, и вы увидите, как она мило нам обрадуется и встретит нас à bras-ouverts.[1]

— В таком случае я в вашем распоряжении, — отвечал офицер.

— Ну вот и прекрасно! — воскликнул граф. — А эта милая дама и живет отсюда очень недалеко — в Новой Деревне, и дача ее как раз с этой стороны. Мы подъедем к ее домику так, что нас решительно никто и не заметит. И она будет удивлена и обрадована, потому что я только вчера ее навещал, и она затомила меня жалобами на тоску одиночества. Вот мы и явимся ее веселить. Теперь пустим коней рысью и через четверть часа будем уже пить шоколад, сваренный самыми бесподобными ручками.

Офицер молча поклонился.

— Да, да, — продолжал Канкрин. — Вы не думайте, что это одни слова. Таких других ручек не скоро отыщете. Лавальер дорого дала бы, чтобы иметь такие ручки, потому что их-то ей и недоставало, но у этой госпожи ни в чем нет недостатка. Ну, давайте поводья, и мы сейчас будем там.

Поводья даны, и путники приехали так скоро, как обещал Канкрин. И другое его соображение тоже оказалось верно: при приближении их к дачке, обитаемой прелестною дамою, их действительно никто не заметил. На маленьком дворике была тишина — только чьи-то пестренькие цесарские куры похаживали и делали свойственные им фальшивые движения головами из стороны в сторону — точно они на кого-то кивали. Разрисованные сторы с пастушками и деревьями были опущены донизу, и из-за одной из них выглядывала морда сытого рыжего кота, но сама милая пустынница была нигде не заметна и не спешила à bras-ouverts навстречу графу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Через минуту приезд гостей был, однако, замечен и произвел смятение в маленьком домике. Владетельная обитательница дачи не показалась, а ее служанка взглянула в окно и тотчас же быстро снова исчезла. Запертую

[1] С распростертыми объятиями *(франц.)*.

изнутри дверь открыли не совсем скоро, и вышедшая навстречу гостям девушка заговорила второпях, что «барышня» нездорова, а она оберегала ее, чтоб было тихо, и сама заснула.

Граф спросил:

— Чем Марья Степановна нездорова?

— Зубки у них болят — всю ночь не спали.

— А-а, зубки! Надо заговорить ее зубки.

Канкрин входил в комнаты, громко стуча своими галошами, а его спутник следовал молодой, легкой поступью за ним.

Горничная еще больше обеспокоилась и стала говорить:

— Осмелюсь доложить... Они сейчас выйдут, я им уже сказала, что вы пожаловали, и они одевают распашонку.

Образование тогда еще было распределено так неровно, что многие горничные не употребляли иностранное слово «пеньюар», а называли по-русски «распашонка».

— Ну, так мы подождем, пока она оденется, — отвечал граф и не пошел далее, а спокойно сел на широком оттомане и пригласил сесть офицера: — Садитесь, поручик. Не стесняйтесь, — я вас уверяю, что мы будем хорошо приняты.

Он понизил голос и, наклонясь к уху собеседника, добавил:

— Она немножко с душком — как и все хорошенькие женщины, — но это ровно ничего не значит: миленьким женщинам все простить можно. Притом же надо иметь снисхождение к ее положению. Как хотите, а оно немножко неправильно и уязвляет ее самолюбие. Конечно, она ни в чем не нуждается, но это все не то, что она намечала в своих мечтаниях. Она дочь почтенного человека и образована, притом мечтательна. Она прекрасно умеет рассказать свою историю и, верно, когда-нибудь вам ее расскажет. О, она преинтересная и любит «участие сердца».

И граф сообщил кое-что о странностях живого и смелого характера Марьи Степановны. Она жила в фаворе и на свободе у отца, потом в имении у бабушки, отчаянно ездит верхом, как наездница, стреляет с седла и прекрасно играет на биллиарде. В ней есть немножко дикарки. Петербург ей в тягость, особенно как она здесь

лишена живого сообщества равных ей людей — и ужасно скучает.

— Но вы понимаете, — продолжал граф, — что, после утомления однообразием характеров наших светских «кавалер-дам», этакое живое существо — оно, черт возьми, шевелит, оно волнует и встряхивает своею кипучей натурой.

А Марья Степановна все-таки еще не показывалась.

Граф устал говорить, тем более что спутник его ничего ему не возражал, а только молча с ним соглашался и обводил глазами квартиру прелестной дамы в фальшивом положении. Как большинство всех дачных построек, это был животрепещущий домик с дощатыми переборками, оклеенными бумагой и выкрашенными клеевою краскою.

Набивные бумажные обои тогда еще только начинали входить в употребление в городских домах, а дачные домики внутри раскрашивали и потолки их расписывали цветами и амурами.

Это тогда дешевле стоило и, по правде сказать, выходило недурно.

Убранство комнат было не бедное, но и не богатое, но какое-то особенное, как бы, например, *походное* или вообще полковое; точно как будто здесь жила не молоденькая красивая женщина, а, например, эскадронный командир, у которого лихость и отвага соединялись с некоторым вкусом и любовью к изящному. Неплохие ковры, неплохие занавесы, диваны, фортепиано и цитра, но больше всего ковров. Все, где только можно повесить ковер, там покрыто и занавешено коврами. Огромный же персидский ковер закрывает от потолка до полу и всю дверь в спальню, где теперь за перегородкой одевается Марья Степановна.

А оттуда все-таки еще ни слуха ни духа.

— Однако долго она что-то надевает свою распашонку! — заметил граф и громко позвал по-русски:

— Марья Степановна!

Очень приятный грудной контральт отозвался из-за стенки:

— Сейчас.

— А когда же вы кончите свои Klimperei? мы уже устали вас ждать.

— Тем лучше.

— Да, но если вы скоро не выйдете, то я буду так дерзок, что пойду к вам.

— Вы этого не смеете. Впрочем, я сейчас, сейчас выйду.

— Все пукольки, пукольки, — пошутил граф.

Офицер приподнялся с дивана и начал рассматривать приставленную в углу комнаты доску, на которой был наклеен белый картон с расчерченными на нем кругами и со многими следами попавших сюда пулек.

— Это вот наша Диана изволит стрелять, — сказал граф.

— Довольно меткие выстрелы.

— Да, но ведь это не дозволено в жилом месте, и я уже из-за нее имел по этому поводу объяснения... Но, однако...

Граф сделал нетерпеливое движение и добавил:

— Этот прекрасный стрелок нынче так долго медлит, что я позволю себе сделать атаку.

И граф только что приподнялся с дивана, чтобы постучать в двери, как завешивавший дверь ковер отодвинулся, и в его полутемном отвороте появилась красивая Марья Степановна. Она в самом деле была очень хороша — хотя немножко полновата. Рост у нее был небольшой, но хороший, и притом удивительное античное телосложение, а лицо несколько смугловатое, с замечательным тонким очертанием, напоминающим новогреческий тип. Это прелестное лицо очень знали в Петербурге, и Марья Степановна впоследствии еще покрушила много сердец и голов, так как с этого случая, о котором я теперь рассказываю, только началась ее настоящая карьера. Впоследствии из нее вышел такой на все руки боец и делец, через которого обделывались самые невозможные дела. Но мы, однако, не будем предупреждать события.

Граф подал Марье Степановне руку, а другою рукою поддержал ее за затылок под головку и поцеловал ее в лоб, который та подставила графу как истая леди.

Затем он представил хозяйке гостя, а тому сказал:

— Марья Степановна — мой друг: ее друзья — мои друзья, а врагов у нас с нею нет.

Марья Степановна ласково протянула гостю руку, а в сторону графа отвечала:

— Что до меня, то это не так: у меня враги есть и впредь очень быть могут, но я их никогда не замечаю.

Между тем, хотя она держала себя и очень самоуверенно и смело, но в ее лице, фигуре и в довольно хороших, но несколько нервных движениях было что-то немножко вульгарное и немножко тревожное, но тревожное, так сказать, «с предусмотрением» на всякий возможный случай. Она держалась прекрасно и говорила бойко и умно, не стесняясь своей очень очевидной роли, — что непременно стала бы делать женщина менее сообразительная; но только ей все-таки было не по себе, и она прибегла к общеармейскому средству: она пожаловалась на нездоровье, причем впала в довольно заметную ошибку: девушка ее говорила о зубной боли, а сама Марья Степановна возроптала на несносную мигрень.

Граф заметил ей это и рассмеялся, а она рассердилась и запальчиво ответила:

— Не все ли это равно.

— Ну, не совсем все равно.

— Совершенно равно: когда сильно болят зубы, тогда все болит. Не правда ли? — обратилась она к офицеру.

Тот согласился с шутливым поклоном.

— Вы очень милы, — отвечала она и снова обвела комнату взглядом, в котором читалось ее желание, чтобы визит посетителей сошел как можно короче. Когда же граф сказал ей, что они только выпьют у нее чашку шоколада и сейчас же уедут, то она просияла и, забыв роль больной, живо вышла из комнаты отдать приказания служанке, а граф в это время спросил своего спутника:

— Какова-с?

— Эта дама очень красива.

— Да, это лицо сотворено для художника — и она позировала перед Майковым. Приятный художник. Я его знал еще в двенадцатом году, когда он был офицером. Очень нежно пишет. Государь любит его кисть. У меня есть несколько головок Марьи Степановны, но тут у нее у самой есть с нее этюд, где видно больше, чем одна головка... Это ничего, что она полна. Майков был ею очарован. Говорят, будто он религиозен, — я этого не знаю, но он в беззастенчивом роде пишет прелестно. Вы видали его произведения в этом роде?

— Нет, — я о них только слышал.

— Ну, так вы сейчас это можете видеть: давайте вашу руку и идите за мною.

И Канкрин почти втянул офицера за собою в спальню красавицы, где над газированным уборным столом висел довольно большой, драпированный бархатом, портрет Марьи Степановны. Портрет действительно был хорошо написан, известными нежными майковскими лассировками и с большою классическою открытостию, дозволявшею любоваться и формами и живым и сочным колоритом прелестного женского тела. Картина была вполне мастерская и вполне достойная живой красоты, которую она воспроизводила. Но майковские лассировки были очень нежны, а офицер был от природы сильно близорук и, чтобы рассмотреть картину, должен был стать к ней очень близко. Канкрин его сам к этому и подвинул, подведя вплотную к пышно убранному кисеею туалетному столику.

Тут и случилось самое неожиданное происшествие: офицер не заметил, как он запутался шпорами или саблей в легкие оборки кисейной отделки туалетного стола, а когда он нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, то сделал другую, еще бо́льшую. Желая освободить себя из волн кисеи, он приподнял полу чехла и остолбенел: глазам его, как равно и глазам графа, представились под столом две неизвестно кому принадлежащие ноги в мужских сапогах и две руки, которые обхватывали эти ноги, чтобы удержать их в их неестественном компакте.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Молодой офицер был преисполнен жесточайшею на себя досадою за свою неловкость, и в то же время ему разом хотелось смеяться, и было жаль и этой дамы, и графа, и того неизвестного счастливца, кому принадлежали обретенные ноги.

Но положение сделалось еще труднее, когда офицер оглянулся и увидал, что сама Марья Степановна успела возвратиться и стояла тут же, на пороге открытой двери.

«Вот, черт возьми, положение!» — подумал он, и в его голове вдруг промелькнуло, как такие вещи разыгры-

ваются у людей той или другой нации и того или другого круга, но ведь это все здесь не годится... Ведь это Канкрин! Он должен быть умен везде, во всяком положении, и если в данном досадном и смешном случае Марье Степановне предстояла задача показать присутствие духа, более чем нужно на седле и с ружьем в руках, то и он должен явить собою пример благоразумия!

Между тем картина не могла оставаться немою, — и граф был, очевидно, того же самого мнения.

Видя всеобщее удручение немою сценою, граф, нимало не теряя своего спокойного самообладания, нагнулся к задрапированному столу, из-под которого торчали ноги, и приветливо позвал:

— Милостивый государь!

Ответа не было.

— Молодой человек! — повторил граф.

Ноги слегка вздрогнули.

— Mon enfant,[1] — обратился граф к Марье Степановне, — не можете ли вы мне сказать, как зовут этого странного молодого человека?

— Его зовут Иван Павлович, — отвечала покраснев, но с задором в голосе хозяйка.[2]

— Прекрасная вещь, но как жаль, что он так застенчив! Зачем он от нас прячется?

— Так... просто застенчив...

— Что за причуды сидеть под столом!

— Он прекрасно вышивает и помогал мне вышивать сюрприз ко дню вашего рождения и... сконфузился.

— Сюрприз ко дню моего рождения...

Граф послал ей рукою по воздуху поцелуй и добавил:

— Merci, mon enfant.[3] Иван Павлович, выходите: вам там совсем неловко вышивать.

Гость под столом фыркнул от смеха и самым беззаботным, веселым голосом отвечал:

— Действительно, ваше сиятельство, неудобно.

И с этим вдруг, как арлекин из балаганного люка,

---

[1] Дитя мое *(франц.)*.

[2] Имена героя и героини я ставлю не настоящие и фамилии их не обозначаю. От этого изображение эпохи и нравов, надеюсь, ничего не теряют. *(Прим. автора.)*

[3] Спасибо, дитя мое *(франц.)*.

перед ними появился штатский молодец в сюртучке не первой свежести, но с веселыми голубыми глазами, пунцовым ртом и такими русыми кудрями, от которых, как от нагретой проволоки, теплом палило...

Канкрин подал ему с лежавшего на столе серебряного plateau[1] большую черепаховую гребенку и сказал:

— Поправьте вашу прическу.

— Это напрасно, ваше сиятельство.

— Нет, она у вас в беспорядке.

— Все равно, ваше сиятельство, их причесать нельзя.

— Отчего?

— Они у меня не ложатся.

— Как не ложатся!

— Никогда, ваше сиятельство, не ложатся.

— Слышите! — обратился граф к офицеру; тот улыбнулся.

— Ну, а если их — эти ваши волосы намочить водою?

— И тогда не ложатся.

— Вот так натура! — подхватил граф и то же самое повторил, оборотясь к офицеру, а Марье Степановне сказал по-французски:

— А вы напрасно говорите, что он конфузлив.

— Он теперь оправился, потому что вы его обласкали.

— А-а, это очень быть может, — согласился граф и докончил:

— Ведите же нас, милая хозяйка, к вашему столу.

С этим он подал Марье Степановне руку и провел ее к столу, где всех их ожидал шоколад.

На Ивана Павловича действительно была сказана напраслина, будто он конфузлив; но тем не менее он все-таки не знал, куда деть глаза, и министр вступился в его положение и начал его расспрашивать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Служите ли вы где-нибудь, молодой человек?

— Служу, ваше сиятельство.

— И что же: везет ли вам на службе?

— Не знаю, как вам об этом доложить.

---

[1] Подноса *(франц.)*.

— Ну какое вы, например, занимаете место?
— Канцелярский чиновник.
— Еще не высоко! А давно уже служите?
— Пять лет.
— Что же вас не подвигают?
— Протекции не имею, ваше сиятельство
— Надо иметь не протекцию, а способности и доброе прилежание при добром поведении. Это гораздо надежнее.
— Никак нет, ваше сиятельство.
— Что значит ваше «никак нет»?
— Протекция гораздо надежней.
— Что за вздор вы говорите!
— Нет-с, это действительно так.
— Перестаньте, пожалуйста! Это даже думать так стыдно.
— Отчего же, ваше сиятельство, стыдно, — я это беру с практики.
— С какой практики? Велика ли еще ваша практика! Вы так молоды.
— Молод действительно, ваше сиятельство, но все так говорят, и я тоже по себе заключаю: я считаюсь и способным, и все старание прилагаю, и ни в чем предосудительном в поведении не замечен, в этом, я думаю, Марья Степановна за меня поручиться может, потому что я ей уже три года известен...
— Ах, вы уже три года знакомы! — перебил граф. — Это раньше меня!
— Несколько менее, — заметила Марья Степановна.
— Да, действительно менее, — подхватил Иван Павлович.
— Он, однако, вовсе не застенчив, — шепнул ей на ухо граф.
— Вы его обласкали.
— Правда ваша, правда.
— А кто это, молодой человек, ваш главный начальник, при котором так мало значат труды и способности, а все зависит от протекции?
— Прошу прощения у вашего сиятельства: этот вопрос меня затрудняет.
— Не стесняйтесь! Мы здесь встретились просто у общей знакомой — милой и доброй дамы и можем говорить откровенно. Кто ваш главный начальник?

— Вы, ваше сиятельство.

— Как я!

— Точно так, ваше сиятельство: я служу в министерстве финансов.

— Ну, послушайте, — обратился граф по-французски к Марье Степановне, — он совершенно не застенчив.

Та сделала нетерпеливое движение.

— Отчего же я вас, Иван Павлович, никогда не видал? — спросил граф.

— Нет, вы изволили меня видеть, только не заметили. Я во все праздники являюсь и расписываюсь на канцелярском листе раньше многих.

— Да как же, наконец, ваша фамилия?

— Я называюсь N—ов.

— N—ов, — так я произношу?

— Точно так, ваше сиятельство.

— Ну, adieu, mon enfant,[1] — обратился граф к даме, — и au revoir, monsieur N—ов.[2]

Граф и его спутник простились, сели на своих коней и уехали.

Наблюдавший всю эту любопытную сцену офицер заметил, что Марья Степановна различила разницу посланного ей графом «adieu» от адресованного Ивану Павловичу «au revoir», но нимало этим не смутилась; что касается самого Ивана Павловича, то он при отъезде гостей со двора выстроился у окна и смотрел совсем победителем, а завитки его жестких, как сталь, волос казались еще сильнее наэлектризованными и топорщились кверху.

«Черт меня знает, на какое я налетел происшествие», — думал офицер и ощущал сильное желание как можно скорее расстаться с графом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

То же самое, в свою очередь, испытывал и Канкрин. И ему, разумеется, не было теперь удовольствия ехать с глазу на глаз вдвоем с малознакомым щегольским офицером, который видел его в смешном положении.

---

[1] Прощайте, мое дитя *(франц.)*.

[2] До свидания, господин N—ов *(франц.)*.

Как только они выехали за Новую Деревню, на лужайку к Лесному, граф говорит:

— Ну, вы теперь отсюда куда же?

Офицер понял, что тот хочет от него отделаться, и сам этому случаю обрадовался.

— Я, — говорит, — хотел бы заехать к одному товарищу здесь, в Старой Деревне.

— Что же, и прекрасно, вы не стесняйтесь. А я поеду на Каменный навестить графа Панина.

Им дальше было не по дороге.

Граф остановил коня и крепко, дружески пожал офицеру руку.

Тот ощутил в этом пожатии целую скромную просьбу и в молчаливом поклоне умел выразить готовность ее исполнить.

— Спасибо, — отвечал Канкрин, и они расстались.

Граф, однако, обманул своего молодого друга — он не поехал к Панину, а возвратился домой и прошел к супруге. Графиня Екатерина Захаровна (рожденная Муравьева) в это время принимала у себя какого-то иностранца-пианиста, которого привез ей напоказ частый ее гость, известный в свое время откупщик Жадовский.

Графиня и Жадовский сидели и слушали артиста, который с величайшим старанием показывал им свое искусство в игре на фортепиано.

Граф даже не вошел в комнату, а только постоял в открытых дверях, держась обеими руками за притолки, а когда пьеса была окончена и графиня с Жадовским похлопали польщенному артисту, Канкрин, махнув рукою, произнес бесцеремонно «miserable Klimperei»,[1] и застучал своими галошами по направлению к своему темному кабинету.

Здесь он надел на лоб козырек от фуражки, служивший ему вместо тафтяного зонтика, и сел за работу перед большим подсвечником, в котором горели в ряд шесть свечей под темным абажуром.

На половине «кавалер-дамы» Екатерины Захаровны (так величал ее покойный граф) долго еще оставались откупщик и артист и раздавалась «miserable Klimperei», а граф все сидел и, может быть, обдумывал один из своих

[1] Жалкое бренчанье *(франц. и нем.)*.

финансовых планов, а может быть просто дремал после прогулки на лошади. Но только возвратившийся домой спутник графа видел с своего балкона силуэт Канкрина на марли заставок очень долго, а утром рано опять уже послышалась его скрипка. Это значило, что Канкрин встал, умылся и, вместо утренней молитвы, играет в своей темной уборной.

Значит, его настроение находится в полном порядке.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На другой день, при докладе, Канкрин обратился к директору департамента, Александру Максимовичу Княжевичу, и спросил: есть ли у него канцелярский чиновник по фамилии N—ов?

Княжевич этого наверно и сам не знал, но отвечал, что, кажется, будто такой есть.

Спросили у экзекутора, — оказалось, что действительно есть чиновник N—ов.

— А давно ли он служит и где воспитывался?

Отвечают, что служит уже около пяти лет (совершенно верно, как говорил сам Иван Павлович). А происходит он из небогатых курских дворян, мать его была в Судже акушеркою, а он обучался на средства какого-то благодетеля в курской гимназии и окончил курс.

Граф это выслушал и говорит:

— Я его видел. В курской гимназии хорошо воспитывают. У нас образованных молодых людей немного еще: нельзя ли нам его как-нибудь по службе поощрить?

А Александр Максимович Княжевич был иногда упрям и с странностями; он отвечал:

— У меня нет никаких вакансий.

Только тут же случился директор другого департамента, который был ловчее; этот и вызвался:

— У меня, — говорит, — ваше сиятельство, в одном отделении есть место помощника столоначальника, и мне образованный, скромный молодой человек очень нужен.

Канкрин поблагодарил этого директора, и место Ивану Павловичу тотчас дали.

Как он был рад — уж это можно представить, но только на другой день, по подписании приказа, директор призвал Ивана Павловича к себе и говорит:

— Есть ли у вас вицмундир?

Иван Павлович отвечает:

— Никак нет, ваше превосходительство: я занимал до сих пор неклассную должность и вицмундира себе не шил, да и сшить не за что.

— Ну теперь, — отвечает директор, — вы повышены, и на классной должности вам вицмундир необходим. Я назначу вам из канцелярских сумм полтораста рублей пособия, — извольте их получить и немедленно же закажите себе хороший вицмундир. Советую вам сделать его на Васильевском Острове у портного Доса. Он сам англичанин и всем англичанам работает. Его фраки очень солидно сидят, что́ для формы идет. Можете ему сказать, что я вас прислал: он и мне тоже работает. — А когда будете одеты, прошу ко мне явиться.

Дос сшил Ивану Павловичу такую вицмундирную пару, что тот сразу получил вид по крайней мере молодого сенатора.

— Чудесно сшито, — похвалил директор. — Теперь извольте же завтра представиться в этом вицмундире графу и поблагодарить его, так как вы вашим повышением обязаны непосредственному вниманию его сиятельства к вашим способностям и воспитанию.

«Эх, ты, черт возьми, какая загвоздка!» — подумал Иван Павлович.

Он и сам чувствовал в себе большую потребность благодарить графа, но, при воспоминании об обстоятельствах, которые предшествовали этому начальственному вниманию, мысли молодого человека путались. Ивану Павловичу казалось и смешно и даже как будто дерзко напоминать о себе графу предъявлением ему своей интересной самоличности. Иван Павлович думал так, что если он не пойдет благодарить, то это будет лучше: граф наверно не сочтет этого за непочтительность, а, напротив, похвалит его скромность; но директор понимал дело иначе и настоял, чтобы Иван Павлович непременно пошел представляться и благодарить.

Делать нечего, надо было повиноваться.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В нарочитый день, когда Канкрин принимал чиновников своего ведомства, стал перед ним в числе представлявшихся и Иван Павлович.

Только этот застенчивый человек, — сколько по скромности, столько же по тонкому расчету, — поместился ниже всех, в самом конце шеренги представлявшихся чинов. Этим Иван Павлович оказал скромность перед другими, более сановными лицами, а себе предуготовил ту выгоду, что, оставаясь последним, он мог принести свою благодарность министру наедине.

Действительно, так и пришлось: Канкрин отпустил по очереди всех представлявшихся, а потом подошел к последнему Ивану Павловичу и, не смотря ему в лицо, протянул руку, чтобы принять прошение.

Иван Павлович поклонился и молвил:

— Я, ваше сиятельство, не с прошением.

Канкрин вскинул на него глаза и проговорил:

— Что же вам угодно?

— Я являюсь, по приказанию директора, чтобы благодарить ваше сиятельство.

— За что?

— Я получил место...

— Прекрасно... я очень рад... Значит, вы его заслужили.

— Господин директор мне объявил, что вы сами изволили оказать мне в этом помощь.

— Очень может быть: вы мне помогали, а я вам помог. Это так и следовало. Желаю вам счастливо подвигаться вперед.

Граф поклонился и ушел, а директор призвал к себе в кабинет Ивана Павловича и расспросил его, что с ним говорил министр при представлении.

Иван Павлович отвечал:

— Граф изволили быть со мною очень милостивы и пожелали мне «счастливо подвигаться вперед».

Директор сделал жест и говорит:

— Это прекрасно, — вы можете считать себя устроенным: граф очень проницателен, и он не ошибся отметить в вас способного молодого человека, которому стоило только сделать первый шаг. Этот шаг теперь вами и сде-

лан, а дальнейшее зависит не от одних ваших стараний, но также и от сообразительности, — присядьте.

Иван Павлович поклонился.

— Присядьте, присядьте, — повторил директор, показывая ему на стул.

Тот сел.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Финансовая служба, — заговорил директор, — это не то что какая-нибудь другая служба. Она имеет свои особенности. Здесь идет дело не о юридических фантазиях, а о хозяйстве, — о всем, так сказать, достоянии России. Вот почему люди, которые допускаются к финансовым должностям, облекаются большим доверием начальства, и потому они должны быть ему крепки... Они должны, так сказать, представлять начальству в самих себе прочное ручательство, что, кроме естественно в каждом честном человеке предполагаемого сознания собственного достоинства и священного долга, они скрепили себя другими узами, которые в своем роде тоже равны присяге, потому что они произносятся перед алтарем и начертываются в сердце...

Директор был немножко поэт, но Иван Павлович в ту же минуту умел перелагать его оду на обыкновенный прозаический язык.

— Я говорю о том, — сказал директор, — что в финансовом ведомстве довольно трудно полагаться на холостых людей. Холостые люди — они, как мотыльки или как перелетные птички, всегда готовы порхать с цветка на цветок, с ветки на ветку. Посидел, вспорхнул — и нет его, и ищи где знаешь. В военной службе это, например, даже принято, но по финансовой службе это невозможно. Настоящий финансист, если он желает внушать к себе полное доверие, непременно должен иметь дорогих и близких его сердцу существ... Понимаете, чтобы ему было к кому чувствовать привязанность и было чем и для кого дорожить собою.

Директор чувствовал, что говорит вздор, и спешил окончить.

— Я разумею то, — заключил он, — что финансист непременно должен быть женат и иметь семейство. Да, да, да! Непременно! И я разумею не какое-нибудь ветреное

семейство, составленное на холостую руку, а плотную и почтенную женатую жизнь. Истинный финансист, если он желает представлять собою надежные за себя ручательства, непременно должен быть женат. Одно глубоко и искренно уважаемое мною лицо, которого я не назову вам, раз прямо высказало мне свою тайную задушевную мысль, что, по его мнению, ответственные должности по финансовому ведомству предпочтительно надлежит доверять людям женатым. И мы этого держимся, если не совсем без отступлений, то по возможности мы женатым даем преимущества. Таковы почти правила для финансовой службы, если ею управляют как следует. И я хотел бы сказать, что это прекрасные правила, выработанные практикой и освященные временем. И для того, кто имеет благородное честолюбие и кто способен никогда не упускать из виду сделать себе быструю и хорошую карьеру, — я надеюсь, что я не говорю ничего необычайного и нового. Кто религиозен и кто уважает заповедь божию, тот должен знать, что «не благо быть человеку одному». Этого положения обойти нельзя, ибо оно вечно, ибо это... так...

Директор поднялся с своего кресла, вознес вверх правую руку с двумя выпрямленными пальцами и докончил:

— Так сказал о человеке сам бог!

С этим сановник вручил свои два пальца Ивану Павловичу и отпустил его со словами:

— И я так вам советую и желаю вам счастья и успехов. Ваш столоначальник почти такой же, как вы, молодой человек с прекрасным образованием и сердцем. Вам с ним будет приятно. В нем много самолюбия, и он на своем нынешнем посту долго не засидится. Я не люблю оставлять без поощрения людей способных и меня понимающих. Томить людей не следует, и никого из моих подчиненных не томить — это мое правило.

Они поклонились друг другу самым пристойным и самым выразительным манером.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу показалось нужным для того, чтобы дело его имело надлежащий вид, он подал своему директору записку о разрешении ему вступить в законный брак с Марьей Степановной.

Граф Канкрин хотя с неудовольствием, но все-таки не отказал в просьбе Марьи Степановны и был у нее посаженым отцом.

Иван Павлович для этого случая обнаружил всю тонкость своего практического ума: он устроил свадьбу «по-английски» — тихую, в маленькой домовой церкви, состоявшей на особых правах.

Министр ни малейшим образом не имел причины пожалеть о том, что он уступил *последней* просьбе своей милой знакомой, которой уже ранее сказал свое «adieu».

Она ему, впрочем, напомнила об этом «adieu», когда, по приезде из церкви, осталась на короткое мгновение вдвоем с глазу на глаз с графом.

— «Adieu», — сказала она, — может говорить женщина мужчине, но не мужчина женщине. Вы меня оскорбили — это на вас не похоже.

Граф извинился рассеянностью.

— Я очень рада, а то я начинала думать, что вы способны забывать свои самые лучшие философские правила.

— Например, какие?

— Никогда не говорить «никогда». Вы меня этому учили, и я помню.

Граф засмеялся — как будто этим ему было приведено на память что-то очень смешное и в то же время приятное.

— А что, видите, — вы мне, верно, не льстили, находя у меня «философскую складку».

— О, я вам нимало не льстил! Вы не только имеете «философскую складку», но вы совсем великий практический философ.

— И что же, должна ли я теперь сказать вам «adieu»?

— Mon ange, [1] — вы можете по-прежнему сказать au revoir.

И он взял и поцеловал ее руку, а она слегка коснулась его лба и слегка же уронила ему в ответ:

— По-прежнему.

---

[1] Мой ангел *(франц.)*.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Иван Павлович немедленно же получил место столоначальника и был очень счастлив в своей семейной жизни. Марья Степановна была ему прекрасною женою, что ей было и нетрудно, потому что она этого молодца в самом деле любила. Из ее приглашения графа к «прежнему» для супружеского счастия Ивана Павловича не выходило ничего угрожающего. Марья Степановна была не пустая, легкомысленная кокетка, которая способна упражняться в кокетстве по одной любви к этому искусству. Нет, Марья Степановна была умная женщина, и именно русская умная женщина, с практическим закалом. Она широко обозревала раскрывающееся перед нею поле жизни и умела отличать кажущееся от существенного. В самом ее красивом обличье тонкие черты новогреческого типа, если всматриваться в них, напоминали одновременно старый византизм и славянскую смышленость. В ней было что-то пристойное бывшей «матерой вдове Мамелефе Тимофеевне», перед которою в раздумье тыкали посошками в землю и трясли бородами поважные старцы, чувствуя, что при такой бабе им негоже над бабьею головою тешиться. Весь разговор, веденный Марьей Степановной с целью упомянуть про «прежнее», был умный прием не для возобновления прежних «пустяков», из которых Марья Степановна выбралась совсем не затем, чтобы к ним возвращаться, «как пес на своя блевотины», а для того, чтобы сохранить декорум. Она знала французское присловье, что и «королевская любовница не стоит честной жены пастуха» — и она вышла замуж недаром, не балуясь; но что могло быть пригодно, того она упускать тоже не хотела. Уважала или нет она своего Ивана Павловича, — это иной вопрос: умные, практические женщины редко кого уважают, да им это и не нужно; но она его *любила,* и этого с нее было довольно, чтобы сделать для него привязанность к ней легкою, приятною и ничем не возмутимою.

Как большинство женщин подобного практического склада, она любила Ивана Павловича просто за то, что он молодец собою, а притом расторопен, сметлив и ей послушен. Он ей во всем станет верить: она его ни в чем не обманет — именно потому, что он ей очень нравится, и они

вдвоем заживут в мире и согласии без всякого уважения, и возьмут с жизни на свой бенефис прехорошую срывку.

А о том, что о них будут говорить, что о них станут думать, — этому вздору она знала настоящую цену.

«Будь бела как снег и чиста как лед, и все равно людская клевета тебя очернит».

Играя с графом на «прежних» струнах, она знала, что аккорд зазвучит так, как она захочет.

Уголь, который она раздувала будто бы неосторожно, был ей известен: она знала, что в нем есть некоторая теплота, но не осталось уже ни малейшей доли опасного пламени.

Но именно эта-то тихая и безопасная теплота ей и была полезна для ее целей. В ней именно и нуждалось их все-таки пока еще совсем неустроенное и несогретое домашнее гнездышко. Граф был нужен, — и Иван Павлович знал это ничуть не менее, чем его супруга. А потому, когда Канкрин, считая себя совершенно уединенным с Марьей Степановной, целовал ее пальчик в знак восстановления чего-то «прежнего», — Иван Павлович, стоя за дверью с шампанскою бутылкою, придерживал подрезанную пробку, чтобы она не хлопнула ранее, чем разговор будет кончен.

Он явился с вином как раз вовремя и кстати, когда все нужное уже было сказано.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Иван Павлович, при всей его малозначительности для такого несомненно большого человека, как граф Канкрин, сделался тем, что был какой-то сомнительный дух, вызванный из какой-то бездны словом очень неосторожного аскета.

Выскочил Иван Павлович перед графом из-под уборного стола неожиданно, как гороховый росток из пупа индийского дервиша, которого описывает болтливый француз Жаколио, а убрать его назад с глаз долой сделалось трудно.

Это произошло, во-первых, от изящной манеры графа никогда не оставлять без внимания тех дам, с которыми он был однажды ласков, и во-вторых — тут оказались на античных ручках Марьи Степановны (которым могла

позавидовать Лавальер) забористые коготки «матерой» Мамелефы Тимофеевны.

Граф был поражен, как начальник колена Иуды, от собственных чресл своих: он не мог отбиться от предупредительного желания угодить ему в лице Ивана Павловича. Этот молодой счастливец в начале следующего года был представлен уже в начальники отделения. Канкрин его утвердил — хотя, впрочем, осведомился:

— Что же, разве он очень способен?

Ему отвечали:

— О да-с; он очень способен.

Министр не имел никаких причин оспаривать заключения ближайшего начальника, и Иван Павлович стал начальником отделения.

Это великий уряд в департаментской иерархии. С этого уряда начинается уже приятная положительность не только в департаменте, но и в мире. Начальника отделения уже не вышвыривают из службы, как мелкую сошку, а с ним церемонятся и даже в случае обнаружения за ним каких-нибудь больших грехов — его все-таки спускают благовидно. Начальник отделения получает позицию — он уже может пробираться в члены благотворительных обществ, а оттуда его начинают «проводить в дома». И положение его все лепится глаже и выше.

Для жены чиновника достижение мужем места начальника отделения было еще важнее. Теперь это значительно изменилось, потому что иерархия вообще расслабела и потеряла престиж, но тогда и женщины ее знали и соблюдали. Все жены лиц низшего положения иначе не назывались, как «наши чиновницы», ниже которых были одни курьерши, а с жен начальников отделений уже начинались «наши министерские дамы». Эти уже не ходили на пасху в приходский храм, а приезжали в «свою министерскую церковь», где их с предупредительностию провожал дежурный чиновник и подавал унесенное из канцелярии мужнино кресло; дьякон подкаждал им грациозным движением щегольски рокочущего кадила с стираксой, а батюшка говорил: «цветите и благоухайте!»

После пасхального служения у начальниц отделения уже нередко целовали ручки даже сами директоры, а взамен того мужья начальниц поздравляли лично директорш...

Это уже был «министерский круг», соприкасающийся с «кабинетом», а не канцелярия, которая граничит с курьерской.

Иван Павлович с Марьей Степановной преодолели эти ступени, но они не думали на них остановиться. Да, по правде сказать, это им было и невозможно, ибо, несмотря на то, что официальная часть положения была теперь в порядке, но в неофициальной многое не ладилось: дамы называли Марью Степановну «ci-devant» [1] и немножечко от нее сторонились.

Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы образовать свой круг и заставить отдать справедливость своим способностям, которые в самом деле были достойны внимания.

Марья Степановна кое-что придумала. Она нашла повод видеться со Скобелевым, который когда-то знал ее ничем не знаменитого отца. Старый комендант тоже был не прочь приволокнуться и обошелся приветливо с милой дамой, а она заинтересовалась его рассказами. Она вообще попробовала кое-что говорить о литературе и увидала, что в России ничего нет легче, как это. Скобелев заходил к ней пить чай и иногда излагал такие рассказы, которые не были напечатаны.

Марья Степановна чувствовала вкус к простонародности — там столько сердца, ума и юмора...

Скобелев находил, что все это есть и в самой в ней.

В самом деле: разве находка у нее нынешнего мужа в некотором роде не самая простонародная сцена? Разве это не отдает «Москалем Чаривником»?.. Как хороша взаправду живая народная жизнь! Марья Степановна почувствовала негодование к выходкам против Белинского. Скобелев ей открыл более, и она добилась случая видеть раз знаменитого критика. Потом у ней пил чай и что-то читал Николай Полевой, и кто-то с кем-то спорил о славянофилах и о необычайном уме молодого Хомякова.

Это произвело свое действие: «министерские дамы» изменили неглижированную презрительность на сосредоточенную сухость, в которой одновременно ощущались и надмение и зависть.

---

[1] «Бывшей» *(франц.)*.

С таким недоброжелательством со стороны искренних уже можно было жить.

Марья Степановна пошла пожинать плоды умного посева.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Марья Степановна, разумеется, не могла любить литературу, а имела ее лишь только для своих практических целей. Литература представляет большое удобство, когда хочешь говорить о чем-нибудь, а не о ком-нибудь, — так, однако, чтобы это было для нас полезно. Она усвоила две-три мысли Белинского, знала какое-то непримиримое положение Хомякова и склонялась на сторону Иннокентия против Филарета. Словом — впала, что называется, в сферу высших вопросов.

Это дало ей апломб и заставило многих кивать головами: «чем-то это кончится?»

Иван Павлович уже был сделан вице-директором. Полагали, что это по жене, у которой такие прекрасные, хотя, быть может, и не безопасные знакомства.

Только она уже очень рисковала. Граф Канкрин был человек довольно свободных взглядов, однако сказывали, что и он, подписывая назначение Ивана Павловича вице-директором, поморщился.

Но судьба Ивану Павловичу служила с невероятною преданностию: как нарочно, случались такие дела, что надо было командировать туда и сюда лиц способных и достойных, и всякий раз министру представляли для таких дел Ивана Павловича.

Это было очень неприятно Канкрину, и он одно представление отложил в сторону, — сделать было неудобно; но через несколько дней граф был на одном музыкально-литературном «soirée intime», [1] куда гости попадали не иначе, как сквозь фильтр, — и вдруг там, в одном укромном уголке, граф встретил скромную женскую фигуру, которая ему сделала глубокий поклон с оттенком подчиненности и иронии и произнесла только одно слово:

— Excellence! [2]

---

[1] Интимный вечер *(франц.)*.

[2] Ваше сиятельство! *(франц.)*.

Граф не ожидал ее здесь встретить и, немножко взволновавшись, взял ее за руку и сказал:

— Ах, мой друг, — ведь уж для него много сделано — что же такое нужно, чтобы я еще сделал?

— Только не мешайте.

Граф улыбнулся и отвечал:

— Это напоминает комедию: «Одно слово министру». — Ну, хорошо: я подпишу.

И он подписал Ивану Павловичу новое повышение.

Сила ее над графом была доказана. Пусть он и морщится, когда ему представляют Ивана Павловича, но в общем сочетании различных комбинаций все-таки приятно. Вскоре к протекции Марьи Степановны стали прибегать сторонние люди, имевшие в графе надобность по делам, и, престранная вещь, — тоже выходило успешно...

Было ли это случайное совпадение обстоятельств или нет, — в этом трудно было разобраться.

Пошло какое-то жужжанье, в котором мешали всё, упоминая что-то и про Иннокентия и про Хомякова, — и вдруг также что-то такое про взятку...

Словом, являлось острое положение, в котором надо — как говорят игроки — «квит или двойной куш».

Марья Степановна повела на двойной куш, и об Иване Павловиче в самую неожиданную минуту последовало новое представление графу к повышению.

Граф вскипел.

— Что такое!.. куда его еще!.. И притом я что-то слышал...

Представлявший отлично знал, с кем имеет дело, и хорошо нашелся.

— Да, — отвечал он, — я знаю, что говорят: это очень жалко, но это не его вина, — а вина его жены, которая увлечена идеями славянофильства Хомякова...

Славянофильство графу было противно.

— Что такое? Какие хомяковские идеи? Это что-то про сорок мучеников... Я в этом решительно ничего не понимаю. Оставьте у меня бумаги.

Но тотчас же где-то и как-то опять является «она, прелестной простоты полна», и даже без «excellence», а с одним поклоном, и дает делу желанное направление.

Увидав ее в высоком круге, граф захотел во что бы то ни стало раз и навсегда избавиться и от нее и от ее мужа самым решительным приемом.

Он сам с нею остановился, сам взял ее за руку и сказал:

— Я все, все сделаю, но другим образом.

Марья Степановна отвечала:

— Я всегда верю вашему рыцарскому слову.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дело о карьере Ивана Павловича приходилось завершать — только бы не быть более с ним вместе.

Граф сделал комбинацию. Другое лицо большого положения — граф Панин имел надобность в услуге министра финансов.

Канкрин ее сделал скоро и охотно, а чрез некоторое время явился просить за подчиненного, которого заслуг он не в силах совместить с ограниченностию персонала по своему ведомству.

Граф Панин пожевал и отвечал, что «совмещать» многое очень трудно, и свободнее других это может разве Перовский, у которого не перечесть сколько хороших мест, находящихся в его власти.

Перовский это и сделал, а Канкрин, подписывая бумагу о согласии на перевод Ивана Павловича в другое ведомство, совсем неожиданно для предстоявших перекрестился по-русски, как сам Хомяков, и сказал:

— Это, как там говорят, «нынче отпущаеши». Наконец я не буду опасаться, что мне представят, чтобы я его утвердил начальником самому себе.

Так все были введены в обман и думали, будто, представляя Ивана Павловича, делали графу неописанное удовольствие, тогда как это было совсем напротив.

Но собственно «отпущения» графу все-таки не было. В Петербурге поняли, что в услужливости ему в лице Ивана Павловича было много ошибочного, но в провинции, куда этот карьерист поехал большим лицом и где первенствующее положение Марье Степановне уже принадлежало по праву, они были встречены иначе. В осе-

давшее тесто словно подпустили свежих дрожжей, и оно пошло подниматься на опаре.

Марья Степановна слыла всемогущею по своему прежнему положению и совмещала теперь это с выгодами нового положения: она стояла выше того, чтобы ее подозревать в искательности: она говорила словами Белинского «о человеке нравственно-развитом», следила за Хомяковым, беседовала с Иннокентием и... брала самые отчаянные взятки даже по таким ведомствам, которые были чужды непосредственному влиянию ее мужа. Все думали, что в ее лице заключается всеобщее надежное «совместительство».

С кем она делилась тем, что взимала, — это была ее тайна, но граф напрасно думал, будто его решительная мера отстранения совместителей от непосредственного участия в ведомстве освободила его на самом деле от их влияния.

— Совместительство, как лесть, может являться в разнообразных формах, и где не промчится зверем рыскучим, там проползет змеею или перепорхнет легкой пташечкой. Надо свет переделать или, другими словами, приучить людей, чтобы они в каждом деле старались служить делу, а не лицам. Вот это поистине прекрасная задача, и добром вспомянется имя того, кто ей с уменьем служит.

Так закончил свой рассказ правдивый и умный человек, со слов которого мною теперь передана вышеизложенная историйка «о совместителе».

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе — о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, — говорил Писемский, — и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому «на долгих», в общем тарантасе или «на сдаточных», — да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, — так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, — изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ — вдесятеро исрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, — ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по железнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ешь — пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений,

что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостию содержания.

— Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от рождества до крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к програме. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие.

— Ну, я не совсем с вами согласен, — отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать.

— Я думаю, — продолжал он, — что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы.

— Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и програме святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.

— А что же? — я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

— Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть *истинное происшествие!*

— О, будьте уверены, — я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

— Да, — отвечал тот, — вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Назад тому три года брат приехал ко мне на святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила — приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: «Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристает: «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, — хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!»

— Ну да постой же, — говорим, — все это прекрасно и пусть будет по-твоему, — господь тебя благослови, — женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время.

А он отвечает:

— Что же — времени довольно: две недели святок венчаться нельзя, — вы меня в это время сосватайте, а на крещенье вечерком мы обвенчаемся и уедем.

— Э, — говорю, — да ты, любезный мой, должно быть немножко с ума сошел от скуки. (Слóва «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, — говорю, — с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения,

а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело.

Жена говорит мне:

— У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать — жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:

— Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

— Нет, позволь, — отвечает жена, — отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?

— Что это такое я уважал?

— Безотчетные симпатии, влечения сердца.

— Ну, — говорю, — матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это — что такое... в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

— Да, а ты что же имеешь против Машеньки? — она именно такая и есть, как ты говоришь, — девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился.

— Как! — воскликнул я, — так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?

— Признание, — отвечает, — не признание, а разве это не видно? Любовь ведь — это по нашему женскому ведомству, — мы ее замечаем и видим в самом зародыше.

— Вы, — говорю, — все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет — это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

— А я ничего, — говорит, — не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой — прекрасный человек и Маша — премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнят.

— Как! — закричал я, себя не помня, — они уже и слово друг другу дали?

— Да, — отвечает жена, — это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся,

и я вечером поеду с твоим братом к ним, — он, наверно, понравится старикам, и потом...

— Что же, что потом?

— Потом — пускай как знают; ты только не мешайся.

— Хорошо, — говорю, — хорошо, — очень рад в подобную глупость не мешаться.

— Глупости никакой не будет.

— Прекрасно.

— А будет все очень хорошо: они будут счастливы!

— Очень рад! Только не мешает, — говорю, — моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.

— Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева — все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

— Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал, — и Маше ничего не даст.

— Почем это знать? Он ее больше всех любит.

— Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя — он на том стоит, и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самою утрированною деликатностию, он и подавно оставит на бобах.

— То есть как это, — говорит, — на бобах?

— Ну, матушка, это ты дурачишься.

— Нет, не дурачусь.

— Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке, — вот и вся недолга́.

— Ах, вот это-то!

— Ну, конечно.

— Конечно, конечно! Это быть может, но только я, — говорит, — никогда не думала, что по-твоему — получить путную жену, хотя бы и без приданого, —это называется «остаться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас — в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок...

— Я говорю вовсе не о себе...

— Нет, отчего же?..

— Ну, это странно, ma chère! [1]

— Да отчего же странно?

— Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.

— Ну, думал.

— Нет — совсем и не думал.

— Ну, воображал.

— Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!

— Да чего же ты кричишь?!

— Я не кричу.

— И «черти»... «черт»... Что это такое?

— Да потому, что ты меня из терпения выводишь.

— Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое...

— Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав — как бог, окончил — как свинья». Я принял обиженный вид, — потому, что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, — и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения — снова отворил дверь и сказал:

— Это свинство!

А она отвечает:

— Merci, мой милый муж.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Черт знает, что за сцена! И не забудьте — это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно — и непереносно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это

[1] Моя дорогая *(франц.)*.

набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи — в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться... Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с нею, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разбранились, как портной с портнихой... И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти...

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь — носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

— Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперед не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.

Смотрю — в доме везде темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

— Где же барыня?

— А они, — отвечает, — уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.

«Какова! — думаю, — значит, она своего упорства не оставляет, — она таки хочет женить брата на Машеньке... Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат —

воплощенная честность и деликатность. Тем лучше, — пусть он их надует — и брата и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа и оба превеселые.

Жена говорит мне:

— Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? а мы у Васильевых ужинали.

— Нет, — говорю, — покорно благодарю.

— Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

— Вот как!

— Да — мы превесело провели время и шампанское пили.

— Счастливцы! — говорю, а сам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пойла недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец кончится, а потом — быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощенья в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы — во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастию, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

— Это что же такое?

— А это дары жениха невесте, — объяснила мне моя жена.

— Ага! так вот уже как! Поздравляю.

— Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобою, но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

— Да и прекрасно, — говорю, — незачем было меня и ждать.

— Ты, кажется, остришь?

— Нисколько я не острю.

— Или иронизируешь?

— И не иронизирую.

— Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пресчастливы.

— Конечно, — говорю, — уж если ты ручаешься, то будут... Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать — вернее.

— А что же, — отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, — ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.

— Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

— Да, сватаются — это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

— Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал — именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

— И врешь.

— Как вру?!

— Врешь — потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

— А за что же?

— За то, что я тебе понравилась.

— Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?

— Нимало — достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

— Однако же, — говорю, — я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?

— Чтобы смотреть на меня.

— Неправда — я изучал твой характер.

Жена расхохоталась.

— Что за пустой смех!

— Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал, и изучать не мог.

— Это почему?

— Сказать?

— Сделай милость, скажи!

— Потому, что ты был в меня влюблен.

— Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.

— Мешало.

— Нет, не мешало.

— Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее *смотрите с рассуждением,* а на самом деле вы только *глазеете с воображением.*

— Ну... однако, — говорю, — ты уж это как-то... очень реально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»

А жена говорит:

— Полно думать, — худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедем к Машеньке: мы сегодня у них встречаем рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.

— Очень рад, — говорю. И поехали.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В этаком настроении долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей, — и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных

с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, — назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать — мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это — вечное».

Но у женщин ведь на всё свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает *слезы*. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

— Это, — говорит, — во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сей-

час возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметиста avec flèches d'Amour,[1] но тем не мене я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

— Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод — d'eau douce,[2] тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила perle d'eau douce, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить, — то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего avec flèches d'Amour, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего...»

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после крещенья перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху.

Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

— А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем,

[1] Со стрелами Амура *(франц.)*.
[2] Из пресных вод *(франц.)*.

принесла мне не только ожиданные радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

— Что же такое еще с тобою случилось?

— А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

— Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

— Это не мое дело.

Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:

«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг *фальшивый*».

Жена моя так и села.

— Вот, — говорит, — негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

— Ты неправа: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся... Что же мне тут печального? я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну жену, стало быть мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, — не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиною стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.

«Здравствуй, — говорит, — зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю:

«Вот это мило! мы должны были к вам через час ехать, а вы сами... Это против всех обычаев... мило и дорого».

«Ну что, — отвечает, — за счеты! Мы свои. Я был у обедни, — помолился за вас и вот просвиру вам привез».

Я его опять обнял и поцеловал.

«А ты письмо мое получил?» — спрашивает.

«Как же, — говорю, — получил».

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

«Чего же, — говорит, — ты смеешься?»
«А что же мне делать? Это очень забавно».
«Забавно?»
«Да как же».
«А ты подай-ка мне жемчуг».
Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, — я его и подал.
«Есть у тебя увеличительное стекло?»
Я говорю: «Нет».
«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собачку».
«Для чего мне смотреть?»
«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».
«Вовсе не думаю».
«Нет — смотри, смотри!»
Я взял стекло и вижу — на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон».
«Убедился, — говорит, — что это действительно жемчуг *фальшивый?»*
«Вижу».
«И что же ты мне теперь скажешь?»
«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается, и вас только буду об одном просить...»
«Проси, проси!»
«Позвольте не говорить об этом Маше».
«Это для чего?»
«Так...»
«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?»
«Да — это между прочим».
«А еще что?»
«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».
«Против отца?»
«Да».
«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное — муж...»
«Никогда, — говорю, — сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу — другая,

и кроме того... муж, который желает быть счастлив, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:

«Я, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слыхал, как читают, а на деле я всё видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее — они или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот, даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

— Неужели, — говорю, — все это твоей жене?

— Нет, — отвечает, — он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю:

«Знаете, Николай Иванович, — это будет щекотливо... Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее — нет... Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь... Нет, бог с ними, — оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите *всем* поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость... А одним нам... *не надо!*»

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановясь против двери спальни, крикнул:

«Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.

«Поздравляю, — говорит, — тебя».

Она поцеловала его руку.

«А счастлива быть хочешь?»

«Конечно, хочу, папа, и... надеюсь».

«Хорошо... Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»

«Я, папа, не выбирала. Мне его бог дал».

«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я *придам:* я тебе хочу прибавить счастья. — Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама — скажи, что *ты даришь...»*

«Папа!»

Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю — и он заплакал.

«Встань, встань! — говорит. — Ты нынче, по народному слову, «княгиня» — тебе неприлично в землю мне кланяться».

«Но я так счастлива... за сестер!..»

«То-то и есть... И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья. Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе *жемчуг — фальшивый,* меня им давно сердечный приятель надул, — да ведь какой, — не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да *истинной:* такого надуть невозможно — душа не стерпит!»

— Вот вам весь мой рассказ, — заключил собеседник, — и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымышленность, он отвечает и программе и форме традиционного святочного рассказа.

СТАРИННЫЕ ПСИХОПАТЫ

> **Что взаправду было и что миром сложено — не распознаешь.**
>
> *В. Даль.*

Полагаю, что редко кому не приводилось слышать или читать рассказ о каком-нибудь более или менее любопытном событии, выдаваемый автором или рассказчиком за *новое,* тогда как новость эта уже давно сообщена другими в том же самом виде или немножко измененная. И читать и слышать такие вещи бывает досадно. Еще досаднее, когда случится самому принять такой рассказ за действительную новость и потом неосторожно передать его — как происшествие, бывшее с приятелем или знакомым, живущим будто там-то и там-то. И вдруг оказывается, что все это или было когда-то очень давно, в Нормандии, с бароном, который имел большую слабость к псам и жил с деревенской простотою, или же и вовсе этого никогда еще нигде не было. Такие смешные, а отчасти иногда и неприятные казусы бывали, я думаю, с каждым; но частный человек, не занимающийся литературою, не знает, как легко можно подпасть тому же самому при литературных занятиях и во сколько досаднее и обиднее попасться с этим не в устной беседе, а с записью «черным по белому». Между тем в последнее время, бог весть по каким причинам, в нашей литературе беспрестанно начинают встречаться сказания о таких историях, которые уже давно оповеданы.

И еще того удивительнее — замечаются случаи, когда вымышленный рассказ после весьма небольшого проме-

жутка времени объявляется за действительное событие или с маленькими изменениями пересказывается заново как факт, имевший будто бы действительное бытие в другом месте.

В первом роде мы не раз доходили до повторения заново старой выдумки об «иперболе», поедавшей много сена, а во втором — я могу указать два лично меня касающиеся случая: первый был с моим «Сказом о тульском косом левше и о стальной блохе», а второй — с рассказом «Путешествие с нигилистом». Оба эти рассказа несколько лет тому назад мною *выдуманы* и напечатаны — первый в «Руси» И. С. Аксакова, а второй — в «Новом времени» А. С. Суворина; но «Левшу» критики объявили историей, которая им будто давно была известна, а с «Путешествием с нигилистом» случилось нечто еще более странное. Этот последний рассказ состоял в том, что несколько человек, едучи в вагоне железной дороги, вели будто беседу о различных страхах и мало-помалу наэлектризовались до того, что сами начали всего бояться. Вдруг им стал казаться подозрительным молчаливый пассажир, перед которым на лавочке помещался маленький чемодан. Отчего этот господин все молчит? Что это за поведение? Зачем перед ним стоит чемоданчик? Что у него в этом чемодане? Может быть, это и есть «трах-тарарах»? И наверное так... Даже не может быть иначе... Иначе он сдал бы чемоданчик в багаж — и тогда столь очевидная опасность для всех пассажиров значительно уменьшилась бы...

Пассажиры обеспокоились и посылают к незнакомцу депутата с вежливой просьбой удалить проклятый «трах-тарарах» из вагона. Посол говорит: «Не желаете ли вы сдать этот чемодан в багаж?» Пассажир отвечает: «Не желаю». — «А! в таком случае мы к начальству». Кондуктора, жандармы, станционные — все приступают с вопросом: «Не желаете ли сдать», — но пассажир всем дает один ответ: «Не желаю». И голос у незнакомца недобрый, и тон подозрительный, и вид ожесточенный. Все решают, что это «нигилист». Его берегут, глаз с него не спускают и, наконец, у городской станции требуют, чтобы он вышел. Он выходит очень охотно, потому что ему тут и надо было выйти, но чемодана брать не хочет. «Не желаете ли взять с собою этот чемодан?» Он отвечает: «Не желаю». Его

ведут к допросу, спрашивают, кто он такой, и узнают, что он «прокурор судебной палаты», а чемодан оказывается принадлежащим еврею, который скрывался без билета под лавкою. — Картина. Все успокоиваются, смеются и едут далее... И вдруг все это вымышленное мною шуточное событие будто бы повторяется в действительности, и где же? — в Италии с председателем окружного суда из Равенны, проезжавшим через маленький городок Форли. Есть кое-какая перемена в лицах и обстановке, сообразно условиям местности, но вся фабула та же.

Узнав об этом 11-го января из «Новостей», я не только изумился, но даже испугался...

«Как, — подумалось мне, — неужто и до того должно было дойти, что «оскудение» ощущается уже не в области литературного вымысла, но даже в самой жизни, изобретательность которой всегда почиталась столь разнообразною и неистощимою. Неужто и она вдруг притупела, и вместо того, чтобы постыждать нас бледностию наших измышлений перед живостью истинных событий, она нисходит до того, чтобы разыгрывать на своих клавишах несовершенные наброски нашей композиции... Но однако, к счастию, еще не утрачено право думать, что это не так, — что действительная жизнь наших литературных фантазий не разыгрывает, а совпадение, какое случилось в Италии после моего рассказа, придумано, быть может, знакомым с русским языком немецким корреспондентом.

И мне стал припоминаться целый рой более или менее замечательных историй и историек, которые издавна живут в той или другой из русских местностей и постоянно передаются из уст в уста от одного человека другому. Большинство из них пользуется репутацией самых достоверных событий и сообщается с указанием собственных имен, места и времени событий. Рассказы эти ведутся так, что усомниться в справедливости их часто значило бы оскорбить не одного рассказчика, но всю местную публику, разделяющую его верования, а между тем верить в действительность упоминаемых событий очень трудно и иногда даже совсем невозможно.

Между тем все подобные истории должны быть дороги литературе и достойны сохранения их в ее записях. Эти истории, как бы кто о них ни думал, — есть совре-

менное продолжение народного творчества, к которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. В устных преданиях или даже в сочинениях этого рода (допустим, что есть чистейшие сочинения) всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности. А что это действительно так, в том меня достаточно убеждают записи, сделанные мною во время моих скитаний по разным местам моего отечества. Так, например, в преданиях (или, пожалуй, в вымыслах) малороссийских всегда преобладает характер *героический*, напоминающий сродство здешней фантазии с вымыслами польских сочинителей апокрифов о «пане Коханку», а в историях великорусских и особенно столичных, петербургских, — больше сказывается *находчивость*, бойкость и тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение и, так сказать, создает сама себе *своих козырей* для своей игры. Но замечательно, что все эти козыри, как герои, так и плуты, — все в своем роде выходят как будто в свою очередь тоже и *«психопаты»*.

Я очень ценю такие истории, даже и тогда, когда историческая достоверность их не представляется надежною, а иногда и совсем кажется сомнительною. По моему мнению, как вымысел или как сплетение вымысла с действительностью — они даже любопытнее. Я передам здесь некоторые из них не только затем, чтобы сохранить эти памятники общественного творчества, но и для того, чтобы вызвать некоторым из них этим путем проверку. Быть может, то, что мне кажется невероятным, или сочиненным, или заимствованным из каких-то посторонних источников, — происходило и на самом деле, но только переиначено и преувеличено. Кто-нибудь из местных людей может отозваться к моим записям и поправить их сведущими сообщениями, и тогда пред нами предстанет ряд житейских курьезов, которые до сих пор не переходят за границу своих местностей.

Я начну с *героического* — с рассказов малороссийских, в которых более грандиозного, наивного и, как мне кажется, преувеличенного, но во всяком случае весьма своеобразного.

ЭПОПЕЯ О ВИШНЕВСКОМ И ЕГО СРОДНИКАХ

Вот вам помещик благодатный,
Из непосредственных натур.

И. Тургенев.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Переяславском уезде, Полтавской губернии, был помещик Иван Гаврилович Вишневский. Он получил от щедрот императрицы Елисаветы Петровны большое имение по обоим берегам реки Супоя (реки Удай и Супой отмечены в одной географии «неспособными к судоходству по множеству пороков»). Имение это состояло из двух больших деревень, из которых одна называлась Фарбованая, а другая Сосновка.

Старый пан Иван Вишневский жил и умер в этом имении, а после его смерти Фарбованая и Сосновка достались сыну его, Степану Ивановичу Вишневскому, который оставил по себе героическую известность — может быть, сильно дополненную и разукрашенную домыслами во вкусе местной фантазии.

Степан Иванович был атлет и богатырь, а притом также хлебосол, самодур и преужасный развратник, но имел образование. Он был одним из тех молодых людей, которых императрица Екатерина посылала в Англию «для просвещения ума и сердца».

По возвращении из Англии он поступил на службу в конногвардейский полк, но как только дослужился до чина поручика — вышел в отставку, женился на тверской дворянке, девице Степаниде Васильевне из рода Шубинских, и поселился в Москве в собственном доме.

Делать Вишневскому здесь было нечего, и он начал «чудить».

Прежде всего он надумал импонировать москвичам своей хохлацкой «нацыей». Он не хотел никого знать — одевался по-хохлацки, много пил «запридуху» и ел, будто, одно только медвежье мясо.

Императрице доложили, что Вишневский «не соблюдает светских приличий», и тогда самодуру было сделано замечание. Он решился исправиться и с этою целью вытребовал себе из Малороссии в Москву хохлацкую те-

легу с парою волов и паробка, который умел этими волами править. А как только наступил день обычных и для всех видных лиц в столице обязательных визитов, Степан Иванович собрался «объезжать всех именитых людей с визитами». Но выехал он не налегке, в одном экипаже, а с целым поездом. Впереди скакал жокей на кургузой английской кобыле, за ним следовала цугом запряженная прекрасная карета, в которой сидел камердинер, а за каретою ехала телега или хохлацкий «воз», заложенный парою сивых круторогих волов, и на этом возу помещался пан Степан. Он сидел, как обыкновенно садятся малороссийские крестьяне — то есть посередине телеги, на кучке раскинутой ржаной соломы, и курил с флегматическим спокойствием коренковую трубку излюбленного хохлацкого фасона. Волами правил хохол в затрапезных шароварах «ширше облака», в дегтярной рубахе с прямым воротом, в «тяжких чоботах» и в высокой смушковой шапке. Хохол шел около волов с батогом и придерживал их за ременный налыгач, «щоб ни злякались як торохтыть город», а сам покрикивал где надо: «цо-бе», а где надо: «цоб».

Жокей имел список особ, которых должен был посетить этот задичавший европеец. Справляясь с списком, жокей скакал вперед и, прискакав на двор стоявшего в списке вельможного лица, возвещал:

— Мій пан іде!

А когда поезд показывался, жокей оборачивался к нему лицом и опять в голос кричал:

— Ось сам пан Вишневськи приїхав!

Тогда карета останавливалась у крыльца, из нее вылезал камердинер Степана Ивановича и шел спрашивать, угодно ли хозяевам принять его господина?

Если Вишневского принимали, — тогда карета отъезжала далее, а к крыльцу подъезжал «воз» на паре волов, и Степан Иванович входил в покои и щедро одарял всю попадавшуюся ему на глаза хозяйскую прислугу. В апартаментах он вел себя барином и европейцем, щеголяя прекрасными манерами, отличным знанием языков и острою едкостью малороссийского ума.

«Бо був собі шутковатій, и знав усе по-хрянцузськи и по-вложски и на усі языки умів хвалыть господа. Але тылько до того був лінивый».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ел Вишневский, как выше сказано, будто бы только одну медвежатину и для того содержал в одном из тверских имений жены «медвежий питомник». Медведей там кормили и доставляли в Москву, к столу Степана Ивановича. К полиции Вишневский имел врожденную и непобедимую ненависть, и ни один полицейский не смел отважиться войти к нему во двор, не рискуя натерпеться всяческих обид, если только попадется на глаза Степану Ивановичу. Дом Вишневского в Москве для полиции был недоступен и, по тому ли или по другому, скоро получил себе весьма таинственную и несколько нелестную известность. Более всего ей помогали безнравственные инстинкты Вишневского по отношению к женщинам, или, пожалуй, точнее сказать, к детям женского пола. Полиция, в свою очередь, ненавидела Степана Ивановича и подыскивала случаи ему отмстить за его невежества, но долго никакого удобного к тому основания не находила. Наконец, однако, к тому представился случай: один раз дворная собака вытащила на улицу и обронила не совсем еще лишенную мускульных связей пясть, которая была признана стопою небольшой человеческой ноги. Через несколько дней это еще раз повторилось. За собакою подсмотрели и увидали, что она таскает эти кости из мусорной ямы. Прислуга соседних домов стала говорить, что Вишневский производит бесчинства над своими крепостными девочками и потом будто бы их убивает. Скоро стали производить счет девочкам, будто бы безвестно пропавшим, и даже называли их по именам.

Полиция не только усмотрела в этом достаточный повод вмешаться в дело, но даже сочла это своею прямою обязанностью, — что и в самом деле так было. С этою целью на двор Степана Ивановича явились пристав и квартальный и приступили к осмотру той ямы, откуда собака таскала подозрительные кости. Верные слуги Степана Ивановича не дозволили полиции приступить к осмотру, не известив своего «пана». Степан Иванович надел архалук, сам вышел к полицейским и велел им открыть яму. Там, к радости полицейских, нашли множество таких точно костей, какие послужили поводом к подозрению, но тут же было доказано, что это отнюдь не ступни

человеческих ног, а лапы убитых для стола Вишневского молодых медвежат.

Полицейские сконфузились и начали извиняться перед Степаном Ивановичем, говоря, что они были вовлечены в ошибку сомнениями и ложными слухами.

Вишневский их извинил и... тут же отстегал кнутом.

Эта острая выходка имела для него последствием то, что ему велено было оставить Москву и жить в малороссийских деревнях, пожалованных его отцу Ивану Гавриловичу от щедрот императрицы Елисаветы Петровны.

Вишневский должен был подчиниться сказанному требованию и переехал в Переяславский уезд в Фарбованую, чтобы колобродить там еще на большей свободе.

Случай с медвежьими лапами приписывается московскими россказнями нескольким лицам, и Степану Ивановичу Вишневскому он усвояется только одними малороссийскими преданиями, сложившимися преимущественно по равнинам, орошаемым реками Удаем и Супоем. Что же касается визитов по Москве на паре волов, то в этом роде как будто что-то было, но в московских преданиях об этом мне никогда не удалось услыхать о такой оригинальной выходке ни малейшего воспоминания. На этом основании рассказ этот, кажется, должно считать сомнительным; но между обитателями равнин Удая и Супоя много охотников крепко стоять за справедливость этой истории, и на все доводы о том, что это ничем не подтверждается в Москве, они с самоуверенною презрительностью оттопыривают свои толстые казацкие губы и говорят:

— От тоже, — захотілы вы на Москві правду шукать!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда Степан Иванович Вишневский поселился в своих малороссийских маетностях, то он себе построил дома в обеих деревнях, по обе стороны достославного Супоя — в Фарбованой и Сосновке. При обоих домах, ремонтированных на широкую барскую руку, содержались обширные штаты прислуги, выезды охоты, конные заводы и гаремы, которыми, впрочем, Степан Иванович не довольствовался и пользовался еще широко своими правами

падишаха на всех женщин своего подданства. Жил он попеременно то в одном своем имении, то в другом и везде содержал раз установленные им своевольные порядки. Он считал себя в полнейшем праве приводить всех, как он выражался, «в свою крещеную веру» — и свободно и беспрепятственно достигал всего, чего желал достичь.

Между всеми прихотями его своенравия и здесь прежде всего обозначилась ничем не усмиряемая ненависть Вишневского к полиции. Как только он приехал в деревню, так тотчас же сделал распоряжение, чтобы ни исправник, ни пристава и никто из чиновников не смели ездить по его владениям с колокольчиками. Крестьянам было приказано, чтобы они останавливали каждого, кто едет с колокольчиком, и осведомлялись — кто он такой. Если проезжающий был дворянин или вообще частное лицо, то его было велено отпускать и при этом говорить, что земли, по которым он едет, принадлежат пану Вишневскому и что этот пан «любит и шанует» честных гостей — для чего проезжающих и приглашали «до господы», чтобы «отпочить с дороги», то есть отдохнуть от путевых трудов и «откушать панского хлеба-соли». Если проезжающий торопился и не хотел заезжать «на гостинци», а учтиво благодарил, то его насильно не задерживали, а так же «учтиво» позволяли следовать далее и не возбраняли звонить колокольцем. А если проезжий не спешил и изъявлял согласие заехать к пану, то его провожали в Фарбованую или Сосновку, смотря по тому, в которой из этих деревень жил в то время пан Вишневский.

Степан Иванович встречал всех таких гостей радушно, не разбирая их чинов и званий, и угощал их по-тогдашнему роскошно и обильно — иногда даже слишком обильно, так что иные от его хлебосольства даже занемогали. Но приневоливания ни в пище, ни в питии не было, а только все предлагалось «до отвалу», и если кто-нибудь себя превозмогал до излишества, то в этом вины и насилия со стороны Вишневского не было, а всякий неосторожный гость должен был пенять на самого себя и безропотно казнился за свою неумеренность.

Многим из гостей, которые оказывались людьми нуждающимися, Степан Иванович даже оказывал значитель-

ное пособие, а офицерам всегда любил дарить что-нибудь ценное на память. И такой широкий обычай был причиною того, что его ласка и хлебосольство делали его очень милым и любезным. Но чуть только дело касалось чиновников и особенно полиции — Степан Иванович являлся по отношению к ним самым грубым тираном, и требования, какие он простирал к этим несчастным лицам, были в такой степени суровы и для них унизительны, что даже трудно верить — как они могли им подчиняться и не находили средства оградить себя от фарбованского причудника.

Как только исправник или пристав подъезжали к граничной меже владений Вишневского, они должны были остановиться и подвязать язычок колокольчика, чтобы он не звонил. Иначе крестьяне останавливали блюстителя порядка, должны были *отвязать* колокольчик и немедленно отнести его в господский дом к самому пану. Сопротивление со стороны полицианта угрожало ему двойною опасностью — быть побитым от крестьян, которые могли производить это в «панскую голову», то есть на ответственность самого помещика, а потом виновного отвели бы к «пану», у которого всякого полицейского по меньшей мере ожидал невероятно унизительный, но с неупустительною строгостью соблюдавшийся особый церемониал.

Покорный и непокорный, честный или притязательный полицейский чиновник был у Степана Ивановича «в одном расчислении». В честность их он, впрочем, нимало не верил и, кажется, на этот счет не очень сильно ошибался. Правилом его было то, что *никакой* чиновник ни для какой надобности и ни под каким предлогом не мог переступать через порог его дома. Если исправник или пристав имели к нему служебную надобность или вынуждены были явиться к нему с какою-либо претензиею или просьбою, то они знали, что должны ехать по его владениям «без звона», как можно тише и останавливаться у околицы, — отнюдь не смея въезжать на лошадях в его усадьбу. По усадьбе и по двору они обязаны были идти пешком и, сняв шапку у ворот, проходить мимо окон дома не иначе, как с открытою головою.

Иначе, при малейшем нарушении этого правила, надрессированная прислуга сейчас же взяла бы их под локти

и заворотила назад, «наклав им при сем добре по потылице». А так как это соблюдалось крепко и верно, то никто и не смел думать ослушаться и сопротивляться. На этом, однако, унижения еще не кончались: чиновник не допускался далее крыльца, под которым жили огромные меделянские собаки. Здесь чиновник должен был стоять и ожидать, пока Степан Иванович вышлет к нему «комнатного казака», то есть, просто говоря, лакея. С лакеем чиновник должен был «поздороваться вровнях», то есть подать лакею руку, и затем только мог изложить тому же лакею цель своего приезда к пану.

Если Вишневскому казалось, что надобность, за которою приехал чиновник, не стоит внимания, то он приказывал «прогнать его вон». А если надобность была какая-нибудь дворянская или объявление ему чего-либо из высших сфер, то Степан Иванович надевал на себя бекеш, шапку, сам выходил на крыльцо и выслушивал чиновника, стоя к нему все время боком и никогда не глядя ему в лицо.

Затем Вишневский молча уходил, а лакей подавал чиновнику на тарелке рюмку водки и пятидесятирублевую ассигнацию. Чиновник должен был выпить водку и потом взять себе на «закуску» пятьдесят рублей (хлеба-соли в их натуральном виде чиновникам в доме Вишневского не предлагали). Если же чиновник, паче чаяния, как-нибудь высоко о себе мнил и не стал бы выпивать вынесенной ему на крыльцо рюмки водки, то он не мог получить и денег, положенных на закуску. В таком случае лакей должен был *столкнуть* его с крыльца и водку выплеснуть ему в спину, а закусочные пятьдесят рублей взять себе в свою пользу и дернуть за веревку, а эта веревка шла к железной клямке от двери, за которою сидели под крыльцом меделянские собаки.

Зная все это, чиновники никогда не отваживались обнаруживать хотя бы самомалейшее сопротивление установлениям Степана Ивановича и... даже были очень рады, когда им встречалась надобность появиться на крыльце фарбованского пана.

Если все это несомненно так, как гласят предания, то пятьдесят рублей на закуску, очевидно, имели тогда свою высокую цену.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В отношении целомудрия и нравственности вообще Степан Иванович слыл человеком бесцеремонным и притом самым наивным. Впрочем, в этих отношениях он имел себе очень много подобных и равных, но в его героической эпопее в этого рода делах чрезвычайно оригинальною представляется роль его супруги Степаниды Васильевны, рожденной Шубинской, которую тоже, кажется, есть полное основание называть психопаткою — хотя, впрочем, в ином роде.

Она была, как выше сказано, тверская дворянка и образованная барыня из очень хорошего рода. Супруга своего она любила и жила с ним всегда в постоянном согласии. От союза ее с Степаном Ивановичем у нее были две дочери, из которых рождение второй было очень неблагополучно, и Степанида Васильевна сделалась «навек не человек». Степан Иванович стал с нею сепаратничать: если она жила в Фарбованой, он уезжал в Сосновку, а если она была в Сосновке, то он съезжал в Фарбованую. Видя это и, как говорила Степанида Васильевна, «любя своего мужа», она стала прилагать всякие заботы, чтобы он «от нее не удалялся» и чтобы ему и при ней «жить было не скучно». С этою целью она устраивала у себя девичьи посиделки, на которые девушки шли неохотно и со слезами, но Степанида Васильевна их обласкивала и угощала до тех пор, пока те освоивались и переставали плакать. Тогда Степанида Васильевна писала мужу и приглашала его к себе «прибыть, на девиц полюбоваться». А он ей отвечал: «Очень тебя благодарю и заботы твои обо мне ценю, а впрочем, в главном выборе я на твой вкус больше, чем на свой собственный, полагаюсь».

Такой ответ мужа не только радовал, но и умилял Степаниду Васильевну. Чувства ее к Степану Ивановичу горели сугубым пламенем, и она ему вскорости же опять нетерпеливо отписывала: «За доверие твое, бесценный друг мой, весьма тебя благодарю, и в рассуждении моего вкуса, в чем на меня полагаешься, от души тебе угодить надеюсь, но только прошу тебя, ангел моей души, — приезжай ко мне сколь возможно скорее, потому что сердце мое по тебе стосковалося, и ты увидишь, что я не об одной себе сокрушаюсь, но и твой вкус понимаю. Дети наши

обе здоровы и тебе кланяются и целуют ручки». Подпись: «Твоя верная жена и раба Степанида».

Степан Иванович, получив такое послание, оставлял отдельное житье и приезжал к супруге, которая вполне достигала того, что ему «жить в одном доме с нею становилось нескучно».

Она не только ласкала и нежила ею же избранных для своего мужа фавориток, но нянчила и выхаживала его детей, которых при таком патриархальном порядке панской жизни в Фарбованой народилось очень много.

Сам Вишневский далеко не был так чистосердечен и искренен, как его жена: когда растленный нрав Степана Ивановича начинал прискучать тою особою, которая была призвана к обязанности «делать его жизнь нескучною», Вишневский начинал собираться «пожить один в другой деревне».

Степанида Васильевна это тотчас же понимала и хотя не перечила мужу, так как мир и согласие супружеское она, по завету предков, ставила выше всего на свете, но через некоторое время она опять устраивалась и писала ему тихое и ласковое письмо, где говорила: «Хитрости твои и твоя со мною в важных делах неоткровенность очень меня, мой друг, огорчают и терзают, потому что я их ничем не заслужила. Бог видит мою правду и истину, что люблю тебя больше всего на свете, и от разлуки с тобой сердце мое по тебе иссушается как трава, но горючая слеза текущая не высыхает. А ту особу, которая незанимательностию своею тебя утомила и прискучила, я своим рачением без больших хлопот совершенно устроила, и все они нынче своим положением теперь вполне довольны и благодарят. А ты бы если поспешил ко мне, то мог бы теперь полюбоваться на очень приятные лица. Дети же наши обе благостию божиею хранимы, — живы и здоровы и об отце своем молятся». И опять та же подпись: «жена и раба».

В ответ на это от Вишневского следовали комплименты жене, с повторением полного доверия к ее вкусу, и затем Степан Иванович вскоре возвращался под семейный кров. Его ждали, разумеется, тимпаны и лики, ласки и восклицания, и телец упитанный, и все, все, что было

нужно, чтобы сделать его счастливым, как он желал и как это могла устроить его нежная-пренежная жена, которая имела несчастие из живой и очень милой женщины стать «навек не человек».

ГЛАВА ПЯТАЯ

После описанных уже перипетий Степан Иванович исправился в отношении своей скрытности и недоверия и никогда не прибегал более к хитростям сепаратной политики.

Степанида Васильевна, по словам крестьян, «доглядала его, як маты свою дытыну».

Невероятная, примитивная простота этих отношений, напоминающая собою библейский рассказ о Сарре и об Агари, становится еще невероятнее, если дать веру частностям, которые рассказывают о житье этих супругов.

Степан Иванович был какой-то чистый турок. По отношению к своим многообразным привязанностям он совмещал в себе все роды любви, от мимоходных неосторожностей до привязанностей к одалискам и к первой султанше. Мимоходное, конечно, ни во что не ставилось и не подлежит счету; а роль первой султанши, разумеется, занимала его законная жена, которую он со своей стороны тоже, пожалуй, по-своему любил, и во всяком случае уверял, будто очень ее «уважает».

— Если кто сделает что-нибудь против меня, — говорил он, — то это я еще, пожалуй, могу простить, но если бы кто-нибудь только помыслил вслух сделать что-нибудь к обиде Степаниды Васильевны, то кто бы он ни был, я везде его достану, и сам царь Иван Васильевич не выдумал такой казни, какою я расказню грубияна бесценной жены моей.

Все это знали и знали тоже, что Степан Иванович не шутит и что̀ говорит, то и выполнит, и потому никому и в голову не приходило обнаружить хоть малейший признак неповиновения или ослушания Степаниде Васильевне. Но не все одинаково разумели такую ревнивую заботу Вишневского о жене, и между тем как один приписывал ее безмерной его к ней нежности — другие усматривали

в этом хитрость, которая и в самом деле была в значительной мере доступна хохлацкой натуре Вишневского. Думали, что он «нагонял страх» всем за жену более для того, чтобы ее требования к услаждению его жизни любовью крепостных одалисок не встречали ни малейшего противоречия, так как всякое самомалейшее ослушание ей он наказал бы так, что царь Иван Васильевич во гробе бы содрогнулся.

Впрочем, было это так или иначе, с положительностию сказать невозможно, но есть положительные рассказы, что, крайне развращенный и до жестокости бесцеремонный в своих мимоходных делах, Степан Иванович любил вносить своеобычную поэзию в свои отношения с одалисками, избранными для него на вкус его первой султанши. И он умел достигать этого без всякого принуждения своей натуры, в которой обнаруживалось в этих случаях нечто нежное и чувствительное. Он, подобно Дон-Жуану, мог похвалиться, что не только не оскорблял молодые существа грубостию, но даже «никогда не обольщал с холодностью бесстрастной». Нет, он приезжал в дом жены, где ее любовь приготовила ему утеху, с нежною ласковостию, и оба супруга вместе выносили избранницу, «как соколку по зорькам». Они ее приласкивали, наряжали, лелеяли, она жила в комнатах Степаниды Васильевны, пестро разодетая, утопая в неге и пресыщаясь лакомствами, и сама не замечала, как переходила из одной роли в другую, словно в тумане долго не сознавая того, что с нею сталось и чем это должно было окончиться. Все эти одалиски вступали в свою роль в летах едва окончившегося детства, когда еще голова бедна опытом и представления о грядущем слабы, а жизнь полная утех в настоящем заманчива. Из них многие искренно располагались душою и сердцем к своему повелителю, или по крайней мере не тяготились им, а Степаниду Васильевну даже любили, «як маты». И она их действительно ласкала как мать и ободряла как старшая гаремная подруга, наслаждавшаяся тем счастием, какое младшие одалиски доставляли ее любимому падишаху. В доме жена, муж и дежурная фаворитка почти не разлучались и большею частию проводили время втроем, но к некоторым из одалисок Степан Иванович пристращался до того, что не мог с ними расставаться даже и на одну минуту. Вишневский пристращался к возлюбленной

не только чувственно, но и любовно, как пылкий юноша, и, покидая дом в случаях неизбежных, брал ее с собою, переодетою казачком или арапчиком, на попечении которого будто состояли янтари его роскошных чубуков и кисет с табаком, который надобился ему беспрестанно, так как Степан Иванович курил даже ночью, и потому «трубочный мальчик» был при нем безотлучно.

Полагали, что в подобных случаях Степаном Ивановичем до известной степени руководила ревность, но это предположение не имеет основания, так как Вишневский, конечно, ничем не рисковал бы, если бы оставил девушку на попечение Степаниды Васильевны: и потому гораздо вернее думать так, как передавали люди, ближе знавшие этого малороссийского психопата, — то есть, что он просто страстно влюблялся в своих фавориток и не мог с ними расставаться до тех пор, пока страсть его совершала свое течение и остывала.

И чем страстнее была привязанность к известной одалиске со стороны Степана Ивановича, тем бо́льшую нежность и заботу это лицо вызывало к себе со стороны его жены. Проходила страсть у Вишневского, и он «отъезжал за Супой», а Степанида Васильевна брала на себя заботу устроить старую «утеху» и приуготовить новую, которая снова возвратила бы фарбованского пана с того берега.

Трагического в этих развязках никогда не было. Благодаря такту, сердоболию и щедрости Степаниды Васильевны все эти дела устраивались мирно и ладно, ко всеобщему удовольствию всех мало-мальски близких к девушке лиц. Исключение составлял единственный случай с пятнадцатилетнею крестьянскою девочкою, занявшей особенно сильное положение в сердце Вишневского и оставившей ему сына и неприятный след в его воспоминаниях.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Местные предания сохранили самое имя этой стройной, «як былинка», черноокой девушки, приблизившейся к своему пану в довольно уже поздние годы его жизни. Ее называют Гапка Петруненко. Она была так хороша, «що аж очам мило було на нее дивитися», и, как показы-

вает ее история, имела сердце чуткое и очень восприимчивую душу. Вишневский мог обнять ее тонкий стан, ее талию перстами своих рук и так любил ее, как никакую другую, ни до нее, ни после ее пользовавшуюся его фавором. Он одевал ее в розовый атлас и в кофты, сшитые из дорогих турецких шалей, носил ее на руках и целовал ее ноги.

Видя такую неутолимую привязанность мужа к этой девушке, Степанида Васильевна тоже пестовала ее до забвения о себе и о своих дочерях, из которых старшей тогда уже шел двенадцатый год. Степанида Васильевна сама плела на день черные косы Гапочки, сама их расплетала на ночь и подкуривала ароматами, пахучий дым которых проницал густые волосы и держался в них с смолистою силою. Она не дозволяла ничьим низким рукам коснуться до ее тела и даже сама орошала крепким настоем душистых роз ее ноги, к которым на ее же глазах в страстном самозабвении припадал устами Степан Иванович. Словом, эта прелестная девушка была фавориткой из фавориток, и пребывание ее в доме Вишневских заключало в себе много от всех отменного. Степан Иванович, даже выезжая на охоту с борзыми, брал Гапку с собою и не довольствовался тем, что она, одетая черкешенкой, едет в покойном рыдване, а брал ее оттуда и возил перед собою на седле. Когда же девушка уставала от неудобного и утомительного путешествия на лошади и сон начинал клонить ее головку, — Вишневский не отдавал ее ни на чьи чужие руки, а тотчас же прекращал полеванье и бережно, на своих собственных руках, вез Гапочку домой. И боже сохрани, чтобы кто-нибудь из его свиты завел в это время какой-нибудь шум и нарушил им детский сон возлюбленницы пана!.. Виновный не миновал бы сырой ямы и ременных арапников.

Так же бережно Вишневский опускал с рук это дитя у крыльца на руки встречавших его людей и сам сопровождал их, когда они переносили Гапку во всякой тишине в покои Степаниды Васильевны.

Здесь ее раздевали и укладывали на атласные подушки широкого турецкого дивана, на котором с краю садились и сами супруги пить чай. И во все это время они не говорили, а только любовались, глядя на спящую девушку. Когда же наставал час идти к покою, Степанида Василь-

евна вставала, чтобы легкою стопою по мягким коврам перейти в смежную комнату, где была ее опочивальня, а Степан Иванович в благодарном молчании много раз кряду целовал руки жены и шептал ей:

— Ты мой ангел-хранитель — я тебя обожаю!

Степанида Васильевна чувствовала и разделяла счастье мужа с способностью, быть может ей одной только свойственною по своей неимоверной прихотливости.

Она уходила в спальню, долго там молилась перед лампадою и потом опять неслышными стопами входила в смежную комнату, где розовая Гапка спала, обняв крепкими молодыми руками подушки, а атлетическая фигура Вишневского лежала на ковре, с головою, прислоненною к дивану, в ногах спящей девушки.

Степанида Васильевна крестила их обоих и уходила на свою вдовью кроватку, и сон ее был тих, мирен и живителен... И во всем этом странном и несогласимом, по-видимому, сочетании чувств и отношений она не видала ничего для себя унизительного и даже ничего неудобного, а напротив, ей казалось, что все идет именно так, как только может идти лучше.

Безграничная любовь этой женщины к мужу и огромное несчастие, заключавшееся для нее в условиях ее здоровья, как-то смешивались, ее нравственные понятия никому не были ясны и понятны. Передавая эти сказания в сборе отрывочных сведений из нескольких уст, я не стану и стараться пояснить личность Степаниды Васильевны Вишневской каким-нибудь более точным определением. Думаю лишь, что по нынешним временам это подходило бы к тому, что называют *«психопатией»*. Я передаю только любопытный рассказ, как сам его слышал, и не произношу над характерами и правилами героев этих легендарных сказаний никакой своей критики.

Я думаю, что дело главным образом теперь не в критике, от которой все именуемые здесь лица ушли уже в царство теней, а в сохранении на память потомству удивительной непосредственности их характеров и прихотливой, оригинальной их жизни.

Нам хорошо известны бурные натуры наших великорусских дворян, при которых, по выражению поэта, жизнь «текла среди пиров, бессмысленного чванства, разврата мелкого и мелкого тиранства, — где хор подавлен-

ных и трепетных людей завидовал житью собак и лошадей». Здоровое, реальное направление нашей русской литературы, быть может порою заслуживающей и укоры за излишний реализм, показало нам нашу великорусскую жизнь налицо. Мы знаем, каковы наши «ветхие мехи», затрещавшие при игре влитого в них молодого вина; но писатели малороссийского происхождения не следовали нашему, может быть единственно полезному в настоящее время, литературному направлению. Жизнь малороссийского козырного барства от нас скрыта романтизмом или крайним простонародничеством малорусских писателей. Если она где-нибудь изредка и представляется, то почти всегда в напыщенных формах, напоминающих бесконечные польские истории о «пане Коханку». Меж тем малороссийское барство имеет свою оригинальность, которая сто́ит изучения и которая в то же время способна проливать довольно яркий свет на те особенности малороссийского характера, какие, по замечанию Шевченко, представляют миру «славніх прадідов велыких правнуки погани».

Небесполезно посмотреть на представителей той серединной генерации, которая лежит пластом между «прадідами и праунками» — между теми, которых национальный поэт величал «велыкими», и теми, которых он считал за «поганых». Перед нами теперь фигуры, стоявшие на водоразделе этих двух главных течений, из которых одно несло будто на себе малороссийский край к незапятнанному величию, а другое повлекло его к неисправимому «поганству».

В мире «все причинно, последовательно и условно», и потому в цепи могут изменяться фасоны звеньев, но тем не менее все-таки звено за звено держится и одно к другому непременно находится в соотношении.

Собирая в одну запись то, что мне приводилось слыхать о Вишневском и его сродниках, я думаю, что я сберегаю этим литературе звено чего-то пропущенного и до сих пор сохранившегося только в одних преданиях. Пусть они и не совсем верны, но даже и в таком случае они интересны — как местное народное творчество, указывающее, что́ поражало и что́ вдохновляло людей с фантазией, или что́ им нравилось.

Продолжаю о Вишневском.

За несколько строк пред сим мы оставили могучего

фарбовановского пана спящим на ковре у ног своей сельской нимфы. Оставим их и еще в этом положении, изящнее и поэтичнее которого, кажется, не было в его своеобразной, безалаберной и невесть чему подобной жизни. Пусть они, как малороссы говорят, «отпочнут» здесь сладко до зари того дня, который омрачил их счастье и спокойствие и в чашу любовных утех пана выжал каплю горького омега.

Ниже мы встретим случай, при котором будет место изложить это происшествие, составлявшее высший, кульминационный пункт душевных страданий и нравственного возбуждения Вишневского, — вслед за чем опять пошли своим чередом любовные смены, не захватывавшие выше того, что нами уже описано, но зато не оставлявшие Степана Ивановича до самой его смерти.

Очеркнем теперь, как можем и как умеем, другие стороны его деятельности и характера.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как отец и как воспитатель Вишневский ни в одном из слышанных мною о нем рассказов не занимал никаких характерных положений, а упоминается только как *родитель*. Впрочем, говорят, что когда в Петербурге «заводились институты» и именитое дворянство, по желанию государыни, получило приглашение привозить туда для воспитания девиц, то Степан Иванович ездил в Петербург и сам отвез туда дочь. Но и это обстоятельство воспоминается не для того, чтобы обозначить ею родительскую заботливость Вишневского, а потому, что эта поездка оказалась в связи с другим любопытным событием, о котором ниже будет рассказано. Как помещик, в качестве хозяина, судии и наказателя душ подвластных ему крепостных людей, Вишневский тоже не представлял собою особой оригинальности. Он правил хозяйством, «як повелось из давнего времени». Все делалось через крепостных или наемных приставников, из православных и из поляков. Вишневский держал при себе на службе несколько человек поляков, к которым не питал никакой вражды, но любил иногда над ними забавляться. Было и несколько евреев, которых психопат любил пугать раз-

ными страхами. Не одного из них он заморил и загнал страхом со света, но они всё к нему лезли, потому что Вишневский иногда бывал щедр и бросал им что-нибудь на разживу. Впрочем, комиссионерских услуг от евреев он не чуждался. Только боже спаси было его обмануть... Он не столько больно запорет розгами или плетьми, сколько истерзает страхом. У Вишневского был и патриотизм, выражавшийся, впрочем, à la longue [1] пристрастием к малороссийскому жупану и к малороссийской речи, а затем — в презрении к иноземцам. Особенно он не благоволил к немцам, которых не находил возможности уважать по двум причинам: во-первых, что они «тонконоги», а во-вторых — вера их ему не нравилась — «святителей не почитают». Степан Иванович думал, что сам он «святителей почитает». В вопросах веры он был невежда круглый и ни в критику, ни в философию религиозных вопросов не пускался, находя, что «се діло поповское», а как «лыцарь» он только ограждал и отстаивал «свою веру» от всех «иноверных», и в этом пункте смотрел на дело взглядом народным, почитая «христианами» одних православных, а всех прочих, так называемых «инославных» христиан — считал «недоверками», а евреев и «всю остальную сволочь» — *поганцами*. Иностранец и «даже немец» мог попасть к столу Степана Ивановича, и один — именно немец — даже втерся к нему в дом и пользовался его доверием, но все-таки, прежде чем допустить «недоверка» к сближению, религиозная совесть Вишневского искала для себя удовлетворения и примирения с собою. У Степана Ивановича, который, по собственному его сознанию, «катехизицу не обучавься», хорошо сложился и очень конкретно оформился им самим составленный чинок для приятия инославных.

Степан Иванович говорил «люторю» или «католыку»:

— Ну, а все же ведь ты хоть и не по-нашему веришь и молишься, но Николу-угодника ты наверно уважаешь?

Испытуемый «иновер» знал по достоверным слухам, что бы такое с ним произошло, если бы он посмел сказать, что он не уважает угодника, за которого стоит фарбованский пан... Он бы сейчас узнал — крепки ли стулья, на которых Степан Иванович сажает своих гостей, и гибки

[1] В конце концов *(франц.)*.

ли лозы, которые растут, купая свои веточки в водах Супоя. А потому каждый инославец, которому посчастливилось расположить к себе Вишневского до того, что он уже заговорил о вере, — отвечал ему как раз то, что требовалось по чину «приятия».

— О да! — отвечал вопрошаемый инославец, — как же не уважать Николу — его весь свет уважает.

— Ну, чтобы «весь свет» — это уж ты, брат, немножко хватил лишнее, — говорил Степан Иванович, — ибо надлежит тебе знать, что святой Никола природы московской, а ты поуважай нашего «русського Юрка».

Слово «русський», в смысле малороссийский или южнорусский, тогда здесь резко противопоставлялось «московскому» или великороссийскому, северному. Московское и «русськое» — это были два разные понятия и на небе и на земле. Земные различия всякому были видимы телесными очами, а расчисления, относимые к небесам, познавались верою. По вере же великорусские дела подлежали заботам чудотворца Николая, как покровителя России, а дела южнорусские находили себе защиту и опору в попечениях особенно расположенного к малороссиянам святого Юрия или, по нынешнему произношению, св. Георгия (по народному «Юрко»).

Всякий инославец, выдержав испытание о св. Николае, конечно, еще тверже говорил Вишневскому, что он уважает святого Юрия «еще больше, як Николу».

Это Степану Ивановичу нравилось. Тем вся катехизация новоприемлемого оканчивалась, и воссоединенного уже никогда более разноверием не попрекали. Даже если кто-нибудь невзначай касался словом их разницы, то Степан Иванович это останавливал, говоря:

— Никакой нет разницы: он и Николу уважае, а святого Юрко еще больше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Так исправившие себя инославцы всходили на самые перси психопата, а немец даже управлял почти безотчетно одним имением и так широко пользовался своими полномочиями, что делал почти все то самое, что делал и Вишневский.

Степан Иванович только в рассуждении женщин не позволял ему простирать требований к себе на двор, дабы никто не видал женщины настоящего, греческого закона, «входящей к немцу». Из этого для нее мог произойти срам, унизительный даже и для могущего явиться ребенка. Немец обязан был надевать летом холодный, а зимою ватный халат и картуз и брать в руки фонарь и идти сам на деревню, в сопровождении десятника, который «отвечал за его жизнь». А немец был только ограничиваем одним наказом, чтобы от него не было никакого размножения «немецкой прибыли, а все шло в прибыль русскую».

По деталям это казалось только частными ограничениями, но в общей сложности всего выходило, что немец жаловался Степану Ивановичу, говоря:

— Никак нивозможность.

— А почему бы это так?

— Все удираетси!..

Это означало, что как только немец выходил в свой ночной поход в длинном спальном халате и с фонарем в сопровождении «отвечавшего за его жизнь», так все его издали видели, и все, кому угрожало по направлению его посещение, разбегались и прятались.

Степан Иванович об этом как будто сожалел, но ничего в установленном им порядке отменять не дозволял.

— Без фонаря и без провожатого тебя пришибут и выпотрошат, и отвечать за тебя мне будет некому, — говорил он, как будто искренно признавая установленный им порядок за необходимое; но близко изучившие его люди замечали, что при том, как он обсуждал с немцем его дело, — «один ус» у Степана Ивановича «смеялся».

У него, как у настоящего психопата, многое бестолковое соединялось с хитрым и было так «пересыпано», что «не можно було добрать, що він вередує».

Игривые штуки его с немцем кончились тем, что тот все ходил, мерцая своим фонарем, как ивановский жук в траве, пока, наконец, в сенях одной крестьянской хаты ему отмяли бока, и провожатый, отвечавший за его жизнь, принес его домой, где тот и не замедлил отдать богу свою немецкую душу, пожившую здесь с почтением к святителю Николаю и к св. Георгию.

Но, несмотря на самоподчинение этого немца названным святым, Степан Иванович все-таки нашел, что его недостойно было хоронить внутри кладбища, «вместе с родителями правой восточной веры», а указал закопать его «за оградою» и не крест поставить над ним, а положить камень, «дабы притомленные люди могли на нем присесть и отпочить».

Все он во всех случаях держал какой-то особливый, но в своем роде очень сообразный тон, обличавший в нем и юмор и почтительность к родной вере, утверждавшейся для него не столько на катехизическом учении, как на св. Николе и на Юрке. Но богу единому ведомо, было ли это так, как выдавал Степан Иванович, и не располагало ли им что-либо иное.

Для выражения полноты религиозного культа Вишневского остается прибавить, что почитать или обожать св. Николая и св. Георгия тоже дозволялось не всякому, а только одним христианам инославных исповеданий. Те лаской и почтением к этим святым откупались от бед и входили в милость у Степана Ивановича. Но евреям он отнюдь не дозволял прибегать под защиту этих святых, и даже тех, которые обнаруживали к этому хоть малейшую наклонность, — подвергал взысканию. Так, был один еврей, который в чем-то обманул Степана Ивановича и был за то назначен к порке. Когда его повлекли от крыльца, с которого Вишневский изрекал свой суд, — еврей этот стал упираться и, жалостно кривляясь, кричал:

— Ой, кили ж я шаную... я шаную и Мыколу... шаную и Юрко...

Степан Иванович велел ликторам остановиться и переспросил трясущегося жидка:

— Что ты такое кричишь?

— Кили я шаную... Кили я шаную...

— Не лопочи — скажи спокойно, кого шануешь?

— Ой же, усих... ой, обоих шаную... святого Мыколу и святого Юрка.

— Ну, это ты напрасно...

— Ой, отчего... ой, зачем напрасно... Кили ж вони милостивы... может, вони меня помилуют.

— Да, они милостивы — это совершенно правда, но им, братку, никакого дела нет за жидов заступаться, — у вас есть свой Моисей, ты его и кличь, когда тебя пороть

будут; а за то, що ты осмілився своими жидовскими устами произнести таке свячене имя, — прибавьте ему, хлопци, еще десять плетюганов за Мыколу, да двадцать пьять за святого Юрка, щобы не дерзал их трогать.

И несчастного еврейчика, конечно, отвели, куда надо, и задали ему все, что было назначено за обман, — с прибавкою тридцати пяти ударов за неуместное, по мнению Вишневского, ласкательство к Николе и к св. Георгию, — причем и тут тоже честь этих двух святых не была сравнена, а за Николу давалось только десять «плетюганов», тогда как за св. Юрия двадцать пять.

Разумеется, это делалось неспроста, а по большему почтению и любви к св. Юрию.

— Бо се, выбачайте, — наш, русський, а не з московськой стороны.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Упомянув не раз, что Степан Иванович отдавал видимый преферанс тому, что исходило «не з стороны московськой», я должен предупредить читателя, чтобы он не поспешил счесть Вишневского политиком, сепаратистом, или, как нынче называют, «хохломаном». Правда, что тогда на хохломанство не только смотрели сквозь пальцы, но даже совсем и знать о нем не хотели; но если бы кто приступил к душе Степана Ивановича и «со всяким испытанием», то он не нашел бы там ничего политического. Вернее всего, он почувствовал бы себя там как в амбаре, где все навалено и все, почитай, есть, но никто толком ничего не отыщет. Вишневский противоречил решительно всем, кроме своей первой жены, здесь уже довольно подробно описанной Степаниды Васильевны, из рода тверских дворян Шубинских. Если собеседник был хохломан и хвалил все малороссийское, то Вишневский непременно хотел выставлять недостатки малороссийских нравов и делал это с талантом, доводя свои сравнения до большой меткости и едкости. Тогда он усердно похвалял Польшу, особенно Батура и Собиесского, — называл «Богдана» великим «пьянычкой» и приводил спор к решительной, по его мнению, формуле, что «Польша впала и нас задавила». Но отзывался кто-нибудь со вздохом за Польшу — и Степан

Иванович сейчас переменял вал в своем орга́не и вел речь на великорусский мотив.

— То правда, — говорил он, — були у них вольности и поважанье, але що з того, як все хотели быть «крулями» да над «крулями» каверзували. За те ж то и згинули, и мусяли згинуть, бо не тім занимались, що треба для благоденствия цілого края, а шарпали ту несчастну свободу усяк, кто як мог, на свою сторону.

Он махал рукою и презрительно заключал:

— Ледаще, ледаще!

Но Вишневский не был и поборник строгого уважения к властям, а, напротив, как выше показано, сам весьма часто и даже почти при всяком случае готов был унижать и оскорблять органы законной власти. Не был он и демократом, не был и народником в нашем нынешнем понятии. Напротив, самое скромное и, по-видимому, безобидное учреждение выборной должности городских голов его смешило, и он ни за что не хотел называть их «головами», а называл иначе. Словом, Вишневский, по короткому, но меткому определению простых людей, был *«пан,* як се належи — як жубр из Беловежи», то есть он был «барин как следует, все равно что зубр из Гродненской пущи, который не чета обыкновенным быкам, а всех их отважнее и сильнее. И как пан, он наблюдал свое полное достоинство и знал толк в этом деле. Не имея настоящего образования и не читав неизвестных еще тогда политических рассуждений, написанных позже та́кими людьми, как Токвиль, — он верно понимал космополитические стремления настоящего аристократизма, свойственные также и настоящему демократизму, ибо при обоих объединяющим стимулом является принцип, оттесняющий в сторону симпатии национальности. Вишневский недолюбливал поляков, но чуть речь заходила о каких-нибудь именитых людях «московських», — он сейчас начинал строить иронические гримасы и, улучив минуту, когда Степанида Васильевна не была в комнате, говорил:

— Ну, какая там у них именитость! — у всех у них деды и бабки батогами биты.

С этой точки зрения Вишневский превозвышал польскую знать и даже ливонских баронов; но если бы с ними у России зашла война, он бы не утерпел и пошел бы их «колотить» со всеусердием, ибо, хотя он втайне завидовал

чистоте их «родовитой крови», но терпеть не мог в них «собачьей брови», то есть их высокомерия и надмения, которые ему были противны, так как он считал себя простым и прямодушным.

Кто мог бы разобраться во всем этом, что было наворочено под черепом у этого психопата? Но возникал случайно перед ним какой-нибудь вопрос или случай необыкновенного свойства — и вся эта психопатическая «бусырь» куда-то исчезала, и Степан Иванович обнаруживал самую удивительную, тоже, пожалуй, психопатическую находчивость. Он действовал смело и рассчитанно в обстоятельствах сложных и опасных и шутя выводил людей из затруднений и больших бед, которые угрожали тех задавить.

Один из таких случаев рассказывают об офицерах какого-то драгунского полка, квартировавшего не то в Пирятине (Полтавской губернии), не то в Бежецке (Тверской губернии).

Этот занимательный случай одни усвояют Тверской области, а другие Малороссии — и что правее, судить трудно, да едва ли и стоит ломать над этим голову. Случай таков, что он с одинаковою вероятностию мог произойти в любом городке, но, судя по характерам двух упоминаемых здесь «паничей», кажется, статочнее — прилагать это к нравам малороссийского подьячества.

Нам, впрочем, дело не в точном обозначении места, а в самой картине события и в том участии, которое принял в нем наш психопатический герой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В Пирятине (примем за данное, что это было там) стояли драгуны. Части полка были расположены и в других местностях. Полковой командир квартировал, может быть, в Переяславе.

Разумеется, на стоянке в крошечном городке офицеры скучали от безделья и развлекались, разъезжая в гости к помещикам. Когда же выдавалось несколько дней домоседства, они кутили, играли в карты и пили в погребке при лавке какого-то местного торговца виноградными винами. Торговец был еврей, любил обирать офицеров

и разгулу их потворствовал, но сам их боялся и, — для того ли, чтобы они хоть мало-мальски вели себя тише при возбуждении, — он повесил в том помещении, где пировали его гости, портрет лица, которое, по его понятиям, могло напоминать посетителям его заведения об уважении к законам благочиния. Может быть, это было умно, но повело к истории.

Как-то, в самую скучную летнюю пору, в город заехал жонглер и, ходя по городу, давал, где его принимали, свои незамысловатые представления, из коих одно пришлось очень по вкусу господам офицерам: артист сажал свою дочь на стул, плотно подвигая его спинкой к стене, и, достав из мешка несколько кинжалов, метал их в стену так, что они втыкались, обрамливая голову девушки со всех сторон, но нигде ее не задевая.

Такое твердое и ловкое упражнение оружием весьма заняло людей, знакомых с трудностию этих смелых эволюций кинжалами, и вот офицеры, собравшись однажды там, где было им за обычай пить и закусывать кусочками сыра, наструганного наподобие выветрелых остриженных ногтей, стали говорить о метаниях кинжала, и когда сделались уже пьяны, то одному из них пришло в голову, что и он может проделать то же самое.

Кинжалов при них не было, но на столе находились вилки, которые до известной степени при этом опыте могли заменить кинжалы. Если их и не так легко было бросать с прицелом, то все же таки они втыкались в стену.

Остановка была за человеческим лицом, около которого можно бы натыкать вилок. Из офицеров, разумеется, ни один не пожелал сам подвергнуть себя этакому опыту. Надо было найти личность низшего разряда, конечно, самое лучшее жида, — и разгулявшиеся офицеры отнеслись с предложением такого рода к прислуживавшим евреям, но те, по трусости и жизнелюбию, не только не согласились сидеть на таком сеансе, но даже покинули свои посты при торговле и предоставили всю лавку во власть господ офицеров, а сами разбежались и скрылись, хотя, конечно, не переставали наблюдать из скрытных мест за тем, кто что будет брать и вообще что станет далее делать шумливая компания.

На этот грех случай поднес сюда двух молодых приказных, по местному выражению — «судовых панычей»,

которые в этот день, вероятно, стянули с кого-нибудь «доброго хабара» (то есть хорошую взятку) и пришли угостить себя в погребке холодным донским вином полынного привкуса.

Офицерам тотчас же пришла мысль приурочить этих панычей для своего опыта — для чего тем сначала было предложено вместе выпить, а потом к ним стали приставать, чтобы который-нибудь из них посидел на сеансе.

Панычи оказались очень странными людьми, совершенно разного нрава — один как Гераклит, а другой как Демокрит. Придя с жару в холодный погребок, они как выпили холодного вина, так их и развезло, и потому, когда офицеры стали к ним приставать, они, вместо того чтобы скорее уйти, не трогались с места. Считая себя на равной ноге, как аборигены, они начали проявлять свой характер. Один на делаемые ему предложения смеялся и отпускал раздражавшие офицеров малороссийские шуточки, а другой раскис и стал плакать. И хотя его уже никто не трогал, но он все продолжал кричать: «Не чепайте меня! Идите соби до біса! дайте мени святого покою!»

Оба эти панычи так надоели офицерам, что те, наконец, поступили с ними по-свойски, — то есть похлопали их и подбили под стол и решили держать там, «как поросят», до тех пор, пока окончится пирушка. Это было и удобно и безопасно, ибо под столом панычей офицеры удерживали ногами, имея и рты и руки свободными, а между тем через обеспечение личности панычей устранялся скандал, который казался неизбежным при мерзком характере, какой обнаруживали эти неуступчивые молодцы. Один из них непременно бы стал на площади или на улице визжать на весь город, а другой, чего доброго, мог бы взлезть на забор или подойти к окну и тут же через окно дразниться.

Тогда пришлось бы за ним бегать, его доставать и ловить — все это было бы скандально и непременно бы собрало бы кучу баб и жиденят. Словом, вышло бы совсем неприлично офицерскому званию, — между тем как панычи, подбитые под стол, сидели там смирно и только жались, обнявшись друг с другом, на тесном пространстве, где их теснили офицерские ноги в сапогах со шпорами.

Все было прекрасно, но в компанию замешался черт, и все дело испортилось: офицеры до того запьянели, что стали метать вилки в портрет, рассчитывая, что могут

окружить его так же ловко, как жонглер окружал кинжалами голову живого человека. Но черт тут и был: как только первый офицер метнул вилку, бес толкнул его под локоть — и вилка попала в самый глаз портрета. Метнул другой офицер, а черт опять навел вилку по тому же направлению в другой глаз, и тогда в опьяневшей компании развилось соревнование — вилки полетели одна за другою и совсем изуродовали лицо портрета.

В пьяном загуле, перешедшем уже в состояние умственного омрачения, офицеры не придали этому событию никакого особенного значения. Попортили картину — больше ничего. Не бог весть какого она мастера — не Рафаэлево произведение и огромных сумм стоить не может. Призовут завтра жида-хозяина, спросят его, сколько картина стоила, хорошенько с ним поторгуются и заплатят — и на том квит всему делу. Зато как было весело, сколько шутили и смеялись при всякой неудаче бросить вилку так метко, как бросал жонглер.

— Нет, он, шельма, лучше делал. Нам так не сделать. И слава богу, что никто живой не согласился перед нами сидеть, а то бы мы живому глаза повыкололи — тогда и не разделаться.

Очень рады были добрые удальцы, что так хорошо дело кончилось одними смешками да шутками, и, поддерживая друг друга, разбрелись по квартирам. Уходя, они совсем даже позабыли про судовых панычей, которые притихли под столом и не подавали о себе ни слуху ни духу.

А дело было совсем не так просто и совсем не благополучно, как думали разошедшиеся на отдых добрые ребята.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Как только офицеры разошлись и оставленная ими камора при еврейской лавке опустела, «судовые панычи» вылезли из-под стола и, расправя окоченевшие от долгого согбения колени, оглядели вокруг свою диспозицию... Все было тихо — ни в каморе, ни в лавке ни души, а сквозь густое облако табачного дыма со стены едва был виден

изуродованный портрет с выколотыми глазами и со множеством рваных дырок в других местах.

По счастью для одних и по несчастью для других, панычи были много трезвее офицеров, потому что, когда те довершали свое опьянение за столом, из-за которого метали в портрет вилки, заключенные под столом Гераклит и Демокрит значительно «прочунели» — чему, может быть, сильно содействовали и страх, и воздержание, и жажда мести, которая в них зажглась, и они придумали прекрасный план наказать своих обидчиков.

Панычи, недолго размышляя, сняли со стены израненный портрет и, выбежав с ним вместе на крылечко лавки, закричали: «гвалт!»

— Люди добрые, сходытесь... Кто в бога віруе и старших поважае, дывитесь... Ось як охвицеры такой персоны патрет спонивадыли!

И сейчас на этот зов — невесть откуда, как из земли, выросли спрятавшиеся на время дебоша хозяева, прибежали с торга бабы-перекупки, загалдели жиденята — и пошла история.

Жид-хозяин, больше всех струсивший и всех более недовольный скандалом, закрыл себе большими пальцами глаза, как закрывает их благословляющий раввин, и кричал:

— Я ничего не бачыв и теперь не бачу, да и не знаю, кто сей войсковій пан, ще тут писан... Дай бог ему, чтоб все доброе, а только мени... мени теперь эта картына совсем не нужна... Я ее жертвую: берите ее себе, кто хочет.

А Демокрит возглашает:

— Мы то знаем... яка се персона и протестуемось... Бачте, добри люди — очей нема, повыколованы. Несем портрет до городничего.

И Демокрит понес израненный портрет по улице к городническому дому, а Гераклит его сопровождал и опять раскис на теплом солнышке и плакал, и все, кто за ними следовал, указывали на него с похвалою, говоря:

— От се ж дивитесь, яке чувства мает!

А офицеры себе спят да спят и не чуют, что они опротестованы и что дело это им непременно натворит хлопот, с которыми не знать как и развязаться.

Но если грузен был их хмельной сон, то не легко было и пробуждение на следующее утро.

Рано всех собутыльников описанной попойки обежал вестовой от усатого маиора или ротмистра, который командовал эскадроном и представлял своим лицом высшую полковую власть в месте расположения.

Конечно, ротмистр еще не бог весть какое высокое начальство — почти то же, что «свой брат Исакий», и порою «вместе пляшет», — однако офицеры струхнули.

Главное лихо в том было, что у них еще головы трещали и они никак не могли вспомнить всего, что вчера происходило в каморе при жидовской лавке... Что-то такое помнилось, что было будто крепко закручено, да только не все подряд вспомнить, а что-то обрывается, и являются промежутки времени, когда будто даже и самого времени не было... Помнится, что будто разогнали жидов, да ведь это совсем не важно, и не раз это случалось и при самом ротмистре. Разогнать никого не беда, а особенно жидов, потому что это такой народ, который самыми высшими судьбами обречен на «рассеяние». Жид насчитает лишнее, положит за выпитое то, что и не было пито, и за то поврежденное и разбитое, что совсем не повреждалось; но они рассчитаются с ним и опять будут жить ладно до новой истории. Жид сам же им поставит первую выставку без денег «на мировую», а потом они заохотятся и поддержат коммерцию... Не может быть, чтобы это он — жид захотел с ними ссориться и был причиною внезапного раннего призыва их к старшему офицеру!.. Разве что-нибудь приказные... Кажется, будто там были какие-то два приказные... «судовые панычи»... Тоже кушанье неважное... мало ли их везде в то время военные люди трепали!.. Да и чего они больше стоят — это крапивное семя, взяточники?.. Разве вот только не обрубили бы которому-нибудь из них нос или уши?.. Вот это скверно — отрубленного не приставишь... Но, — бог милостив, — сходили с рук и не такие дела — сойдет и это. Да и на что приказному нос? — разве только чтобы табак нюхать да обсыпать им казенную бумагу... А хабар или взятка не жаркое, он ее и так, без носа почует... Разумеется, придется сложиться и заплатить, но в складчину это не тяжело будет...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В таких или приблизительно в подобных сему размышлениях офицеры, мало унывая, потянулись к квартире своего старшего товарища и вступили в его просторную, но низенькую залу, в малороссийском домике, смело; но тут сразу же заметили, что дело что-то очень неладно. Ротмистр их не встречает запанибрата — в полосатом канаусовом архалуке, с трубкой в зубах, а двери в его кабинет заперты, — пока, значит, все соберутся, тогда он и выйдет и заговорит ко всем разом...

Эта официальность не обещала ничего доброго, и сходящиеся офицеры переглядывались друг с другом и, понизив тон до полушепота, спрашивали один у другого:

— Да что это такое?... Что мы вчера наделали?

Одному кому-то на переходе по улице удалось что-то услыхать про портрет...

— Портрет, портрет... Что такое за портрет?!

Никто не может вспомнить.

А в это время дверь вдруг отворяется, и из кабинета выходит ротмистр, в мундире с эполетами, и усы оттопырéны, и, не поздоровавшись, начинает речь словами, гораздо позднее вложенными Гоголем в уста Сквозника-Дмухановского:

— Я пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: на вас подана жалоба по гражданскому начальству, и мне сообщил о ней городничий; я должен вас арестовать. Пожалуйте мне ваши сабли и извольте сейчас чистосердечно объясниться: что вы такое вчера наделали в лавке?

Офицеры стали безропотно снимать сабли и подавать их эскадронному, но насчет «чистосердечного объяснения» отвечали, что они и сами рады бы узнать, чтó такое именно они наделали, но не могут привести себе этого на память.

Ротмистр еще принасупился и еще суровее произнес:

— Прошу не шутить! я с вами говорю по службе, как старший!

— Шуток и нет, — отвечал один из обвиняемых, — а ей-богу мы не помним.

— Припоминайте!

— День был жаркий... вошли невзначай... стали пить

в холодке полынное... с жидами за что-то поспорили... но худого умысла не имели... Там даже были два приказные, и те всё могли видеть.

— То-то и есть... два приказные! В них-то и дело. Эти два приказные действительно могли всё видеть, и они и видели, а вот вы чем будете против них оправдываться? Срам нашему званию!

— Да в чем оправдываться?.. Позвольте узнать, — проговорили офицеры.

— А вот в чем вам надо оправдываться! — воскликнул ротмистр и, вынув из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, стал читать обязательно сообщенную ему городничим копию с извета судовых панычей, где писано, как господа офицеры повреждали портрет метанием вилок, несмотря на то, что они, случившиеся на месте преступления судовые панычи, «имея в сердцах своих страх божий и любовь ко всевышнему», во все это время стояли на коленях, и до того даже, что растерзали на тех местах об пол имевшиеся на них в ту пору единственные шаровары и по той причине теперь лишены возможности ходить на исправление обязанностей службы. А потому они против всего оказанного офицерами бесчинства по долгу своему протестуют, а за панталонное повреждение просят взыскать с виновных особенно в пользу каждого, по двадцати рублей ассигнацией.

Дочитал это ротмистр и, свистнув вестовому, велел подать из своей спальни портрет, на котором офицеры воочию могли увидеть следы своего вчерашнего времяпровождения, и остолбенели...

А ротмистр меж тем снял с себя мундир и, оставшись в одном военном галстухе, сел на стол и, заложив руки за вышитые гарусные подтяжки, заговорил другим голосом:

— Дело, господа, плохое. Это имеет предрянной характер, потому что тут черт знает что такое присочинят... Какая-то ничтожная приказь, дрянь, канцелярские с приписью подьячие, и против офицеров... Я с вами обошелся как старший, а теперь говорю как товарищ... Этого так предоставить своему обыкновенному течению невозможно, а надо предупредить быстротою и чистосердечною военною откровенностию, как прилично благородным людям... Поможет это или нет, но надо действовать откровенно и честно. Прошу садиться, закуривайте трубки

и давайте думать. А мое мнение такое: грех воровать, да нельзя миновать. Надо тем пользоваться, что почта в Переяслав вчера ушла и теперь опять только через три дня пойдет. Это ваше счастье. Я отобрал у вас сабли, и вы выберите поскорее из себя двух, и пусть они скачут к полковнику и расскажут ему всё по совести. Он с губернатором хорошо знаком и помочь может.

Лучше этого плана не могли и придумать, и через час два офицера уже скакали из Пирятина в Переяслав, а на дороге у них Фарбованая; с неба после жары и духоты ударил гром и полил ливень, и в потоках воды, как пузырь, выскакивает перед офицерами из хлебов хохол в видлоге.

— Що за люди с дзвоном и чого треба?

Отвечают:

— Мы офицеры, едем по своему делу.

— А як по своему ділу, то вертайте до нашего пана Вишневского.

Офицеры было не хотели, но хохол их убедил, что «се вже такички... такая поведенцыя».

Заехали, чтобы переждать дождик и грозу, а Степан Иванович встречает их радушно — сейчас напоил, накормил, и спрашивает:

— Что вы, господа, волей-неволей или своею охотою дальше рветесь в такую погоду?

Офицеры отвечают по-сказочному — что едут они и волей, и неволей, и своею охотою.

— А именно?.. Может быть, я пособить вам могу, что и ехать не надо будет.

Те вздохнули и говорят:

— Нет, у нас такое трудное дело, что разве только полковник губернатора упросить может.

— Ну, однако, — что такое губернатор? Я ведь не из пустого любопытства спрашиваю.

Офицеры рассказали.

Вишневский поводил себя растопыренными пальцами по темени, чихнул и говорит:

— Это совсем не губернаторское дело, и вам в Переяслав ехать незачем. Никто вам не поможет, если не дать делу правильного оборота.

— А как ему дать правильный оборот?

— Ну, это мне надо еще почихать.

И Степан Иванович опять поводил себе пальцами по темени, чихнул и говорит:

— Да, вижу я, что все вы хоть москали и надо бы вам нас учить, а вы дело нехорошо поставили и можете его совсем испортить, если поедете к старшим. Вы вашею откровенностию себе не поможете и начальство затрудните, а вот я вас до завтрего у себя арестовываю, и имею право арестовать, потому что вы мне сами сознались, что сбежали, да при вас и ваших сабель нет. Прошу пожаловать во флигель — там вам готовы все услуги, и спите крепко, а завтра утром все ваше дело примет такое правильное направление, как следует.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Офицеры, поговорив, подумали: что же, до утра подождать беда не велика, — и подчинились своеобычному хозяину. Они ушли во флигель, а фарбованский пан крикнул гайдука Прокопа, велел ему сесть в бричку и скакать в Пирятин, где найти таких-то двух судовых паничей и во что бы ни стало привезти их к утру в Фарбованую.

Гайдук поскакал, разыскал паничей и говорит:

— Мій пан Вишневський нездужає. Так ему прикоротіло, що аж не знаю, чи він до вечера додышет. Схопывся, колысь теперечки отказну духовну писать и прислав меня до вас просити, щоб сейчас увзяли с собою каломарь и паперу и іхалы со мною, в свидетелях подписаться. Вам за се добрый хабар буде.

Паничи знали, что Вишневский *никогда не болел,* а такие если заболят, то к смерти.

Они подумали: «Верно он помрет, то и мы себе что-нибудь в духовной припишем. Он больной не расчухает».

Так они с радостию скоро собрались и поехали, и как Степан Иванович только проснулся, — они уже у него на крыльце стоят.

Степан Иванович сделал для этих гостей маленькую отмену в приемном этикете. В дом он их, разумеется, тоже не впустил, но велел вынесть на свой лифостротон маленький столик и на двух паничей один стул — только с тем, чтобы они не смели на него садиться.

Затем он вышел к ним в картузе с большим козырьком и повел политику.

— Вас, — говорит, — мой гайдук надул, будто я помираю. Это еще, хлопци, бог даст, не скоро будет, и я до тех пор привезу для своей духовной других свидетелей, вас поисправнее. А я привез вас сюда для вашего блага...

Те смотрят.

— Что вы там, анафемы, позавчера у жида в каморе наделали? А?

Панычи выразили удивление.

— Помилуйте... Кто это вам наговорил?.. Мы ничего, а это офицеры...

— Да, да, — я все знаю. Потому мне вас и жаль, что вы, дурни, вздумали свою вину на офицеров взваливать, как будто это вам поможет... Вы б таки одно то вздумали, что офицеров шесть человек свидетельствуют, что вы портрет повредили, а вас против них всего только двое... Кто же вам поверит?

— Позвольте... да мы...

— Нечего, нечего пустяки говорить, — перебивает Вишневский. — Я все знаю, — мне все известно. Вы там за́думали донос писать, и когда еще ваш тот донос пойдет, — а уже офицеры поскакали и в Переяслав, и в Полтаву, и в Киев. Хвала божья, що я их перехватив да у себя зариштовав... Их шесть человек, и все видели, как вы вилки кидали...

— Позвольте... да когда же мы кидали?

— Нечего, нечего! — не дает слова Вишневский, — вас двое, а их шесть, и вам не выкрутиться. Притом они вас знатнее... они благородные дворяне, а вы что такое? — яки-сь крученые панычи, пидкрапивники...

— Да мы в правде...

— Цыц! что такое за правда с москалями! Их шесть, а вас двое... Кто ж вам поверит? И разве вы не знаете, что у нас и все большое начальство тоже московское. Да еще и забісовьски жиды наверно за сильнейшего потягнут — скажут, что видели, как вы кололи.

— Смилуйтесь, пане, — ведь жиды ж шельмы!

— Да кто ж вам говорит, что они не шельмы, а только они на вас покажут... Вот потому-то мне вас и жаль, что вы в такую біду попали, аж просвіту нэма.

Подьячие, понимая толк в формах судопроизводства, видят, что черт возьми — дело-то ведь в самом деле плохо, и не только нет никакого преферанса на их стороне, а даже, пожалуй, как пить дадут — всю вину на них взвалят.

— Их ведь шестеро... а нас двое... А!

— Да... А еще жиды, может быть...

— Что же делать?

— Что нам, ваша милость, делать?

— А я вот что научу вас сделать. Садись-ка один из вас и пиши, что я говорить буду.

Началось писание, а Степан Иванович диктует:

«Був малосмысленны от природы и от обращения в хабарной бідности помрачени совістью...»

Пишущий приостановился... но Вишневский его подогнал:

— Пиши, пиши! Это так надо.

«Помрачени совістью... мы, такой-то и такой судовые копиисты, придя в камору при жидовской лавке, упилися до безумия нашего и, зачав за хабара спориться, стали друг в друга метать вилками, и как були весьма пьяны, то попали неосторожностью в портрет...»

Пишущий опять остановил руку, но Степан Иванович пощупал его за затылок, и тот сейчас же стал продолжать и написал до конца целый акт своего сознания в невольной вине и потом в том, что «по опасению своему они решились было возвести свою вину на офицеров, уповая, что тем, как людям войсковым, ничего не будет. Но ныне, чувствуя свое согрешение и помышляя час смертный, они в том каются и просят у офицеров прощения и *недонесения.* А за провинность свою, в пьяном виде сделанную, сами упросили пана Вишневского родительски наказать их у него в селе Фарбованой по возможности розгами, после чего Вишневский будет, в случае надобности, просить, чтобы дело не начиналось».

— Да за що ж... ваша милость, за що ж нас же и битимуть?

— Это только так пишется!

Они подписались, и Вишневский подписал и позвал офицеров.

— И вы, — говорит, — господа, подпишите, что согласны их простить от своего общества и уж, пожалуйста,

по-военному — будьте великодушны, ни до кого этого дела... не доводите. Я ведь меж вас порукою.

И те подписали.

— Вот так чисто, — сказал Степан Иванович, кладя в карман бумагу, — а теперь, — добавил он, обращаясь к людям, — сведите этих панычей на конюшню и велите их там добре выпороть.

— Помилуйте, — что такое...

— А то що такое? — это же так... як писано есть! Що ж вы уже писанию хотите противиться! Эге! добры панычи. Выпорите их, хлопци!

И выпороли.

Этих панычей после, говорят, будто долго спрашивали, «що як им трапилось: як вони в Фарбованой фарбовались?»

А к Степану Ивановичу в Фарбованую приезжал командир и хоть словами не говорил, но всем выражал ему свою признательность за такое находчивое и «правильное направление дела».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сам в собственных своих делах Степан Иванович был предусмотрителен и поддавался ошибочным увлечениям только тогда, когда его отуманивала любовная страсть. И высшее в этом роде безумство овладело им по одному случаю, бывшему именно с тою тонкой и стройной Гапкой Петруненко, у ног которой мы его оставили на ковре.

Во время любви Вишневского к этой девушке в церкви села Фарбованой был священник, которого называют Платоном. Он имел будто довольно общую русским людям слабость, что трезвый «на все добре мовчал», а выпивши — любил говорить и даже «правду-матку рiзать».

На другой день, после того как Вишневский встал с ковра, он радостно объявил утром Степаниде Васильевне важную новость.

Гапка ощутила в себе биение новой жизни.

— И то, что от нее родится, уж не будет моим крепаком, а будет вольным, — сказал Вишневский.

Степанида Васильевна встала и поцеловала мужа в голову.

Это был редкий дар любви со стороны Степана Ивановича, потому что все великое множество его детей были писаны за ним «душами» и благополучно исправляли паньщину на его полях.

И Гапочка была веселенькая.

А через час она пошла себе рвать малину, и тогда к садовой ограде подошел в правдивом настроении отец Платон. Он увидал девушку и заговорил с ней пастырским тоном:

— Що, дівчинка — весела?.. Веселись, веселись, — ішь малынку сладе́ньку... а як родышь дытынку маленьку, так тоди тобе буде по потылице...

— Зачем так? — оглянулась на него вбок Гапка, вдруг внезапно сконфуженная и огорченная... потому что — как это ни странно — Вишневского любили многие женщины, делавшиеся сначала его любовницами против своей воли. И Гапка чувствовала то же самое и спросила: зачем ей непременно надлежит быть прогнанной, как только она родит дытыну.

— А затем, — отвечал батюшка, — що на панском дворе не держат коровку по второму теленку.

Только всей и причины было со стороны отца Платона, а Гапочка была впечатлительна, особенно в новом, чутком состоянии своего организма, и стала горько плакать; но, как скрытная малороссиянка, она ни за что не хотела сказать, о чем плачет. Степан Иванович сам о всем доведался: люди видели, как священник говорил с Гапкою, и донесли пану, а тот сейчас потребовал своего духовного отца к себе на исповедь и говорит ему:

— Что такое ты насказал Гапци?

Священник не мог решиться сказать, что он говорил девушке, и говорит:

— Не помню.

Вишневский взбесился и заорал:

— Ага!.. я теперь тебя знаю: это ты сам до нее мазавься... Ты думал, що вона мене на тебя зміняе?

— Что вы, что вы, ваша милость...

— Нечего «моя милость». Моя милость только тем тебя помилует, что, как духовный сын твой, я бить тебя не велю, а пускай тебя уберут, як слід, и проведут по селу, щоб бачили, якій ты паскудник...

Несчастного взяли, раздели, всунули его в рогожный куль, из которого была выставлена в прорез одна голова, и в волосы ему насыпали пуху и в таком виде провели по всему селу.

Священник ездил, жаловался, просил перевода и получил его, без всяких, впрочем, неудобных для Степана Ивановича последствий.

Отмщение ему воздал сам обиженный священник, но отмщение смешное и очень позднее. Оно открылось через много лет, когда Степан Иванович задумал выдавать замуж одну из своих дочерей. Тогда потребовалась выпись из метрических книг, и там неожиданно нашли глупую и совершенно бессмысленную запись по подчищенному, что такого-то Степана Ивановича и *законной* жены его родилась *незаконная* дочь такая-то...

Это было бессмысленно и серьезного вреда Степану Ивановичу причинить не могло, но это его ужасно сконфузило. Как, с ним — и осмелились отшутить такую шутку!.. И кто же? — поп! И притом — он останется неотомщенным... потому что отец Платон раньше этого волею божиею умер.

Иначе, разумеется, Степан Иванович нашел бы его и в чужом приходе...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Таковы были дикие поступки этого оригинала, которые теперь, в наше порицаемое время, были бы невозможны или их наверное нынче зачли бы за психопатию. Но у Вишневского отдавали психопатизмом и самые его вкусы и ощущения. Он, например, не чувствовал красот природы, но любил только ночь и грозовые эффекты, а в мире животных любил только голубя и лошадей. Голуби ему нравились потому, что они «целуются», а лошади потому, что в них есть удаль, быстрота и голос... Да, да, да, — ему чрезвычайно нравился лошадиный голос, то есть ржание.

Для доставления себе удовольствия в первом роде Степан Иванович содержал перед своими окнами большую голубятню и часто по целым часам любовался, «як вони цiлуются». И Степаниду Васильевну призывал к этому зрелищу.

— Смотри — целуются.

И смотрят, бывало, оба — долго, долго и наверно с хорошими мыслями.

Для конского ржанья Степан Иванович всегда ездил на жеребцах и оставался совершенно равнодушен к тому, если они производили беспорядок в каком-нибудь съезде экипажей. Но и этого ему мало было: где бы он ни заслышал конское ржание — на езде ли это или из дома, он сейчас же останавливался, поднимал перед собою палец и замирал... Наверно, ни один меломан не слушал так страстно ни Кальцоляри, ни Тамберлика, ни Патти.

Любимейшее зрелище Вишневского было хороший конский табун, где гуляет мощный и красивый жеребец. Даже издали заслышав его ржание, Степан Иванович останавливался, и лицо его принимало выражение полного удовольствия... Казалось, глаза его, не стесняясь пространством, видели, как конь, напрягши хребет и втягивая и ноздрями и оскалом воздух, несется и пышет страстью...

— Слышишь, Степанида Васильевна?

— Да, мой друг, слышу.

И, счастливая всем на свете, что только доставляло удовольствие ее мужу, она и здесь выражала счастие... И Степан Иванович это ценил.

Ему было шестьдесят лет, когда Степанида Васильевна скончалась, и он ее оплакал горячими слезами, а потом, несмотря на свой преклонный уже возраст, довольно скоро вступил во второй брак с восемнадцатилетнею красивою малороссийскою девушкою по фамилии Гордиенко. И снова с этою своею супругою тоже был счастлив, но... Степаниду Васильевну помнил... Второй его молодой супруге, при многих ее достоинствах, недоставало той, так сказать, *вхожести* во все его слабости и мании... Ей Степан Иванович не указывал на целующихся голубков и не хотел ее спрашивать, слышит ли она, как звенит и разрывается трелями, а потом сходит на октаву истошным голосом заливающийся султан табуна...

Вишневский попробовал было обратить на это внимание своей новой жены, но она оказалась бесчувственна — она даже не встала и не улыбнулась, а только холодно проговорила:

— Да, слышу, это где-то лошадь заржала! — и затем опять спокойно принялась за свою работу...

Не так должна была относиться к таким страстным вещам женщина с живою фантазиею!..

Степан Иванович понял, что его новой жене недостает того, что имела прежняя, и не втягивал ее более в цикл понятий, которые были ей недоступны.

В минуты душевного подъема он только вздыхал, и искал глазами портрета Степаниды Васильевны, и ей улыбался...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Со второю своею супругою Вишневский прожил еще около двадцати лет, наслаждаясь никогда не изменявшим ему здоровьем, и скончался, начав девятый десяток. Всех лет жизни его было восемьдесят два года. Немощей старости или медленного, но постоянного умирания он тоже не испытывал, а когда пришел к нему его час, он сразу отпал, как отпадает от стебля мягко созревшая малина.

Утром, в один из дней своего восемьдесят третьего года — весною, когда в Малороссии цветет роскошно сирень, Степан Иванович объезжал никому не поддававшуюся ногайскую кобылицу.

При участии своей необычайной силы и при необычайной своей тяжести он уходил до изнеможения дикую кобылицу и, сойдя с седла, отдал ее поводья конюхам, а сам взошел на балкон и вдруг остановился...

Вишневскому показалось, что у него как будто «отряслось сердце»... Скакал, скакал, трясся, трясся — и оно отряслось... Так, совсем без боли, без повреждения, как будто упала дозревшая ягода... Место его стало пусто... и все вдруг стало сдвигаться, как часовые гири, у которых бечева сошла с колеса.

Вишневский сел скорей в кресло и хотел что-то сказать, но язык его завял в устах... Все так хорошо, кругом цвет и благоухание... Он все видит, слышит и понимает... Вот конюхи, облегчив подпругу, «разводят» под тенью стены потную кобылицу... Она отдыхает, встряхнулась, и легкие частицы покрывавшей ее белой пены пронеслись в воздухе. За стеною конюшни раздался удар о помост двух

крепких передних копыт, и разлилось могучее и звонкое с фаготным треском: и-го-го-го!..

Степан Иванович повел глазами направо и налево... Он искал портрета Степаниды Васильевны, но остановил их на кусте цветущей сирени и улыбнулся...

Надо думать, что он увидал там самоё Степаниду Васильевну с ее продолговатым обличьем типа Шубинских и... упал со стула к ее ногам — мертвый. В жизни иной они оба друг друга, вероятно, узнали.

ПРИМЕЧАНИЯ

БЕЛЫЙ ОРЕЛ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том пятый, СПб., 1889.

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1880, № 1735 (от 25 декабря), с подзаголовком «Святочный рассказ». С несколькими незначительными поправками перепечатано в сборнике Лескова «Русская рознь» (СПб., 1881), с небольшими разночтениями — в Собрании сочинений.

По словам А. Н. Лескова, рассказ соотносится «с чем-то, может быть частично и происшедшим когда-то в Пензе, в годы подвигов там пресловутого губернатора Панчулидзева и его достойного соратника, губернского предводителя дворянства А. А. Арапова» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, М., 1954, стр. 396).

Александр Алексеевич Панчулидзев (1789—1867) был пензенским губернатором с 1831 по 1859 год. Был вынужден выйти в отставку после ревизии, произведенной сенатором С. В. Сафоновым. Лесков жил в Пензенской губернии в 1857—1860 годах — в последние годы губернаторства Панчулидзева. Без сомнения, он много слышал тогда о губернаторе, которому современник дает такую характеристику: «Пензенской губернией управляет губернатор Панчулидзев, которого мало назвать мошенником, но преступник, у которого на душе много злодейств, отрав и разных смертоубийств; который царствует в губернии 25 лет, считаясь примерным губернатором; которому праздновался юбилей двадцатипятилетнего его управления губернией; которому император прислал в подарок табакерку со своим портретом, украшенным бриллиантами; он — тайный советник, украшенный орденом Александра Невского, и не хочет никуда идти с места губернатора». (Запись рассказов

П. А. Бахметьева в книге Л. М. Жемчужникова «Мои воспоминания из прошлого», вып. 2, М., 1927, стр. 202.)

Непосредственным толчком к написанию рассказа могли послужить «Записки дворянина-помещика, бывшего в должности предводителя, судьи и председателя палаты» И. В. Селиванова, печатавшиеся в 1880 году в «Русской старине». Они открываются очерком о Панчулидзеве «Один из губернаторов в старину», помещенным в июньской книжке журнала. В характеристике «губернатора П — ва» в рассказе Лескова имеются детали, близкие к описанию Селиванова (собственноручные избиения, ограбление кассы приказа общественного призрения, меломания, характеристика оркестра и пр.).

Стр. 5. *Собаке снится хлеб, а рыба — рыбаку.* — Эпиграф этот взят из 21-й идиллии Феокрита («Рыбаки») в переводе Л. А. Мея.

«Есть вещи на свете». — «Есть вещи на свете, которые не снились мудрецам» — цитата из «Гамлета» (д. I, явл. 5).

...два-три года тому назад, когда мы, умаляясь до детства, начали играть в духовидство... — В 70-е годы в некоторых кругах русской дворянской интеллигенции распространилось увлечение «общением с духами» — главным образом, посредством спиритических сеансов. В 80-е годы вера в «явление духов», разоблаченная наукой (Д. И. Менделеев и др.), высмеянная литературой (Л. Н. Толстой и др.), заметно ослабела.

Консервировать — здесь в смысле: стремиться затормозить прогресс, защищать консервативные взгляды.

Стр. 6. *Худородный* — незнатного происхождения.

Храмоздатель — строитель церквей.

Сын «человека» — то есть слуги.

Стр. 7. *Кондуит* — журнал сведений о поведении учащихся; здесь в значении: послужной список.

Панин, Виктор Никитич, граф (1801—1874) — с 1841 по 1862 год был министром юстиции.

Такой же долгий, как его усопший патрон, граф Виктор Никитич... — В. Н. Панин отличался исключительно высоким ростом.

Стр. 9. *«Белый орел».* — Орден Белого орла — один из высших орденов в царской России.

Стр. 10. *Гайденовские квартеты* — то есть квартеты знаменитого австрийского композитора Йозефа Гайдна (1732—1809).

Стр. 11. *Папошник,* или папушник — пирог, калач.

Тальони, Мария (1804—1884) — знаменитая парижская балерина, гастролировавшая в Петербурге в конце 30-х и начале 40-х годов.

Стр. 11. *Бозио,* Анжелина (1824—1859) — знаменитая итальянская певица. В 1856—1859 годах пела в итальянской оперной труппе, гастролировавшей в Петербурге.

Стр. 12. *Экзекутор* — чиновник, ведавший хозяйственными делами, ответственный за порядок в канцелярии.

Аквиляльбов. — Фамилия образована от латинского aquila alba — белый орел.

Стр. 13. *...на полных парадных приемах у Зевса.* — Несущий молнии орел — обычный спутник Зевса-громовержца.

Стр. 15. *Это наш студент, артист, хорист, но только не аферист.* — Имеется в виду водевиль Ф. А. Кони «Студент — артист, хорист и аферист» (1838).

Поликрат (VI в. до нашей эры) — тиран самосский. По преданию, был всегда удачлив во всех своих делах и опасался, что заплатит в конце концов несчастьем за свои постоянные удачи. Был предательски убит своим союзником, персидским сатрапом.

Аллегри — лотерея с немедленной выдачей выигрышей.

Стр. 16. *Картины представляют «Саула у волшебницы андорской».* — Саул — согласно библии, первый царь Израиля, помазанный на царство пророком Самуилом. Когда, после смерти Самуила, на страну напали филистимляне, Саул разыскал в Аэндоре волшебницу и тайно ночью, переодетый в простое платье, пришел к ней. По его просьбе она вызвала тень Самуила, перед которой Саул пал ниц и просил о помощи. Но Самуил ему отказал, так как бог отступился от Саула.

Раменá (старослав.) — плечи.

Этот мог «поввлеть царю явиться и в Вефиле и в Галгалах». — Помазав Саула на царство, Самуил послал его в Вефиль, где Саулу должно было быть знамение, н в Галгал, где Саул должен был семь дней ждать прибытия Самуила для принесения жертвоприношения перед началом освободительной войны.

...как изображают ведьм в «Макбете»... — В первом явлении четвертого действия «Макбета» ведьмы вызывают призраков по просьбе Макбета.

...то, что не снилось мудрецам — цитата из «Гамлета» (см. выше, прим. к стр. 5).

Стр. 17. *...из колокольных дворян...* — из духовенства.

...полковые выходили... — то есть офицеры покидали город в связи с перемещением полка.

Стр. 18. *...я пропилеи делаю.* — Пропнлеи — галерея или колоннада перед входом в здание; здесь переосмыслено как существительное от глагола «пропилить».

Стр. 22. *Приурок* — «порча» от сглаза, зависти, тайного недоброжелательства.

Стр. 24. *...же ман вэ!* (франц. je m'en vais) — я ухожу.

Прощай, моя родная!.. — А. Н. Лесков в книге «Жизнь Николая Лескова» (стр. 329) приводит полный текст этого куплета песни, которую часто пел сам писатель.

Стр. 25. *«До свиданс, до свиданс, — же але о контраданс»* — смесь искаженных русских и французских слов со значением: «До свиданья, до свиданья, я иду на контраданс». Контраданс (вернее, контрданс) — старинный танец типа кадрили.

ЛЕВША

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том второй, СПб., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Русь», 1881, №№ 49, 50 и 51 (17, 24 и 31 октября) под заглавием «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)». Отдельно издано под заглавием «Сказ о тульском Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)», СПб., тип. А. С. Суворина, 1882, и под заглавием «Стальная блоха. Сказ о тульском Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)», СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 1894. В Собрании сочинений под заглавием «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (в оглавлении тома под заглавием «Косой Левша»).

В отдельное издание 1882 года Лесков внес ряд добавлений — небольших, но усиливающих сатирическую остроту рассказа, обличение народного бесправия и угнетения, невежества, в котором держали народ, религиозных суеверий, обиранья народа церковниками и т. п. Так, в главе третьей к словам «Наши на что взглянут, всё могут сделать» добавлено: «но только им полезного ученья нет». В главе седьмой, говоря о сборщиках на постройку церквей, Лесков к словам «собирают сборы» добавляет «даже там, где взять нечего». В главе двенадцатой, описывая расправу Платова с Левшой, Лесков вместо «начал трепать» пишет: «начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели»; в этом варианте Платов обещает Левше «еще задать»; и в главе девятнадцатой к словам Платова о Левше: «очень коротко с ним знаком» прибавлено: «даже за волоса его драл». В главе тринадцатой речь придворных характеризуется словами: «с лестью или с хитростью». В главе пятнадцатой к словам Левши: «евангелие действительно у нас одно» добавлено: «а только наши книги против ваших толще»

и т. д. В журнальном тексте ряд своеобразных, характерных для «Левши» словечек и выражений в народном духе взят в кавычки, в тексте отдельного издания эти кавычки сняты.

При подготовке Собрания сочинений Лесков ограничился лишь единичными добавлениями, перестановками и заменами слов. Существенным отличием является лишь отсутствие вступления, помещенного в «Руси» в виде сноски к заглавию, а в издании 1882 года — под названием «Предисловие». Приводим его текст:

«Я не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия о стальной блохе, то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или в Сестрорецке, но, очевидно, она пошла из одного из этих мест. Во всяком случае сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров с английскими мастерами, из которой наши вышли победоносно и англичан совершенно посрамили и унизили. Здесь же выясняется некоторая секретная причина военных неудач в Крыму. Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку еще в царствование императора Александра Первого. Рассказчик два года тому назад был еще в добрых силах и в свежей памяти; он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил «по старой вере», читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением».

Отдельное издание 1894 года печаталось с издания 1882 года. Изменения, внесенные в текст Собрания сочинений, в издании 1894 года игнорируются — вплоть до того, что здесь вновь напечатано исключенное в Собрании сочинений предисловие. Ввиду этого текст «Левши» печатается нами по Собранию сочинений, а не по последнему прижизненному изданию 1894 года. Восстановление самим автором исключенного ранее предисловия не представляется возможным в связи с теми причинами, по которым предисловие было исключено (о них см. ниже).

В заметке «О русском левше» (см. ниже) Лесков указывает, что рассказ написан им в мае 1881 года. Это соответствует действительности. 12 мая 1881 года Лесков писал И. С. Аксакову:

«Я преследуем судьбою в лице г-жи Ахматовой, которая затеяла какой-то свой юбилейный альманах и мучит меня требованием статьи. Я дал согласие употребить мое имя, но работы не обещал, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ хочу писать повесть для «Р⟨усской⟩ речи» (давно обещанную), однако Ахматова преодолела меня, и я

должен ей нечто написать. Начал ей писать на всем своем произволе маленькую штучку в 2 листа и вдруг облюбовал это и порешил скрасть это у нее и отдать Вам, а ей написать что-либо побабственнее. ...Написалось у меня живо и юмористично три маленькие очерка (все вместе в 2 листа) под одним общим заглавием: «Исторические характеры в баснословных сказаниях нового сложения». Это картины народного творчества об императорах: Николае I, Александре II и Александре III (хозяйственном). Все это оч⟨ень⟩ живо, оч⟨ень⟩ смешно и полно движения. Словом, это всем, кому читал, нравится, и, по-моему, я вряд ли напишу лучше, т⟨ем⟩ б⟨олее⟩ что мне некогда, а Вы можете это провести, ибо это не дерзко, а *ласково,* хотя не без некоторой правды в глаза. Короче — это цензурно и необидно» (Архив Пушкинского дома, фонд 3, опись 4, ед. хр. 337).

В журнале Аксакова «Русь» «Левша» и был напечатан. Судя по письму, первоначально была задумана серия из трех рассказов: первый — «Левша», последний — «Леон дворецкий сын»; второй, видимо, не был написан, хотя из письма как будто следует, что написаны были все три рассказа. Отметим, что в письме суммарный объем всех трех «очерков» определен в два печатных листа, между тем уже «Левша» с «Леоном дворецким сыном» занимают почти три листа.

Идея «Левши» возникла у Лескова, вероятно, не позднее 1878 года. Лето 1878 года Лесков провел в Сестрорецке, «в доме какого-то оружейного мастера... За все лето Лесков вел знакомство только с одним помощником начальника местного оружейного завода, полковником Н. Е. Болониным... Лесков не раз и у него и вообще у кого только было можно доискивался корней ходившего присловья о том, как англичане стальную блоху сделали, а туляки ее подковали да им назад отослали. Все улыбались, подтверждая, что что-то слышали, но что все это, мол, пустое.

Так «Левша» и остался ничем не обязан лету, проведенному в оружейном поселке, на даче у оружейника. Не было там и никакого «старого тульского выходца» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 372—373).

Таким образом, сообщение Лескова в предисловии к «Левше» о том, что «сказ» лишь записан им, было литературным вымыслом. По удачной формулировке советского исследователя, «приверженный «старой вере», помнящий еще времена Александра I, оружейный мастер — такой же литературный персонаж-рассказчик, как и бойкая мещанка, от лица которой ведется повествование в рассказе «Воительница», или кроткий духом богатырь Иван Северья-

ныч «Очарованного странника» (Э. С. Литвин. Фольклорные источники «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе» Н. С. Лескова — «Русский фольклор. Материалы и исследования», М. — Л., 1956, стр. 125—126. В статье дан критический обзор литературы о фольклорных источниках рассказа и предложены сопоставления его с народными сказами и легендами об атамане Платове).

Рецензенты отдельного издания «Левши» поняли предисловие к рассказу буквально. Так, рецензент журнала «Дело» писал: «Авторское участие г. Лескова... в «сказе» ограничивается простым стенографированием»; рецензент «Отечественных записок» полагал, что Лесков пересказал «давно всем известную сказку о стальной блохе». Ввиду таких отзывов Лесков в заметке «О русском левше (Литературное объясненне)» «разоблачил» свое предисловие как литературный прием. Здесь он пишет:

«Все, что есть чисто *народного* в «Сказе о тульском левше и о стальной блохе», заключается в следующей шутке или прибаутке: «англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали». Более ничего нет «о блохе», а о «левше», как о герое всей истории и о выразителе русского народа, нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, что об нем кто-нибудь «давно слышал», потому что, — приходится признаться, — я весь этот рассказ *сочинил* в мае месяце прошлого года, и *левша* есть лицо *мною выдуманное*. Что же касается самой подкованной туляками английской блохи, то это совсем не легенда, а коротенькая шутка или прибаутка, вроде «немецкой обезьяны», которую «немец выдумал, да она садиться не могла (все прыгала), а московский меховщик взял да ей *хвост пришил*, — она и села».

В этой обезьяне и в блохе даже одна и та же идея и один и тот же тон, в котором похвальбы, может быть, гораздо менее, чем мягкой иронии над своею способностью усовершенствовать всякую заморскую хитрость» («Новое время», 1882, № 2256 от 11 июня, стр. 2).

О «выдуманности» «Левши» Лесков и впоследствии настойчиво сообщал своим читателям: и в рассказе «Старинные психопаты» (1885; см. наст. том, стр. 449), и в заметке «Об Иродовой темнице» («Новое время», 1889, № 4962, стр. 3), — а в Собрании сочинений он исключил предисловие, поведшее к недоразумению.

26 октября 1881 года Лесков писал И. С. Аксакову: «Блоху» здесь очень заметили даже литературщики, но мне кажется, что его лучшая часть все-таки в конце — левша в Англии и его тра-

гическая кончина» (Архив Пушкинского дома, фонд 3, опись 4, ед. хр. 337).

Печатные отзывы о «Левше» появились после выхода отдельного издания. Критика не оценила рассказ по достоинству. На отношение прогрессивной критики влияли и еще не разрушенная репутация Лескова как реакционного писателя, и то, что рассказ был помещен в славянофильском журнале. Самый жанр не вызывал сочувствия. Рецензент радикального журнала «Дело» писал: «В наше время, когда крепостное право отошло в область предания и чесать пяток на сон грядущий уже некому, подобные «сказы» могут оказать значительную услугу» («Дело», 1882, № 6, отд. II, стр. 101—102). В том же тоне пишет рецензент «Отечественных записок»: «...г. Лесков придумал развлечение — рассказывать сказки, или сказы, как он их (вероятно, для большей важности) называет» («Отечественные записки», 1882, № 6, отд. II, стр. 257).

Рецензент «Отечественных записок» воспринял «Левшу» как проявление идеологии славянофильского шовинизма. «Вы невольно думаете, — пишет он, — что если русские мастера, при необразованности, таковы, то что же из них выйдет, если им преподать из арифметики четыре правила сложения, и невольно парите высоко-высоко над Европой, превознося русские таланты и верноподданность и припевая: ай люли — се тре жули!» Рецензент либеральной газеты «Голос» считает рассказ принадлежащим «к числу таких, где русский человек затыкает за пояс иностранца» («Голос», 1882, № 152, 8 июня). Напротив, рецензент реакционной газеты «Новое время» остался недоволен критикой русской действительности в «Левше». «Русский человек, — пишет он, — у себя дома превращается в существо низшего порядка. Гениальный «Левша» (читай: русский народ) преображается в забитого, безличного, чувствующего свое ничтожество рабочего, который безропотно идет своей серенькой, неприглядной полоской, не зная, куда его бросит горькая доля: под «куцапые пальцы» казака Платова, или «свалит его в участке на пол», а потом в больницу, «где неведомого сословия всех умирать принимают»... И в такой-то обстановке неведомо затеривается русский гений... «Левша», по рассказу г. Лескова, не только не разумеет ясно выгод своих, но и не очень чувствителен к варварскому обхождению с ним. Что вас возмущает в этом обхождении, то не возбуждает в «Левше» негодования, вызывая разве временами весьма слабый протест. Словом, совсем как подобает людям низшей, недоразвившейся породы... В конце концов удел «Левши» оказывается в безропотном подчинении всевозможным тяготам и насилиям. Не слишком ли уж

отзывается пессимизмом такой вывод?» («Новое время», 1882, № 2224, 30 мая).

Ближе к пониманию идейных тенденций «Левши», в котором сказалась и вера в творческие силы русского народа и скорбь при виде его забитости, бесправия и невежества, — подошел рецензент либерального журнала «Вестник Европы», который писал: «...вся сказка как будто предназначена на поддержку теории г. Аксакова о сверхъестественных способностях нашего народа, не нуждающегося в западной цивилизации, — и вместе с тем заключает в себе весьма злую и меткую сатиру на эту же самую теорию» («Вестник Европы», 1882, № 7, обложка).

Своим критикам Лесков ответил в цитированной выше заметке «О русском левше»:

«Моя небольшая книжечка «о тульском левше и о стальной блохе» вызвала несколько литературных отзывов, из которых два убеждают меня в надобности сделать маленькое объяснение.

Говоря это, я разумею отзывы «Нового времени», которое нашло, что в моем рассказе народ несколько принижен, и отзыв «Голоса», которому кажется, что в этом рассказе народ очень польщен.

...Рецензент «Нового времени» замечает, что в левше я имел мысль вывести не одного человека, а что там, где стоит «левша», надо читать «русский народ».

Я не стану оспаривать, что такая обобщающая мысль действительно не чужда моему вымыслу, но не могу принять без возражения укоры за желание принизить русский народ или польстить ему.

Ни того, ни другого не было в моих намерениях, и я даже недоумеваю, из чего могли быть выведены такие крайне противоречивые заключения? Левша сметлив, переимчив, даже искусен, но он «расчет силы не знает, потому что в науках не зашелся и вместо четырех правил сложения из арифметики все бредет еще по псалтырю да по полусоннику. Он видит, как в Англии тому, кто трудится, — все абсолютные обстоятельства в жизни лучше открыты, но сам все-таки стремится к родине и все хочет два слова сказать государю о том, что не так делается, как иадо, но это левше не удается, потому что его на парат роняют». В этом все дело.

Я никак не могу согласиться, чтобы в такой фабуле была какая-нибудь лесть народу или желание принизить русских людей в лице «левши».

Во всяком случае я не имел такого намерения» («Новое время», 1882, № 2256, 11 июня).

Стр. 26. *Когда император Александр Павлович окончил венский совет...* — Александр I играл главную роль на Венском конгрессе (1814—1815), завершившем войны с Наполеоном и установившем новые границы государств на основе восстановления феодальной реакции и «законной» власти старых династий.

...междоусобные разговоры... — Здесь в смысле: разговоры между собой.

Платов Матвей Иванович, граф (1751—1818) — атаман донских казаков, генерал от кавалерии, видный деятель Отечественной войны. После заключения мира сопровождал Александра I в Лондон.

Стр. 27. *Кунсткамера* — собрание редкостей, музей.

Грабоватый — вместо: горбатый.

Кизлярка — виноградная водка невысокого качества, вырабатывавшаяся в городе Кизляре на Кавказе.

Складень — складная икона, писанная на двух или трех створках.

Двухсестная — соединение слов: двухместная и сесть.

Бюстры — соединение слов: бюсты и люстры.

Валдахин — вместо: балдахин.

Аболон полведерский — вместо: Аполлон Бельведерский (знаменитая древняя статуя, хранящаяся в Риме, в Ватикане).

Буреметр — соединение слов: барометр и буря.

Мерблюзьи — вместо: верблюжьи.

Мантон — то же, что манто.

Непромокабль — вместо: непромокаемый плащ (соединение русского слова «непромокаемый» с окончанием французского прилагательного).

Стр. 28. *Ажидация* — соединение существительных: ажитация (волнение, возбуждение — от франц. agitation) и ожидание.

Дванадесять язык — двенадцать народов. Этим выражением часто обозначалась армия Наполеона.

Безрассудок — соединение слов: предрассудок и безрассудство.

Мортимерово ружье. — Г. В. Мортимер — английский оружейник конца XVIII века.

Пистоля — пистолет.

...в Канделабрии... — очевидно, вместо «в Калабрии» (Калабрия — полуостров в Италии). Соединено со словом: канделябр (подставка для свечей).

Стр. 28. *...благородным бы сделал.* — «Благородный» здесь в значении: дворянин.

Сугиб — сгиб.

Стр. 29. *Сахар молво.* — В 10—20-х годах XIX века в Петербурге был сахарный завод «коммерции советника и кавалера» Я. Н. Мольво.

Стр. 30. *...Бобринского завода.* — Рафинадный завод графа А. А. Бобринского существовал в местечке Смела Киевской губ. с 30-х годов XIX века.

Нимфозория — соединение слов: инфузория и нимфа.

Керамида — вместо: пирамида.

...дансе танцевать. — Danser (франц.) — танцевать; здесь в значении какой-то танцевальной формы.

Стр. 31. *Мелкоскоп* — соединение слов: микроскоп и мелко.

Верояция — вместо: вариация (форма классического или характерного танца, построенная на прыжковых или пальцевых движениях, длящаяся одну-две минуты).

Стр. 32. *Алексей Федотов-Чеховский* — священник таганрогской соборной церкви, у которого перед смертью исповедовался Александр I.

Корешковая трубка — выточенная из корня дерева.

Жуков табак. — В 20—50-е годы большой популярностью пользовались трубочные табаки петербургской фабрики Василия Жукова.

Стр. 33. *Укушетка* — вместо: кушетка.

Императрица Елисавета Алексеевна (1779—1826) — жена Александра I.

...при восходе его... — то есть в начале царствования.

...от Аничкина моста из противной аптеки... — то есть из аптеки против Аничкова моста (на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки).

Стр. 34. *...тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали.* — В географических книгах XVIII и начала XIX века Сестрорецк, а также река Сестра, на которой он стоит, носят названия: Сестербек, Систербек, Сестрабек, Сестребек.

Стр. 37. *...«два девяносто верст»...* — то есть 180 верст.

Вавилоны — извилистые узоры, вычуры.

На святом Афоне... — Афон — полуостров в Греции, на котором было множество монастырей и скитов, в том числе русских.

...собирают сборы даже там, где взять нечего. — В «Новом времени», 1882, № 2412 (от 14 ноября), Лесков поместил заметку «Печатное попрошайство», в которой обращает внимание на «не-

дозволенное попрошайство на монастыри» — в особенности со стороны Афонского монастыря, разославшего даже печатные циркуляры «с просьбой о милостыне» и таксой за «поминовения». Ср. также рассказ «Скорость потребна блох ловить, а в делах нужно осмотрение» из цикла «Заметки неизвестного» (стр. 341 настоящего тома).

Стр. 38. *«Камнесеченная»* — высеченная из камня.

Зуша — река, на которой стоит город Мценск; приток Оки.

Святитель Мир-Ликийских... — Николай «чудотворец» (IV в.), был архиепископом в городе Миры в стране Ликии (в Малой Азии).

«Нощию» — ночью.

Стр. 39. *Свистовые* — соединение слов: вестовые и свист.

Стр. 40 *...потная спираль сделалась...* — «Спираль» здесь как бы существительное от глагола «спирать» (потная спираль — спертый от пота воздух).

Стр. 41. *Форейтор* — верховой кучер на передней лошади при запряжке цугом.

Стр. 42. *Пубель* — очевидно, вместо: пудель.

Тугамент — вместо: документ.

Стр. 43. *Казамат* — каземат (одиночная камера в крепости).

...свою любимую дочь Александру Николаевну... — Александра Николаевна (1825—1844) — младшая дочь Николая I.

Стр. 44. *...в самый сильный мелкоскоп смотрите.* — Тульские мастера до сих пор славятся мелкостью работы. Так, советский мастер-оружейник М. И. Почукаев «уместил свою подпись на одном стебельке орнамента шириной всего в 0,1 мм; она видима только в сильную лупу» (В. Ашурков. Сказ о тульском мастерстве. — В кн.: Н. С. Лесков. Сказ о тульском косом левше, Тула, 1948, стр. 14).

Стр. 45. *Озямчик* — азям, крестьянская верхняя долгополая одежда.

Стр. 47. *Граф Кисельвроде* — граф Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862), в 1822—1856 годы — министр иностранных дел.

Стр. 48. *«Ай люли — се тре жули».* — C'est très joli (франц.) — это очень мило.

Студинг — соединение слов: пудинг и студень.

Публицейские — соединение слов: публичные и полицейские.

Клеветон — соединение слов: фельетон и клевета.

Стр. 49. *Симфон* — вместо: сифон (бутылка с краном для газированной или минеральной воды).

Стр. 49. *Ерфикс* (франц. air fixe — твердый вид) — отрезвляющее средство, подбавляемое к воде.

Стр. 50. *...и боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи...* — вместо: и чудотворные иконы и мироточивые (якобы источающие благовонное миро) главы и мощи.

Стр. 51. *Грандеву* — вместо: рандеву (франц. rendez-vous — любовное свидание).

Стр. 52. *...на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма.* — Ногавки — носки. Сапажу — род обезьян с коротким густым мехом. Тальма — длинная накидка без рукавов. Плис — хлопчатобумажная ткань, похожая на бархат.

Щиглеты — вместо: штиблеты.

Стр. 53. *С бойлом* — с боем, с побоями.

Долбица умножения. — Долбица — соединение слов: таблица и долбить.

Твердиземное море — вместо: Средиземное.

Стр. 54. *Часы с трепетиром.* — Трепетир — соединение слов: репетир (механизм в карманных часах, отбивающий время при нажатии особой пружины) и трепетать.

...под презент сядет... — Презент (подарок) здесь вместо: брезент.

Буфта — вместо: бухта.

Полшкипер — вместо: подшкипер — помощник шкипера.

Стр. 55. *Парей* — вместо: пари.

...до рижского Динаминде... — Дюнамюнде, с 1893 года Усть-Двинск, ныне Даугавгрива — порт в устье Западной Двины.

Мурин — негр.

Стр. 56. *...на холодном парате...* — Парат — вероятно, вместо парадное крыльцо.

Стр. 57. *Подлекарь* — лекарский помощник, фельдшер.

Обухвинская больница — вместо: Обуховская.

...курицу с рысью... — вместо: курицу с рисом.

Клейнмихель Петр Андреевич, граф (1793—1869), с 1842 по 1855 год — главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями.

...полную пуплекцию получил... — Пуплекция вместо: апоплексия (удар, паралич).

Скобелев Иван Никитич (1778—1849) — генерал, с 1839 года комендант Петропавловской крепости.

Стр. 58. *...доктора из духовного звания... Мартын-Сольского.* — Сольский Мартын Дмитриевич (1798—1881) был врачом при гвар-

дейских полках, петербургским штадт-физиком, членом медицинского совета министерства внутренних дел. Сын священника.

Стр. 58. *...у англичан ружья кирпичом не чистят...* — А. Н. Лесков сообщает о беседах Н. С. Лескова летом 1878 года с Н. Е. Болониным, помощником начальника Сестрорецкого оружейного завода: «Николай Егорович рассказывал... о варварском обращении с огнестрельным оружием при «Павловичах», когда... ружья чистились толченым кирпичом или песком и снаружи и снутри... Все это пригодилось «Левше», в патриотической горячности до последней минуты жаждавшему довести до царя, чтобы ружей кирпичом не драли, а берегли бы их смазанными» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 373—374).

Чернышев Александр Иванович (1786—1857) — с 1826 года граф, с 1841 года светлейший князь; в годы с 1827 по 1852 — военный министр.

Плезирная трубка (франц. plaisir — удовольствие) — здесь вместо: клистирная трубка.

...«дела минувших дней» и «преданья старины»... — неточная цитата из «Руслана и Людмилы» (начало песни первой).

ЛЕОН ДВОРЕЦКИЙ СЫН

Печатается по сборнику «Юбилейная книжка. Премия к «Собранию романов» Е. Н. Ахматовой 1881 г.», СПб., 1881. Впоследствии никогда не перепечатывалось.

Написано весной 1881 года как одно из трех «баснословных сказаний нового сложения, начатых «Левшой». См. об этом в письме Лескова к И. С. Аксакову от 12 мая 1881 года, приведенном выше в комментарии к «Левше» (стр. 500). 26 октября 1881 года Лесков пишет тому же адресату (после упоминания о «Левше»):

«У Ахматовой на днях выйдет такая же легенда о нынешнем государе под заглавием «Леон дворецкий сын, застольный хищник». Она хуже «Блохи», но ее тоже хвалят, только она писана наспех и потому хуже отделана. Там мания «хищения» с намеком на известные лица, но, разумеется, все нарочно запутано, так что не разобрать, кто этот «Леон» — не то лакей, не то кто-то повыше. Там и «хап-фрау», и «лейб-мейстер», и его «обер-преподобие». Ахматова открылась мне, что, желая напечатать очерк, но в то же время и опасаясь за него, она посылала «одному лицу» корректуру и от него получила радостный ответ, что «государю это не может не понравиться и что печатать следует *без малейшего пропуска»*. Не знаю доподлинно: кто это «одно лицо», но жалею, что не до-

говорил многое, боясь бабьего недомыслия редактора. Пиши я «хищника» для Вас, он бы, конечно, вышел лучше, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ Вы всех лучше понимаете, «что льзя и то, чего не можно»: но я *не мог* отбиться от Ахматовой, а другого у меня ничего готового не было. Царь там очень прост, очень тепел и (по-моему) оч⟨ень⟩ приятен. Рассказ смешон, весел и в том же простодушном тоне, как «Блоха» (Архив Пушкинского дома, фонд 3, опись 4, ед. хр. 337).

Письмо показывает, насколько «дипломатично» приходилось Лескову проводить опасную тему. С этим связана и попытка автора приписать сочиненную им «легенду» народу и «теплая» обрисовка только что вступившего на престол Александра III, от которого Лесков, судя по воспоминаниям его сына, ничего хорошего не ждал, предвидя, что «все пойдет вспять... Приближенные к необразованному царю — люди невежественные. А тут еще его наставник и учитель, ученейший, умный и злонастроенный Победоносцев!» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 399).

Ровно за месяц до письма Аксакову, в котором Лесков сообщил о написании «Левши» и «Леона дворецкого сына», он пишет С. Н. Шубинскому: «Я не понимаю, что такое пишут, куда гнут и чего желают. В таком хаосе нечего пытаться говорить правду, а остается одно — почтить делом старинный образ «святого молчания». Я ничего писать не могу» (там же, стр. 400).

Тема хищения посредством многократного увеличения подлинных цен в подаваемых счетах намечена еще в «Шерамуре» (см. наст. изд., т. 6, стр. 259—260).

Стр. 61. *...отмечали «Катерину Крипачиху».* — Украинские крестьяне, прежде свободные, были закрепощены при Екатерине II.

«Чернородье» — простонародье.

Стр. 63. *...преподобному Сергию Радонежскому...* — Преподобный — святой. Сергий Радонежский (1314 или 1319—1392) — основатель Троице-Сергиева монастыря.

...помогал великому князю Дмитрию на татар... — Отправляясь на Куликовскую битву, Дмитрий Донской поехал к Сергию Радонежскому за благословением.

Николай Александрович (1843—1865) — старший сын Александра II, *Александр Александрович* (1845—1894) — впоследствии царь Александр III.

Стр. 64. *Бзырят* — рыскают, шатаются, носятся.

Сиверкий — с северным ветром.

Свитинки — свитки, длинные верхние рубахи.

Стр. 64. *Венокль* — вместо: бинокль.

Проминаж — соединение французского существительного «promenade» (прогулка) с русским глаголом «проминаться».

Стр. 65. *...ни бюстров, ни фимер...* — вместо: ни бюстов, ни химер. Химера — в древнегреческой мифологии — огнедышащее чудовище с львиной пастью, змеиным хвостом и козьим туловищем. Изображением химер часто украшали здания и сады.

Бюкжет (испорченное: бюджет) — здесь вместо: рапорт.

Стр. *66. Лейб-мейстер* — бессмысленное сочетание из придворных званий (лейб-медик, церемониймейстер).

Реткнехт (нем. Reitknecht) — конюх.

Хап-фрау — соединение немецкого Hauptfrau (главная дама) с русским глаголом: хапать.

Бролиантовая — вместо: бриллиантовая.

Обер-священник. — Во главе православной церкви стоял обер-прокурор синода.

Вексельбанты — вместо: аксельбанты (наплечные шнуры у штабных офицеров, адъютантов, жандармов).

...по мартитантской части... — вместо: по маркитантской части, то есть по части поставки съестных припасов.

...подмадерным хересом — то есть хересом, выдаваемым за мадеру.

Стр. 67. *Лицерин* — соединение слов: глицерин и лицо.

Квазиморда. — Квазимодо — горбатый урод, персонаж романа Гюго «Собор Парижской богоматери».

...на бартаж... — соединение слов: на борт и на абордаж. Абордаж — подход к вражескому судну вплотную для рукопашного боя.

Мирсйти — вместо: мерси.

...актриса мальчиком переделась... — В опере «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») Глинки партия Вани написана для женского голоса — контральто.

«Медный конь в поле пал, я пешком убежал» — вместо: «Бедный конь в поле пал, я бегом добежал» — начало арии Вани из оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») Глинки.

Петров Осип Афанасьевич (1807—1878) — известный певец.

Стр. 68. *...он пятьдесят лет поет.* — О. А. Петров пел в опере с середины 20-х до конца 70-х годов.

...смотреть итальянских Губинотов — то есть оперу Мейербера «Гугеноты» (1835) в исполнении итальянских певцов.

«Ванпасье» — вместо: монпансье.

«Ванфли» — вместо: вафли.

Стр. 68. ...*с дьябками* — вместо: с диаблями. Диабли — гренки с тертым сыром.

Ажидация — соединение существительных: ажитация (франц. agitation — волнение) и ожидание.

Ваше обер-преподобие. — «Ваше преподобие» — обращение к священнику.

Назидация — соединение слов: назидание и нотация.

...*к ковсеношне или к кабедни...* — вместо: ко всенощной или к обедне (церковные службы).

Просвира — белый круглый хлебец, употребляемый в православном богослужении.

«Бендзорские девушки» — вместо «Виндзорские кумушки» (1849), опера О.-К.-Э. Николаи (1810—1849), по одноименной комедии Шекспира.

Стр. 69. ...*концерт дешевых студентов* — то есть концерт в пользу бедных студентов.

...*разбойницкую песню «Бульдыгомус игитур»...* — «Гаудеамус игитур» (лат. Gaudeamus igitur — Итак, будем радоваться) — старинная студенческая песня. Бульдегомы — лекарство от кашля в виде конфет (франц. boules de gomme — резиновые шарики).

...*поляцкого шляхтица* — то есть польского шляхтича. Шляхтич — польский мелкопоместный дворянин.

Гласный суд — публичный суд, заменивший в России прежний, закрытый суд после судебной реформы 1864 года.

Антруи — вместо франц. en trois — втроем.

«Пршелесно!» — исковерканное на польский лад русское «прелестно!»

Стр. 70. *Пропуганда* — соединение существительного «пропаганда» с глаголом «пугать».

...*глас вопивающий* — вместо: глас вопиющего в пустыне — выражение из библии (Книга пророка Исаии, XL, 3 и др.), употребляется в значении: напрасный призыв к чему-нибудь, остающийся без внимания.

Пасец — пастырь, руководитель паствы (то есть прихожан).

Брыкада — соединение глагола «брыкаться» с существительным «блокада».

...*ко всем слепым...* — вместо: ко всем святым, то есть в церковь Всех святых.

...*двуспальное кольцо...* — вместо: венчальное кольцо.

...*у Скорбящей в нищую кружку...* — в кружку пожертвований на нищих у иконы Скорбящей божьей матери.

...*рад и ай...* — вместо: ад и рай.

Стр. 70. *...мангральный Дарзанс...* — вместо: минеральный Нарзан.

Стр. 71. *Циммерман* — круглая шляпа.

По вятикету — вместо: по этикету.

Для блезиру — вместо: для плезиру (франц. plaisir — удовольствие).

...бесплодный ангел — вместо: бесплотный ангел.

Стр. 72. *Бекрень* — вместо: мигрень.

Юнгфрау — горная вершина в Альпах.

Крестица — вместо: крестница.

Стр. 74. *...в отставку* — вместо: в остатке.

...по тройной бугометрии... — вместо: по тройной бухгалтерии (соединение со словом: геометрия).

Результе — искаженное: результат.

Куфельный — вместо кухонный.

Стр. 75. *Истинник* — истинная цена.

Лепартамент — вместо: департамент.

...не следующего... — то есть кого не следует.

Стр. 76. *...туник чтобы светлее, а карнолин с потемочкой.* — Тюник и кринолин — здесь: верх и низ обоев.

...с мигальёнами... — вместо: с медальонами (соединение со словом: мигать).

Безбилье (от: без белья) — вместо: дезабилье — в небрежной домашней одежде.

...те ша и ша те — буквы т и ш.

Школа полпрапорцев — школа гвардейских подпрапорщиков (основана в 1823 году, в 1857 году переименована в Николаевское училище гвардейских юнкеров, в 1865 году из нее образованы Николаевское кавалерийское училище и Николаевский кадетский корпус).

...«сделай никсу»... — вместо: сделай книксен (нем. Knicksen). Никса у немцев — мифическое существо, аналогичное русалке у русских.

...папакает и мамакает — говорит «папа» и «мама».

Стр. 77. *...за падежом бумаг следила...* — то есть следила за падением ценных бумаг на бирже, вела биржевую игру.

...пупоны стригла... — вместо: купоны стригла, то есть отрезала купоны у процентных бумаг и получала по ним проценты.

Маргарит — сборник поучений Иоанна Златоуста, знаменитого церковного проповедника (347—407).

Артикул — статья, параграф.

Стр. 78. *Фруктеры* — вместо: фрукты.

Стр. 78. *Юстиц-Панин.* — Панин Виктор Никитич, граф (1801—1874) был министром юстиции с 1841 по 1862 год.

Месячина — ежемесячный продовольственный паек.

ДУХ ГОСПОЖИ ЖАНЛИС

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1881, №№ 49 и 50 (от 5 и 12 декабря), с подзаголовком «Характерный случай (Из литературных воспоминаний)». Вошло в сборник Лескова «Святочные рассказы» (1886), с незначительными изменениями, преимущественно имеющими целью придать рассказу «святочный» характер; для этого центральное событие рассказа приурочено в этом тексте к встрече Нового года. В Собрании сочинений перепечатано без изменений.

Заглавие рассказа взято из книги «Дух госпожи Жанлис, или Изображения, характеры, правила и мысли, выбранные из всех ее сочинений, доныне изданных в свет», перевод с французского, в двух частях, М., 1808.

Презрительное отношение Лескова к модному в те годы «духовидству» сказалось в ряде его отзывов; см., например, в рассказе «На краю света» — наст. изд., т. 5, стр. 476.

Стр. 79. *Жанлис,* Стефани-Фелисите, графиня (1746—1830) — французская писательница, автор огромного количества романов, повестей и других сочинений реакционного сентиментально-нравоучительного направлеиия.

Калмет, Августин (1672—1757) — французский богослов, монах-бенедиктинец. Его книга «О явлениях духов» издана на русском языке в 1867 году.

Стр. 80. *...письма г-жи Савиньи, Лафает и Ментенон, а также Коклюс и Данго Куланж.* — Почти все имена названы в этом перечислении неправильно, так как Лесков заимствовал их из воспоминаний Жанлис в русском переводе, искаженном множеством опечаток («Воспоминания Фелиции Л. ***, состоящие из отборнейших мыслей и изящнейших анекдотов, в недавнем времени изданные госпожою де Жанлис», ч. 1—2, М., 1809. См. ч. 2, стр. 13). Приводим использованное Лесковым место по более исправному переводу:

«Не говоря о письмах госпож Севинье и де ла Файет, какие письма писала госпожа Ментенон! Сколько ума, разума! ...А письма и прекрасные воспоминания госпожи Кайлус! ...Пнсьма госпожи

Данжо и госпожи Куланж имеют то же достоинство и те же приятности» («Дух госпожи Жанлис», ч. II, М., 1808, стр. 170—171).

Все эти имена (de Sévigné, de la Fayette, de Maintenon, de Caylus, de Dangeau, de Coulange) принадлежат французским писательницам XVII века, близким ко двору Людовика XIV, авторам писем и мемуаров, отразивших жизнь, образ мыслей и картины нравов придворного круга и являющихся образцами изящной и точной прозы эпохи классицизма.

Стр. 80. *...из terra-cota.* — Терракота — обожженная глина.

...в своем Фернее. — Ферней — местечко около Женевы, в котором Вольтер прожил последние двадцать лет жизни.

...уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики. — Описывая в своих мемуарах свое свидание с Вольтером, Жанлис стремится создать впечатление о нем как о человеке безвкусном, невоспитанном, любящем грубую лесть.

...с этими волюмами. — Волюм — том.

Стр. 81. *...вошло в ее «абитюды».* — Habitude (франц.) — привычка.

Стр. 82. *Я уже знал теорию Кардека о «шаловливых духах...»* — Аллан Кардек — псевдоним маркиза Ипполита-Леона Ривайля (1803—1869), известного французского спирита, основателя спиритического общества и журнала, автора ряда книг о спиритизме, многие из которых переведены на русский язык. В своем основном сочинении «Книга духов» Кардек, деля «духов» на разряды, выделяет класс «духов легкомысленных», которые «любят причинять мелкие неприятности, смущать, вводить людей в заблуждение и обманывать посредством различных хитростей» (Аллан Кардек. Книга духов, М., 1906, стр. 87).

Маркиза Сюльери, графиня Брюсляр — титулы Жанлис.

Стр. 83. *...«Запечатленный ангел», незадолго перед тем напечатанный в «Русском вестнике»...* — в первом номере этого журнала за 1873 год.

Гагарин, Иван Сергеевич, князь (1814—1882), оставив дипломатическую службу, поселился в Париже, перешел в католичество, стал монахом ордена иезуитов. Лесков познакомился с Гагариным во время пребывания в Париже в 1875 году. Впоследствии он рассказал об этом знакомстве в статье «Иезуит Гагарин в деле Пушкина» («Исторический вестник», 1886, № 8); целью этой статьи было снять с памяти Гагарина подозрение, будто он был автором анонимных писем, приведших к гибели Пушкина.

Стр. 85. *...засматривается на голые локти...* — В романе «Обломов» несколько раз упоминается о том, что Обломов любовался голыми локтями вдовы Пшеницыной.

Стр. 86. *...известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte»...* — этот анекдот имеется в «Воспоминаниях Фелиции Л***» (ч. 2, стр. 68—69).

Стр. 87. *«Чтение — занятие слишком серьезное...»* — измененная и сокращенная цитата из «Воспоминаний Фелиции Л***» (ч. 2, стр. 106—107).

Стр. 88. *«И лучшая из змей есть все-таки змея»* — вероятно, неточное, по памяти, воспроизведение окончания басни Крылова «Крестьянин и змея»:

И потому с тобой мне не ужиться,
Что лучшая змея,
По мне, ни к черту не годится.

Помавал — помахивал.

Стр. 89. *Этаблисман* (франц. établissement) — здесь: местопребывание.

...богословский вопрос, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner». — В стихотворении Гейне «Disputation» («Диспут») католический монах-францисканец (а не бернардинец) и еврей-раввин спорят о том, чей бог истинный. Спор должна решить юная красавица — испанская королева.

...превыше мира и страстей — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Красавица».

Madame Dudeffand — Мария Дюдеффан, маркиза (1697—1780); известна, главным образом, своими блестящими письмами к Вольтеру и энциклопедистам.

...«слаба глазами стала» — цитата из басни Крылова «Мартышка и очки». В пожилые годы Дюдеффан ослепла.

Джиббон, Эдуард (1737—1794) — знаменитый английский историк.

...привожу по известному переводу с французского подлинника... — Далее Лесков приводит несколько измененную и сокращенную цитату из «Воспоминаний Фелиции Л***» (ч. 2, стр. 58—61).

Стр. 90. *Вдова Клико* — марка шампанского.

Стр. 91. *Кондолеанс* (франц. condoléance) — соболезнование.

ШТОПАЛЬЩИК

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в «Газете А. Гатцука», 1882, т. VIII, №№ 10 и 11 (от 6 и 13 марта), под заглавием «Московский

козырь (Маленький жанр)». Перепечатано под заглавием «Штопальщик» в сборнике Лескова «Святочные рассказы» (1886).

В «Газете А. Гатцука» рассказ напечатан с эпиграфом:

Он с лакеем — важный барин,
С важным барином — лакей, —

и начинается так:

«Беды ходят толпою». То же самое можно сказать и о других явлениях, следующих не вразнобивку, а кучей. Недавно это очень характерно обнаружилось во Франции, где посыпались претензии по поводу тождества настоящих фамилий живущих особ с фамилиями лиц, выводимых авторами художественных произведений. Появился известный процесс Эмиля Золя, решенный самым удивительным образом в пользу претендента. У нас подобная придирчивость замечалась еще ранее, — ее уже ощущал и о ней говорил Гоголь; кем-то рассказан подобный случай при Дуббельте, который, впрочем, сам убедился, что нельзя выдумать имени, чтобы к нему не подыскался тезка, и если жалобам этого рода дать повадку, то им конца не будет. Но собственно щекотливость по поводу тождества имен имела у нас место еще и ранее, и притом проявлялась при условиях очень разнообразных и иногда довольно смешных, а может быть и поучительных.

Я знаю один анекдотический случай в этом роде, который может служить и картинкою московских нравов, сравнительно довольно еще недавнего времени.

Прошу позволения предложить это веселым людям на прослушание, а щекотливым в какое-нибудь назидание».

Подготовляя рассказ для сборника «Святочные рассказы», Лесков придал ему «святочный» колорит, которого он вовсе не имел в первой публикации: появились упоминания о рождестве, Новом годе и крещении. С этим связано и переименование рассказа, снятие эпиграфа и исключение первой главы, замененной первым абзацем новой редакции (что вызвало изменение счета глав). Заслонив тему «щекотливости по поводу тождества имен» темой «нового счастия в новом году», Лесков изменил первоначальное название рассказа[1] и поэтому снял характеризовавший «московского козыря» эпиграф (из приписываемой Некрасову эпиграммы на Булгарина «Он у нас осьмое чудо»; см. Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. 1, М., 1948, стр. 428—429).

---

[1] В оглавлении «Святочных рассказов» сохранено, однако, в скобках и прежнее название.

Указание в первой главе первоначальной редакции на то, что темой рассказа будет «щекотливость по поводу тождества имен», давало читателю возможность сразу догадаться о мотивах странных поступков «московского козыря»; сняв эту главу, Лесков сделал рассказ более занимательным. «Святочная» же тема усилила горечь иронии над «счастьем» простолюдина, которого сперва избили, а потом одарили.

Лесков сделал и стилистические поправки.

Подготовка «Штопальщика» для Собрания сочинений ограничилась рядом мелких стилистических поправок.

В главах двенадцатой — тринадцатой «Штопальщика» повторен изложенный уже в «Захудалом роде» анекдот о неудаче богача невысокого происхождения, который стремился быть принятым в доме московского аристократа, добился приглашения, не был принят по недоразумению и оказался однофамильцем швейцара; но в «Захудалом роде» фигурируют «прибыльщик» Хлопов и князь Голицын (см. наст. изд., т. V, стр. 131—133).

Ряд анекдотов о спесивых выдумках дворянских семейств по поводу своих фамилий Лесков приводит в очерке «Геральдический туман» («Исторический вестник», 1886, № 6, стр. 598—613).

Стр. 94. *Проминажа* — соединение французского существительного «promenade» (прогулка) с русским глаголом «проминаться».

Стр. 95. Maitr taileur — написано искаженно, вместо «Maître tailleur» (портной).

...*одна лаферма* — вероятно, вместо: фирма (франц. la firme). «Лаферм» — табачная фирма, выпускавшая популярные в то время сорта папирос.

Стр. 96. ...*на царственные темы Когелета о суете всего...* — «Когелет» — еврейское название библейской книги «Екклезиаст». «Когелет» по-еврейски, а «Екклезиаст» по-гречески означает «проповедник». Книга приписывалась еврейскому царю Соломону; содержание ее — мысли о суетности всего земного.

Стр. 97. *Рабские кафташки* — традиционные кафтаны старообрядцев (истинных «рабов божиих»).

Стр. 98. ...*напротив главнокомандующего дома...* — то есть дома московского военного генерал-губернатора.

Стр. 100. ...*по-нынешнему, пятнадцать рублей, а по-тогдашнему счету на ассигнации — пятьдесят два с полтиною...* — Так как ассигнации не были обеспечены запасом металлических денег, курс их в XVIII веке и первой половине XIX века был очень низок. Официально существовали два счета денег: «на серебро» и «на

ассигнации». В 1839 году установившийся к тому времени курс в 3 рубля 50 копеек ассигнациями за серебряный рубль был объявлен постоянным.

Стр. 100. *...сам ты мове.* — Франц. mauvais — дурной, скверный.

...попроховее сукнецо... — Проховый — рыхлый, реденький.

Стр. 106. *А в ту пору у нас в Москве был главнокомандующим граф Закревский, который сам тоже, говорят, был из поляцких шляхтецов...* — Граф Арсений Андреевич Закревский (1783—1865), происходил из дворян Тверской губернии. Был московским военным генерал-губернатором с 1848 по 1859 год.

Голицын, Сергей Михайлович, князь (1774—1859) — богатый и важный московский барин; в 1830—1835 годах был попечителем Московского учебного округа; ярко описан в «Былом и думах» Герцена.

Стр. 109. *Пер-Лашез* (Père-Lachaise) — большое парижское кладбище.

ПРИВИДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНОМ ЗАМКЕ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в газете «Новости и Биржевая газета», 1882, №№ 294 и 295 (от 5 и 6 ноября), под заглавием: «Последнее привидение Инженерного замка. Рассказ». Без изменений, но с иным заглавием перепечатано в сборнике Лескова «Святочные рассказы» и в Собрании сочинений.

А. Н. Лесков указывает, что в основе этого произведения лежит случай, рассказанный Лескову в июле 1881 года инженерным капитаном Запорожским. «Иван Степанович Запорожский рассказывал о мальчишеском озорстве, учиненном на его глазах у гроба директора Военно-инженерного училища генерала Ломновского» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 405).

Стр. 110. *Инженерный замок* был выстроен для Павла I в 1797—1800 годах. Здесь Павел был убит в ночь с 11 на 12 марта 1801 года.

...в новейшей русской книге г. Кобеко — в книге Д. Ф. Кобеко «Цесаревич Павел Петрович», СПб., 1881.

Стр. 111. *Нынче в этом упраздненном дворце помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали его «обживать» прежние инженерные кадеты.* — Инженерное училище было основано в 1810 году (с 1819 года — Главное инженерное училище); Нико-

лаевская инженерная академия была образована из офицерских классов училища в 1855 году.

Стр. 113. *«Вкушая, вкусих мало меду и се аз умираю»* (Вкушая, вкусил мало меда, и вот я умираю) — цитата из библии (I Книга царств, XIV, 43).

...библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место... — Слова эти произнес Ионафан, старший сын царя иудейского Саула. Саул запретил своему народу под страхом смерти что-либо есть до вечера. Не знавший об этом запрете Ионафан отведал меда и едва избежал смерти.

В том 1859 или 1860 году умер в Инженерном замке начальник этого заведения генерал Ламновский. — Инженер-генерал-майор Петр Карлович Ломновский был начальником Главного инженерного училища с 1844 по 1860 год, умер в 1860 году, 27 января (а не в ноябре, как сказано у Лескова).

Стр. 115. *Молешотт,* Якоб (1822—1893) — немецкий физиолог, представитель вульгарного материализма. Имеется в виду его речь «Свет и жизнь», напечатанная по-русски во 2-м издании его «Физиологических эскизов» (М., 1865, стр. 264—277).

Стр. 117. *Г—тон, В—нов, З—ский и К—дин.* — З—ский — очевидно, давший Лескову тему рассказа И. С. Запорожский, выпущенный из училища в 1864 году. В том же выпуске значатся И. А. Воронов и С. Ф. Кавдин. Кадета, обозначенного Г—тон, в этом выпуске нет; в выпуске 1861 года был Владимир Гамильтон (М. С. Максимовский. Исторический очерк Главного инженерного училища, СПб., 1869).

Стр. 119. *Нéжить* — лешие, ведьмы, домовые, русалки и т. п.

Стр. 122. *...описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»...* — Вероятно, имеется в виду описание «старого, заброшенного замка, где живут духи и где по ночам бродит дама в черном шелковом платье, без головы, с длинным шуршащим шлейфом» («Путевые картины. Идеи. Книга «Le Grand», гл. 10. — См. Собрание сочинений Гейне, изд. «Academia», т. IV, М. — Л., 1935, стр. 231).

ПУТЕШЕСТВИЕ С НИГИЛИСТОМ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1882, № 2453 (от 25 декабря) под заглавием: «Рождественская ночь в вагоне (Путешествие с нигилистом)». Без изменений в тексте, но с изме-

ненным заглавием вошло в «Святочные рассказы» (1886); с незначительными изменениями — в Собрание сочинений.

По указанию А. Н. Лескова, в основе произведения лежит случай, рассказанный в присутствии писателя в 1879 году институтской подругой его дочери, женой полковника Сарандинаки. «Бойкая и бывалая мадам Сарандинаки, проявляя актерский темперамент и наблюдательность, рассказывает, как последней зимой ездила на святки по узкоколейке к родным в Старую Руссу, и какой-то желчный господин на все уговоры взять с сиденья его чемодан коротко бросал: «Не желаю». В Руссе его собирались привлечь к какой-то ответственности, но тут он был почтительно встречен местными чиновниками. Оказалось, что это большая персона, а чемодан не его. Через три года тема вспомнилась и в искусной обработке воплотилась в хорошо развернутый веселый рассказ «Путешествие с нигилистом» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 382).

Введенная в рассказ тема паники перед террористическими актами связана с покушениями народовольцев, убивших в 1881 году Александра II.

Стр. 125. *Нигилист* — здесь в значении: революционер, террорист.

«Кто скачет, кто мчится в таинственной мгле» — первая строка стихотворения Гете «Erlkönig» («Лесной царь») в неточно цитированном переводе Жуковского.

Стр. 126. *Револьвер-барбос.* — Барбос вместо: бульдог (короткоствольный револьвер особой системы).

Сужект — соединение слов: сюжет и субъект.

Бинамид — вместо: динамит.

Стр. 127. *Цивильные* — штатские, невоенные.

Патлатый — косматый.

Геральдический козерог — горный козел, изображаемый на гербах.

...«счастья он не ищет и не от счастия бежит» — не совсем точная цитата из стихотворения Лермонтова «Парус».

Стр. 128. *...цвета гаванна* — табачного цвета.

Allegro udiratto. — «Udiratto» — соединение итальянского «moderato» с русским «удирать». Allegro moderato — название умеренно быстрого темпа в музыке.

Шульер — вместо: шулер.

...посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел. — Ср. «Некуда», кн. II, гл. 20 (наст. изд., т. 2, стр. 426—427).

Стр. 128. *...в поверхностную комиссию графу Лорис-Меликову.* — Граф Лорис-Меликов, Михаил Тариелович (1825—1888) — генерал и видный администратор либерального направления. В 1880 году — главный начальник Верховной распорядительной комиссии, в 1880—1881 годах — министр внутренних дел. «Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия» была организована для борьбы с террористами, ей были временно подчинены все органы политической полиции.

...мушкетного пороху... — Мушкет — старинное тяжелое ружье крупного калибра.

«Православное воображение» — вместо «Православное обозрение» (религиозный журнал, издававшийся в Москве с 1860 по 1891 год).

Стр. 129. *Черняев,* Михаил Григорьевич (1828—1898) — генерал, участник завоевания Средней Азии. Под его командованием был взят в 1865 году Ташкент. В 1876 году — главнокомандующий сербской армией в войне с Турцией.

...чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез... — Кокорев, Василий Александрович (1817—1889) — купец и промышленник, миллионер, разбогатевший на торговле водкой, либеральный публицист и оратор. Борьба болгар против турок за национальную независимость вызывала большое сочувствие в русском обществе. Кокорев в 1876 году послал восставшим болгарам через генерала Черняева пятьсот рублей.

Светиль — соединение слов: фитиль и светить.

Бутершафт — вместо: брудершафт.

Стр. 130. *Рояльное воспитание* — вместо: реальное воспитание. Материалисты и демократы защищали систему реального образования, основанного преимущественно на изучении естественных наук, в противоположность господствовавшей системе классического образования, основанной на преимущественном изучении древних языков.

ПЕЧЕРСКИЕ АНТИКИ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том десятый, СПб., 1890.

Впервые напечатано в «Киевской старине», 1883, т. V, №№ 2, 3 и 4. В Собрание сочинений вошло с изменениями преимущественно стилистического характера и небольшими сокращениями: исключены упоминания о том, что произведение написано спе-

циально для «Киевской старины». Так, журнальный текст начинался следующим вступлением, откинутым в окончательной редакции:

«При большом моем сочувствии «Киевской старине», я лишен возможности сделать какой бы то ни было настоящий исторический вклад в это почтенное издание. Причины тому две: во-первых, я не имею в руках никаких интересных бумаг, касающихся Киевской Руси, а во-вторых, я вообще и не знаток истории. Я высоко ценю и люблю эту науку, но служить ей могу только с одной стороны, обозначенной где-то покойным Сергеем Михайловичем Соловьевым, то есть со стороны самой легкой и поверхностной, со стороны изображения каких-нибудь не важных людей, которые, однако, самою своею жизнию до известной степени выражают историю своего времени».

Замысел произведения возник осенью 1882 года. 20 августа этого года Лесков сообщает Ф. А. Терновскому о своем намерении написать что-нибудь для «Киевской старины» и просит его совета или указания («Україна», 1927, кн. 1—2, стр. 185), а 7 сентября пишет редактору-издателю «Киевской старины» Ф. Г. Лебединцеву: «...я вам напишу и непременно пришлю маленький (около листа), но цельно задуманный очерк, — веселый и с историческим касательством к Киеву. Он будет называться «Царский немоляк», или, если «богомольной нашей дуре, слишком чопорной цензуре» это не понравится, то поставите: «Старец Малафей и его отрок». Это тип, и жанр, и нечто, что, может быть, прочтут и улыбнутся, а этого и достаточно от нашего брата сказочника...» («Исторический вестник», 1908, № 10, стр. 163).

В дальнейшем план работы разросся, а предположенный объем ее очень увеличился. 14 октября 1882 года Лесков пишет тому же адресату: «Работку для вас делаю и скоро доделаю. Это будет нечто вроде моих воспоминаний о киевских оригиналах 50-х годов. Называться будет: «Печерские чудотворы». Если слово «чудотворы» (не чудотворцы) нехорошо зазвучит в ухе цензора, то можно поставить «антики». Тут будут знаменитый импровизатор (попросту лгун), Кесарь Берлинский, раскольничий начетчик Малафей Пимыч и его отрок Гиезий. Всё это люди живые по своим характерным чертам и пресмешные» (там же, стр. 165).

В дальнейших письмах Лесков называет произведение, над которым он работает, «антиками». «При всех моих недосугах, — пишет он Лебединцеву 12 ноября 1882 года, — стараюсь сделать для вас небезынтересную статью. Разумеется, это будет не история, а побасенки, может быть довольно неважные по достоинству, но живые, а «без них (как Гоголь говорил), читатель начинает спать и

может совсем уснуть» ...я не историю даю, а просто веселую штучку, кое-что, «пель-мель с горошком»... Антики написаны так, что их удобно, то есть эффектно можно разделить на две книги... Тон везде веселый, ровный и вовсе без всякой тенденции, кроме моей органической ненависти к бибиковскому нахальству. Как русский, я ценю его твердость, но как человек я его считаю отвратительным» (там же, стр. 166—167). В тот же день Лесков сообщает о «Печерских антиках» Ф. А. Терновскому: «Половина уже переписана, а вдоль написано все» («Україна», 1927, кн. 1—2, стр. 189). Лесков любил говорить, что свои произведения он пишет сперва «вдоль», а затем «впоперек».

Но и после этой даты Лесков продолжал расширять свое повествование. В неопубликованной части письма к Лебединцеву от 12 ноября 1882 года Лесков приводит «содержание, которое и выставлено под заглавием» произведения. Текст его в основном совпадает с окончательным текстом подзаголовочного перечисления тем, но отсутствуют темы: «Старцева смерть — отрокова женитьба», «Исключительный священник», «Тайна Троицкой церкви», то есть темы глав 33—38. Отсутствуют и темы глав 39—40; их нет и в печатном тексте. Очевидно, Лесков задумал и написал главы 33—40 уже после 12 ноября и дополнительно включал их заглавия в «содержание», для глав же 39—40 забыл это сделать.

В том же письме к Лебединцеву имеется приписка: «Советовал бы Вам над моею статьею (вверху страницы) поставить слова: «*Исторический фельетон*». Это и есть фельетон, а фельетоны, как всё легкое, теперь любят» (ЦГАЛИ, фонд 275, опись I, ед. хр. 141).

Работа была окончена 20 декабря 1882 года; эта дата стоит под произведением в журнале и в Собрании сочинений. 18 января 1883 года Ф. Г. Лебединцев писал Лескову: «Благодарю... за то, что прислали столь «перчистую» вещь, как Ваши «Антики». Вот уж поистине *прочухрай.* Верите — я и над рукописью, и над корректурами, и после них все хохотал. Писать так — это своего рода сила, которая и живит, и веселит, и поучает».

Далее Лебединцев указывает на некоторые исправленные им фактические ошибки Лескова («Ежемесячные литературные приложения к «Ниве» на 1897 год», № 10, стлб. 316).

После появления «Печерских антиков» в «Киевской старине» главы 35—38 были перепечатаны в «Церковно-общественном вестнике», 1883, №№ 52 и 53, под заглавием «Евфим Ботвиновский (Новый рассказ о трех праведниках)». Выпуск отдельного оттиска этой публикации был запрещен духовной цензурой (Дело С.-Пе-

тербургского цензурного комитета 1883 г. № 58 «О рассказе Н. Лескова «Ефим Ботвиновский». — ЦГИАЛ).

Стр. 133. *Печерские антики.* — Печерск — район Киева (так же как упоминаемые далее Липки, Подол, Старый город). В этом районе помещается знаменитый монастырь Киево-Печерская лавра с лабиринтом пещер, в которых «спасались» отшельники, с «мощами» «чудотворцев» и т. п. Антик — здесь: чудак, оригинал.

Повесть «Об отцах и страдальцах». — «История об отцах и страдальцах соловецких» — обзор жизни и деятельности старообрядцев, подвизавшихся в Соловецком монастыре во время его осады в 1666—1668 годы. Написан настоятелем старообрядческой Выговской пустыни Семеном Денисовым (1682—1741).

Стр. 134. *Бибиков,* Дмитрий Гаврилович (1792—1870) — генерал от инфантерии, с 1837 по 1852 год киевский, волынский и подольский генерал-губернатор, с 1852 по 1855 год — министр внутренних дел. О грубости, бесцеремонности и самодурстве Бибикова см. также в заметках Лескова «Маленькие шалости крупного человека» («Русский мир», 1877, № 4, стр. 2); «Бибиковские «меры» («Неделя», 1888, № 6, стр. 196—198); «Бибиковские каламбуры» (не напечатано. Цитируется в книге А. Лескова «Жизнь Николая Лескова», стр. 99).

Бессоромние (укр.) — бесстыдные.

Стр. 135. *...тип мюзаровской гризеты.* — Гризетка (франц. grisette) — бедная молодая девушка (швея, мастерица) легких нравов, во французской беллетристике обычно подруга бедного студента, художника и т. п. Мюзар, Филипп (1793—1859) — парижский капельмейстер и композитор танцевальной музыки, организатор публичных балов, пользовавшихся широкой популярностью.

Анненков, Николай Николаевич (1793 или 1800—1865), генерал-адъютант, с 1862 по 1865 год — киевский, волынский и подольский генерал-губернатор.

«Всякой вещи свое время под солнцем» — неточная цитата из библии (Екклезиаст, III, I).

Стр. 136. *«Фиранки»* (укр.) — оконные шторы.

Стр. 137. *...не знаю, чем и в каком роде был знаменит Шиянов...* — «О старом Шиянове, — вспоминает Л. Г. Дейч, — сообщали, что он был богатейшим помещиком, имевшим крупное имение. Передавали, будто сам Николай I, приезжая в Киев, делал визит старому сановнику. О его независимом характере, поведении, а также жестокости в обращении с крепостными и о его чудаче-

ствах циркулировали бесконечные рассказы, смахивавшие на легенды» (Л. Г. Дейч. Почему я стал революционером, П., Госиздат, 1921, стр. 10).

Стр. 137. *Акафист* — хвалебное церковное песнопение.

Презельная — преславная.

Стр. 138. *...им смазывали клювы «свяченой оливой»...* — то есть оливковым маслом, над которым был произведен церковный обряд «освящения».

...пели свои антифоны очень крупные и замечательно басистые лягушки, а звонкоголосые молодячки канонархали. — Антифон — стих из псалмов, который сперва поется на одном клиросе (клирос — место для певцов в церкви), а затем повторяется на другом. Канонарх (монах-регент) при пении на оба клироса предварительно оглашает слова.

Стр. 139. *Аридовы веки* — долгие годы (по имени библейского патриарха Арида, прожившего, согласно библии, 962 года).

Легендарная личность был артиллерии полковник Кесарь Степанович Берлинский... — «Лесков нисколько не сгустил красок, описав этого «печерского антика», — пишет Л. Г. Дейч. — Много на своем веку видел я всевозможных чудаков, но такого оригинала, каким был Кесарь Степанович, никогда не встречал я» (Л. Г. Дейч. Почему я стал революционером, стр. 12).

Стр. 140. В тексте «Киевской старины» глава четвертая имела следующее окончание, откинутое в Собрании сочинений:

«Так как легенда о Берлинском составляет несомненное достояние киевской старины, ибо она сложена в Киеве, и так как она долго внушала соответственные чувства киевлянам пятидесятых годов девятнадцатого столетия, то я думаю, что ее и надлежит занести на страницы местного журнала. Это очень любопытно, как образец эпического творчества в новейшее время. Легенда о Берлинском сложилась частию из чрезвычайно смелых и бойких импровизаций самого героя, — частию же из домыслов и фантазий простодушных людей, которым хотелось видеть в нем богатыря в их собственном вкусе. А потому тут не разберешь, что сочинено молвою и что вылилось непосредственно из головы «печерского Кесаря», которому в искусстве убежденного мечтательства я во всю мою дальнейшую жизнь не встречал никого равного.

Объяснясь на счет происхождения легенды, теперь, кажется, можно представить и самого «Кесаря».

Стр. 142. *...я упросил графа Орлова...* — Граф (впоследствии князь) Алексей Федорович Орлов (1787—1862) в годы с 1844 по 1856 — шеф жандармов и главный начальник III Отделения (тай-

ной политической полиции). Обычно сопровождал Николая I в путешествиях по России и за границей.

Стр. 143. *Страховое письмо* — заказное.

Стр. 145. *...победоносного полководца Вылезария...* — Велизарий — знаменитый византийский полководец VI века (490—565).

Граф Чернышев. — Граф (впоследствии князь) Александр Иванович Чернышев (1786—1857) с 1827 по 1852 год был военным министром.

...в тот год, когда в Петербурге, на Адмиралтейской площади, сгорел с народом известный балаган Лемана. — 2 февраля 1836 года, в воскресенье на масленой неделе, на Адмиралтейской площади сгорел балаган Лемана, в котором погибло 128 человек.

Стр. 151. *Шибка* (укр.) — оконное стекло.

Стр. 156. *Сотерная бутылка* — то есть бутылка из-под сотерна (сорт французского белого виноградного вина).

Стр. 157. *Конь был что-то вроде Сампсона: необычайная сила и удаль заключалась у него в необычайных волосах...* — Самсон, библейский герой, прославившийся в борьбе с филистимлянами, носил длинные волосы, которые были источником его богатырской силы.

Стр. 158. *Перекупка* (укр.) — торговка.

Бровары — местечко близ Киева.

Стр. 159. *Михаил Макарович Сажин* — художник; во время четырехлетнего пребывания в Киеве (видимо, в 1845—1849 годы) исполнил альбом видов Киева.

...авторитет «галицкого воина»... — выражение, вероятно, связанное с народной памятью о выдающихся полководцах князе Романе Галицком (ум. в 1205 году), воспетом в «Слове о полку Игореве», и его сыне Данииле, князе, впоследствии короле, Галицком (1201—1264), который вел успешную борьбу с литовскими и польскими феодалами, с венграми и татарами.

Стр. 161. *...служить богови и мамону* — цитата из евангелия (от Матфея, VI, 24 и от Луки, XVI, 13). Мамон или Мамона — восточный бог денег, богатства. Служить и богу и мамону — служить одновременно и высоким и низменным целям. В данном случае выражается подозрение, не является ли «благодетель» одновременно агентом полиции.

Стр. 162. *...во тьме «древлего благочестия»...* — «Древлим (то есть древним) благочестием» старообрядцы называли свою веру.

...из разряда «опасных немоляков». — Немоляки — старообрядцы, отказывавшиеся молиться за царя, поскольку цари принадлежали к «неистинной» вере и преследовали «раскол».

Стр. 162. ...*«из тунеядского исповедания»* — вместо: униатского исповедания.

Стр. 163. *«Бiй хлопа по потылице»* (укр.) — бей мужика по затылку.

Стр. 164. ...*пришли строить каменный мост с англичанином Виньёлем.* — Виньёль, Чарльз-Блэкер (1793—1875) — английский инженер путей сообщения, в 1843—1853 годах построил в Киеве каменный, так называемый Цепной, мост через Днепр.

Стр. 166. *Он был «пилипон» (то есть филипповец)...* — Филипповцы — одна из сект старообрядцев-беспоповцев (не признававших священников и церкви).

...*тенденциозные фантазеры вроде Щапова...* — Щапов, Афанасий Прокопьевич (1830—1876) — историк, в своих сочинениях рассматривавший старообрядческий «раскол» как явление народной оппозиции государству.

«Поначалиться» — помолиться (у старообрядцев).

Стр. 167. *Гуменце* — у старообрядцев — выстриженное или пробритое место на темени.

Стр. 168. *«Корсунчик»,* корсунский крест — крест особой формы (равносторонний).

...*раскольники иного согласия — «тропарники», то есть певшие тропарь: «Спаси, господи, люди твоя»... это, должно быть, были поморцы, которые издавна уже «к тропарю склонялись».* — Тропарь — молитвенное песнопение. Поморцы — секта старообрядцев-беспоповцев. Первоначально все «поморское согласие» отказывалось молиться за царя; затем часть поморцев, под давлением грозивших репрессий, ввела моление за царя, приняв полный текст тропаря «Спаси, господи, люди твоя», включавший такое моление. Эта часть поморцев получила название тропарщиков.

Стр. 169. ...*«держал опочив»* — почивал, спал.

В два тябла — в два ряда.

...*аналой с поклонною «рогозинкою»...* — Аналой — высокий столик с покатым верхом, на который ставится икона; поклонная «рогозинка» — рогожка для стояния на коленях во время молитвы.

...*по правилам доблего жития...* — Доблий — доблестный. Имеется в виду соблюдение старообрядческих правил, обрядов, обычаев.

...*«не имея возглавицы мягкия»* — не имея мягкой подушки.

Старец «пóпил», то есть полагал «начал» чтению и пению... — Пóпить — заменять попа (отсутствующего у беспоповцев). Положить начáл — у старообрядцев: прочитать молитву с установленными обрядами.

Стр. 169. *«Аминил»* — произносил заключительное слово «аминь» в конце каждой молитвы.

За малые прегрешения «началенье» производилось ременного лестовицею... — «Началенье» — наказанье. Лестовица (лестовка) — кожаные четки.

Стр. 170. *«Постризало»* — ножницы.

Одет он был всегда в черный мухояр... — Мухояр — старинная бухарская ткань, бумажная с шелком или шерстью.

...яко кимвал бряцаяй... — как кимвал бряцающий (Первое послание к коринфянам, XIII, 1). Кимвал — библейский ударный музыкальный инструмент, издававший резкий звенящий звук.

Дурак присноблаженный. — Присноблаженный — вечно блаженный. «Блаженными» называли юродивых.

Стр. 171. *...рисует в своей превосходнейшей книге профессор Ключевский...* — Имеется в виду, очевидно, исследование В. О. Ключевского «Боярская дума древней Руси» (М., 1882).

«...в меру возраста Христова», то есть до тридцати трех лет. — Иисус Христос, по преданию, был распят в возрасте 33 лет.

...мирщил с никонианами... — Мирщить или мирщиться — у старообрядцев: общаться с «никонианами», то есть православными.

Стр. 172. *Тропарй* — здесь: обозначение секты «тропарщиков» (см. прим. к стр. 168).

Стр. 173. *...мензулку препаровочного спирта...* — Мензулка, вернее мензурка — сосуд с обозначенными на нем делениями для отмеривания небольших объемов жидкости. Препаровочный — предназначенный для изготовления препарата, то есть части организма, приготовленной для анатомического, гистологического и т. п. исследований.

Стр. 174. *...держали их «оборучь»* — держали обеими руками.

Стр. 175. *Антропофаг* — людоед.

Стр. 176. *На седальнях* — во время песнопений, которые разрешается слушать сидя.

Стр. 177. *Все как-то смахивали тогда на воробьев последнего тургеневского рассказа...* — Рассказ Тургенева «Мы еще повоюем!» был опубликован в составе цикла «Стихотворения в прозе» в декабрьской книге «Вестника Европы» за 1882 год.

...«дневник Виктора Аскоченского». — Аскоченский, Виктор Ипатьевич (1813—1879) — самый яростный и безудержный реакционер в русской журналистике 60-х годов. Получив степень магистра богословия, в 40-х годах был адъюнкт-профессором Киевской духовной академии, затем служил чиновником в Киеве и Каменец-

Подольске. В 1851 году вынужден был из-за постыдного поведения выйти в отставку. В годы с 1858 по 1877 издавал в Петербурге журнал «Домашняя беседа», над ханжеским мракобесием которого постоянно издевались публицисты и сатирики 60-х годов. Смолоду Аскоченский был и поэтом: в 1846 году он выпустил в Киеве сборник своих стихотворений. «Дневник В. И. Аскоченского» печатался в «Историческом вестнике», 1882, №№ 1—9.

Стр. 177. *Янович,* Алексей Онисимович (1831—1870) — ботаник. В 60-е годы преподавал в Казанском, а затем в Новороссийском (Одесском) университете.

Стр. 178. *...с массою наглагольных рифм.* — Применение рифмующих слов с одинаковыми глагольными окончаниями считается слишком легко достижимым и маловыразительным приемом рифмовки.

...дневник этот, который я прочел весь в подлиннике... — Лесков принимал участие в редакционной работе «Исторического вестника». Дневник Аскоченского напечатан в «Историческом вестнике» не полностью, а в извлечениях, сделанных Ф. И. Булгаковым, и частью в его изложении.

...доживал свой маститый век Подолинский... — Подолинский, Андрей Иванович (1806—1886), поэт, пользовавшийся известностью в 20—30-е годы, отнюдь не доживал еще своего века в 50-е годы, но уже с начала 40-х годов не печатался.

Девица, подражая польской импровизаторше Деотыме, написала много маленьких и очень плохих стихотворений, которые были ею изданы в одной книжечке под заглавием: «Чувства патриотки». Склад издания находился в «аптеке для души», то есть в подольской библиотеке Павла Петровича Должикова. — Деотыма (Deotyma) — псевдоним польской поэтессы Ядвиги Лущевской (1834—1908), славившейся даром импровизации. Не названную здесь фамилию киевской поэтессы Лесков раскрыл в бесподписной заметке «Кто выгнал на улицу Гоголя» («Петербургская газета», 1887, № 74, стр. 2): «Со слов «Киевлянина» все газеты теперь рассказывают, как в Киеве один содержатель библиотеки г. Д. *прогнал* Гоголя, который зашел в эту библиотеку, чтобы приютиться от проливного дождя... В то время... в городе этом была всего только одна библиотека. Она помещалась на Подоле и принадлежала отставному капитану и в своем роде поэту Павлу Петровичу *Должикову,* человеку с образованием, но изрядному чудаку, которому удалось прослыть за оригинала и остроумца — в каковом звании он немножко стал забываться и не церемониться. Библиотека Должикова также называлась «Кабинет муз» и «Аптека для души». Оба эти названия значились на особых вывесках, утвержденных

внутри помещения над полками на самом видном месте. Павел Петрович Должиков прослыл за шутника и прибаутчика и долго позволял себе шутки, не всегда удобные и не для всех приятные... Так, например, в Киеве была поэтесса, больная д⟨еви⟩ца Сантимер, которая раз издала книжечку своих стихотворений под заглавием «Чувства патриотки». Стихи были очень плоховаты, но автор их — существо нежное и самое безобидное. П. П. Должиков имел эти стихи на комиссию и предлагал их каждому своему посетителю, говоря:

Вместо сыру и водки
Вот «чувства патриотки».

Фамилия поэтессы, заглавие и время выхода книги указаны Лесковым неточно. Елизавета Сентимер до 1853 года (времени окончания постройки Цепного моста в Киеве) издала брошюры «Стихотворения девицы Е. С........» (Киев, 1850) и «Поэмы и мелкие стихотворения девицы Е. С........» (Киев, 1851; изд. 2-е, доп., — Киев, 1852). Брошюра «Голос патриотки. Стихотворения девицы Е. С........» выпущена позже, в 1854 году; она состоит из трех стихотворений, посвященных различным эпизодам Крымской войны. Рецензент «Москвитянина» (1854, т. IV, отд. IV, стр. 176), чтобы деликатно обозначить крайнюю слабость стихов, дважды называет их «импровизациями».

Стр. 178. *...Альфред фон Юнг что-то пустил с своего Олимпа...* — Фамилия поэта написана Лесковым неправильно. Фон Юнк, Альфред Августович (ум. в 1870 г.) — автор комедий и водевилей, редактор-издатель первой киевской газеты «Киевский телеграф» (выходила в 1859—1876 годах).

Стр. 179. *Цензор Лазов.* — А. А. Лазов — секретарь Киевского цензурного комитета.

Стр. 180. *...с черниговскою стороною Днепра.* — По Днепру проходила граница Киевской и Черниговской губерний.

Стр. 181. *...с цивическим элементом...* — с гражданским населением.

...«аршинников, хамов и штафирок» — то есть купцов, мещан и чиновников (или вообще «штатских»).

Стр. 182. *Слимак* (укр.) — послушник.

Из Чревоматернего, то есть из чрева матернего — из материнской утробы.

Строфокамил — страус.

Стр. 183. *...из которых потом, однако, выходили «севастопольские герои» и не менее знаменитые и воспрославленные «крымские*

воры» и «полковые морельщики». — О хищениях интендантов во время Крымской войны см. в рассказе Лескова «Бесстыдник» (наст. изд., т. 6).

Стр. 183. *Кинь-Грусть* — местность на окраине Киева.

...в доме Я. И. Пе—на — видимо, Я. И. Пенкина, председателя Киевской казенной палаты с 1837 по 1853 год. См. о нем в рассказе Лескова «Владычный суд» (наст. изд., т. 6, стр. 131).

Стр. 184. *Друкарт,* Андрей Иванович — в первой половине 50-х годов младший чиновник особых поручений при киевском гражданском губернаторе. О нем см. в рассказе «Владычный суд» (наст. изд., т. 6).

Милитеры — (франц. les militaires) — военные.

...в самом Петербурге рвали снизу до верха шинели несчастных «штафирок». — Такой случай описан Лесковым в рассказе «Русский демократ в Польше» (Полное собр. соч. Лескова, изд. 3-е, т. III, СПб., 1902, стр. 160).

Стр. 186. *Вельми* — весьма.

...в синей широкой суконной чуйке, сшитой совсем как старинный охабень. — Чуйка — длинный кафтан. Охабень — боярская верхняя одежда.

Холява — голенище.

Рожон — кол.

Стр. 187. *Он был в бутылочном азямчике с тремя христианскими сборами на кострецах и в суконном шлычке без козырька.* — Бутылочный цвет — темно-зеленый. Азям — крестьянская верхняя долгополая одежда. Христианские сборы — сборки одежды по фасону, принятому у старообрядцев. Кострец — нижняя часть крестца. Шлычок — шапчонка, колпак.

Заказник — приказчик, управитель.

Наст — твердая кора на поверхности снега, образующаяся после оттепели.

...не Лаокоон, не Улисс и не Вейнемейнен... — Лаокоон — один из героев «Энеиды» Вергилия, жрец и прорицатель Аполлона в Трое; имя Лаокоона особенно известно благодаря знаменитой античной скульптурной группе, изображающей гибель его и двух его сыновей. Вместе с ними он был задушен змеями, посланными Афиной-Палладой. Улисс — Одиссей, герой «Одиссеи» Гомера. Вейнемейнен — герой карело-финского эпоса «Калевала».

...на известную картину, изображающую урок стрельбы из орудия, даваемый Петру Лефортом. — Среди известных русских картин такой нет.

Стр. 188. *Задуха — духота.*

Стр. 189. *«Рабский азямчик».* — «Рабский» — то есть такой, какой положено носить подлинному «рабу божию» — правоверному старообрядцу. Азям — см. выше, прим. к стр. 187.

...на тщо — натощак.

...говейно — воздерживаясь от пищи.

...устнами — устами.

Стр. 192. *...будто черный Фаустов пудель.* — В «Фаусте» Мефистофель появляется сперва в виде черного пуделя (сцена «За городскими воротами»).

Правая рука его с крепко стиснутым двуперстным крестом... — Старообрядцы крестились, прикладывая ко лбу, груди и плечам не три, а два пальца.

Стр. 194. *Познаменоваться* — перекреститься.

...и иже с ним — и тех, кто с ним (его единомышленников).

Стр. 195. *Господии* — господа.

Стр. 196. *На Бульваре* — то есть на Бибиковском бульваре (ныне бульвар Шевченко).

Шебаев, Иван Иванович (р. 1835) — московский купец-старообрядец. В 1862 году был арестован по делу о связях с Герценом и два года содержался в Алексеевском равелине.

Пафнутий (Овчинников, 1827—1907) — с 1858 года старообрядческий епископ коломенский. В конце 1861 года и начале 1862 года тайно встречался в Лондоне с Герценом, Огаревым, Бакуниным, Кельсиевым. Эти встречи описаны в «Исповеди» В. И. Кельсиева («Литературное наследство», т. 41—42, М., 1941, стр. 298—307).

Я тогда напечатал письмо о «людях древнего благочестия». — Очерки Лескова «С людьми древлего благочестия» напечатаны в «Библиотеке для чтения», 1863, № 11, и 1864, № 9. Об обстоятельствах, связанных с изучением Лесковым раскола, и его статьях на эти темы см.: А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 172—175; Л. Гроссман. Н. С. Лесков, М., 1945, стр. 84—91.

Стр. 197. *Мельников,* Павел Иванович (1819—1883) — писатель (псевдоним: Андрей Печерский) и исследователь раскола и сектантства. В 1871—1881 годах опубликовал известные романы из жизни старообрядцев «В лесах» и «На горах».

Нильский, Иван Федорович (1831—1894) — профессор Петербургской духовной академии по кафедре русского раскола, автор ряда сочинений об истории и быте русского старообрядчества.

Преложились — изменились.

Стр. 198. *...теперь «крайняя правая фракция» пружится, чтобы Волга-матушка вспять побежала, а они бы могли лгать сначала.* — Лесков перефразирует начало стихотворения А. К. Толстого: «Ой,

каб Волга-матушка да вспять побежала! Кабы можно, братцы, начать жить сначала!»

Стр. 198. *...вскоре после постройки киевской железной дороги.* — Курско-Киевская железная дорога закончена постройкой и открыта в феврале 1870 года.

...«мои-то-те куряне, ведомые кмети» — неточная цитата из «Слова о полку Игореве»; правильно: «А мои ти куряни сведоми къмети» («А мои-то куряне славные воины»).

Тускарь — река, на которой расположен Курск.

Престранное видение в иезекиилевском жанре. — Иезекииль — библейский пророк. Отличительная черта «Книги Иезекииля» — обилие подробно описанных и весьма туманных «видений» пророка.

Это что-то как будто апокалипсическое. — Апокалипсис — книга «Нового завета», описывающая таинственные видения Иоанна Богослова в «царстве небесном».

Стр. 200. *Перепелок рвут.* — Об аналогичной сцене, произведшей на Лескова «удручающее впечатление», см. в воспоминаниях Ф. Г. Де-ла-Барта «Литературный кружок 90-х годов (Из воспоминаний о Вл. Соловьеве, Н. С. Лескове и друг.)». — «Известия общества славянской культуры», т. 2, кн. 1, М., 1912, стр. 18.

Стр. 201. *...в летех своих заматорелых* — в свои старческие годы.

Госпожин пост — народное название двухнедельного «успенского» поста в честь богородицы.

...не токмо что среду или пяток, а даже и великий пост не могу никакой говейности соблюдать... — Среда и пятница — постные дни. Великий (пасхальный) пост — самый длительный (шестинедельный), строгий и обязательный.

Стр. 202. *При верной церкви* — то есть старообрядческой.

К единоверческой? — Единоверцы — компромиссная секта, признававшая православное духовенство, подчинявшаяся синоду, но сохранявшая староверческие обряды, иконы и богослужебные книги.

...к греко-российской — то есть православной.

...своим умом дошел до теории Дидро и поставил веру в зависимость от физиологии. — В «Захудалом роде» Лесков ту же идею приписывает Вольтеру (см. наст. изд., т. 5, стр. 83).

Епископ Амвросий Ключарев в своих публичных лекциях, читанных в Москве, напрасно порешил, что писателям «лучше бы не родиться». — Амвросий (Ключарев, 1821—1901) с 1877 года — епископ можайский, с 1882 года — архиепископ харьковский. Основал и с 1860 по 1867 год редактировал мракобесно-фанатический журнал «Душеполезное чтение». Считался красноречивым пропо-

ведником, обличителем «зловредных» идей. В своей брошюре «Два публичных чтения о свободе печати с точки зрения православной церкви» (М., 1882) Амвросий, похвалив нескольких писавших о церкви реакционеров, добавляет: «Мы должны затем об остальной массе литераторов, в разных отношениях касающихся церкви, сказать откровенно: лучше бы их не было».

Стр. 202. *«Возлагает на человеки бремена тяжкие и неудобоносимые»* — цитата из евангелия (от Матфея, XXIII, 4).

Стр. 203. *Ботвиновский,* Ефим Егорович (умер в 1873 г.). — 19 января 1883 года Лесков писал Ф. А. Терновскому: «В «антиках» должен недурно выйти «старец Малахия» и «поп Ботвиновский» — дивная *громада смеси* пошлости, беспутства и доброты какой-то героической» («Україна», 1928, № 2, стр. 112). 18 января Ф. Г. Лебединцев писал Лескову о «лике Ефима» в «Печерских антиках»: «Мне и всем отрадно, что он вышел так светлый. Ефим беспутен был, но сердце доброе имел. Много и не таких курьезов за ним водилось. Он даже невесту у брата отбил, и все это без злости» («Ежемесячные литературные приложения к «Ниве» на 1897 год», № 10, стр. 316).

Отвечая Лебединцеву 22 января 1883 года, Лесков перечисляет наиболее, по его мнению, удавшееся в «Печерских антиках»: «Лучше то, что я люблю: религиозные простоплеты: Малахия, отрок, от⟨ец⟩ Строфокамил и Ефим. О последнем я совершенно того же мнения, как и вы: беспутство безмерное и порою бывало отвратительное, и даже жестокое, и ум малый и невозделанный, и ленивство безмерное, и гадкая лживость и притворство, — но пусть кто что хочет говорит, — а было ж в нем *нечто* такое, за что сердце его любило, и мне было утешительно прочесть, что и Вам хочется его «поставить светло». Да, это положительно наша обязанность» (ЦГАЛИ, фонд 275, опись 1, ед. хр. 141).

«Печерские антики» вызвали несочувственный отзыв о Ботвиновском, принадлежащий, видимо, брату Ф. Г. Лебединцева, редактору «Киевских епархиальных ведомостей» П. Г. Лебединцеву, в письме в редакцию «Церковно-общественного вестника» (1883, № 77), за подписью П. Л. О Ботвиновском см. и в рассказе Лескова «Владычный суд» (наст. изд., т. 6, стр. 133).

Филарет (Филаретов, 1824—1882) был ректором Киевской духовной академии с 1860 по 1877 год, затем был епископом рижским.

Преосвященный — титул епископа.

«Полевал» — охотился.

Стр. 204. *Ледачий піп (укр.)* — негодный поп.

Стр. 204. *«Питающий вран».* — Согласно библейскому сказанию, пророка Илью, по велению бога, питали вброны, приносившие ему хлеб и мясо.

...дьячок Константин, или Котин — прототип Константина Пизонского, персонажа рассказа «Котин Доилец и Платонида» (см. наст. изд., т. 1) и «хроники» «Соборяне» (см. т. 4). По свидетельству сына писателя, Лесков любил имитировать «Котина» в устных импровизациях (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 282).

Стр. 205. *«Карнавка»* (укр.) — церковная кружка для сбора денег.

Пагленок (паголенок) — часть чулка выше щиколотки.

Стр. 206. *Звiткиля* (укр.) — откуда.

Не побачите (укр.) — не увидите.

Выбачайте (укр.) — извините.

Стр. 207. *Воздух* — покрывало для церковных сосудов с причастием.

...«впрост — до батюшки, до господы» — прямо до батюшки, до дому.

Перехожая пошлина — обычно: плата за переход через мост.

Стр. 208. *Был в Киеве уездный казначей Осип Семенович Ту—ский, которого привез с собою из Житомира председатель казенной палаты Ключарев.* — Фамилия казначея — Тустановский. А. К. Ключарев (1789—1867) был председателем Волынской казенной палаты, в 1853 году переведен на аналогичную должность в Киев, но вскоре получил назначение в министерство, на должность директора департамента государственного казначейства, а в Киеве его заменил Н. М. Кобылин. Яркая характеристика Ключарева дана в рассказе «Владычный суд» (см. наст. изд., т. 6).

Стр. 209. *«Не видех праведника оставлена, ниже семени его просяща хлеба»* — «Я не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Псалтирь, XXXVI, 25).

Стр. 211. *...в предстоянии.* — Предстоящим называется старший по чину из ведущих богослужение священников.

...«до радостного утра» — то есть до «воскресения из мертвых». Цитата из однострочной эпитафии Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра!»

Подстрочное примечание в тексте «Киевской старины» дано за подписью «Ред.». В нем указано, что редактор журнала спрашивал ряд лиц, подтвердивших достоверность сообщаемого. В письме в редакцию «Церковно-общественного вестника», опустившего это примечание в своей перепечатке, Лесков подтверждает истинность происшествия добавочными аргументами (Н. Лесков. О погре-

бении дамы под алтарем (Письмо в редакцию). — «Церковно-общественный вестник», 1883, № 55). Дальнейший разбор вопроса и исправление «неточностей» Лескова см. в письме в редакцию П. Л. (видимо, П. Г. Лебединцева) — «Церковно-общественный вестник», 1883, № 77.

Стр. 212. *«Субботы»* — здесь в значении: праздничные дни.

Пастор Оберлин, Иоганн-Фридрих (1740—1826) — известный филантроп, прозванный «святым протестантской церкви».

Исидор (Никольский, 1799—1892) — был киевским митрополитом с 1858 по 1860 год.

Арсений (Москвин, 1795—1876) — был киевским митрополитом с 1860 по 1876 год.

Филарет (Амфитеатров, 1779—1857) — был киевским митрополитом с 1837 по 1857 год. О нем у Лескова — во «Владычном суде» и в «Мелочах архиерейской жизни» (см. наст. изд., т. 6).

Стр. 213. *Крамарев,* Георгий Никифорович (1817—1868) — профессор Киевской духовной семинарии, в 1854—1856 годах — протоиерей университетской церкви св. Владимира.

...бывший в его время ректором «русский Златоуст» Иннокентий Борисов. — Иннокентий Борисов (1800—1857) — знаменитый богослов и церковный оратор, с 1830 по 1837 год был ректором Киевской духовной академии.

Иеремия (Соловьев, 1799—1884) с 1830 года был инспектором, а с 1838 по 1841 год — ректором Киевской духовной академии.

Стр. 214. *Серафим* (Аретинский, 1812—1885), с 1837 по 1842 год был помощником профессора богословских наук в Киевской духовной академии.

...военного обер-прокурора синода Н. Ал. Протасова. — Протасов, Николай Александрович, граф (1799—1855) — генерал от кавалерии, с 1836 по 1855 год — обер-прокурор синода (то есть начальник ведомства православной церкви).

Стр. 214—215. *...сошлись на службе в Каменце Аскоченский, занимавший там место совестного судьи, и бывший его начальник по Воронежской семинарии Елпидифор, на эту пору архиепископ подольский.* — В. И. Аскоченский окончил Воронежскую семинарию в 1837 году, служил в Каменец-Подольске в должности совестного судьи с 1849 по 1851 год. Елпидифор (Бенедиктов, 1804—1860) был ректором Воронежской духовной семинарии до 1842 года, архиепископом подольским — с 1848 по 1851 год.

Стр. 215. *Литургия* — обедня (утренняя или дневная церковная служба).

Иподиакон — помощник дьякона.

Стр. 215. *Клир* — причт, духовенство какой-нибудь церкви.

...«и духови твоему» — «и духу твоему» (ответ хора на возглас священника: «Мир всем»).

...но вскоре потерял место совестного судьи и навсегда лишился службы. — Аскоченский вынужден был выйти в отставку вследствие того, что приобрел на службе репутацию заведомого склочника и доносчика.

Стр. 216. *Фундуклей*, Иван Иванович (1804—1880) был киевским гражданским губернатором с 1839 по 1852 год. О нем см. в рассказе Лескова «Умершее сословие» (наст. изд., т. 8).

...выезжали на дубу. — Дуб — большая лодка, выдолбленная из дерева.

Стр. 217. *...председящих святителей* — вышестоящих церковных начальников (святителями называются духовные лица не ниже архиереев).

...«приемлят и ни что же вопреки глаголят» — принимают и ничего против не говорят.

...напоминает «Племянника г-на Рамо» — то есть героя повести Дидро «Племянник Рамо» (1762), умного, жизнелюбивого беспринципного циника.

Иннокентий (Вениаминов, 1797—1879) — был митрополитом московским с 1863 по 1879 год.

...по делам своего изнемогавшего издания... — Реакционнейший журнал Аскоченского «Домашняя беседа» (1858—1877) имел, особенно в 70-е годы, очень мало подписчиков.

Стр. 218. *Лебединцев*, Феофан Гаврилович (1826—1888) — профессор Киевской духовной академии, впоследствии основатель, редактор и издатель журнала «Киевская старина» (1882—1906), для которого написаны и в котором напечатаны «Печерские антики».

Ордонанс-гауз — управление военного коменданта города.

Васильчиков, Иларион Илларионович, князь (1805—1862), был киевским, волынским и подольским генерал-губернатором с 1853 по 1862 год. О нем см. в рассказе «Владычный суд» (наст. изд., т. 6, стр. 123—126).

Когда в «Русском вестнике» М. Н. Каткова был напечатан мой рассказ «Запечатленный ангел»... — «Запечатленный ангел» напечатан в «Русском вестнике», 1873, № 1.

...«в нем передано событие, случившееся при постройке киевского моста» (разумеется, старого). — Действие «Запечатленного ангела» происходит в Киеве в среде старообрядцев-каменщиков, строивших в 1848—1853 годах под руководством англичан каменный цепной мост.

ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том шестой, СПб., 1890.

Впервые напечатано в «Художественном журнале», 1883, № 2, с датой: «С. Петербург, 19 февраля 1883 года. День освобождения крепостных и суббота «поминовения усопших». В Собрание сочинений вошло с некоторыми изменениями, имевшими целью усилить обличительный характер рассказа. Так, только в этом варианте появились слова: «Начальство и думать не смело вступаться» (за пытаемых), «Простые люди всё ведь страдатели» и т. п. Усилеч мотив жадности и вымогательства предателя-попа.

В рассказе есть автобиографические моменты, связанные с детскими годами писателя. А. Н. Лесков указывает, однако, на вымышленность связи героини рассказа с семейством Лесковых: «Любовь Онисимовна могла и не нянчить брата писателя» (Н. С. Лесков. Избранные сочинения, М., 1946, стр. 457).

В рассказе описан тот же крепостной театр графа Каменского в Орле, который под прозрачным именованием театра князя Скалинского в городе О. фигурирует в повести Герцена «Сорока-воровка». Однако, по словам Лескова, он не может уточнить, при ком из графов Каменских — при фельдмаршале М. Ф. Каменском или его сыновьях — происходили описываемые события (стр. 222).

Граф Михаил Федотович Каменский, генерал-фельдмаршал, родившийся в 1738 году, был в 1809 году убит своими крепостными за жестокое обращение. Его старший сын граф Сергей Михайлович (1771—1835), генерал от инфантерии, выйдя в 1822 году в отставку, поселился в Орле, где занимался преимущественно своим крепостным театром и удивлял окружающих роскошью и чудачествами Младший сын фельдмаршала, рано умерший, граф Николай Михайлович (1779—1811), генерал от инфантерии, смелый и даровитый полководец, в 1810 году был назначен главнокомандующим молдавской армией.

Если героиня рассказа Любовь Онисимовна в конце 30-х годов уже старуха, значит ее юность должна была относиться к периоду жизни фельдмаршала Каменского, убитого в 1809 году. Между тем, рассказывая о своей молодости, она говорит, что лишь «старики помнили», как наказывали крепостного, убившего фельдмаршала. Автор говорит, что в ту пору, когда героине рассказа было восемнадцать лет, через Орел проезжал царь — не то Александр I, не то Николай I. В последнем случае Любовь Онисимовна в 30-е годы должна была бы быть еще молодой женщиной, а не старухой. Оче-

видно, Лесков нарочито спутывает хронологию событий, сводя вместе в своем рассказе сведения и предания о жестоком фельдмаршале Каменском и о его сыне-театрале.

По мотивам рассказа в советское время написаны две пьесы — «Крепостные (На волю!)» А. Е. Ульянинского и «Тупейный художник» Е. Е. Карповой — и опера «Тупейный художник» И. П. Шишова (по либретто М. С. Чуйко), поставлен фильм «Комедиантка» (постановка А. В. Ивановского).

Стр. 220. *Тупейный художник,* тупейщик — парикмахер (от франц. toupet — тупей, взбитый хохол на голове).

...во благих — среди праведников.

Сазиков и Овчинников для многих не больше как «серебренники». — Сазиков, Павел Игнатьевич (ум. 1868), и Овчинников, Павел Акимович (1830—1888) — известные московские «золотых дел мастера», скульпторы чеканных произведений из золота и серебра.

Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи»... — «Художником» Гейне назвал не портного, а сапожника: «Сегодня схоронили моего бедного Сакоского, знаменитого художника кожаной обуви — ибо название «сапожник» слишком ничтожно для Сакоского» («Лютеция», ч. I, гл. XII.— Г. Гейне. Полное собрание сочинений, т. 9, М. — Л., «Academia», 1936, стр. 84). Об «идеях» портного Гейне говорит в другом произведении: «В этом сюртуке есть несколько хороших идей», — сказал мой портной, рассматривая с серьезным и одобряющим видом мой парадный сюртук, заведенный мною во дни моего берлинского щегольства, который теперь нужно было переделать в почтенный халат» («Путевые картины, II. Идеи. Книга Le Grand», гл. XIV. — Г. Гейне. Полное собрание сочинений, т. 4, М. — Л., «Academia», 1935, стр. 240).

Ворт Чарльз-Фредерик (1825—1895) — знаменитый парижский портной.

Шнип — мысок или выступ в форме языка у женского пояса, лифа.

Брет-Гарт, Фрэнсис (1839—1902) — известный американский писатель. Имеется в виду его рассказ «Разговор в спальном вагоне» (1877). Однако художественная фантазия Лескова украсила и дополнила сюжет рассказа. У Брет-Гарта речь идет о гробовщике в маленьком американском городке, который за особую плату обрабатывал лица умерших так, чтобы на них появлялась «христиански-блаженная улыбка». Гробовщик погиб в связи с этим своим занятием, но как именно — остается неясным, так как пас-

сажир, рассказывающий эту историю, сходит с поезда, не закончив ее.

Стр. 222. *Тупейная гребенка* — расческа.

Гримировальное туше — манера гримировки.

Стр. 223. *Воображение* — вместо: выражение.

Борисоглебские священники — то есть священники собора святых Бориса и Глеба в Орле.

Алферьева, Акилина Васильевна (1790 — ок. 1860) — бабушка Лескова со стороны матери.

Андросов, Иван Иванович — см. о нем в «Несмертельном Головане» (наст. изд., т. 6, стр. 364).

Стр. 224. *Подпури* — вместо: попурри (соединение отрывков из одного или нескольких музыкальных произведений).

Стр. 225. *Камариновые серьги* — вместо: аквамариновые. Аквамарин — драгоценный камень голубовато-зеленого цвета.

Святая Цецилия — святая католической церкви, образ девственной невинности.

Стр. 226. *...внимательного призрения...* — вместо внимания.

«Заволохател» — зарос волосами.

Стр. 229. *Подоплека* — подкладка у крестьянской рубахи (от плеч до половины груди и спины).

Стр. 230. *...была очень слухмена...* — имела очень хороший слух.

Тро боку (франц. trop beaucoup) — слишком много.

Стр. 231. *...крячком скрячивали...* — Кряч — толстая веревка. Скрячивать — закручивать.

Приползут змеи и высосут очи, И зальют тебе ядом лицо скорпионы — не вполне точная цитата из сербской песни в переводе А. Х. Востокова «Марко-кралевич в темнице».

Тьма промежная — вместо: кромешная.

Стр. 232. *Турецкий Хрущук* — Рущук, город в Болгарии.

Со сносом — с краденым.

Стр. 233. *Лобанчик* — золотая монета.

Стр. 235. *Пестрядь* — грубая бумажная ткань из разноцветных ниток.

...в признак пришла... — в сознание пришла.

Стр. 236. *Плакон* — вместо: флакон.

Стр. 238. *Тальки* — мотки пряжи.

Стр. 239. *Загнетка* — передняя часть русской печи.

Постоялый дворник — хозяин постоялого двора.

Стр. 240. *...старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали...* — то есть за убийство фельдмаршала М. Ф. Каменского.

ГОЛОС ПРИРОДЫ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 12. В Собрание сочинений вошло с заменой одного эпизода и небольшими изменениями в остальном тексте. В журнальной публикации вместо текста на стр. 250 (о романах Поль де Кока) дан диалог князя с его соседкой об английском романе «Попенджой ли он?» (ср. в «Шерамуре», т. 6 наст. изд., стр. 286). Лишь в тексте Собрания сочинений появляется имя Р. А. Фадеева; в журнальном тексте фигурирует безымянный «адъютант». По воспоминаниям же И. А. Шляпкина, этим «адъютантом», рассказ которого лег в основу произведения Лескова, был генерал-адъютант С. Г. (очевидно, С. Е.) Кушелев (И. А. Шляпкин. К биографии Н. С. Лескова. — «Русская старина», 1895, № 12, стр. 211). О дружбе Лескова с Кушелевым см. А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 295. Но и с Фадеевым Лесков встречался и переписывался.

Стр. 243. *Известный военный писатель генерал Ростислав Андреевич Фадеев, долго сопутствовавший покойному фельдмаршалу Барятинскому...* — Барятинский, Александр Иванович, князь (1814—1879), генерал-фельдмаршал, в годы с 1856 по 1862 был главнокомандующим отдельным Кавказским корпусом и наместником Кавказа. Фадеев, Ростислав Андреевич (1824—1883), генерал, реакционный публицист на военные темы, в годы с 1859 по 1864 состоял при наместнике Кавказа.

Темир-Хан-Шура — ныне Буйнакск, Дагестанской АССР.

Стр. 246. *Поливанный* — глазированный.

Стр. 250. *Поль де Кок* (1794—1871) — автор многочисленных нравоописательных романов, главным образом из парижской жизни, поверхностных, веселых и фривольных. Его романы неоднократно переводились на русский язык и у невзыскательных читателей 30—50-х годов пользовались огромной популярностью.

Стр. 251. *...егерского полка музыкант.* — В конце 40-х годов Барятинский командовал Кабардинским егерским полком.

МАЛЕНЬКАЯ ОШИБКА

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 43. Вошло в сборник «Святочные рассказы» с измененным началом. В тексте

«Осколков» двум первым фразам позднейшего текста соответствует фраза: «В одной благоразумной компании было говорено о вере и неверии». Введя тему «святочной беседы», Лесков мотивировал этим включение «Маленькой ошибки» в цикл святочных рассказов.

Более значительная переработка была произведена для Собрания сочинений: развернут диалог «тетушки» с Катей в третьей главе, изменены заключительные слова (ранее рассказ кончался словами: «И оставалось все это в благополучной тайности даже до сего дня»), внесен ряд мелких поправок и добавлений.

Внося новые реплики в готовый текст, Лесков сделал ошибку: «тетушку» дважды называет «тетенькой» и ее дочь Катя; в настоящем издании (как и в предыдущих советских изданиях) слово «тетенька» заменено по смыслу словом «маменька» (стр. 254 и 255).

Стр. 252. *Деизм* — философское учение, признающее бога в качестве первопричины мира, но отрицающее вмешательство бога в естественный ход вещей, управляемый законами природы.

Прилоги — примеры.

..покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. — Корейша Иван Яковлевич (1780—1861) — сумасшедший, свыше сорока лет находившийся в московской психиатрической больнице. Своей бессвязной болтовней приобрел репутацию «пророка», вследствие чего у него постоянно толпилась публика, жаждавшая получить «предсказание».

Стр. 253. *...из Курганова «Письмовника».* — «Письмовник» Н. Г. Курганова, впервые изданный в 1769 году, выдержал десять изданий и был одной из самых распространенных книг XVIII века, дававшей большой хрестоматийный материал для чтения. Тысячи читателей черпали из этой книги свой литературный багаж.

...про Хаос, про Овидия, про Промифея... — В поэме знаменитого римского поэта Овидия «Метаморфозы» разработаны, между другими, мифы о хаосе — неорганизованной стихии, существовавшей до образования мира, о Прометее, который похитил у Зевса и принес людям огонь, за что был прикован к скале и обречен на вечные муки.

Бытописание — история.

Стр. 254. *...через такое обещание глава Ивана Предтечи была отрублена.* — По евангельскому преданию, царь галилейский Ирод Антипа, восхищаясь танцами своей племянницы Саломеи, обещал ей все, что она пожелает; она потребовала голову пророка

Иоанна Крестителя (или Предтечи), обличавшего связь Ирода с ее матерью Иродиадой. Иоанн был казнен, и его отрубленная голова поднесена Саломее на блюде.

Стр. 255. ...*ей он всех больше и обещал* — очевидно, в приданое.

ЗВЕРЬ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в «Рождественском приложении к «Газете А. Гатцука» 1883 года, с подзаголовком «Рождественский рассказ». Почти без поправок перепечатано в «Святочных рассказах» (1886) и в Собрании сочинений.

В рассказе много автобиографического. А. Н. Лесков пишет о тетке писателя Н. П. Алферьевой: «Почти подростком пришлось ей познать сладость супружества с «полупомешанным», старевшим уже, «благодетелем» ее семьи Страховым. Владелец поместья, в котором развертываются события рассказа «Зверь», конечно, не во всем схож с этим «дядей» автора, но несомненно кое-что тут занято и у него: «Он был очень богат, стар и жесток. В характере его преобладала злобность и неумолимость». О прекрасном духовном преображении его в горячего доброхота в семейных преданиях слышно не было. Умер таким, каким жил» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 45).

Стр. 260. *Серафим* (1760—1832) — монах Саровской пустыни, прославившийся «благочестием» и религиозными беседами с народом.

Стр. 264. ...*«к острову».* — Остров (охотн.) — лесок среди поля.

Кухенрейтеровский штуцер. — Штуцер (нем. Stutzer) — охотничье нарезное ружье. Кухенрейтеры, Иоганн-Андрей и Кристоф — немецкие мастера-оружейники начала XVIII века (в Регенсбурге).

...*«с сошки».* — Сошка — подставка с развилкой для ружья при стрельбе с упора.

Стр. 265. *Грифон* — порода длинношерстных легавых собак.

Первоученка — первая работа ученика.

«Больничка» — кольцо, продетое сквозь губу или носовой хрящ зверя.

Стр. 266. *Творило* — отверстие, лаз.

Стр. 267. *«Садка»* — травля собаками пойманного сначала живьем зверя.

Стр. 267. *...рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом...* — В канун рождества полагалось воздерживаться от пищи до появления в небе первой звезды.

Стр. 268. *...плавал с Ноем в ковчеге.* — По библейскому сказанию, во время всемирного потопа, уничтожившего все живое, праведный Ной остался жив в ковчеге (корабле) со своей семьей и несколькими парами различных животных.

Стр. 269. *Стременный* (или правильнее: стремянный) — конюх при верховой лошади.

Архалук — азиатское короткое мужское платье.

...с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змеиными головками»... — Пахва — седельный ремень с кольцом, в которое продевается хвост лошади. Паперсь — конский нагрудник. Пахва не дает седлу скатываться наперед, а паперсь — назад. «Змеиная головка» — вид раковины.

Вершник — всадник.

...шведские Штрабусы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты. — Старбус, Петр — стокгольмский оружейник конца XVIII века; Моргенрот, Ганс — нюрнбергский оружейник XVII века; Мортимер, Г. В. — лондонский оружейник конца XVIII века. Колет — возможно, вместо Клет. Клет (Стефан, Ганс и др.) — немецкие оружейники XVI—XVIII веков.

Свора — ремень или шнур, на котором водят борзых собак, обычно по две.

Орчак — остов седла.

Вальтрап — покрышка седла.

Доезжачий — старший псарь, распоряжающийся собаками во время охоты.

Арапник — охотничий кнут для собак.

Стр. 270. *...на ворке.* — Ворок — скотный двор.

Гуменник, или гумно — место, где складывают и молотят сжатый хлеб.

Стр. 272. *...будылья соломы.* — Будыль — срезанный стебель.

Стр. 277. *...с бронзовым крестом двенадцатого года* — то есть данным в награду за участие в Отечественной войне 1812 года.

Фуляр — легкая и очень мягкая шелковая ткань. Здесь: фуляровый платок.

Вольтеровское кресло — глубокое кресло с высокой спинкой.

Филограневые, или филигранные. Филигрань — ювелирное изделие в виде кружева из тонкой крученой золотой, серебряной или иной проволоки.

Стр. 278. *Во время óно* — в давнее время.

Стр. 278. *...поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности.* — По евангельскому преданию, новорожденному Иисусу Христу пришли поклониться волхвы (мудрецы) с востока, принесшие ему в дар золото, смирну (благовонная смола для курений) и ливан (ладан).

ОТБОРНОЕ ЗЕРНО

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПБ., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Живописное обозрение», 1884, №№ 1—3, с подзаголовками «Натуральная трилогия» (в № 1) и «Оригинальная трилогия» (в №№ 2 и 3). Перепечатано в «Святочных рассказах», с новым началом (первые три абзаца); здесь появился «святочный» мотив («я встречал Новый год в вагоне»), позволивший включить рассказ в сборник «Святочные рассказы». В Собрание сочинений вошло с незначительными поправками.

Стр. 280. *«Спящим человеком прииде враг и всея плевелы посреди пшеницы»* — «Когда люди спали, пришел враг его и посеял плевелы между пшеницею» (евангелие от Матфея, XIII, 25).

...на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках... — Князь Отто фон Бисмарк (1815—1898) — выдающийся германский государственный деятель реакционного направления. Провел объединение Германии под главенством Пруссии. С 1871 по 1890 год — канцлер Германской империи. Высказывания его, на которые ссылается Лесков, не обнаружены.

Стр. 281. *Внятие* — внимание.

Стр. 282. *Социабельность* — гражданственность.

Стр. 283. *...славянский деятель, и в Красном кресте ходил...* — Русская общественность оказывала помощь славянам в их борьбе за освобождение от турецкой власти, в частности в войне Сербии и Черногории с Турцией 1876—1877 годов.

Стр. 284. *Экспонент* — лицо, выставляющее что-нибудь на выставке.

...как муромцы, — сидим на земле... — Илья Муромец, по былине, прежде чем стать богатырем, тридцать лет «сиднем сидел».

Стр. 285. *...упорядочение наших славянских княжеств, которое повредил берлинский трактат...* — Берлинский трактат, подписанный 13 июля 1878 года, завершил Берлинский конгресс великих держав, созванный по инициативе и заседавший под председательством Бисмарка. Конгресс пересмотрел условия мирного договора

между Россией и Турцией, заключенного в Сан-Стефано 19 февраля 1878 года и завершившего русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Конгресс изменил условия договора к невыгоде России и балканских государств: Болгария была расчленена, Босния и Герцеговина подчинены Австрии и т. д.

Стр. 286. *Тремтете* — вместо crème de thé (франц.) — чайный ликер.

Стр. 287. *...«где оскорбленному есть чувству уголок»* — цитата из «Горя от ума» (д. IV, явл. 14).

Стр. 288. *...всучит либо борзую собаку, либо шарманку.* — В четвертой главе I тома «Мертвых душ» Ноздрев пытается продать Чичикову собак и шарманку.

Стр. 290. *Прима* — первый или основной голос, первая скрипка.

Втора — второй голос, вторая скрипка.

Ингерманландские болота. — Ингерманландия — древнее название страны по берегам Невы и по побережью Финского залива.

Обры и дулебы. — Обры (или авары) и дулебы — славянские племена. В VII веке, по летописному свидетельству, дулебы находились под тяжким игом обров.

Стр. 293. *Утешительный в гоголевских «Игроках».* — Утешительный — герой комедии Гоголя «Игроки» (1836—1842), глава шайки картежных шулеров, выманивающих посредством ловко разыгранной мистификации деньги у шулера Ихарева.

Стр. 294. *...благоразумный домоправитель, о котором в евангелии повествуется.* — Имеется в виду евангельская притча о неправедном домоправителе, который расточал имущество господина и входил с его должниками в сделки, уменьшая на их расписках сумму долга (евангелие от Луки, XVI, 1—8).

...после евангелия в церковь хожу... — то есть прихожу после чтения евангелия.

«...коегожда от должников...» — «каждого из должников».

«...глаголаше: колицем должен еси?» — «сказал: сколько ты должен?»

Стр. 297. *Ротшильд* — знаменитая семья банкиров, владельцев крупнейших банков в Англии, Франции и других европейских странах.

Стр. 298. *...как мужик трех генералов прокормил.* — «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» — сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Стр. 299. *...московского письма* — московского стиля иконописи.

...к Тихвинской... — то есть на богомолье «чудотворной» иконе богородицы в Тихвинский монастырь. Тихвинская водная система отличалась обилием порогов, гряд и мелей.

Стр. 299. *«Где сокровище, там и сердце»* — сокращенная цитата из евангелия (от Матфея, VI, 21): «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Стр. 300. *Корсунский медный крест* — см. прим. к стр. 168.

Касандрийская рубаха — вместо: александрийская, из ситца сорта «александрийка».

«Весь мир во грехе положен» — цитата из Нового завета (I-е послание Иоанна, V, 19).

Стр. 301. *«Бысть человек послан от бога, имя ему Иоанн»* — цитата из евангелия (от Иоанна, I, 6).

Спас — икона с изображением Христа.

Стр. 302. *Похибил* — покачнул.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Печатается впервые, по рукописи, хранящейся в Центральном гос. архиве литературы и искусств (фонд 275, опись I, ед. хр. 50).

Другим изложением того же сюжета является рассказ «Дикая фантазия. Полунощное видение», опубликованный (также по рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ под тем же номером) в журнале «Литературный современник», 1934, № 12, с послесловием и примечаниями А. Н. Лескова.

«Справедлнвый человек» написан без всяких словесных совпадений с «Дикой фантазией», но с точно той же последовательностью событий; главы «Дикой фантазии» соответствуют разделам «Справедливого человека» (кроме глав II и III, которым соответствует второй раздел «Справедливого человека»). По-видимому, «Справедливый человек» является второй обработкой темы; можно думать, что «Днкую фантазию» Лесков забраковал за растянутость и написал рассказ заново, в более сжатой манере. Это предположение подтверждается характером рукописей. Рукопись «Дикой фантазии» — беловик, обращенный затем в черновик новой редакцин; поправки (нанесенные красными чернилами) имеют одной из целей сокращение текста. Рукопись «Справедливого человека» также является беловиком (но с помарками), в дальнейшем заново переработанным, причем сделаны большие сокращения. По объему окончательных текстов «Справедливый человек» вдвое меньше «Дикой фантазин».

Действие рассказа относится к 1883 году. В тексте «Дикой фантазии» о «скобелевском марше» сказано: «Только у нас он гремел в 1882 году, а здесь держится еще на репертуаре и в 1883-м».

В упомянутом послесловии к «Дикой фантазии» А. Н. Лесков пишет: «По многим приметам оба варианта написаны в 83—84 годах».

А. Н. Лесков считает однако, что рассказ связан с впечатлениями поездки Лескова через Новгород в Старую Руссу летом 1880 года.

Стр. 305. *Я цитирую это место из статьи одного публичного органа...* — По указанию А. Н. Лескова в примечаниях к «Дикой фантазии», имеется в виду «всего вероятнее, «Новое время». «Отношения с этим органом и его владельцем подвергались у Лескова резким изменениям, вплоть до полного, наконец, их разрыва... Лесков неоднократно делал злые выпады по отношению к «Новому времени», не остававшемуся у него в долгу. 1884 год был одним из «разрывных» периодов» («Литературный современник», 1934, № 12, стр. 89). Отметим, что текст цитаты в «Дикой фантазии» иной: «Нам (то есть России) нужен народный человек правдивой души и прямого, ясного толка, — не консерватор и не либерал, не самобытник и не западник, а просто человек с прямою, чистою натурою; человек, который не стремился бы ни к какой партии и не боялся бы где бы то ни было сказать в глаза увлекающейся толпе: осмотрись и сумей быть справедливою: вот где правда» (там же, стр. 89).

Стр. 306. *...с одним набожным приятелем...* — Этой характеристике в «Дикой фантазии» соответствует яркое описание реакционного ханжи:

«Один из людей с таким высшим призванием нашелся и в не совсем тщательно отобранном кружке моих знакомых. Был он когда-то так же, как и мы, человек грешный, но в данную пору исправился и, можно сказать, прямо стал на настоящий путь. Он про меня вспомнил и, придя ко мне, во свидетельство да свидетельствует о свете, сказал мне искренним задушевным голосом:

— Жаль мне вас, людей бессонных, всё-то вы хнычете, всё-то скулите и на всех ропщете, что всё не по-вашему делают и не туда гнут, куда вам хочется; а все это пустяки. И я был таков, и я соблазнялся и соблазнял других, но потом... одна минута доброго размышления, одна минута истинной, простой, детской веры, как верит наш превосходный народ, и... я успокоился.

— Поверьте мне, — продолжал стоящий на верном пути друг мой, — что теперь самое лучшее дело — это молиться. Да, именно молиться, но молиться не здесь, не на этом смрадном ингерманландском болоте, где все высокие порывы души угнетаются миазмами равнодушия и разврата, а молиться вне Петербурга, у вели-

ких народных святынь, у гробов, в которых святые останки... Что до меня, то я здесь не выдерживаю, я завтра же уезжаю ненадолго и недалеко, но я хвачу чистых впечатлений и вернусь сюда с полной грудью» (там же, стр. 90).

По указанию А. Н. Лескова, имеется в виду А. А. Радонежский — чиновник и литератор, выпускавший «елейно-ёрнические изданьица». «Он тщательно обхаживал Лескова в период устройства себя в Ученый комитет Министерства народного просвещения, членом которого состоял в то время Лесков». После отчисления Лескова от службы за вредное направление его литературной деятельности «благочестивый и мудроосмотрительный «приятель» больше у Лескова зрим не был» (там же, стр. 100).

Стр. 306. *...в сопровождении одного легконравного артиста...* — По указанию А. Н. Лескова, «по всей вероятности Базаров — актер и антрепренер театра в так называвшемся в просторечии «Приказчичьем» клубе, на Владимирском проспекте... в котором... происходили довольно фривольные маскарады» (там же, стр. 100—101).

Стр. 307. *...под звуки скобелевского марша...* — Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882), генерал-адъютант; получил особенную известность в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Популярность марша в честь Скобелева в это время связана, очевидно, с недавней смертью генерала.

«Проствейн» — шутливое название водки, соединение русского «простое» с немецким «вейн» (вино).

Стр. 308. *Сужект* — шутливое соединение слов: сюжет и субъект.

Его, как Ерша Ершовича, по всем русским рекам и морям знают. — В популярной сатире XVII века «Повесть о Ерше Ершовиче» герой, «ябедник, вор и разбойник» Ерш Ершович хвастает, что его знает «весь мир во многих людях и городах».

Стр. 309. *...мне казалось, что в нем сидит не один Собакевич, а и Константин Костанджогло, который рыбью шелуху варит.* — В третьей главе II тома «Мертвых душ» «идеальный помещик» Костанжогло ругает помещиков, увлекающихся хозяйственными реформами по западным образцам и строительством заводов и фабрик, которым он противопоставляет «законно», «естественно» возникающие предприятия; приводится такой пример последних: «Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжение шести лет сряду промышленники, — ну, куда ее девать? Я начал из нее варить клей, да сорок тысяч и взял».

...места из похвального слова Захарова Екатерине, которое находится в «Рассуждении о старом и новом слоге». — В приложении

к трактату А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (СПб., 1803) дан, как один из образцов хорошего слога, отрывок из книги сенатора и писателя И. С. Захарова (ум. 1816) «Похвала Екатерине Второй» (СПб., 1802).

Стр. 309. *Точию* (древнерусск.) — только.

Стр. 311. *«Коль славен наш господь в Сионе»* — известный религиозный гимн на слова М. М. Хераскова.

СТАРЫЙ ГЕНИЙ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 4 и 5. Перепечатано в сборнике «Святочные рассказы», со включением нескольких фраз, приурочивающих события рассказа к рождественским праздникам. В Собрание сочинений вошло с несколькими мелкими изменениями; так, в предыдущих публикациях рассказ, явно для цензуры, начинался словами «В довольно давние годы...»

Стр. 313. *Ларошфуко,* Франсуа, герцог (1613—1680) — французский моралист, изложивший свои крайне пессимистические взгляды на человеческую природу в знаменитой книге афоризмов «Максимы».

Стр. 314. *Уряд* — здесь: ранг, положение.

Специалисты — вместо: социалисты.

Стр. 317. *...он четырнадцатого класса.* — Чины в России со времени Петра I и до 1917 года делились на 14 классов; 14-й (коллежский регистратор) был самым низшим.

Прификс (франц. prix fixe) — окончательная цена.

Стр. 318. *Ночвы* — плоские широкие лотки для валяния теста и для укладки булочных изделий.

Стр. 320. *«Сербский сражатель»* — то есть участник войн Сербии с Турцией 1876—1878 годов.

ЗАМЕТКИ НЕИЗВЕСТНОГО

Печатается по «Газете А. Гатцука», 1884, № 2 («Искусный ответчик», «Как нехорошо осуждать слабости», «Излишняя материнская нежность»), № 5 («Чужеземные обычаи только с разумением применять можно», «Особы духовного происхождения и в

светском быту иначе уважаются», «Женское стремление к пониманию причиняет напрасные беспокойства», «Скорость потребна блох ловить, а в делах нужно осмотрение»), № 9 («О вреде от чтения светских книг, бываемом для многих»), № 10 («Надлежит не осуждать проступков, не зная руководивших им соображений», «Счастливому остроумию и непозволительная вольность прощается»), № 11 («О безумии одного князя», «Удивительный случай всеобщего недоумения», «Стойкость, до конца выдержанная, обезоруживает и спасает»), № 12 («Об иностранном предиканте», «О новом золоте», «Стесненная ограниченность аглицкого искусства»), № 13 («О слабости чувств и о напряженности оных», «Острых вещей в дар предлагать не следует»), № 14 («Остановление растущего языка»), по публикациям в «Ниве», 1917, № 51—52 («О Петухе и о его детях», «Простое средство») и 1918, № 1 («Преусиленное стеснение в темное время противное производит»). К первой из публикаций в «Ниве» дано примечание редакции: «На рукописи, имеющей еще заголовок «Заметки неизвестного», написано рукою автора: «Остались не напечатанными в «Газете Гатцука» по настоянию Феоктистова, угрожавшего закрытием издания».

Е. М. Феоктистов (1829—1898) в годы с 1883 по 1896 был начальником главного управления по делам печати. По его указанию «Газете А. Гатцука» было сделано 24 марта 1884 года «первое предостережение» за «несомненно вредное направление, выразившееся, между прочим, с особенной резкостию» в двух статьях и в «Заметках неизвестного», помещенных в трех номерах журнала. Редактор-издатель журнала А. А. Гатцук (1832—1891) не прекратил печатания «Заметок неизвестного» и 22 апреля 1884 года получил «второе предостережение». Поскольку после третьего «предостережения» периодическое издание подлежало закрытию, печатание «Заметок неизвестного» пришлось прекратить. В № 14 было указано: «Продолжение следует», но оно не появилось. По рукописям Лескова, поступившим в распоряжение А. Ф. Маркса, три рассказа были после Октябрьской революции напечатаны в «Ниве». К этому же фонду несомненно восходят автографы и машинописные копии нескольких рассказов Лескова («Престранный случай с некиим злоязычным братом», «Случай воскрешения купца Лазаря», «Невинное простодушие может быть хитрее горделивства», «Мимоносная двуполитика», «Несчастие может быть ступенью к благополучию»), поступивших в Гос. Литературный музей от А. Е. Розинера, бывшего заведующего редакцией «Нивы» (в настоящее время хранятся в Центральном гос. архиве литературы и искусства). Рассказы эти частью незакончены или недоработаны,

частью являются вариантами опубликованных рассказов из цикла «Заметки неизвестного».

В дореволюционные годы «Заметки неизвестного» не перепечатывались, в советские годы частично входили в некоторые издания избранных произведений Лескова.

В архиве А. Н. Лескова сохранились экземпляры «Газеты А. Гатцука» с авторской правкой рассказов «Излишняя материнская нежность» и «Чужеземные обычаи только с разумением применять можно». Последний рассказ печатается по исправленному тексту, в первом же правка (состоящая главным образом в сокращениях) не доведена до конца, не привела к новой вполне связной редакции; поэтому «Излишняя материнская нежность» воспроизводится по печатному тексту.

Стр. 322. *Притяжание* — стяжательство.

Стр. 323. *Приседящие* — присутствующие.

Посулы — поборы, взятки.

...и вся, яже в них... — и все, что есть в них.

Стр. 324. *Благочинный* — священник, наблюдающий за несколькими приходами.

...лаж, который был объявлен от казны на серебро... — Лаж — приплата к одному роду денег при промене их на другой, менее ценный. Здесь имеется в виду понижение курса бумажных денег в сравнении с металлическими.

Новоначатие — новшество.

Владыка — архиерей.

«Часы благоговения» — книга сентиментальных «религиозно-нравственных» бесед немецкого писателя Генриха Цшокке (1771—1848), впервые изданная в 1808—1816 годах. Неоднократно выходила в русском переводе («Часы благоговения для споспешествования истинному христианству и домашнему богопочтению», 6 частей, СПб., 1834, и др. изд.).

Стр. 325. *Трефоль* — растение, распространенное в болотистых местах; содержит горькие вещества, употребляется в народной медицине.

Причетник — младший член церковного причта (псаломщик, дьячок).

Стр. 326. *Паки* — опять, снова.

Асессорша — жена асессора. Коллежский асессор — гражданский чин 8-го класса (равный военному чину майора).

Стр. 327. *...отставной бригадир и предводитель...* — Бригадир — военный чин (между полковником и генералом). Предводитель —

здесь: предводитель дворянства — выборный представитель дворянства (губернии или уезда), защитник его интересов перед властями и глава дворянского самоуправления.

Стр. 327. *Полотки* — половинки домашней птицы соленой, вяленой, копченой или сушеной.

...из Кабинета. — «Кабинет его императорского величества» — управление личным имуществом царя, через которое шли награждения драгоценными вещами.

Стр. 328. *Капральша* — жена капрала. Капрал — первый чин после рядового (впоследствии — унтер-офицер).

Стр. 329. *...смокчет* — чмокает.

...волшебница самого Самуила из гроба вызвала и Саулу тень пророка показывала... — см. прим. к стр. 16.

Марселиновое платье. — Марселин — легкая шелковая материя.

Рясное — обильное, густо унизанное; здесь: богатое плодами.

Стр. 330. *Иерейское слово.* — Иерей — священник.

Стр. 331. *Привитавших* — проживавших.

Стр. 332. *Покров богородицы* — праздник. Праздновался 1 октября.

Стр. 334. *...пошел в заштат на кладбище...* — пошел в кладбищенскую церковь сверхштатным священником.

...зли суще — будучи злы.

Стр. 335. *Епитимейка* — уменьшительное от епитимия — церковное наказание.

Несмысль — глупый, несмышленый.

...у нас исповедь на всякий случай и особое применение в гражданском управлении имеет, которого нам лучше не касаться. — Имеется в виду обязанность священников доносить о «политических преступлениях», если они узнают о них на исповеди.

...да тихое житие поживем во всяком благочестии — неточная цитата из Нового завета — (I-е послание к Тимофею, II, 2).

Стр. 336. *Протопоп,* или протоиерей — священник высшего чина.

Ключарь — священник в соборной церкви, заведующий церковной утварью.

Стр. 337. *Непременный член* (совета и т. п.) — название должности. Непременный — несменяемый.

Кузин — вместо: кузен.

Институтская дама — вероятно, классная дама из института для благородных девиц.

Чернетка — черновик.

...нимало сумняся — нисколько не сомневаясь.

Стр. 341. *Афон* — см. прим. к стр. 37.

Стр. 341. *...до полу* — до половины.

Стр. 342. *...вечного цеха.* — «Устав цехов», действовавший в России с 1709 г., отличал ремесленников, вступавших в сословие «вечноцеховых», от записывавшихся в цехи временно, с сохранением своей сословной принадлежности.

...разными характерами — здесь: разными почерками.

Однако — здесь: одинаково.

Ректор — глава учебного заведения; здесь — духовной семинарии.

...его же любяше (старослав.) — которого любил.

Стр. 343. *...до умертвия* — до смерти.

Дикенц — вместо: Диккенс.

Не менее того — тем не менее.

Стр. 344. *Шитвица* — швея.

Стр. 345. *...стоять на парящих орлах...* — Во время богослужения епископы стоят на «орлецах» — круглых коврнках с вытканным изображением орла.

...в превыспренные... — в небеса.

...да не молва будет в людех... — цитата из евангелия (от Матфея, XXVI, 5).

Стр. 346. *Шехерозада,* или Шахразада — персонаж знаменитой арабской книги «Тысяча и одна ночь», рассказчица сказок, вошедших в эту книгу.

Нози (старослав.) — ноги.

Фрегат — крупная морская птица.

Стр. 347. *«Малютка Дорит»* — «Крошка Доррит», роман Чарльза Диккенса.

Моавитянка Руфь — библейский образец женской добродетели и твердой веры. Моавитяне — племя, родственное израильтянам.

Стр. 348. *...жениться на кафедрального дочери...* — то есть на дочери протоиерея кафедрального собора (главного собора епархии).

Стр. 349. *...свояси* — свои (близкие, родные, землякн).

...южики — родственники, свойственники.

...дражае (старослав.) — дороже.

Иеродиакон — монах в сане диакона.

...в день пятничий на страстной неделе... — то есть в особо постный день, так как пятница вообще считалась постным днем, а страстная неделя — последняя (самая строгая) неделя великого поста.

Стр. 350. *...играть на подлаз под биллиард...* — то есть проигравший должен лезть под биллиардный стол.

Стр. 350. *Маз* — прибавка к ставке.

Стр. 351. *...впавшего в разбойники* — попавшегося разбойникам (евангелие от Луки, X, 30).

...довлеет ему (старослав.) — довольно ему.

Аксиос (греч.) — достоин. Это слово провозглашается архиереем при посвящении в священники и диаконы.

Ротитися и клятися — божиться и клясться.

...яко связня... (старослав.) — как узника.

Стр. 352. *Частный,* то есть частный пристав — начальник полиции одной из частей города.

Одертый — оборванный.

Восстав, идем отсюду... — цитата из евангелия (от Иоанна, XIV, 31).

...за истинного самарянина... — Имеется в виду легенда о милосердном самарянине (евангелие от Луки, гл. X).

Стр. 353. *Регент* — дирижер церковного хора.

Красик — красавец.

«Слава в вышних богу» — слава в небесах богу (евангелие от Луки, II, 14).

«Покаяния двери отверзи нам» — из великопостной молитвы.

Стр. 354. *Превелебный* — высокочтимый.

...кроме токмо сред и пятков... — Среда и пятница — постные дни.

Стр. 355. *...были «мужьями единыя жены»...* — то есть могли жениться только один раз. (Цитата из первого послания к Тимофею апостола Павла, III, 2).

Клирики — служители церкви всех рангов.

...третицею посягали (старослав.) — женились в третий раз.

Стр. 356. *...учености академической...* — то есть окончившие духовную академию (высшее духовное учебное заведение).

...звали одного «отец Вист», а другого — «отец Преферанц»... — Вист и преферанс — названия карточных игр.

Богослов — здесь: ученик старшего класса духовной семинарии.

Стр. 357. *Оскребальная скобка* — железная полоса, укрепляемая на крыльце дома для отскребания грязи с подошв.

...иконы пресвятыя владычицы Коренския. — Речь идет о так называемой «чудотворной иконе богоматери» в Коренной пустыни, в 27 верстах от Курска.

Стр. 358. *Новоначальный* — недавно принявший монашество (здесь: готовящийся к принятию).

Стр. 362. *Столоначальник в дворянском собрании.* — Столоначальник — чиновничья должность (учреждение подразделялось

обычно на отделения, а отделения на «столы», то есть подотделы). Дворянское собрание — орган дворянского самоуправления для сословных выборов, представления ходатайств и т. п.

Стр. 363. *Предикант* — проповедник.

...сподоблялся святых таин... — причащался.

Остров Уайт — остров в проливе Ла-Манш у южных берегов Англии.

Голгофа — гора, на которой, согласно евангелию, был распят Христос.

Савл, согласно евангелию, преследовавший Христа и его учеников, услышав «голос с неба», сам стал апостолом Христа, под именем Павла.

...видящим небо отверсто — цитата из «Деяний апостолов» (VII, 56).

Стр. 364. *...не пил ни вина, ни сикера* — обычная библейская формула (напр.: «не пей вина и сикера» — Книга судей, XIII, 4). Сикер — алкогольный напиток.

Поревнование — усердие, ревность, старание.

Елена Прекрасная — в греческой мифологии дочь Зевса и Леды, жена царя Спарты Менелая, славившаяся своей красотой.

...иностранными диалекты — на иностранных языках.

Предикация — проповедь.

Стр. 365. *Снемлются* (старослав.) — собираются.

Стр. 366. *...а-ла-мужиком кружат...* — подстрижены в кружок à la мужик (то есть по-мужицки).

...назарейской долготы... — длины волос Иисуса Христа.

Стр. 367. *Ксересное вино* — херес.

Новое золото — металлический сплав, имитирующий золото.

Стр. 368. *Консистория* — епархиальное управление при архиерее.

Стр. 369. *Извет* — ложный донос.

Справщик — корректор.

Мироносицы — здесь: поклонницы руководителя какой-нибудь религиозной секты.

Справка — корректура.

Стр. 370. *Приклад* — здесь: пример.

...иже рекутся (старослав.) — которые называются.

Ахав — царь израильский (917—895 до н. э.).

...недоверок из столичных высланцев — скептик в вопросах религии, высланный из столицы.

Стр. 371. *...по символу...* — то есть по символу веры — краткому изложению основных догматов православной религии.

Стр. 371. *...«чаю воскресения»...* — то есть жду воскресения Христа.

...сердовых лет... — средних лет.

...надежда им лжет детским лепетом своим — цитата из «Евгения Онегина» (глава 5, VII).

Краснуха, или красненькая — десятирублевая ассигнация.

Стр. 372. *...присвоить ей один из тех грехов, которые Макар отмаливает, стоя на коленях среди стада пасомых им в отдалении телят* — то есть приписать ей политическое преступление, за которое она может попасть в ссылку (куда Макар телят не гонял).

Егарь — вместо: егерь.

Стр. 373. *Мозжуха* — можжевельник.

Стр. 374. *Архимандрит* — высшее духовное звание монаха.

Сан ангельский — монашество.

...свет его может просветиться пред человеки... — искаженная цитата из евангелия (от Матфея, V, 16).

Викариатство — должность викария, то есть помощника епархиального архиерея.

Епархия — округ, управляемый архиереем.

Омофор — часть епископского облачения, надеваемая на плечи.

Стр. 375. *Клобук* — высокая шапка с покрывалом у монахов.

«Парфемандрит» — соединение слова «архимандрит» с французским parfait — совершенный.

Стр. 376. *Крыясь* — скрываясь.

...в водопольную росталь... — в весенний разлив рек.

«...Чего доспел еси!» (старослав.) — «Чего ты достиг!»

Аще ли (старослав.) — если.

...что ми хощете дати? (старослав.) — что мне хотите дать? (вопрос Иуды о плате за его предательство — евангелие от Матфея, XXVI, 15).

Стр. 377. *...худы есьмы...* (старослав.) — мы бедны.

Камилауха с воскрылиями. — Камилавка — черная шапочка, носимая монахами под клобуком. Воскрылия — синие нити, нашитые на бахроме.

Папера (укр.) — бумага.

Атрамент (укр.) — чернила.

...святом віце (укр.) — святом веке.

Просфорнык (укр.) — просфорник или просвирник (пекущий просфоры).

В двуштате — в двойном штате.

...господеви... (старослав.) — господу.

Самовито — самостоятельно.

Стр. 378. *Козелковато* — вероятно, козлиным голосом.

Лешева дудка — одно из «колен» соловьиного пения.

А буде (старослав.) — а если.

...мня ся быти яко первым по фараоне... — считая себя первым после фараона. По библейскому преданию, Иосиф, проданный братьями в египетское рабство, стал первым человеком в Египте после фараона.

Нижѐ (старослав.) — даже не.

Купель — большой сосуд, в котором совершается обряд крещения.

Стр. 379. *...полокчет* — полакает.

Изгага — изжога.

...«есмирмисменно вино» — от «есь мир ми» (мир мне).

Стр. 382. *Гурьев,* Дмитрий Александрович, граф (1751—1825), министр финансов в годы 1810—1823, известный гастроном.

Субботы и новомесячия — библейское выражение, означающее праздники; у древних евреев праздничными днями были субботы и дни новолуний.

...на ассигнации — см. прим. к стр. 100.

Стр. 383. *...поелику несть ничто тайно, еже не объявится...* — нет ничего тайного, что не сделалось бы явиым (цитата из евангелия от Луки, VIII, 17).

Стр. 384. *Кокетерия* — кокетство.

Стр. 385. *Вы́ну* (старослав.) — непрестанно.

Ясырь — пленник, обращенный в раба.

Стр. 386. *...всемилостивого спаса...* — то есть Иисуса Христа.

Пропозиция — предложение.

...на упадлое место... — то есть вместо павшей лошади.

Сивуха — здесь: сивая лошадь.

Ворок — см. прим. к стр. 270.

Стр. 387. *Тайна сия велика есть* — цитата из «Послания к ефесянам апостола Павла», V, 32.

Обаяние — здесь: байки, россказни.

Резка — сечка из соломы.

...лозой толчен... — розгой бит.

Стр. 388. *Стужаться* — раскаиваться.

Бестягольный мужик — бессемейный (тягло — крепостная крестьянская семья, как единица разверстки барщины или оброка).

Дроботливый — скорый, частый.

Стр. 390. *В пре* — в споре.

Обыск — запись о браке в церковной книге.

Скаредство — здесь: гнусность.

Стр. 390. *Войственники* — воины.

Бомбардир — солдатский чин в артиллерии.

Усилок — силач.

Стр. 391. *...неезжалого стригуночка...* — годовалого жеребенка, на котором еще не ездили.

...загугнеша, еже и не различити самим им, каковая действуют — загнусили так, что и самим им не различить, что делают.

Бесстудного — бесстыдного.

Стихарь — длинная, с широкими рукавами, одежда дьяконов и дьячков, надеваемая при богослужении.

Отводины — дуги по бокам саней для предохранения их от порчи, удара и т. п.

Стр. 392. *...воздаси отразу* (старослав.) — воздашь сразу.

...кийжде на коегожде... (старослав.) — каждый на каждого.

Синяя — пятирублевая ассигнация.

...Хамова кровь к Иафетовой не простирается. — По библии, все люди на земле произошли от уцелевших после всемирного потопа сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета. Потомкам Хама Ной нарек быть рабами потомков его братьев. Поэтому «господа» называли крепостных «Хамовой кровью», «хамами» и т. п.

...хитрейший от попа и попадьи... — более хитрый чем поп и попадья.

Поспа — отвар отрубей для мочения яблок.

Стр. 393. *...на барабашке.* — Барабаном в часах называется плоский цилиндр, заключающий в себе пружину.

Пуня — чулан, клеть, сеновал.

Того бо вси повинни есьми (старослав.) — этому все мы повинны.

...по вся дни (старослав.) — всегда.

...почá (старослав.) — нáчал.

...во еже отвратити его очеса (старослав.) — чтобы отвести его глаза.

...кийждо поревноваша коемужде, даже аще мнилось быть и благочествии и боголюбивии, и невозглагола правды даже и той же бе первый по фараоне... — каждый соревновался с каждым, даже те, кто считались благочестивыми и боголюбивыми, и не сказал правды даже и тот, кто был первым после фараона.

Связень Пентифаров — узник Пентефрия. По библейскому сказанию, Иосиф, проданный своими братьями в рабство египтянину Пентефрию, впоследствии прославился как толкователь снов, правильно истолковал сон фараона, предсказав голод, после чего

фараон, уверившись в его мудрости, поставил его правителем над всем Египтом.

Стр. 393. ...*в животе* (старослав.) — в жизни.

Стр. 394. ...*пета бяху*... (старослав.) — пета была.

...*в сем веце*... (старослав.) — в этой жизни.

...*в полноте священной власти твоей над рабами твоими могут сделать тебе умаление* — то есть могут взять имение в опеку.

...*изойду на вольное поветрие*... — выйду на вольный воздух.

Стр. 395. *Блазень* — неопытный, несмышленый.

борзяся — второпях.

...*я тебе уготовился яко же конь добр в день брани*...— Имеется в виду следующее место из библии: «Конь уготовляется на день брани: от господа же помощь» (Книга притчей Соломоновых, XXI, 31).

Престрашка — страх.

Стр. 396. *Обыскная книга* — церковная книга для записи браков.

Стр. 396—397. *Консисторский приказный* — мелкий чиновник консистории.

СОВМЕСТИТЕЛИ

Печатается по тексту Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Новь», 1884, т. I, № 4 (декабрь). Без изменений перепечатано в сборнике Лескова «Рассказы кстати» (1887); в Собрание сочинений вошло с несколькими мелкими поправками.

Стр. 399. *«Род сей ничем же изимается»* — неточная цитата из евангелия (от Марка, IX, 29).

Вронченко, Федор Павлович (1780—1852) — министр финансов в годы с 1844 по 1852.

...*жизнь играла у гробового входа.* — Имеются в виду строки Пушкина:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть...

(«Брожу ли я вдоль улиц шумных...»)

Стр. 400. *Вье-гарсон* (франц. vieux garçon) — старый шалун.

«Новички в любви», «Его превосходительство, или Средство нравиться» — комедии-водевили Н. А. Коровкина, шли в конце 30-х — начале 40-х годов.

Стр. 400. *Мартынов,* Александр Евстафьевич (1815—1860) — знаменитый русский комический актер.

Стр. 401. *«Жоли-мордочка»* — от франц. jolie — хорошенькая.

Это совсем не то, что Тургенев называл в своих письмах мордемондии. — И. С. Тургенев писал Я. П. Полонскому 22 февраля 1868 года: «...я к сожалению заметил, что у нас все любительницы литературы принадлежат к разряду рыл и мордемондий» («Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб., 1884, стр. 134).

Патронировалось — здесь: поощрялось патроном (покровителем, хозяином).

Стр. 403. *«Ты душа ль моя, красна девица...»* — популярный в 40—60-е годы романс Н. И. Бахметева на слова Л. Н. Ибрагимова.

«Всякой вещи свое время под солнцем» — неточная цитата из библии (Екклезиаст, III, 1).

Стр. 404. *Марли* (франц. marli) — марля.

...паганиниевскую нотку. — Паганини, Никколо (1782—1840) — великий итальянский скрипач и композитор, автор популярных произведений для скрипки.

Стр. 407. *Лавальер,* Луиза-Франсуаза, герцогиня (1644—1710) — фаворитка Людовика XIV.

Стр. 408. *Оттоман* — широкий мягкий диван с подушками вместо спинки.

Стр. 410. *Пукольки* — вместо: букольки (франц. boucle) — локоны.

Диана — древнеримская богиня, покровительница охоты.

Стр. 411. *Майков,* Николай Аполлонович (1794—1873) — художник, академик живописи. Участвовал в качестве офицера в Отечественной войне 1812—1814 годов. По поручению Николая I написал ряд икон для петербургских церквей. Помимо иконописи, излюбленный жанр Майкова — изображение нагих красавиц.

Стр. 412. *Газированный уборный стол* — туалетный стол, задрапированный легкой прозрачной тканью.

Лассировка — прием живописной техники.

Стр. 417. *Панин,* Виктор Никитич, граф (1801—1874), с 1839 года управлял министерством юстиции; с 1841 по 1862 год — министр юстиции.

Откупщик. — При существовавшей в России до 1861 года откупной системе питейного сбора монопольное право государства торговать водкой продавалось порайонно «с торгов» частным лицам, так называемым «откупщикам».

Стр. 418. *Княжевич,* Александр Максимович (1792—1872) — с 1831 по 1844 год директор канцелярии министра финансов, с 1844 по 1854 год директор департамента государственного казначейства, с 1858 по 1862 год министр финансов.

Экзекутор — чиновник, ведавший хозяйственными делами и надзором за внешним порядком в канцелярии.

Суджа — в те годы уездный город Курской губернии.

Стр. 419. *Неклассная должность* — нештатная, замещаемая лицом, не имеющим чина.

Советую вам сделать его на Васильевском Острове у портного Доса. — Сшить, по случаю причисления к министерству народного просвещения, вицмундир у портного Доса советовал самому Лескову писатель и царедворец Болеслав Маркевич в 1874 году (значит, лет через тридцать пять после описываемого в рассказе). Лесков наотрез отказался «рядиться в ливрею» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 297—298).

Стр. 422. *«Не благо быть человеку одному»* — цитата из библии (Бытие, II, 18) — слова бога перед созданием Евы из ребра Адама.

Стр. 424. *...«матерой вдове Мамелефе Тимофеевне»...* — Мамелфа Тимофеевна — мать былинного героя Василия Буслаева.

Поважный — важный, степенный.

...«как пес на своя блевотины» — цитата из библии (Книга притчей Соломоновых, XXVI, 11).

Стр. 425. *Срывка* — взятка, побор, вынужденный подарок.

«Будь бела как снег и чиста как лед, и все равно людская клевета тебя очернит» — цитата из «Гамлета» (д. III, сц. 1).

Жаколио, Луи (1837—1897) — французский писатель, много путешествовавший по колониальным странам и описывавший их.

Стр. 426. *...как начальник колена Иуды, от собственных чресл своих.* — Колено — род. Чресла — здесь: потомки.

Уряд — должность, служебное положение.

Стиракса — благовонная смола для курений.

Стр. 427. *«Кабинет»* — правительство.

Скобелев, Иван Никитич — см. о нем прим. к стр. 57.

«Москаль Чаривник» («Солдат-волшебник») — комедия классика украинской литературы И. П. Котляревского (1769—1838). Написанная в 1819 году, была напечатана только в 1841 году.

Полевой, Николай Алексеевич (1796—1846) — известный журналист и писатель.

Хомяков, Алексей Степанович (1804—1860) — видный теоретик славянофильства.

Неглижированную — пренебрежительную.

Стр. 428. *...со стороны искренних...* — Искренний (старослав.) — ближний.

...склонялась на сторону Иннокентия против Филарета. — Иннокентий (Борисов, 1800—1857) — знаменитый богослов и церковный проповедник, с 1841 года архиепископ в Вологде, затем в Харькове и Херсоне. Считался либералом, испытывал цензурные затруднения в печатании некоторых своих сочинений. Филарет (Дроздов, 1783—1867) — также известный проповедник и писатель по богословским вопросам; яростный реакционер. С 1826 года до смерти — митрополит московский. Лесков всегда писал о Филарете с негодованием и сарказмом. См.: «Мелочи архиерейской жизни» (наст. изд., т. 6), «Человек на часах» (т. 8). В 30-е годы по настоянию Филарета, синод назначил секретное дознание «об образе мыслей архимандрита Иннокентия».

Стр. 429. *«Одно слово министру»* — комедия австрийского драматурга Антона Лангера (1824—1879). См. т. 6 наст. изд., стр. 492.

«Квит или двойной куш» — ставка на весь свой выигрыш с тем, чтобы либо удвоить его, либо дать сквитаться проигравшему.

Стр. 430. *Перовский,* Лев Алексеевич, граф (1792—1856) — министр внутренних дел в годы с 1841 по 1852.

...«нынче отпущаеши» — вместо «ныне отпущаеши» — цитата из евангелия (от Луки, II, 29), употребляемая при достижении чего-либо долго желаемого и ожидаемого.

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Новь», 1885, № 5 (январь), с подзаголовком «Святочный рассказ (Посвящается беспримерному мастеру рассказывать, Ивану Федоровичу Горбунову)». Перепечатано без изменений в тексте в книге «Святочные рассказы» и с незначительными изменениями в Собрании сочинений.

Источником вошедших в рассказ сведений о жемчуге послужила Лескову книга М. И. Пыляева «Драгоценные камни» (1877).

Стр. 432. *«На долгих»* — не на сменных, а на одних и тех же лошадях.

«На сдаточных» — на сменных, но не почтовых лошадях.

Стр. 433. *...где отразился бы и век и современный человек.* — Имеются в виду строки «Евгения Онегина»:

...два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно...

(гл. 7, строфа XXII)

Стр. 437. *...«начав — как бог, окончил — как свинья»* — не совсем точная цитата из сатирического стихотворения А. К. Толстого «Сон Попова», строфа 35.

Стр. 439. *Ручeнец* — срок.

...пред алтарем Фемиды — в суде (Фемида — в греческой мифологии богиня правосудия).

Стр. 441. *...веселым нектаром Шампани* — то есть шампанским.

Стр. 442. *«Руси есть веселие пити»* — слова, приписываемые летописью великому князю Владимиру Киевскому.

...ряснами — в виде решетки.

Скатное кафимское зерно — круглый мелкий жемчуг.

Бурмицкое зерно — крупный жемчуг.

...жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса... Княгиня Т. В. Юсупова (1769—1841) владела замечательной коллекцией драгоценных камней. Говорили, что она купила за двести тысяч рублей знаменитую жемчужину, которою некогда владел испанский король Филипп II. Другая знаменитая жемчужина, весом в 126 карат, была куплена испанским королем Филиппом IV у купца Горгибуса, вывезшего ее из Индии.

Стр. 443. *Мария Стюарт* (1542—1587) — шотландская королева в годы 1560—1567. Была казнена по приказанию английской королевы Елизаветы.

«Лунный камень» — полупрозрачный, с зеленоватым отливом камень, из породы полевых шпатов.

Стр. 445. *«Бургильон».* — Парижская фирма Бургиньон прославилась выделкой искусственного жемчуга. В первом издании книги М. И. Пыляева «Драгоценные камни» (1877) фамилия указана с ошибкой (Бургильон); в последующих изданиях ошибка исправлена.

Стр. 447. *...слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей* — то есть из древнейших русских и литовских великокняжеских родов.

СТАРИННЫЕ ПСИХОПАТЫ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Новь», 1885, №№ 8 и 9. Вошло без изменений в сборник «Рассказы кстати» и с большими добавлениями — в Собрание сочинений. Текст добавлений, видимо, не заново написан, а исключен из предыдущих публикаций и восстановлен в Собрании сочинений. Это, в основном, места, которые могли смущать цензуру своим эротическим характером. Предположение о вмешательстве цензуры или влиянии соображений цензурного характера на текст журнала и «Рассказов кстати» подтверждается и тем, что в этом тексте о портрете, исколотом офицерами, сказано: «Может быть, это был портрет местного губернатора»; между тем грозный характер поднявшегося «дела» ясно показывает, что речь идет о царском портрете, и предположению о портрете губернатора противоречат слова Вишневского: «Это совсем не губернаторское дело». В связи с этим напрашивается предположение, что первоначальный текст и в Собрании сочинений восстановлен не полностью. Дело в том, что еще с пятой главы подготовляется ввод трагического эпизода, видимо центрального для повести (ср. концы пятой и шестой глав), но приступив, наконец, в четырнадцатой главе к рассказу об этом эпизоде, автор сразу же обрывает его так, что читателю остается неизвестным, что же случилось с героиней. Можно предположить, что крепостная любовница покончила с собой, но это лишь догадка.

Стр. 450. *И вдруг все это вымышленное мною шуточное событие будто бы повторяется в действительности...* — В «Новостях и Биржевой газете», 1885, № 11 (11 января) помещен анекдот, заимствованный из немецких газет, о том, как председатель окружного суда в Равенне, заехав в городок Форли, стал читать лежавшую на столе анархистскую газету и был арестован, как анархист.

Стр. 451. *«Пан Коханку»* — князь Радзивилл, Кароль-Станислав (1734—1790), прозванный по его любимому присловью «Пане Коханку», — крупнейший магнат-землевладелец, известный чудак и самодур, любимец шляхты, олицетворение ее традиций.

Стр. 452. *Вот вам помещик благодатный, Из непосредственных натур...* — несколько измененная цитата из поэмы И. С. Тургенева «Помещик» (1845), строфа XXV.

Супой — приток Днепра. *Удай* — приток Сулы, впадающей в Днепр.

Стр. 452. *...много пил «запридуху»...* — Запридух — очень крепкая украинская водка.

Стр. 453. *Коренковая трубка* — трубка, вырезанная из древесного корня.

Налыгач — род повода, привязанного к рогам пары волов.

...«щоб ни злякались як торохтыть город» — чтоб не пугались городского шума.

...где надо: «цо-бе», а где надо: «цоб». — Цобе́ — восклицание, которым волов погоняют направо, цоб — налево.

...знав усе по-хрянцузськи и по-вложски... — знал все по-французски и по-итальянски.

Стр. 455. *Маетность* — имение.

Стр. 456. *Шанует* — уважает, почитает.

Стр. 458. *По потылице* — по затылку.

Меделянские собаки — крупная порода догов.

Бекеш — теплое пальто сюртучного покроя.

Клямка — щеколда.

Стр. 460. *Тимпаны* — литавры, бубны.

Лики (старослав.) — ликования.

Телец упитанный — откормленный теленок. В смысле: обильная, вкусная еда. Выражение взято из евангельской притчи о блудном сыне (евангелие от Луки, XV, 23).

Стр. 461. *Сарра и Агарь.* — По библейскому преданию, Сарра, жена Авраама, будучи долгое время бесплодной, убедила мужа взять себе в наложницы рабыню Агарь, чтоб он имел от нее детей.

Стр. 462. *...«никогда не обольщал с холодностью бесстрастной»* — неточная цитата из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон-Жуан» (часть I, сцена «Комната во дворце Дон-Жуана»).

Стр. 464. *Полеванье* — охота.

Стр. 466. *«...текла среди пиров, бессмысленного чванства...»* и т. д. — из стихотворения Некрасова «Родина», неточно цитируемого по тексту издания 1856 или 1861 года.

Мы знаем, каковы наши «ветхие мехи», затрещавшие при игре влитого в них молодого вина... — «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи» (евангелие от Марка, II, 22).

...«славніх прадідов велыких праунокu погани» — цитата из стихотворения Т. Г. Шевченко «I мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнеє посланіє (см. Т. Г. Шевченко. Повне зібране творів в 10 тт., т. I, Киев, 1951, стр. 333. Перевод см. в издании: Т. Г. Шевченко. Собрание сочинений, т. I, М., 1955, стр. 412). При жизни Лескова

это стихотворение не было напечатано в России; Лесков мог знать его по заграничной публикации в сборнике «Новые стихотворения Пушкина и Шавченки» (Лейпциг, 1859); или по рукописному списку.

Стр. 467. *Отпочнут* (укр.) — отдохнут.

Омег — горький, одуряющий напиток.

Стр. 468. *Жупан* — род полукафтана у поляков и украинцев.

«Лыцарь» (рыцарь) — дворянин.

«Катехизицу не обучавься» — «катехизису не обучался». Катехизис — начальный курс христианского богословия, изложенный в форме вопросов и ответов.

Чинок — церемониал, порядок, обряд.

«Люторь» — лютеранин.

Стр. 469. *Катехизация* — богословские вопросы и ответы.

...всходили на самые перси... — то есть втирались в доверие.

Стр. 470. *...«не можно було добрать, що він вередує»* — «нельзя было догадаться, что он прихотничает».

Стр. 471. *Ой, кили ж я шаную* — ой, коли ж я почитаю.

Ликторы — в древнем Риме: свита консула, несущая пучки прутьев с воткнутыми в них топорами. В бурсах ликторами назывались бурсаки, на обязанности которых лежало наказывать розгами провинившихся товарищей.

Стр. 472. *Выбачайте* (укр.) — простите, не прогневайтесь.

Преферанс (франц. préférance) — предпочтение.

...Батура и Собиесского... — Стефан Баторий (1533—1586), король польский с 1576 по 1586 год, стремился обуздать шляхту, успешно воевал с Россией. Ян Собесский (1624—1696), король польский с 1674 по 1696 год, блестящий полководец, успешно воевал с турками.

«Богдан» — Богдан Хмельницкий.

Стр. 473. *Поважанье* — уваженье.

Круль (польск.) — король.

Мусяли — должны были.

Шарпали — рвали.

Ледаще — дурно, негодно.

«...як жубр из Беловежи». — Беловежская пуща в б. Гродненской губ. (ныне Белорусской ССР) — лесной заповедник зубров, собственность и место охот польских королей и русских царей, ныне государственный заповедник, имеющий задачей восстановить поголовье почти вымерших зубров.

Токвиль, Алексис, граф (1805—1859) — французский публицист. Его книга «О демократии в Америке» (1835—1840), изображавшая государственный строй Соединенных Штатов лучшей фор-

мой политических свобод и гарантией против революции, была очень популярна у русских либералов.

Стр. 474. *Бусырь* — дурь.

Стр. 476. *...один как Гераклит, а другой как Демокрит.* — Гераклит Эфесский (ок. 530—470 до н. э.) и Демокрит из Абдеры (ок. 460—370 до н. э.) — знаменитые древнегреческие философы-материалисты. Их имена противопоставлялись друг другу, так как Гераклит считался мизантропом и пессимистом, а Демокрит — жизнерадостным оптимистом.

Аборигены — коренные жители местности.

Стр. 478. *«Прочунели»* — пришли в себя.

Стр. 480. *Я пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие...* — начальные слова «Ревизора», не вполне точно процитированные.

Стр. 481. *...по двадцати рублей ассигнацией.* — О счете на серебро и на ассигнации см. прим. к стр. 100.

Стр. 482. *Видлога* — капюшон.

Стр. 483. *Схопывся, колысь теперечки отказну духовну писать...* — схватился вдруг теперь духовное завещание писать.

Каломарь, правильнее каламарь (укр.) — чернильница.

Лифостротон — каменный помост. Имеется в виду помост, на котором, по евангелию, сидел Пилат во время суда над Христом.

Стр. 484. *Зариштовав* — арестовал.

Кручены panычи, пидкрапивники — названия растений. Крученый (укр.) — придурковатый.

Стр. 485. *Битимуть* — будут бить.

Стр. 486. *Трапилось* — случилось.

Фарбовались — красились.

Стр. 487. *Мазавься* — ласкался.

Зміняе — сменяет.

Як слід — как следует.

Стр. 489. *...ни Кальцоляри, ни Тамберлика, ни Патти.* — Энрико Кальцоляри (1823—1888), Энрико Тамберлик (1820—1889), Аделина Патти (1843—1919) — знаменитые итальянские певцы и певица, неоднократно гастролировавшие в России.

Стр. 491. *В жизни иной они оба друг друга, вероятно, узнали.* — Имеется в виду последняя строка стихотворения Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно» («Но в мире новом друг друга они не узнали»).

СОДЕРЖАНИЕ

Н. С. ЛЕСКОВ

Собрание сочинений, т. 7

Редактор А. М. Бихтер
Художник Г. Д. Епифанов
Технический редактор Л. П. Крючкина
Корректоры Л. М. Никульшина и И. Ф. Кузнецова

Сдано в набор 26/IX — 1957 г. Подписано к печати 9/XII—1957 г. Бум. 84 × 108 1/32 — 17,87 печ. л. = = 29,31 усл. печ. л. 29,11 уч.-изд. л. Тираж 350 000 экз. Заказ № 895.
Цена 12 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

